ЮЛИАН СЕМЕНОВ
15
ЮЛИАН
СЕМЕНОВ

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В
...ажни
...едоум
2. Бы
..., дел
...ское С
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к
...ну и его банде создать камеры
...нки, Катыни, а его ученикам - п
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ернуть "журнальный вариант"!

...откуда курсив?

...Ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

Eilt!

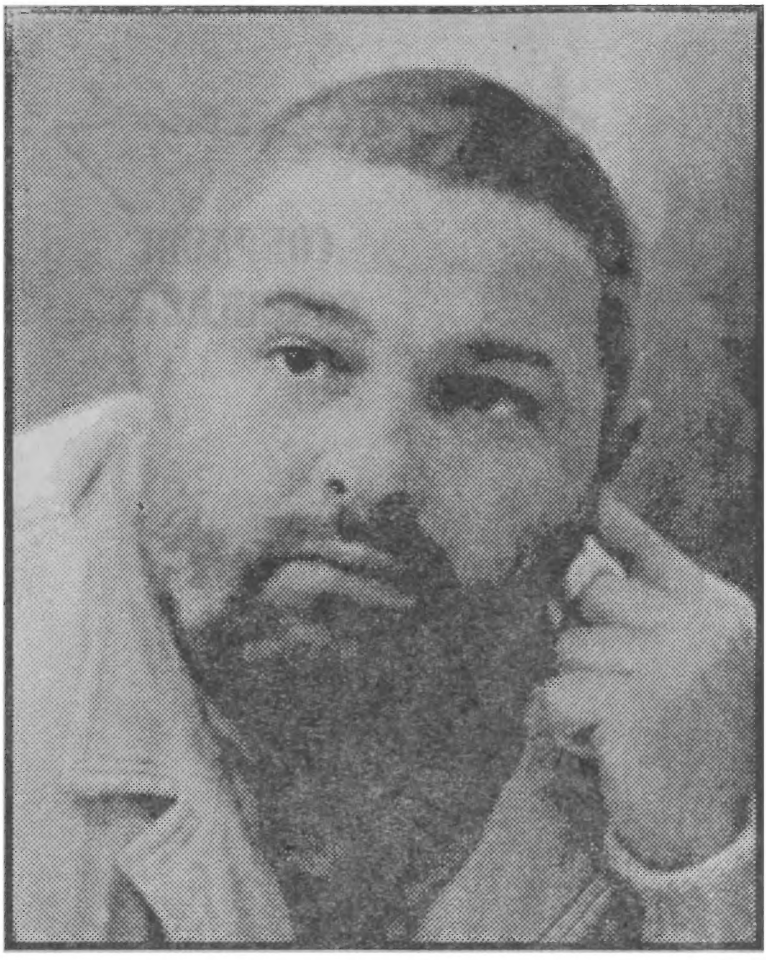
Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
...S. v. Henrici

...дивенчества:
...в квартиру, накор...
...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-
...ния пропагандистской ше-
... Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...б"ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это
...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...
...нивающей") стра-

Антон Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



Thomas

Семья

ТОМ ПЯТНАДЦАТЫЙ

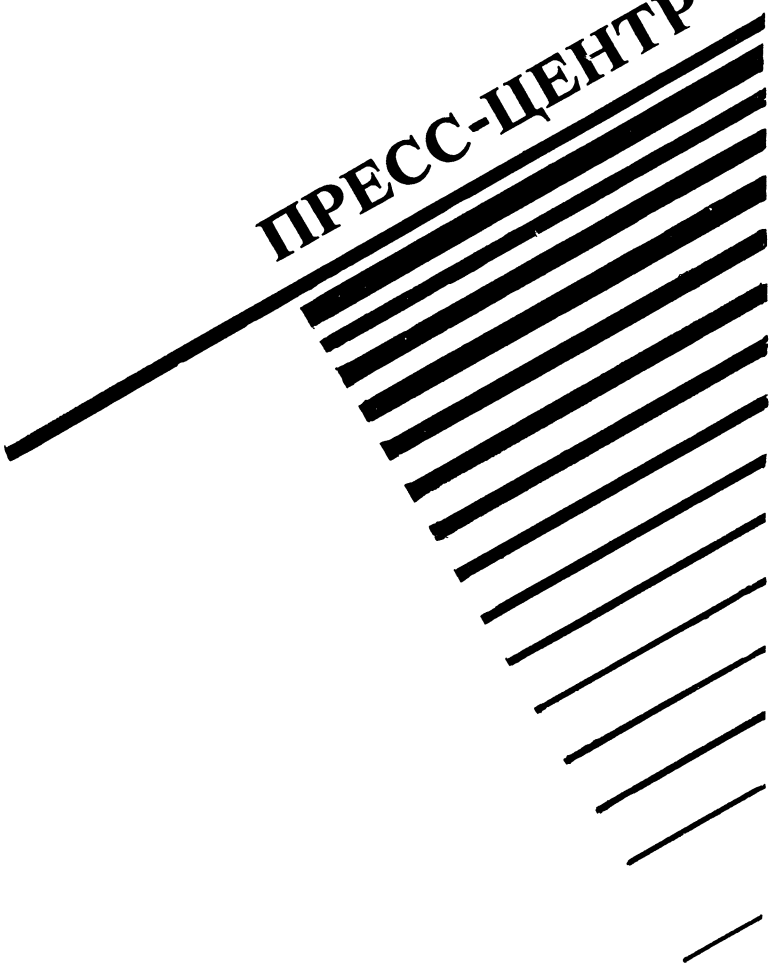
ПРЕСС-ЦЕНТР

Москва
ЭГСИ
1996

ББК 84. ЗР7
С 30

Художники
М. ШЕСТОПАЛ
В. ПОМОЧИЛИН, В. БЕЛЯКОВ

© Ю. Семенов, 1983
© Составление, подготовка текста–Фирма ЭГСИ, 1996


ПРЕСС-ЦЕНТР

1

15.09.83 (12 часов 05 минут)

Дикторы то и дело сообщали о приземлении и вылетах; здесь, в новом Шереметьевском аэропорту, подумал Степанов, хорошие дикторы, девочки говорят без акцента; наши вообще великолепно чувствуют языки, если только не закомплексованы; как их отцы замирали, фотографируясь для досок Почета, так и в разговоре с иностранцами дети костенеют, хотя порой знают об их странах больше, чем сами иностранцы.

— Еще кофе,— попросил он буфетчицу.— И бутерброд с сыром...

— А ваш обязательный фужер шампанского на дорогу?— женщина работала здесь давно, а Степанов летал часто.

— Врачи сахар в крови нашли. Пить можно только водку.

— Хотите?

— Черт его знает.

— Значит, не хотите.

— Хотеть-то я хочу,— улыбнулся он,— да вот надо ли?

Когда он уезжал из своей мастерской, дочь сказала: «Па, это плохо, когда сахар, сиди там на диете и не пей».— «Обязательно,— ответил он,— обещаю тебе, Бэмби»,— хотя знал, что пить придется и никакой диеты выдержать не удастся, никакого режима, сплошная сухомятка.

Дочь решила выйти замуж; Степанов просил ее подождать; она возражала: «Игорь не может работать, па, он перестал писать, пойми, у нас скорее союз единомышленников, и потом, ты знаешь, я ведь, как мама, пока сама не пойму, что не права, не смогу никому поверить, даже тебе».— «Но это плохо, Бэмби, поэтому, наверное, у меня и не сложилось с мамой, что она верила только

себе, своему настроению, своему чувству».— «Не надо об этом, па».— «Хорошо, ты права, прости... Я ведь встречался с твоим Игорем, мы с ним обедали в Доме кино... Не знаю, мне показалось, что тебе будет с ним очень трудно и все это окажется ненадолго у вас».— «Почему?»— «Потому что он эгоцентрик и пессимист... Для него обычная человеческая радость есть проявление низменного настроения ума... Знаешь, по-моему, «я» — это худший из продуктов воображения... Парень слишком много думает о себе, так нельзя».— «Что ты предлагаешь?»— спросила дочь, и Степанов понял, что она все равно не послушается его, но тем не менее ответил: «Я предлагаю испытать друг друга».

Ему нравились выражения «бой френд» и «герл френд»; он впервые столкнулся с этим лет пятнадцать назад в Нью-Йорке в доме своего коллеги; тот познакомил его с сыном и девушкой: «Это герл френд Роберта, ее зовут Лайза». Степанову было неловко спрашивать, что это за термин «герл френд», хотя дословный перевод ясен: девушка-друг. Потом только он узнал, что в американских семьях родители перестали корить детей за связь, не освященную церковным таинством бракосочетания; пусть узнают друг друга, пусть поживут вместе, сняв себе комнату; дорого, но что поделаешь, можно подкалымить, наняться грузчиком или мойщицей посуды, зато нарабатывается о п ы т, а это великая штука — опыт, никаких иллюзий, розовых мечтаний при луне и безответственных словес о будущем счастье... Подошли друг другу, прожили год, два, три, ну что ж, заглянули в церковь, чистая формальность, да здравствует опыт, они ведь проверили себя, напутствие пастора — некая игра в торжественность, пускай...

Надя, когда узнала от дочери об этом его предложении, позвонила в мастерскую: «Это бесстыдно с твоей стороны, ты ее толкаешь в распутство, так не поступает настоящий отец!»

Ладно, подумал он тогда, что ж делать, пусть я буду не настоящим отцом, и это переживем, не то переживали, но я был прав, как я был прав, когда забрал девочку из восьмого класса и отправил в училище живописи; человек должен делать то, что в нем живет и требует выхода; английская спецшкола для папенькиных детишек еще не счастье и даже не профессия, культурный

человек может сам выучить английский. И теперь я прав, сказал он себе, нельзя жить одними эмоциями, они хороши, когда садишься за машинку или берешь кисть... Это совсем не обидно, потому что это правда, когда я сказал, что им нельзя жениться, пока не кончили институт: хороша себе с е м ь я, если мама готовит обед, а папа дает деньги на платье; самостоятельность любви не может существовать вне самостоятельности быта...

А что будет, подумал он, если я сломаюсь? И не останется сил на то, чтобы писать романы, сочинять сценарии, сидеть на репетициях пьес, вылетать на с о б ы т и я, жарить себе свекольные котлеты, править верстку, бегать за слесарем, когда потек кран, ругаться с редакторами, помогать друзьям, торчать на художественных советах, ездить на техобслуживание, выступать на пресс-конференциях, заходить за заказом к Ирине в «Новоарбатский», заседать на редколлегиях и привозить кости псу? Что будет, если я не смогу дальше обходиться без помощи женщины, которая возьмет часть моего бремени на себя? Как отнесется к этому моя Бэмби? Она поймет, успокоил он себя, да и потом вряд ли найдется такая женщина — с моим-то характером, с моим норовом... Ну, а все же если, спросил он себя. Ты только представь себе это. Нет, ты не уходи от вопроса, ты ответь, ведь это ответ самому себе. Ну и что? Отвечать себе, если только честно, еще труднее, чем кому-то другому... То-то и оно, лгать не хочешь, а ответить правду боишься, потому что это будет большая беда, если дочь не поймет, а, наверное, не поймет, потому что жалеет Надю; несчастье, как и радость, делится поровну между родителями, которые живут поврозь; отец не имеет права на счастье, если его лишена мать... Ну, а если наоборот? Если мать счастлива, а отец лишен этого? Такое дети прощают? Не хитри, сказал он себе, нельзя такой вопрос обращать ко всем, ты же обращал его к себе, мы все вопросы проецируем на себя, а если ты неискренен с собой самим, чего же ты хочешь от мира? Шекспир — гениальный человек, хотя Толстой его и не любил. Никто так точно не понял ужаса остаться непонятым, как Шекспир. Ведь надо же было написать такую простую фразу, которую произнес Гамлет, обращаясь к Горацио:

Но все равно.— Горацио, я гибну;
Ты жив; поведай правду обо мне
Неутоленным.

По-английски это звучит суше, а поэтому точнее: «Ту телл май стори»; действительно, конец всего — это молчание, беспамятство, тишина... Горацио сказал мертвому Гамлету (дай тебе бог написать что-либо, хоть в малости подобное):

Почил высокий дух.— Спи, милый принц.

Но именно с той поры, после того как в мире объявился Гамлет, «спокойных ночей» человечество лишилось, оно озадачено вопросом, по сей день безответным: «Быть или не быть?»

Степанов попросил женщину:

— Все-таки, пожалуйста, дайте мне рюмку водки.

— Есть бутылка «Киевской юбилейной», очень хороша, не попробуете?

— По-моему, они теперь все одинаковые... Только и разницы — с винтом или без винта.

— Нет, когда новый сорт запускают в серию, он всегда хорош, это уж потом начинают химичить, а пока «Киевская» прекрасна, это как «расскажите Хабибулину»...

— Какому Хабибулину?

— Присказка у меня такая — и с мужем удобно, и с подругами... Когда они мне гусей гонят, я им: «Расскажите Хабибулину»,— и весь разговор...

Степанов улыбнулся:

— А что, действительно удобно...

Очень удобно, подумал он, термин — это экономия времени... Будь проклято мое ощущение времени, оно передалось Бэмби, она торопится выразить себя и поэтому постоянно торопится, а я начинаю на нее обижаться, когда она приезжает ко мне ненадолго, и чувствую ежеминутно, что ей не терпится вернуться к себе и стать к мольберту... А вообще-то мир более просчитан на общее, нежели на частное... Если я могу скрыть обиду, то Игорь не сможет, он не готов к тому, чтобы принять ее трудную индивидуальность... Он пока еще свою индивидуальность не выделил из общего, не изводит се-

бя ожиданием той минуты, когда станет к своему мольберту, он так неторопли́в и спокоен, он так долго, подробно и нудно рассуждает... Воистину зануда — это тот человек, который на вопрос «как поживаешь» дает развернутое объяснение... Она пообещала мне отказать ему, и я не смею ей не верить... Но ведь ее может занести, подумал Степанов, так уже случалось, и только мать и ее старые подруги влияли на Бэмби, женщина поддается женщине или же любимому, а я отец, я собственность, данность, с в о е...

— Внимание, внимание, начинается посадка на самолет, следующий рейсом в Париж. Атансьон, атансьон...

— Посчитайте, пожалуйста, убытки,— сказал Степанов,— про мою душу...

— Одна минуточка... Три девяносто... Спасибо... Когда вернетесь?

— Думаю, управлюсь за месяц.

— Счастливо вам, товарищ Степанов.

— Спасибо.

— А чего сейчас пишете?

Степанов перегнулся через стойку бара и тихо шепнул:

— Мне кажется, муру... Исписа́лся...

2

15.09.83 (12 часов 05 минут)

Как и всегда, в Пресс-центре на Плас де Насьон в Шенеф было шумно, многоязычно, суетливо и весело; царила атмосфера доверительности: люди, придерживавшиеся самых различных взглядов, представлявшие как правые, так и левые газеты, подсаживались друг к другу без предубежденности, обменивались — конечно же в з в е ш е н н о — информацией; спорили, но не для того, чтобы отстаивать лишь свою правоту, а прежде всего желая послушать мнение коллеги, его доводы; пили кофе; кое-кто (это было видно по степени и з м я т о с т и лица) п о д п р а в л я л с я пивом; в холлах, кафе и барах разговаривали, шутили, ссорились, подтрунивали друг над другом японцы и русские, французы и американцы, поляки и никарагуанцы, чехи

и китайцы, сенегальцы и венгры; в маленьких комнатах, арендованных крупнейшими информационными агентствами и газетами, радио- и телевизионными компаниями и журналами, трещали телетайпы, скрежещуще выбрасывая информацию; стрекотали пишущие машинки; к этой ритмике д е л а быстро привыкаешь и вскорости перестаешь ощущать всю ее непреходящую сладость; только уехав отсюда, начинаешь понимать, что именно здесь прошли прекрасные часы, дни или годы твоей жизни.

Сегодня, как и всегда, журналисты, аккредитованные в Пресс-центре, начинали свой день с просмотра газет и журналов, пришедших ночью; наиболее важную информацию вырезали острыми, словно хирургическими, ножницами, остальные страницы бросали в корзины; из миллионов слов, выданных компьютерной стремительностью телетайпов, ушлые газетчики отметили сердитое интервью шведского премьера Пальме, сообщение ЮПИ об авиационной катастрофе на Бермудах, краткое заявление о будущем республики Гаривас, сделанное лидером нового правительства полковником Санчесом, свергнувшим олигархическую диктатуру, и, наконец, сообщение о закончившемся в Милане совещании, где встретились представители крупнейших концернов мира, занятых осуществлением своих проектов в развивающихся странах; фотослужба Франс Пресс распространила снимки, на которых были запечатлены в дружеском рукопожатии магнаты Барри Дигон, Леопольдо Грацио, Дэйв Ролл и Фриц Труссен; приводились выдержки из их заявлений. «Мы хорошо и дружно поработали, это была необходимая встреча»,— сказал репортерам «Вашингтон пост» Дэйв Ролл; «Наши откровенные беседы еще раз подтвердили всему миру единство американо-европейской концепции экономического развития»,— подчеркнул в беседе с корреспондентом «Ди вельт» Леопольдо Грацио; «Когда я обсуждал наши проблемы с моими молодыми друзьями Грацио, Роллом и Труссеном,— заявил корреспонденту Ассошиэйтед Пресс Барри Дигон,— мне пришла в голову довольно любопытная мысль: «А не пора ли тебе на свалку, старая калоша? Родилось поколение новых бизнесменов, и надо сказать себе откровенно: они умнее тебя, мобильнее и точнее». Словом, я улетаю в Нью-

Йорк с ощущением сладкой грусти, как это бывает у людей моего возраста накануне принятия кардинального решения».

3

ЦЕПЬ (СХЕМА)

Работа банков и корпораций, втянутых в систему многонациональных компаний, сориентированных на военный бизнес, строится — с теми или иными коррективами — следующим образом.

Руководитель концерна — особенно если концерн сделался империей — занимается вопросами глобальными, намечая (вместе с ближайшими помощниками) совмещение интересов п р е д п р и я т и я с геополитической тенденцией государства.

Когда в мире возникает кризисная ситуация, руководитель обозначает линию, предлагая несколько вероятий для компромисса.

В случае, если мирный исход невозможен, начинает работать ц е п ь.

Как это выглядит?

Заместитель руководителя,— как правило, ведающий вопросами исследования конъюнктуры — поручает особо доверенному сотруднику, связанному с научными учреждениями и университетами, запросить несколько моделей выхода из неназванной кризисной ситуации, где не обозначены ни конкуренты, ни режимы, стоящие в оппозиции устремлениям их владельцев, ни партии, выступающие с критикой их каждодневной практики. Модели поручают разрабатывать тем университетам, где на ключевых постах сидят люди, заинтересованные в победе концерна, поскольку они являются либо держателями его акций, либо в концерне работают их близкие, либо, наконец, они получают ежемесячную дотацию и незримую поддержку в личном бизнесе.

Модель — безымянная, сугубо теоретическая — никого не ставит в трудное положение; слова «устранить», «скомпрометировать», «подвести к грани экономического краха», «содействовать интервенции» прилагаются не к конкретным именам президентов, премьеров, государственных секретарей или министров обороны,

нет, модель — она и есть модель, абстракция, фантазируй себе на здоровье, никаких оглядок, ведь речь идет не о конкретных людях, но о схеме, сочинение на вольную тему, как интересно!

...После того как несколько моделей получены, исследованы, просчитаны на компьютерах и доверенный сотрудник остановился на одной, с его точки зрения оптимальной, он передает свои рекомендации в незаметный тихий сектор «учета информации».

Некий сотрудник этого сектора имеет постоянный конспиративный контакт с фирмой, которая была создана на деньги, вложенные как концерном, так и с и н д и к а т о м, то есть мафией.

Именно на стыке этого контакта фантазия профессоров из университетов и научно-исследовательских институтов на тему «устранить» обретает плоть и кровь, ибо помощник президента этой фирмы имеет, в свою очередь, такого человека, который держит на связи тех, кто дает команду террористам.

В случае если операция прошла успешно и желаемое достигнуто, но случилась утечка информации или же задуманное по каким-то причинам проваливается, то и президент, и руководитель концерна, и (с определенной натяжкой) директор ЦРУ смело смотрят в глаза телекамер, направленных на них в сенатских комиссиях: они ничего ни о чем не знали. Если выкладывают факты, то они отвечают, что не надо путать с а м о д е я т е л ь н о с т ь безответственных сотрудников «нижних этажей» управления, которые самовольно, без консультаций предприняли авантюрные шаги, не имеющие ничего общего с принципами, на которых строится практика администрации, наблюдательного совета, министерства обороны, правления банка или же руководства Центрального разведывательного управления.

Цепь сработана так, что руководитель гарантирован от соприкосновения со всем тем г р я з н ы м, что может хоть в какой-то мере запятнать его престиж; задания были расфасованы по «этажам»; полная обособленность; конспирации здесь обучены не наспех, а всерьез.

...Когда к власти в Гаривасе пришел прогрессивный режим Санчеса, когда корпорации США засекли нарастающую активность в Гаривасе европейской финансово-строительной группы Леопольдо Грацио, когда был

просчитан возможный убыток — в случае если реально оформится блок Санчес—Грацио,— именно в тот день и час ц е п ь была приведена в действие.

Но не одна.

Их много, и взаимопересечение этих ц е п е й кроваво и беспощадно.

4

15.09.83 (21 час 05 минут)

«Какое счастье,— подумал полковник Санчес, любуясь Мари Кровс,— что революция прежде всего ломает устоявшиеся формы обращения людей в стране; нет ничего прекраснее слова «гражданин» и обращения к товарищу на «ты»; доверие, как и любовь, возможно только между равными, а равны лишь те, которые верят друг другу».

— Вы счастливы?— спросила Мари.— Прости, я все время ощущаю свою малость в этом премьерском кабинете... До сих пор не могу привыкнуть, что лидера страны здесь называют на «ты»...

Санчес улыбнулся; его улыбка была детской, открытой и такой доброй, что у Мари защемило сердце...

«Господи, как же я его люблю,— подумала она,— я никого и никогда не любила так, как его... Да, умом я понимаю его правоту, да, он верно говорит, что ему не простят, если я стану жить здесь, в Гаривасе: лидер национальной партии привез немку,— у него много врагов, это сразу же обыграют, а здесь круто поступают с теми, в кого перестают верить... Он сказал, что ему нужно два года, потом он уйдет, когда сделает то, что обязан сделать... А что может случиться за эти два года? Мы рабы не только обстоятельств, но и самих себя, своих желаний, своей мечты, своей плоти, наконец... Хотим быть идеальными, но ведь это невозможно...»

— Ты спрашиваешь, счастлив ли я?— Санчес достал испанскую черную крепчайшую сигарету «Дукадо», закурил, посмотрел на плоскую коробочку диктофона, что лежал на низком столике между Мари и его помощником по связям с прессой Гутиересом, и задумчиво ответил:— Да, пожалуй, я вправе ответить — счастлив.

— Из чего складывается ва... твое ощущение счастья?

— Из того, что я могу осуществить свои мечты на деле.

— Вам...Тебе трудно это?

— Да.

— Отчего?

— Мы пришли к власти в стране, где царствовала диктатура, коррупция, леность и произвол. Это наложило печать на весь строй психологии мышления нации, изменить его — это задача задач тех, кто взял на себя ответственность за будущее. Как изменить? Принуждением к работе? Не выйдет. Энтузиазмом? Да, возможно, на первых порах. Но решительный перелом может произойти только в том случае, если будет выработана точная экономическая модель, базирующаяся на принципе равенства, справедливой оплаты затраченного труда и, наконец, творчества... Ты читала книгу Мигеля Анхеля Астуриаса «Сеньор президент»?

— Не помню.

Санчес покачал головой, подумав: ты не читала, любовь моя; иначе бы ты не могла забыть, как же прекрасно ты засыпала с книгой, когда я оставался у тебя в Бонне, на Бетховенштрассе, в твоей маленькой комнате под крышей, чистенькой и светлой, как слово «здравствуй», ты засыпала, словно дитя, и ладошку подкладывала под щеку, сворачивалась кошкой и сладко чмокала во сне, а я лежал и боялся пошевелиться, хотя мне надо было успеть просмотреть за ночь добрую сотню страниц, как ни осторожно я отодвигался от тебя, ты все равно ощущала это и обнимала меня, прижималась еще теснее, и я оставался подле недвижным.

— Это замечательная книга великого гватемальца,— продолжил он.— Астуриас рассказал о диктатуре Эстрады Кабреры, он писал, что диктатура — это страшный, ядовитый паук, который развращает, подкупает, запугивает все классы общества, люди становятся либо бездушными механизмами, либо фанатиками, либо отвратительными приспособленцами... Некоторые думают, что после диктатуры наступит новое время и все станет на свои места... К сожалению, это не так. Проходят годы, а дух диктатора и его системы все живет и живет. Почему? Да потому, что диктатура разъедает общество до мозга костей...

— Когда вы намерены провести выборы? Я имею в виду демократические?

— При диктатуре, которую сверг народ во главе с армией, тоже проходили «демократические выборы»... Я против вольного обращения со словом «демократия». Я начинаю отсчет демократии с количества грамотных женщин и здоровых детей в Гаривасе... Думаю, в середине следующего года пройдут выборы, хотя главные выборы состоялись совсем недавно и они были общенародными: люди вышли на улицы, они голосовали, строя баррикады и бросая гранаты в бронетранспортеры полиции...

— Как относится администрация Белого дома к практике правительства, возглавляемого тобой, полковник Санчес?

— Мы поддерживаем нормальные дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и у меня нет оснований, достаточных, уточнил бы я, оснований для того, чтобы обвинять соседа во вмешательстве.

— Но в американской прессе...

Санчес перебил:

— Я не знаю, что такое «американская пресса»... Есть пресса Северной Америки, есть пресса франкоговорящей Канады, есть газеты, выходящие в Бразилии на португальском языке, есть наша пресса — для людей, читающих по-испански.

— Прости... Я имела в виду прессу Соединенных Штатов... Там сейчас стали появляться статьи, в которых твой режим называют прокоммунистическим...

— Я за свободу печати,— отрезал Санчес.— Это их дело... Я достаточно тщательно анализировал североамериканскую прессу накануне интервенции в Гватемалу... Если тебя интересует, как готовится интервенция, почитай эти материалы — и ты поймешь, когда есть реальная опасность... Я ведь не обижу тебя, если скажу, что журналистам легче печатать тухлятину? За это, видимо, лучше платят?

— Увы, ты меня не обидел...

— Прости еще раз, но ведь это правда, не так ли?

— Это правда... Кто стоит за спиною правых экстремистов, скрывающихся в сельве на севере Гариваса?

Я лучше скажу, из кого они рекрутируются. Убежден, что, когда мы начнем нашу экономическую рефор-

му, когда каждый гражданин получит реальное право проявить себя в бизнесе — да, да, именно так, в бизнесе, обращенном на благо всех и соответственно вкладу каждого в это дело — на свое собственное благо,— питательная среда для демагогов, рекрутирующих право-экстремистских отщепенцев, исчезнет.

— В чем ты видишь смысл экономической реформы?

— В честной и справедливой оплате, которая бы подвигала людей на труд, на творческий труд. В честном распределении национального дохода. В привлечении иностранного капитала, достаточного для того, чтобы дать стране энергию. Ты ездила по республике и видела, что у нас практически нет механизированного труда, женщины и дети работают на солнцепеке вручную, в то время как все это же можно делать машинами...

— А чем ты займешь людей, если сможешь провести экономическую реформу, то есть от ручного труда перейдешь к машинному?

— Побережье... Наше побережье может стать таким курортно-туристическим местом, равного которому мало где сыщешь...

— А после того как вы застроите побережье?

Санчес хмыкнул.

— Что касается того времени, когда мы построим то, над чем работают сейчас архитекторы и скульпторы, это будет уже вопрос следующего десятилетия, а я прагматик, я обязан думать о ближайшем будущем; те, кто в нашем правительстве занимается проблемами перспективного планирования, думают о далеком будущем...

— Кто работает над проектами?

— Архитекторы Испании, Югославии и Болгарии.

— А отчего не Франции и Италии?

— Опыт испанцев, болгар и югославов более демократичен — так мне, во всяком случае, представляется...

— Кто будет финансировать энергопрограмму?

— Европейские фирмы, заинтересованные в широких контактах с развивающимися странами.

— Но ведь американские фирмы ближе?

— Мы пока что не получили от них предложений... Одни слова... Тем не менее мы готовы рассмотреть любое деловое соображение с севера, если оно поступит.

— Кто в Европе проявляет особый интерес к сотрудничеству с Гаривасом?

— У нас есть довольно надежный партнер в лице Леопольдо Грацио. Впрочем, я бы просил тебя не упоминать это имя, я не до конца понимаю всю хитрость взаимосвязей китов мирового бизнеса, конкурентную борьбу и все такое прочее, так что, думаю, имя Грацио не стоит упоминать в твоем интервью.— Санчес вопросительно посмотрел на своего помощника Гутиереса. Тот кивнул.— Во всяком случае,— добавил Санчес,— до той поры, пока я не проконсультирую это дело с ним самим... А еще лучше, если это сделаешь ты, я дам тебе прямой телефон...

— Спасибо. Я непременно ему позвоню, как только вернусь в Шенеф.

— Я дам тебе прямой телефон его секретаря фрау Дорн, которая, если ей звонят именно по этому телефону, соединяет с Грацио, где бы он ни был: в Лондоне, Палермо или Гонконге.

— Хорошо быть миллионером.

— Честным трудно.

— А разве есть честные?

— Я считаю, да. Это люди, ставящие не на военно-промышленный комплекс, а на мирные отрасли экономики...

— Мне кажется, что коммунисты отнесутся к твоему утверждению без особой радости.

— Во-первых, я говорю то, что думаю, не оглядываясь ни на кого. Во-вторых, надо бы знать, что Ленин призывал большевиков учиться хозяйствовать у капиталистов.

— Среди членов твоего кабинета есть коммунисты?

— Насколько мне известно, нет.

— Ты говоришь: «Мы — это национальная революция». Нет ли в этой формулировке опасности поворота Гариваса к тоталитарной националистической диктатуре армии?

— Ни в коем случае. Национал-социалистская авантюра Гитлера была одной из ярчайших форм шовинизма. Его слепая ненависть к славянам, евреям, цыганам носила характер маниакальный. А наша национальная революция стоит на той позиции, что это верх бесстыдства, когда белые в Гаривасе считали себя людьми первого сорта, мулатов — второго, а к неграм относились так, как это было в Северной Америке во времена рабства — не очень, кстати говоря, далекие времена. Шовинизм основан на экономическом неравенстве, бескультурье, пред-

рассудках и честолюбивых амбициях лидеров или же несостоявшихся художников и литераторов. В нашем правительстве бок о бок работают негры, белые и мулаты.

— Ты позволил мне задавать любые вопросы, не правда ли?

«Я всегда позволял тебе это, любовь моя,— подумал он,— а ты чаще всего задавала мне только один: «Ты любишь меня? Ну, скажи, любишь?» А я отвечал, что не умею говорить про любовь, а ты шептала: «Женщины любят ушами...»

— Да, я готов ответить на все твои вопросы,— сказал он, добавив:— Впрочем, я оставлю за собой право просить что-то купировать в твоем материале...

— В вашем кабинете нет разногласий?

— В нашем кабинете есть разные точки зрения, но это не значит «разногласия».

— Позволь напомнить тебе строки Шекспира... Когда Кассий говорит Бруту:

...Чем Цезарь отличается от Брута?
Чем это имя громче твоего?
Их рядом напиши,— твое не хуже.
Произнеси их,— оба
Так же звучны.
И вес их одинаков.

Санчес пожал плечами.

— Тот не велик, кто взвешивает свое имя... Сравнивать кого-либо из государственных лидеров двадцатого века с Цезарем неправомочно, ибо он был обуреваем мечтою осуществить на земле полнейшее прижизненное обожествление... Это особая психологическая категория, присущая, как мне кажется, лишь античности... Все остальное — плохое подражание оригиналу... Впрочем, меня в Цезаре привлекает одна черта: больной лысый старик, он не боялся смерти; этот страх казался ему неестественным, противным высоте духа... Словом, Брутом в наш прагматический век быть невыгодно; в памяти поколений все равно останется Цезарь, а не его неблагодарный сын...[1]

[1] Существует версия, по которой Брут был внебрачным сыном Цезаря. Упоминания об этом предположении есть в книге Плутарха «Избранные биографии» и в примечаниях к книге Гая Светония Транквилла «Жизнь двенадцати цезарей».

— Брут был республиканцем, полковник Санчес... Он чтил римлянина Цезаря, но Рим был для него дороже...

«Женщина всегда остается женщиной, особенно если любит,— подумал Санчес.— Она относится к любимому только как к любимому, в ее сознании не укладывается, что мои слова сейчас обращены не к ней одной, а ко многим, а ведь как же много среди этих многих врагов... А для матери Цезарь был и вовсе хворым мальчиком, а не великим владыкой умов и регионов...»

— Если говорить об объективной — в ту пору — необходимости монархизма, о трагедии Брута, который поднял руку на личность, а она беспредельна, то я должен буду отметить, что он выступил не против своего отца императора Цезаря, но за свободу республики... Ведь не во имя тщеславия Брут поднял нож...

— Ты его оправдываешь?— спросила Мари Кровс.

— Я размышляю, а всякое размышление складывается из тезы и антитезы.

— Это термины Маркса.

— Взятые им у Гегеля, а тот в коммунистической партии не состоял,— улыбнулся Санчес.

— Что ты считаешь главным событием, побудившим тебя вступить в ряды заговорщиков?

— Я никогда не примыкал к заговорщикам... Видишь ли, мне кажется, что заговор обычно рожден посылом честолюбия, в нем нет социальной подоплеки... Несправедливость в Гаривасе была вопиющей, несколько человек подавляли миллионы... К людям относились, как к скоту... Знаешь, наверное, впервые я понял свою вину перед народом, когда отец подарил мне машину в день семнадцатилетия и я поехал на ней через сельву на ранчо моего школьного друга. Его отец был доктором с хорошей практикой, лечил детей диктатора... И мы с моим другом в щегольских костюмчиках поехали в школу, а учитель Пако сказал тогда: «Мальчики, я вас ни в чем не виню, только запомните, тот, кто пирует во время чумы, тоже обречен». Мы тогда посмеялись над словами Пако, но вскорости арестовали отца моего друга из-за того, что внук диктатора умер от энцефалита, и мои родители запретили мне встречаться с сыном отверженного... А я испанец, со мной можно делать все что угодно, но нельзя унижать

гордость кабальеро... Словом, я ушел из дома, и приютил меня учитель Пако, а жил он в бидонвилле с тремя детьми и больной теткой... Безысходность, всеобщая задавленность, в недрах которой все ярче разгорались угольки гнева,— вот что привело меня в нашу революцию...

Гутиерес посмотрел на часы, стоявшие на большом камине.

— Полковник, в три часа назначена встреча с министрами социального обеспечения и здравоохранения...

— Я помню,— ответил Санчес.— Увы, я помню,— повторил он и поднялся.— Мари, я отвезу тебя на аэродром, и по дороге ты задашь мне те вопросы, которые не успела задать, о'кэй?

Он пригласил Мари в гоночную «альфа ромео», сказал начальнику охраны, что испанцы, потомки конкистадоров, не могут отказать себе в праве лично отвезти прекрасную Дульсинею в аэропорт, посадил Мари рядом, попросил ее пристегнуться и резко взял с места.

— Слава богу, мы одни, девочка,— сказал он.

— Мы не одни,— сказала она,— за нами едет машина с твоими людьми.

— Но мы тем не менее одни... И послушай, что я сейчас скажу... Если ты сумеешь, вернувшись, опубликовать — помимо этого интервью, в котором, мне кажется, я выглядел полным дурнем,— несколько статей о том, как сложна у нас ситуация и никто не в состоянии сказать, что случится завтра, если ты, лично ты, без ссылки на меня, сможешь напечатать репортаж про то, что нас хотят задушить, ты сделаешь очень доброе дело...

— Тебе так трудно, родной...

— Да уж,— ответил он,— не легко. Но я обязан молчáть... Понимаешь?

— Нет.

— Поймешь...

— Мне ждать, Мигель?

— Да.

— Может, ты позволишь мне приехать сюда? У меня так тяжко на сердце там... Я аккредитуюсь при твоем управлении печати...

— Нет.

— Почему?

— Потому что я не смогу видеть тебя — и это будет рвать нам сердца, а если мы станем видеться, мне этого не простят, я же говорил. Уйти сейчас из-за тебя, точнее, из-за того, что я тебя люблю, это значит дезертировать... Помнишь рассказ русского про старого казака и его сына, который влюбился в полячку? Это сочли изменой.

— Он изменил из-за любви...

— У нас мою любовь тоже назовут изменой... Я очень верю в тебя, Мари, я верю в себя, но я знаю наших людей... Тут царит ненависть к тем, кто говорит не по-испански... Считают, что это янки... Погоди, у нас прекрасный урожай какао, мы получим много денег, сюда приедет масса инженеров и механиков из Европы... Тогда приедешь и ты... А сейчас мы будем слишком на виду, нельзя, мое рыжее счастье...

— Я не очень-то ревнива, но мне горько думать, что кто-то может быть рядом с тобою...

— Я встаю в шесть и засыпаю в час ночи...— Он улыбнулся.— Да я даже и не вижу женщин... У меня есть хорошая знакомая, но она любит моего друга, и мне она как сестра, а когда мне совсем уже безнадежно без тебя, я еду к ним и там ложусь спать, а они устраиваются в разных комнатах, чтобы не дразнить меня...

— Кто бы мог подумать, что революционный премьер Гариваса ведет жизнь монаха...

— Ты не веришь мне?

— Я люблю тебя...

— Это я люблю тебя.

— Скажи еще раз.

— Я тебя люблю.

— У меня даже мурашки пробегают по коже, когда ты это говоришь... Нельзя как-нибудь оторваться от твоих телохранителей?

— В сельве нет дорог, а если мы с тобой станем любить друг друга на шоссе, соберется слишком много водителей,— он засмеялся.— А вот я верю тебе, Мари. До конца. Во всем.

— Можно мне иногда звонить тебе и задавать дурацкие вопросы о твоей энергопрограмме?

— Не называй мою мечту дурацкой.

— Дурацкими я назвала свои вопросы...

— Никогда не говори так ни про себя, ни про свои вопросы.

— Не буду. А сколько еще ехать? Ты не можешь сбавить скорость?

— Могу, только они окажутся тогда совсем рядом.

— Лучше б мне и не приезжать к тебе... Я никогда не думала раньше, что ты такой...

— Какой?

— Гранитный...

— Не обижай меня... Просто сейчас особый момент, понимаешь?

— Нет, не понимаю, ты же не объяснил мне...

— Сейчас, в эти дни решается очень многое... Я не вправе говорить тебе всего, но ты настройся на меня, Мари, почувствуй меня. Ты думаешь, я не знаю, сколько у меня недругов, завистников, открытых врагов? Ты думаешь, я не знаю, как будут счастливы многие, если мой проект провалится? Да, ты верно чувствуешь, что Грацио — ключевая фигура этих дней, но не один он, тут и Дэйв Ролл, и Морган, и Барри Дигон, но ты забудь про это, я и так сказал тебе слишком много, не надо бы мне, нельзя посвящать женщину в мужские дела, это безжалостно...

— Мигель, а помнишь, что я сказала тебе, когда ты впервые у меня остался?

— Помню. Я помню каждую нашу минуту... Помню, как просто и прекрасно ты спросила меня...

И вдруг, как в хорошем детективном фильме, из переулка на дорогу выскочили двое парней. Лица их были бледны до синевы; они встали, нелепо раскорячившись, вскинули к животам короткоствольные «шмайсеры»; Санчес быстро вывернул руль, успел резко и больно пригнуть голову Мари, снова крутанул руль, услышал автоматную дробь за спиной,— это, высунувшись из «шевроле», по террористам палили охранники,— нажал до упора на акселератор и понесся по середине улицы к выезду из города...

Когда Санчес вернулся во дворец, там шло экстренное заседание кабинета; о покушении докладывал начальник управления безопасности; заговор правых ультра; министр обороны майор Лопес внес предложение, чтобы отныне в машине премьера всегда ездил началь-

ник охраны, а сопровождали премьера две машины с офицерами из соединений «красных беретов» — самые тренированные соединения республиканской армии; несмотря на то, что Санчес голосовал против, а начальник генерального штаба Диас воздержался, предложение Лопеса было принято большинством голосов.

5

ЧТО ТАКОЕ «ЦЕПЬ»? ИЛЛЮСТРАЦИЯ N 1

«БНД[1], Пуллах; 24/176—Л

Строго конфиденциально
Сектор исследования информации

Гамбургская журналистка Мари Кровс (досье 6-ад-52), аккредитованная при европейском Пресс-центре, дважды на протяжении последних одиннадцати месяцев выступила с материалами, заслуживающими оперативного изучения.

а) 12.02.83 она опубликовала в «Блице» сообщение из Женевы о том, что лидером правых экстремистов, действующих с территории Сальвадора против Никарагуа, является Хорхе Аурелио, агент ЦРУ по кличке Нортон, состоящий на связи с Джозефом.

По сообщению, полученному от наших коллег из Лэнгли, Нортон действительно состоит на связи с Джозефом, который работает в Сальвадоре «под крышей» советника национальных компаний, занятых производством сои, бобов какао и бананов.

Следовательно, по мнению наших американских коллег, либо существует утечка совершенно секретной информации из штаб-квартиры ЦРУ, что может принести непоправимый ущерб интересам не только США, но и всего западного сообщества, либо утечка информации постоянно происходит в Сальвадоре.

[1] Контрразведка ФРГ.

Поскольку никто из журналистов не сообщал в свои газеты об упоминавшемся выше факте, затрагивающем интересы наших американских коллег, отдел «У-ф-14» ЦРУ просит предпринять возможные шаги для того, чтобы установить канал, по которому упомянутая информация пришла к Мари Кровс.

б) 27.03.83 именно Мари Кровс напечатала в леворадикальной газете «Войс» статью под заголовком «Без пяти двенадцать». В этом материале М.Кровс писала, что часы «кровавой диктатуры в Гаривасе» сочтены, силы национального обновления не намерены терпеть далее «тиранию, коррупцию и предательство национальных интересов», что «в и д и м о, падение нынешнего прогнившего продажного режима есть вопрос не месяцев и недель, но дней, а возможно, и часов».

Через сорок два часа в Гаривасе власть взяли «революционные офицеры» во главе с полковником Санчесом.

ЦРУ просит установить наблюдение за Мари Кровс с целью выяснить возможность ее контактов с секретными службами Москвы или Гаваны.

П.Либерт».

Заместитель директора БНД посмотрел на шефа сектора «изучения информации», улыбнулся и спросил:

— Ну, а если допустить возможность такого рода: Мари Кровс — просто-напросто талантливая журналистка? А талантливость предусматривает элемент предвидения. Я как-то читал информацию из Бонна, записали беседу одного из наших оппозиционеров с русским писателем Степановым; тот великолепно сказал: «Я ощущаю грядущее ладонями; локаторность человека еще не понята, и к исследованию этого качества, присущего не какой-то элите, а всем, живущим на земле, наука даже не подошла...»

— Тогда надо порекомендовать Мари Кровс,— так же добродушно ответил шеф сектора,— поменять ее имя на «Кассандра».

— Это уже было... В сороковых годах парижская журналистка Женевьева Табуи выпустила книгу «Они называли ее Кассандрой».

— Чисто французская скромность...

— Я бы уточнил: чисто женская скромность... Давайте будем стараться любить нашего юго-западного соседа, несмотря на весь его шовинизм и врожденную вертлявость... Ваши предложения?

— Установить наблюдение за Кровс и дать указание нашей швейцарской резидентуре проследить все ее контакты.

— Настоящая фамилия Кровс также любопытна. Ее отец — Пикс, из концерна ярого консерватора Бельсмана,— сказал заместитель директора.

Шеф сектора «изучения» оценил осведомленность своего руководителя, поэтому позволил себе восхититься, во-первых, но и показать свою компетентность, во-вторых:

— Ах вот как?! Это тот Пикс, который живет в Париже с массажисткой мадам Гала и пишет обзоры под фамилией Вернье?

— Именно так, и я поздравляю вас с исключительным профессионализмом памяти... Нет, я бы не торопился с началом такого рода работы по Кровс... Я бы рекомендовал начать с ц е п и. Попробуйте обратить эту самую всевидящую Кровс в нашу... ну, если не приятельницу, то хотя бы в... невольный источник информации...

Через пятнадцать минут из Пуллаха, что под Мюнхеном, ушли шифротелеграммы в женевскую и бернскую резидентуры БНД.

Через три часа советник по прессе созвонился с руководителем адвокатской конторы «Розен унд Шульц» господином Брюкнером, тот специализировался по делам, связанным с издательствами и редакциями.

Через пять часов девять минут господин Брюкнер увиделся с хозяйкой фирмы «Розен унд Щульц» фрау Розен.

Через семь часов фрау Розен договорилась о встрече с редактором журнала «Фрайе трибюне» Гербертом Доле.

Через девять часов двенадцать минут секретарь господина Доле нашла Мари Кровс по домашнему телефону и пригласила ее посетить редактора завтра, семнадцатого сентября, в девять утра.

— Я заканчиваю срочный материал,— ответила Мари,— только что вернулась из Латинской Америки... Может, вы будете любезны назначить мне время на послезавтра?

— К сожалению, дорогая фройляйн Кровс, послезавтра босс улетает на Канарские острова... А он хотел бы предложить кое-что до того, как улетит...

— Хорошо, спасибо, я приду.

Доле поднялся из-за резного, восемнадцатого века стола карельской березы, дружески протянул руку, пошел навстречу Мари, не скрывая восхищения, оглядел ее, не выпуская длинной, тонкой руки женщины из своей сухой и горячей, проводил к креслу, спросил, что будет пить его зеленоглазая гостья, достал из холодильника, вмонтированного в стеллажи, бутылку «виши», лед, орешки и сразу же приступил к делу.

— Когда-то я тоже писал,— сказал он.— Будь проклята моя нынешняя профессия, но ведь кто-то должен быть бюрократом... Кто-то должен кромсать ваши материалы, быть козлом отпущения в скандалах с правительственными остолопами, выбивать у хозяев побольше средств на оплату наиболее талантливых материалов, улаживать споры с бастующими наборщиками...

— Очень хочется вернуться к пишущей машинке?— спросила Мари.— Или кресло окончательно засосало?

Доле горестно усмехнулся.

— Именно поэтому у меня не кресло, я сижу на вращающемся секретарском стуле, и все меня упрекают за эклектику; век восемнадцатый и нынешний несовместимы, говорят люди.

— Все совместимо,— убежденно сказала Мари.— А дальше все будет еще более совместимо, поскольку химия подарила миру гуттаперчу и люди спроецировали это прекрасное синтетическое качество на врожденное — совесть...

Лицо Доле на мгновение замерло, а глаза по-кошачьи сузились, но так было лишь какую-то долю секун-

ды — он владел м у с к у л а т у р о й, не только глазами.

— Ваше заключение — хороший повод перейти к деловой части разговора, фройляйн Кровс... Вы, полагаю, знаете про мой журнал и, думаю, не обращаете внимания на те небылицы, которые распускают обо мне...

— Обо всех говорят разное.

— Именно... Так вот, я внимательно присматривался к вашим публикациям, меня особенно заинтересовали материалы о сальвадорских дядюшках из американского секретного ведомства, которые вроде бы растят бананы, и ваше предчувствие переворота в Гаривасе... Не хотели бы поработать на меня?

— Вы согласны печатать все, что я стану писать?

— Ну, если что-либо и помешает мне это сделать, вы получите сполна, по высшему разряду, все, что хотите получить за свой материал; фикс я готов оговорить заранее.

— Заманчиво... Конечно, согласна... Но я не очень понимаю, чем вызвано столь лестное предложение, господин Доле?

— Все очень просто... Вы угадали дважды... Вы угадали в угоду левым, а я правым... Но ведь меня покупают и левые, и правые, а самое главное — болото, оно-то и дает прибыль... В конечном счете крайне левый Маркузе всю войну работал в сугубо правом Центральном разведывательном управлении... Я коммерческий редактор, и мне не важно, на ком я подниму тираж... Вы же не агитируете за то, чтобы нами стали править коммунисты? Нет. Вы угадываете? Да. Вас читают? Бесспорно. Вы имеете все шансы стать звездой? Да. Меня это устраивает... Что за срочный материал вы вчера заканчивали?

— Интервью с полковником Санчесом.

— Ого! Но ведь, сколько я знаю, он никому не дает интервью.

— Мне дал.

— Где это интервью?

— Здесь, — она кивнула на свою сумку.— Только не перепечатано.

— У меня прекрасная стенографистка фройляйн Жоссе. Продиктуйте ей, я сразу прочитаю и пущу в набор... Думаю, три тысячи франков вас устроит?

— И вы согласны оплатить стоимость авиационного билета?

— Бесспорно, но тогда я уплачу вам две тысячи франков, и это будет справедливо.

— О`кэй... Я ставлю, правда одно условие, господин Доле...

— Вы само очарование, я готов пойти вам навстречу во всем, но, увы, не умею подчиняться условиям... Предложение — пожалуйста...

— Я отдам интервью с Санчесом только в том случае, если вы напечатаете и мой комментарий. Я в чем-то не согласна с полковником и пишу об этом со всей определенностью...

— Диктуйте комментарий моей фройляйн Жоссе, я посмотрю.

Через два часа Доле пригласил к себе Мари.

— Интервью блистательно, вы побьете мадам Фалачи, верьте нюху коммерсанта от журналистики. Я ставлю материал в номер. Ваш комментарий о том, что в Гаривасе грядут тревожные события, я поставлю через номер, после того как появятся отклики на интервью.

— Отклики появятся, я вам это обещаю. Мне хочется увидеть комментарий, не дожидаясь откликов...

— Фройляйн Кровс,— сказал Доле, и улыбка на его лице исчезла, словно ее и не было,— я сказал вам лишь то, что считал нужным сказать. Решайте. Все на ваше усмотрение...

Через сорок минут комментарий Мари Кровс вместе с интервью был ксерокопирован и отправлен фрау Розен.

Через час пятнадцать материал оказался в конторе господина Брюкнера.

Через семь часов копия документов была вручена в Мюнхене представителю ЦРУ заместителем директора БНД.

Назавтра — по той же цепи — редактору Доле было предложено оплатить издержки за неопубликование комментария Мари Кровс о том, что «в Гаривасе взрывоопасная ситуация» и что «если лидеры революю-

ции не называют имен тех, кто намерен свергнуть Санчеса, то не потому, что не могут или не хотят этого сделать, а лишь в связи с тем, что ждут нужного времени — удобного и целесообразного для такого рода заявления».

«Активность групп, породненных с концерном Дигона,— заключала Кровс,— не может не быть связана с надеждой на то, что в Гаривасе к власти придут новые люди, более «покладистые» и «трезво» оценивающие традиционную роль северного соседа и его государственные, а также и деловые интересы. Один из молодых майоров сказал мне в заключение беседы: «Продержавшись пару месяцев, мы надолго сохраним власть; в противном случае нас ждет катастрофа».

Мари Кровс обратилась в те редакции, с которыми ранее поддерживала устойчивые контакты, но ее разговоры теперь фиксировались; рычаги давления на редакторов были найдены заранее.

Ей ничего не оставалось, как метаться в поисках той газеты или журнала, которые могли бы напечатать то, что она обещала Мигелю Санчесу.

6

11.10.83 (18 часов 23 минуты)

Дон Валлоне теперь день делил на три равные части; перед завтраком он час плавал в бассейне, потом, выпив кофе, изучал телексы, поступавшие из его контор в Палермо, Риме, Милане, Вене, Марселе, Никозии, Хайфе, Каире, Гонконге, Далласе и Майами, отправлял указания, диктуя их своему стенографисту в присутствии адвоката Доменико Ферручи; без консультации с Ферручи он не предпринимал ни одного шага; затем просматривал отклики мировой прессы на новинки кино, сам, не доверяя никому, подбирал досье на ведущих актеров; изучал данные, поступившие с бирж; прежде всего интересовался «скачками» цен на серебро — исходный материал в производстве кинопленки; после этого анализировал сообщения из Южной Америки — там его интересовала земля, он носился с проектом создания своего «Лас Вегаса»; ге-

нерал Стреснер, «пожизненный президент» Парагвая, был на связи; старый диктатор понимал, что пополнить казну фашистского режима без привлечения иностранных туристов невозможно, необходима индустрия; впрочем, Дон Валлоне как-то заметил адвокату Ферручи, что «Стреснер слишком одиозен, лучше бы завязать хорошие связи с Уругваем, там вроде достигнута стабильность»; после этого он спускался на второй этаж обедать, как правило вместе с Ферручи; порой приглашали продюсера Чезаре — из безвестного администратора, работавшего на съемках, он вырос — с подачи Дона Валлоне — в крупнейшего европейского кинобосса, имел двадцать четыре прекрасных кинотеатра в Милане, Неаполе, Риме, Париже, Токио и Нью-Йорке, финансировал талантливую молодежь, понимавшую толк в бизнесе и киноделе (главный закон мафии — преемственность, ставка на тех, кого вытащил из дерьма, те не предадут); раза два в месяц приезжал личный духовник Дона Валлоне, при нем не подавали ни мяса, ни вина; его визиты падали на понедельник, именно этот день у Дона Валлоне был разгрузочным, он ел яблоки и пил соки, ничего больше.

После часового отдыха возле бассейна Дон Валлоне выходил на яхте в море; радиостанция была оборудована по последнему слову техники, связь со всем миром была отлажена, шифр надежен.

Здесь он получал секретную информацию, поддерживая контакт с людьми, которые непосредственно связаны с агентурой Центрального разведывательного управления. Со «службой анализа и исследования» банков Кун Леба и Дэйва Ролла, то есть с подразделениями, проводившими работу, сходную с каждодневной практикой ЦРУ, но сориентированную на политиков лишь в той мере, в какой они могли помогать или мешать бизнесу, Дон Валлоне вел переписку лично, не доверяя своих тайн никому; после радиопередачи тексты немедленно сжигались, память у него была феноменальная.

На яхте он работал до семи часов, потом в море спускали канатную лестницу, он еще раз купался, как и предписал его личный врач Джузеппе Исидоро, до тяжелой усталости — единственное средство против болезни века, остеохондроза; затем ему приносили

средиземноморские фрукты — лучшая гарантия лёгкого получасового сна, а уж потом возвращался в Ниццу, смотрел с внуками фильмы, которые лично выбирал, чтобы не было кадров с обнаженными женщинами и тому подобной мерзости, играл партию в шахматы с адвокатом Ферручи, очень не любил проигрывать, Ферручи это знал, но тем не менее никогда не поддавался патрону; шел в спальню к своему любимцу, самому младшему внуку Луиджи, садился на краешек его кровати и рассказывал сказку на ночь. Чаще всего он сочинял сказки на ходу, хотя Луиджи больше всего любил историю про Чипполино, только чтобы не было страшно.

Дон Валлоне гладил мальчика по мягким шелковым волосам, и столько в его голосе было нежности, любви к малышу, что тот засыпал очень быстро, ухватив деда ручонками за большой палец...

В полночь Дон Валлоне отправлялся в свою часовенку, преклонял колени перед иконой, молился и уходил в спальню; после того как три года назад умерла жена, он не был близок ни с одной женщиной; когда же узнал, что средний сын, Гвидо, отец Луиджи, постоянно изменяет жене, а недавно купил квартиру какой-то балерине, он лишил его права жить в своих замках.

— Ты живешь в семье, а не в борделе,— сказал Дон Валлоне,— ты член моей семьи, а я свято берегу нашу честь. И до тех пор, пока ты не расстанешься со своей паршивой шлюхой, сына ты не увидишь. Ступай вон и подумай над моими словами...

Однако сегодня Дон Валлоне был вынужден нарушить свой распорядок; выйдя в море, он получил три радиограммы по своему личному шифру, прочитал их и, поднявшись на мостик, сказал капитану:

— Эмилио, пожалуйста, срочно в Ниццу.

В порту его ждал огромный «крейслер», одна из самых заметных машин в городе; шофер медленно провез Дона Валлоне по набережной; седоголовый старец открыл окно, улыбаясь, любовался редкими уже отдыхающими, лежавшими на песчаном пляже; в сентябре негде было повернуться, даже начало октября выдалось знойное, а потом, в ночь на восьмое, за-

штормло, ударил косой дождь, и природа за какую-то ночь изменилась, пришло ощущение осени; ржавая листва каштанов устилала дороги, они казались золотистыми, ходить по ржавым листьям было до боли в сердце грустно, словно бы топчешь ушедшее счастье.

Когда шофер медленно свернул с набережной, лицо Дона Валлоне в одно мгновение изменилось, стало жестким, морщинистым.

— Резво,— сказал он.

Шофер нажал на газ, машина рванулась, словно кто-то перерезал невидимые канаты, ее державшие, проскочил под желтый свет, скрипуче повернул в маленький переулок, затормозил у магазина; Дон Валлоне быстро, не по годам легко выскочил, вбежал в магазин, прошел его насквозь, вышел на параллельную улицу, проверился, стремительно оглянувшись, толкнул дверь бара, кивнул хозяину, который вытирал стойку, и быстро спустился по крутым ступенькам вниз, к телефонным кабинам.

В кармане, как всегда, были припасены мелкие монеты.

Первый звонок Дона Валлоне был в Берн.

— Здравствуйте,— сказал он глухо, изменив голос, услышав брата,— это я, Витторе. Мой племянник сегодня прибыл. Проследите за тем, чтобы он хорошо отдохнул. У него завтра хлопотный день.

— Я постараюсь,— ответил Дон Аурелио, поняв то, что ему надлежало понять, и положил трубку.

Второй звонок в Вашингтон.

— Алло, это я, все будет в порядке, только пусть позаботятся, чтобы лакеи как следует посмотрели за костюмами для завтрашней гала-партии.

— Постараемся,— ответил первый заместитель директора ЦРУ Майкл Вэлш.— Лакеи вполне квалифицированные.

Разговор закодирован, голос изменен, однако каждое слово имеет свой смысл, расшифровать невозможно.

Потом Дон Валлоне позвонил в Нью-Йорк, сказав лишь одно слово:

— Скандальте!

7

11.10.83 (18 часов 55 минут)

Полковник Санчес понял, что сидеть за столом нет больше смысла; переизбыток информации; он приехал во дворец в восемь утра, прочитал шифротелеграммы, переданные из МИДа, министерства общественной безопасности и генерального штаба; внимательно изучил статьи, опубликованные мировой прессой в связи с его проектом экономической модернизации; провел совещание с директором энергетического проекта Хорхе Кристобалем, с управляющим Банком развития Веласко и министром энергетики и планирования Энрике Прадо; внес коррективы в речь, подготовленную для него аппаратом по случаю открытия библиотеки иностранной литературы; обсудил текущие дела с министром обороны Лопесом; принял посла Испании — беседа носила отнюдь не протокольный характер, Санчес дал понять, что Гаривас заинтересован в тесном экономическом сотрудничестве с Мадридом и готов, как это предлагает Леопольдо Грацио, самым серьезным образом учесть интересы тех банков за Пиренеями, которые решат включиться в решение экономической программы Гариваса.

Санчес посмотрел на часы, поднялся из-за стола, вышел в секретариат, сказал дежурному, что уезжает минут на сорок в «Клаб де Пескадорес» сгонять партию на бильярде — единственная теперь возможность собраться перед работой ночью, до трех утра (ездить к Эухенио и Кармен под блицы фоторепортеров, которые постоянно караулят ее, нельзя — в правой прессе сразу же появятся статьи о «распутстве одного из полковников, взявшего себе в любовницы прима-балерину Гариваса»; а откуда им знать, что Кармен никакая не любовница, а верный дружочек, как и ее Эухенио, что самый любимый человек, Мари Кровс, далеко и никогда — во всяком случае, пока он сидит во дворце — сюда не прилетит; им не суждено быть вместе, ему не простят иностранку, таков характер его народа, слишком уж натерпелся от них; обжегшись на молоке, дует на воду; националистическая слепота исчезнет лишь тогда, когда

люди будут иметь равные права на свободу и достаток, иначе, декретом, национализм не изжить).

Начальник охраны майор Эмилио Карденас поинтересовался, на каком автомобиле поедет премьер; он знал, что Санчес никому не отдаст руль машины, это его страсть. С трудом по решению правительства, под нажимом майора Лопеса после покушения полковник согласился, чтобы теперь его повсюду сопровождали две машины с вооруженными до зубов офицерами из соединений «красных беретов», находящихся под командованием министра обороны.

— Слушай, майор, давай поедем на «альфа ромео», но не бери ты этих молодцов, право же! Если меня захотят кокнуть, то кокнут.

Карденас пожал плечами.

— Меня эти головорезы раздражают не меньше, чем тебя, полковник... Добейся отмены решения правительства...

Санчес и Карденас заканчивали одну школу, их связывала юношеская дружба; вместе примкнули к движению «патриотических офицеров за прогресс родины»; вместе вышли под пули диктатора, когда чаша терпения народа переполнилась; Карденас восторженно любил Санчеса с той еще поры, когда ходили в бойскаутские походы; это и решило его судьбу — после победы именно Карденаса назначили возглавить охрану правительства; потом, впрочем, майор Лопес вошел с предложением доверить ему охрану одного лишь премьера.

«В конечном счете,— доказывал он членам кабинета, собравшимся на экстренное заседание после того, как правые террористы предприняли попытку взорвать центральный телеграф,— судьба страны всегда зависит от судьбы лидера, поэтому, полагаю, армия вместе с силами безопасности сможет обеспечить охрану членов кабинета, а вот охрану полковника Санчеса я предлагаю поручить Карденасу, и все мы знаем, отчего я называю именно это имя».

Санчес тогда укоризненно посмотрел на полковника Диаса, передвинутого на пост начальника генерального штаба вопреки воле Лопеса; на этом настоял министр общественной безопасности Пепе Аурелио; он, как и Диас, не верил Лопесу; полковника Санчеса это раздражало: «Нельзя поддаваться ощущениям; Вест-Пойнт ни

о чем еще не говорит! Хуан Мануэль (так звали министра финансов) получил образование в Бонне, нельзя же из-за этого подозревать его в тайных связях с Геншером или Штраусом!» Шеф общественной безопасности, искренне преданный Санчесу, вынужден был пойти на маневр: «Диас нужен рядом с майором Лопесом для того, чтобы нашим ведомствам было легче координировать работу по защите родины; Диас имеет опыт штабной школы, он и в моем министерстве просидел три месяца на закордонной разведке; ситуация такова, что с Лопесом должен быть человек-координатор, у меня нет никаких претензий к майору, видимо, я неловко пошутил».

Санчес досадливо заметил: «Вопрос не в неумелой шутке, Пепе, а в том, что ты действительно не любишь Лопеса... Это твое право, но надо уметь скрывать свои симпатии и антипатии во имя общего дела, которое невозможно без единства... И потом, не сердись, Пепе, шизофрения начинается с бестактности... Я порою восторгаюсь выдержкой майора Лопеса, когда ты — не называя конечно же по имени — обвиняешь его во всех смертных грехах...»

Шеф общественной безопасности долго с горестным недоумением смотрел на Санчеса, словно бы заново оценивая раннюю седину, что так контрастировала с молодыми глазами и губами, в которых угадывалась недавняя юность (Санчесу только что исполнилось двадцать девять лет), а потом, поднявшись, сказал:«Хорошо, полковник, я обещаю тебе посетить психиатра, и если доктор скажет, что я шизофреник, то завтра же попрошу об отставке». Он хотел было добавить, что, перед тем как уйти в отставку, передаст ему, Санчесу, неподтвержденные, правда, агентурные данные о том, что Лопес проявляет весьма подозрительную активность в тех округах, где наиболее мощные плантации какао-бобов, и что он дважды встречался с личностями, которые находятся под подозрением по поводу тайных контактов с «дипломатами» из американского посольства.

Он, однако, не знал и не мог знать, что у Санчеса есть более тревожные сведения об активности Лопеса, полученные от Леопольдо Грацио. Как человек талантливый и честный, Санчес требовал неопровержимых улик; он вполне допускал возможность провокации со

стороны его противников — нет ничего проще погубить прогрессивное движение, как посеять семена вражды между теми, кто составляет костяк руководства.

Воистину справедливо сказано было: всякое царство, разделенное внутренней враждой, обращается в пустыню и дом на дом падает.

Стратегический план Санчеса строился на факторе времени: как только соглашение об энергопрограмме будет подписано, как только страна получит заем, то есть реальные деньги, главная опора, на которой держались правые, спекулируя на экономических трудностях, будет выбита у них из-под ног. Санчес, впрочем, никогда не думал, что т я г у ч к а, связанная с получением займа, столь изматывающа; Грацио, однако, говорит, что это в порядке вещей, эксперты банков перепроверяют через свои разведслужбы надежность режима, платежеспособность гаривасской валюты, компетентность министерств финансов и экономики. А что делать? Вкладывают ведь не что-нибудь, но золото, дьяволов металл.

Санчес верил Грацио; он конечно же отдавал себе отчет в том, что этот человек лелеет честолюбивую мечту сделаться отцом нации, оттеснить американцев, доказать всем в третьем мире выгоду «европейской ставки»; пусть себе, дадим ему лавры «отца нации», только бы сделал дело. Однако чем дальше, тем больше Санчесу казалось, что Грацио несколько у т е р я л реальную перспективу, поскольку был человеком могучим, жил собою, своим миром и не очень-то о г л я д ы в а л с я. Санчес в аккуратной форме сказал ему об этом, Грацио рассмеялся: «Моя мама всегда жалела меня и говорила, что я бездумно трачу деньги, верю не тем людям и люблю не тех женщин... Но ведь я жив, и дела мои идут неплохо, и женщины пока еще не жалуются на меня, и друзья рядом, хотя кое-кто порою продает по мелочи, я смотрю на это сквозь пальцы».

...Санчес жил сейчас особой жизнью: он тревожно ощущал каждую минуту, понимая, что реализовать себя, то есть свою мечту, он может лишь во времени. А время — оно никому из смертных не подвластно.

...В машине, пристегнув ремень безопасности, Санчес с усмешкой посмотрел на Карденаса, который передвинул маузер на колени:

— Дружище, неужели ты вправду считаешь, что твоя штука может гарантировать нам жизнь, если кто-то хочет ее у нас отнять?

— Конечно, нет,— ответил Карденас.— Мы все живем в мире приспособлений, как артисты. Тем не менее так мне спокойнее, хотя я понимаю, что никакой маузер не спасет, если из-за угла снова выскочат два негодяя со «шмайссерами».

...В клубе полковник Санчес обычно играл несколько партий со стариком Рамиресом, маркером, работавшим здесь полвека. Рука у старика тряслась, он с трудом двигался вокруг огромного стола, но в момент удара лицо его было словно вырубленным из мрамора, морщины расходились, глаз б е с е н е л, а рука становилась собранной, никакой дрожи. Он давал Санчесу фору, научив его диковинной польско-русской игре в «пирамиду». В молодости, семнадцатилетним палубным матросом, Рамирес ходил на кораблях в Европу, крепко перепил в Петербурге, отстал от экипажа и год прожил в северной столице, помирая от промозглого холода; спас его трактирщик Влас Егорович Сырников, оставил посудомоем и одновременно учителем испанского языка для своих сыновей. Те однажды привели Рамиреса в бильярдный зал, дали кий в руки, и, на удивление всем, матрос начал класть такие шары, что все только диву давались. Здесь молодой испанец заработал на приличную одежду, выучился объясняться по-русски, поднакопил денег, нанялся на американский корабль и вернулся за океан, сначала в Нью-Йорк, а оттуда уже в Гаривас.

Было старику сейчас восемьдесят девять, однако именно к нему, сюда приезжали учиться удару и стратегии игры не только со всего Гариваса, но из Штатов, Бразилии, Чили.

Он жил игрою, зарабатывал хорошо, все деньги тратил на своего единственного внука Пепе, тридцатилетнего хлыща; больше у старика никого на свете не осталось. Пепе работал в баре «Эль Бодегон», щипал гитару, мечтал о карьере актера; старик Рамирес отправлял его в Мексику на съемки пробоваться; все было хорошо, пока парню не надо было выходить на площадку под юпитеры,— он цепенел, двигался как робот на батарейках; старик хотел было пристрастить его к бильяр-

ду, но внук ответил: «Вьехо, тут надо считать и думать, а мне скучно, я хочу просто-напросто жить».

Именно Рамирес научил Санчеса, когда тот был еще лейтенантом, хитрости оттяжки шара на дальний борт, умению прятать от противника тяжелый костяной «свояк», словом, стратегии этой мудрой, рискованной игры, поэтому и сейчас, когда полковник приезжал в полутемный зал, где низкие старомодные абажуры высвечивали изумрудное поле столов, старик по-прежнему называл его Малышом и грубо бранил за плохие удары.

— Хочешь похитрить?— спросил он, подавая Санчесу кий с монограммой.— Устал?

— Немного,— ответил Санчес,— ты, как всегда, прав, дорогой Бейлис.

(Рамирес однажды рассказал ему про русского мастера Николу Березина, который обыгрывал всех подряд; его звали Бейлис, потому что в Киеве он играл так рискованно, что продулся до нитки, сделал последнюю ставку на свой костюм и его просадил; профессионалы собрали ему деньги на пиджак и брюки; в Киеве тогда шел процесс Бейлиса, обвинявшегося черносотенцами в ритуальном убийстве русского мальчика. Тому тоже собирали деньги по «подписным листам»; с тех пор Березина звали Бейлисом, и Санчесу очень понравилась эта история. Рамирес вообще был напичкан всякого рода историями. Санчес слушал его завороженно. «Ты очень хороший человек, Малыш,— сказал ему как-то Рамирес,— ты умеешь слушать. А это большая редкость в наш век — хороший человек на посту премьера».)

— Сколько даешь форы, вьехо?— спросил Санчес.

— И не стыдно тебе брать у старика фору, Малыш?

— Совсем не стыдно, потому что ты играешь в десять раз лучше меня.

— В семь. В семь, а не в десять. Наша партия будет стоить десять песо, о'кэй?

— О'кэй.

— Я дам тебе десять очков форы, сынок, и этого достаточно, ты стал классным игроком...

Рамирес легко подкатил шар к пирамиде, еще раз помазал кий синим мелком и сказал:

— Ну, давай...

---

[1] Старик (*исп.*).

Санчес, чуть тронув «своим» пирамиду, спросил:

— Сильно ругают меня твои аристократические гости?

— Достается,— ответил Рамирес.— Я попробую сыграть пятерку от двух бортов в угол, Малыш.— Он мастерски положил шар.— Но тебя ругают слишком зло, значит, наступаешь кому-то на пятки. Надо ли так резко? Может, как я учу тебя на пирамиде, не стоит особенно торопиться? Начнешь свои реформы попозже, когда люди поверят, что это не есть насилие во имя насилия, а принуждение для их же блага. Десятку к себе в угол.

Наблюдая за тем, как Рамирес собирался перед ударом, Санчес ответил:

— Ты прав, нужно уметь ждать, но еще страшнее опоздать. И потом, те, которым мы наступаем на пятки, имеют возможность посещать этот прекрасный клуб, а девяносто пять процентов нашего народа и не знают, что даже днем, в жару здесь можно отдыхать при температуре двадцать градусов, когда жужжит кондиционер, и ты вправе вызвать чико, который принесет виски со льдом, или раздеться и залезть в мраморный бассейн... Если бы хоть четверть нашего населения жила в мало-мальски сносных условиях, вьехо, можно было бы погодить, но когда нищенствует большинство, приходится наступать на пятки тем, кого не волнует судьба сограждан...

— Смотри,— вздохнул Рамирес.— Ты слишком смело машешь красной тряпкой перед мордами очень крепких быков, килограммов по пятьсот каждый, и рога у них острые, как шило... Смотри, Малыш...

Рамирес промахнулся на этот раз, шар остановился возле лузы, и Санчес красиво положил его, а потом положил еще два шара и почувствовал, что началась к л а д к а.

— Послушай, Малыш, мой внук Пепе, я рассказывал тебе о нем много раз, неплохо поет... Ты говорил в последней речи по телевидению, что намерен открыть театр для народа... Он мечтает спеть тебе несколько песен, может быть, его примут в труппу?

— Я плохой ценитель, вьехо,— ответил Санчес, но, заметив, как огорчился старик, заключил:— Пусть придет в следующий раз, пусть споет... Если мне понравит-

ся, я скажу ему честно, пусть тогда идет в театр и, не ссылаясь на меня, запишется на конкурс.

(Агент ЦРУ Орландо Негро вплотную работал с Пепе Рамиресом последние три месяца по плану, разработанному в Лэнгли. Он доказывал парню, что время художественного кино кончилось, сейчас настала пора хроники, документального кадра, триумф Якопетти и все такое прочее. Звездою экрана и сцены можно стать, совершив нечто такое, о чем заговорит мир. Пепе на это клюнул. «А что, по-твоему, может заинтересовать мир?» Орландо ответил: «Ну, не знаю... Человек входит в клетку к львам, выпрыгивает из самолета, терпящего катастрофу, и спасается, лезет в извергающийся вулкан или участвует в заключительном акте революции, когда герой устраняет тирана». Орландо увидел страх в глазах Пепе. Тот спросил, понизив голос: «Какого тирана ты имеешь в виду?»— «Сальвадорского,— ответил Орландо.— Или гватемальского. Не считаешь же ты нашего Санчеса тираном?»— «Он друг моего деда, а дед не стал бы дружить с тираном».— «Санчес — не тиран, смешно и говорить об этом, а вот ты дурак. Используй это знакомство, он подтолкнет тебя коленом под зад на сцену. Я дам тебе двух лучших гитаристов из Мексики, подготовь номер и попроси деда сделать так, чтобы тебя послушал премьер. Об этом через час узнают на телевидении, назавтра ты выступишь солистом в ночной программе».

Гитаристами из Мексики были ребята из группы «завершающих операций» ЦРУ.

Дворец охраняют силы безопасности, верные Санчесу; штурм поэтому невозможен.

Компрометировать майора Лопеса не входило в план Майкла Вэлша, ибо Лопес должен провозгласить себя преемником дела Санчеса, он обязан поклясться в верности погибшему герою.

Оставался один выход — ликвидация премьера фанатиками из специальной группы, которым будет сказано, что «красные береты» из охраны дадут им возможность беспрепятственно уйти из «Клаб де Пескадорес», на пирсе их ждет сверхмощный катер.

В свою очередь, Лопес проинструктирует «красные береты» об особой бдительности — после того, как дело будет сделано, Пепе и гитаристов изрешетят пулями, никаких следов.

Это был один из проектов ликвидации Санчеса. Помимо этого проекта существовало еще девять, проработанных и отрепетированных до мелочей).

— Когда ты придешь ко мне в следующий раз?— спросил Рамирес.— Я бы предупредил Пепе...

— Не могу сказать, вьехо... Я бью четырнадцатого налево в угол...

Старик достал из кармана рубашки алюминиевый цилиндр, открыл его, достал толстую сигару «Упман», заметив:

— Плохо целишь, бери левее.

— Спасибо, вьехо,— Санчес ловко положил шар.— Сейчас предстоит много дел, понимаешь... Но, видимо, в пятницу я вырвусь к тебе. Или в субботу. Предупреди Пепе, чтоб ждал твоего звонка... Восемь к себе в середину.

— Не стоит. Слишком рискованный шар.

— Кто не рискует, тот не выигрывает.

— Это в политике. В бильярде все по-другому.

Санчес промазал, рассмеялся.

— Вот я и отдохнул у тебя, вьехо.

— Это правда, Малыш, что ты собираешься жениться на балерине Кармен?

— И об этом говорят?

— Еще как... Девять налево в угол.

— Мы просто-напросто друзья с нею, жениться я не собираюсь ни на ком, даже на той, которую люблю, вьехо, потому что нельзя себя делить: я принадлежу этой стране, а если рядом будет любимая, я стану отдавать ей слишком много сердца...

Рамирес положил десятку и вздохнул.

— Малыш, мне очень тебя жаль... Когда ты был лейтенантом, тебе жилось легче и беззаботнее... А за этот год ты стал седым, и хотя в газетах пишут, что у тебя молодые глаза, но я-то помню, какими они были, когда ты был действительно молодым...

8

11.10.83 (23 часа 06 минут)

Последний раз Леопольдо Грацио позвонил из отеля «Континенталь», где, как обычно, остановился в президентском пятикомнатном люксе.

Он попросил фрау Дорн, свою секретаршу из франкфуртского филиала корпорации, прилететь первым же рейсом в Берн; никто, кроме нее, не умел оформлять стенограммы особо важных совещаний; завтра предстояло именно такое совещание с представителями американской «Юнайтед фрут» и «Ройял Шелл».

Затем Леопольдо Грацио заказал себе ромашкового чая — ничто так не помогает пищеварению; попросил метрдотеля приготовить на завтрак кусок полусырого мяса и авокадо с икрой, пошутив при этом:

— Бюнюэль назвал свой фильм, обращенный против нас, замученных бизнесменов, «Большая жратва», но вы-то знаете, что я позволяю себе шиковать лишь в исключительных случаях...

— О да,— почтительно согласился метрдотель, не посчитавший возможным заметить, что автором фильма «Большая жратва» был вовсе не Бюнюэль,— они все обозлены на мир, эти режиссеры, полная безответственность.

Положив трубку телефона, метрдотель в сердцах сплюнул: как и всякий человек, вынужденный лакействовать, он в глубине души ненавидел тех, кого обслуживал и чьею милостью жил в довольстве, если не сказать — роскошестве.

9

11.10.83 (23 часа 07 минут)

— Месье Лыско, через три хода я объявлю вам мат,— сказал Серж, хозяин маленького кафе, куда советский журналист приходил почти каждый вечер — выпить чашку крепкого чая и сыграть пару партий в шахматы.

Он жил в этом же доме на Рю Курнеф; квартиру занимал маленькую: редакция срезала бюджет на жилье; одинокий, вполне хватит двух комнат, кабинет можно оборудовать и под гостиную, холостяку не обязательна столовая, тем более многие иностранцы знают, что москвичи принимают порой гостей по-домашнему, на кухне,— самый обжитой уголок в доме, даже тахту умудряются поставить, чтобы телевизор было удобнее смотреть.

— Через два хода вы согласитесь на ничью, месье Не,— ответил Лыско задумчиво.

В кафе никого уже не было, только парень в парижской сине-красной кепочке тянул свой «пастис»[1], устроившись возле запотевшего окна так, словно он намерен остаться здесь на ночь.

— Может быть, еще одну чашку сладкого чая?— спросил Серж. — Чтобы горечь поражения не была так ощутима?

— Я готов угостить вас рюмкой кальвадоса, чтобы не было слишком грустно просадить выигрышную партию, месье Не.

— Объясните, месье Лыско, отчего в России нельзя играть в шахматы в таких кафе, как мое?

— Это необъяснимо. Я за то, чтобы играть в наших кафе в шахматы. Впрочем, культура нарабатывается не сразу; мой покойный отец впервые увидел телевизор в пятьдесят первом году, и экран был величиной с консервную банку, а мой пятнадцатилетний племянник родился в доме, где уже стоял цветной ящик, и это считалось само собой разумеющимся. Как и то, что я мог только мечтать о мопеде, а он гоняет на нем в техникум... Когда-нибудь доживем и до того, что станем в кафе играть в шахматы...

— Вы мыслите так четко и, несмотря на это, проигрываете в шахматы, месье Лыско. Я обещал вам мат?

— Обещали.

— Может, вам угодно сдаться?

— Никогда,— ответил Лыско, понимая, что партия проиграна.

Ему очень нравилось это французское «жамэ»[2], оно казалось ему столь же абсолютным, как и наше «никогда»; слово это особенно понравилось ему, когда он, юношей еще, увидел его на киноафишах,— фильм Поженяна так и назывался «Никогда»; все-таки талант не может не быть дерзким, так и надо, вот я не талантлив, оттого и дерзости во мне ни на грош, подумал он и, поднявшись, пошел к телефону, что стоял на стойке бара.

— Итак, вы сдаетесь,— торжествовал Серж,— не правда ли, господин красный коммунист?

— Я проиграл данную конкретную партию, господин мелкий буржуа, но общий счет тем не менее в мою пользу.

[1] Анисовая водка.

[2] Никогда (*франц.*).

Набрав номер, Лыско сказал:

— Мари, я закончил дело. Ты приедешь ко мне завтра утром? Жаль, я начну диктовать первый кусок в десять, хотелось, чтобы ты посмотрела все начисто... А когда? Ладно, я попробую перенести разговор с редакцией на час... Отчего у тебя грустный голос? Ну-ну... Ладно, обнимаю тебя, спокойной ночи... Что? Не знаю...

Парень в парижской сине-красной кепочке с помпончиком бросил на стол пять франков, лающе зевнул и вышел из кафе.

Серж налил себе глоток кальвадоса, медленно выпил терпкую яблочную водку и убрал фигуры в большой инкрустированный ящик.

Лыско медленно опустил трубку, усмехнулся чему-то, пожелав месье Не доброй ночи, пошел к себе, хотя спать ему не хотелось — он жил ожиданием завтрашнего утра...

10

12.10.83 (8 часов 45 минут)

Полицейский инспектор полиции Шор долго сидел на белом стуле с высокой золоченой спинкой, разглядывая Леопольдо Грацио; его голова была разнесена пулей, огромная кровать залита темно-бурой кровью; пистолет валялся на белом мохнатом ковре; когда эксперт поднял на инспектора глаза и отрицательно покачал головою, Шор снял трубку и набрал номер шефа, комиссара Матэна.

— Отпечатков нет.

Матэн долго молчал, потом сказал сухо, рубяще:

— Никаких контактов с прессой! Постарайся сделать все, чтобы информация не попала в вечерние газеты!

— Не обещаю,— буркнул Шор.— Слишком заметная фигура.

— Тем не менее я полагаюсь на твой опыт, Шор.

11

12.10.83 (8 часов 45 минут)

Степанов всегда останавливался здесь, на авеню Симплон, когда издатель вызывал его из Москвы править верстку. Хозяйка маленького пансиона мадам

Брюн давала хороший завтрак (в отличие от других отелей и пансионов — с сыром, ветчиной и яйцами по-венски, а не один лишь джем и кофе), клиенты у нее были поэтому постоянные и цены за номера не росли так стремительно, как в других местах.

Степанов просыпался до того еще, как начинало рассветать, снотворное не помогало; он поднимался не сразу, лежал, запрокинув руки за голову, устало рассматривал потолок, оклеенный ситцевыми обоями, такими же, как на стенах и на полу; мадам Брюн любила завершенность во всем, даже в том, чтобы маленькую комнату сделать коробочкой, уют прежде всего.

«Чем старше люди, особенно женщины,— подумал Степанов,— тем больше их тянет к законченной ограниченности пространства... Неужели это врожденное стремление к тому, чтобы не было страшно ложиться в ящик? Все равно ведь страшно. На этом страхе состоялось новое качество Толстого, да одного ли его разве?»

Он повернулся на бок и стал считать до ста, раньше ему это помогало заснуть хотя бы на полчаса; день предстоял хлопотный: надо было еще раз встретиться со славным журналистом из «Суар» Бреннером (о нем много говорили после его цикла интервью с финансистами и политиками Европы и Азии), в четыре часа, сразу же после ланча, ждали на телевидении — он хотел посмотреть съемки фильма в павильоне, здесь это умели делать чуть ли не в одной декорации, очень быстро и дешево; вечером Алекс пригласил в «Гран серкль», там помимо хорошей рыбы и вина из Прованса было маленькое казино, играли т у з ы, Степанову надо было подышать тем воздухом, в голове отливалась новая книга, ч у в с т в о в а л а с ь необходимость сцены в игорном доме, один раз он был в Монте-Карло, несколько раз в Баден-Бадене, но все происходившее там казалось опереттой: старухи в шиншиллах, быстрые арабы в расклешенных брючках, туго обтягивающих ляжки, алкоголики в галстуках, взятых напрокат при контроле,— в казино нельзя без «бабочки» или галстука, традиции прежде всего, приличие и еще раз приличие, даже стреляться разрешено лишь в туалете, только бы не портить общую картину...

Когда надоело считать и он решил было подниматься, наступил тревожный жаркий сон; видения были от-

вратительные — какой-то черно-белый пес с рогами катался по траве,— видимо, к перемене погоды, да и вообще, когда Степанов видел во сне собак, быть неладам.

Проснулся он, словно вскинулся, хотел отогнать видение, но оно было явственным, как назойливый визитер с рукописью, которую необходимо прочитать, дать отзыв, написать предисловие и порекомендовать в журнал. «Только б Бэмби послушала меня,— подумал он,— хоть бы не переторопилась, ведь такая упрямая, и хоть доверчива, как маленький олененок доверчива, но и скрытна, все в себе носит, дурашка, нет чтобы рассказать, так ведь всегда недоговаривает... А ты,— спросил он себя,— разве ты не такой же?»

Сквозь жалюзи пробивалось солнце, его было м н о г о, но оно было особым, парижским, холодным, даже когда жарко; отчего-то парижское солнце сопрягалось в сознании Степанова со словом «этранже», столь распространенным во Франции; иностранцев, «этранже», здесь не очень-то жалуют, солдат Шовен, по имени которого утвердилось понятие «шовинизм», родился не где-нибудь, но именно здесь...

А потом лучи солнца стали похожими на форель, которая подолгу, недвижно затаившись, стоит в бочажинах у каменных порогов на речке, что возле Раквере, на востоке Эстонии, во время белых ночей. Форель исчезала, если ее «подшуметь», так же нереально, как и появлялась; невозможно было заметить то мгновение, когда вместо большой рыбы с синими и красными крапинками по бокам оставались медленные круги на воде. Лучи солнца на потолке исчезали так же мгновенно и возникали вновь неожиданно, словно кто-то невидимый закрывал щель на бордовой портьере.

«Голубые — для уюта, красные — для сладострастий»— так, кажется, у Маяковского,— подумал Степанов, вспомнив «Клопа».— Или наоборот? Учителя всегда ставили мне двойки за то, что я ошибался в деталях. Я-то ладно, пережил все это, а бедная моя Ольга продолжает страдать. За что ей Зина влепила двойку? Ах да, я сказал Ольге, что Чехов написал: подробность — сестра таланта. А Чехов, оказывается, говорил, что «краткость — сестра таланта». Вообще-то одно лишь подтверждает другое: подробность обязана быть краткой, иначе это и не подробность вовсе, а досужее описательство».

Степанов услыхал шаги в коридоре. Шаги были мягкие и быстрые — мадам Брюн, сама убиравшая эти три комнаты на мансарде, ходила в тапочках, подшитых войлоком, чтобы не тревожить гостей маленького пансиона; ее друг и сожитель месье Рабефф любил повторять: «Мы не можем предоставить постояльцам телефонный аппарат в клозете, как это принято сейчас в «Жорж Санк», но мы гарантируем каждому восемь часов сна в любое время суток».

Степанов вылез из-под толстого, нереально легкого пухового одеяла, подошел к окну и захлопнул форточку — комнату за ночь выстудило, месье Рабефф экономил на отоплении, радиаторы были нагреты обычно лишь наполовину — и снова лег.

Кровать еще хранила тепло его тела; Степанов натянул одеяло до подбородка, взял со столика «голуаз», глубоко затянулся и снова стал наблюдать за солнечными лучами, которые, казалось, замерли недвижно лишь для того, чтобы спружиниться, набрать побольше силы и исчезнуть — точно как форель.

«Мы стареем незаметно,— подумал Степанов,— и отмечаем вехи времени, лишь когда исчезают фамилии фаворитов от футбола. Был в ЦДКА Григорий Федотов — умер. А потом играл его сын. Ага, значит, отстучало двадцать лет. Или восемнадцать — футболисты в отличие от дипломатов рано начинают и так же рано заканчивают... Я очень постарел. Даже страшно подумать, как я постарел. Если бы мне кто-то сказал десять лет назад, что я стану нежиться под одеялом на мансарде в Париже в девять утра, я бы даже не рассвирепел, хотя свирепею, когда за меня решают или придумывают мои поступки... Что я снова свожу счеты с Надей? — усмехнулся он.— Зря. Сводить счеты надо с врагами; с женщиной, которую любил, нельзя, это трусость. Подстраховка мужской гордости — сводить счеты в мыслях, чтобы, упаси бог, не вернуться в один прекрасный день. А может, это противоядие против ревности. Ладно. Хватит об этом. Как говорят наши классовые враги: «Но коммент...» Если бы я приехал в Париж десять лет назад или даже пять, я ложился бы в три, а просыпался в пять и был бы все время на улицах. Париж относится к тем городам, которые сначала понимаешь через улицу, а потом уже через людей. Впрочем, люди здесь похожи на массовку в декорации,

сделанной Леонардо; не они определяют лицо Парижа, скорее, Париж милостиво дает им право называть себя парижанами. Как мы, русские, прячемся в литературе под шатер, поставленный Пушкиным и Толстым, так и здешние горожане несут на себе отблеск величия своего города. Это точно... Я заметил, как вчера Бреннер знакомил меня с Шарлем Бисо. Он не смог скрыть презрения :«Бисо из Вандеи». Зачем, между прочим, Джордж Мельцер так накачивал меня виски? Вообще-то он напился первым. Хотел, чтобы я, напившись, признался ему, что мой кодовый номер в КГБ «007»? Но боятся нас только не очень умные люди. Особенно те, которые в детстве не успевали по литературе и увлекались спортом. Они знакомы с Гоголем по «Золотой библиотечке», издаваемой в «Оксфорд пресс»; те «Мертвые души» умещаются на двенадцати страничках, и про Собакевича там сказано, что он «жадный и негостеприимный старик». Как, между прочим, доехал Джордж? Он же был на машине. Хотя у него дипломатический номер. Журналист с дипломатическим номером. Сам он шпион, сукин сын. А девка с ним была славная. Сам шпион, поэтому и считает, что вокруг тоже одни шпионы. У него глаза вечно испуганные. И только когда напивается и снимает свои дымчатые очки, видно, что его глаза какие-то молочные, и вообще он, наверное, в детстве любил ловить бабочек большим сачком».

Степанов вдруг увидел — явственно, будто кадр из цветного фильма — громадный луг, поросший жесткой желтой травой, и синих кузнечиков, которые летали, издавая странное жужжание, будто далекий треск вертолета. Но тогда, в известинском пионерском лагере, ребята еще не знали, что скоро вертолеты сделаются бытом, и не знали они, что их будут увозить оттуда под бомбежкой, никто еще ничего не знал, потому что было лето тридцать восьмого года. Степанов вспомнил, как тогда, бегая с большим сачком за кузнечиками, он вдруг испугался чего-то неведомого, остановился, а потом лег на жесткую траву, ощутил ее тяжелый солнечный запах и вдруг заплакал неудержимо, как женщина, которую обидели, совсем не по-детски, долго не мог понять, отчего же он так плачет, и, только когда семилетняя Алка Блат стала гладить его по плечам и успокаивать, вдруг понял, что испугался смерти, представив себе, что когда-нибудь исчезнет этот

желтый, иссушенный луг, и синие кузнечики, и солнце, и все вокруг исчезнет, потому что умрет он сам...

«Все-таки курить натощак,— подумал Степанов,— типично русская манера. Американцы пьют стакан сырой воды, французы торопятся получить свой кофе, а мы тянемся за сигаретой. Жаль, что у нас исчезли маленькие пачки «Дуката» по семь копеек. Самые были хорошие сигареты. Они появились году в сорок шестом — первые наши сигареты. До этого были папиросы «Норд», «Беломор» и «Казбек». Отец, правда, курил «Северную Пальмиру», пока не перешел на «Герцеговину Флор». Его восстановили в партии и на работе в первые дни войны; в четыре часа утра к нам домой позвонил Поскребышев, помощник Сталина, и сказал отцу, что сегодня же надо выехать в Смоленск — готовить загодя партизанские типографии... Да, лет пять назад я бы, конечно, не предавался в Париже воспоминаниям, а ездил в метро — утренние поезда в любом городе мира похожи на социальную анкету, успевай только анализировать информацию: кто во что одет, что читают, как говорят друг с другом, много ли смеются, толкаются ли в дверях. Говорят, у нас толкаются. Черта с два. Это здесь толкаются, а у нас верх галантности, чудо что за пассажиры. Только у наших старух особые локти, словно у них не кости, а деревянные протезы. «Советские старухи — самые старые старухи в мире!» А что, с точки зрения социологии, в этом тоже есть свой прекрасный смысл...»

— Месье Степанофф!— пропела мадам Брюн, чуть прикоснувшись к двери подушечками своих толстых пальцев.— Месье Степанофф! Вам звонят!

Стучать она не решилась — слишком резкий звук, постоялец может вздрогнуть от неожиданности; мягкость, во всем мягкость, гостя нужно холить. Степанов тем не менее вздрогнул. Он никому не давал номер телефона, предпочитал звонить сам.

— Я сплю.

— Я знаю, месье Степанофф, я сказала об этом абоненту, но он срочно требует вас к аппарату.

«Наверное, Джордж. Он мог узнать, где я остановился».

— Кто звонит?

— Какой-то советский господин.

Степанов накинул халат и попросил:

— Мадам Брюн, не смотрите на меня, я голый.

Брюн рассмеялась, словно рассыпала по столу пуговицы.

«В моем варварском французском она поняла лишь то, что я голый,— подумал Степанов.— Наш самоучитель ни к черту не годится».

Телефонный аппарат стоял в маленьком коридоре, оклеенном ситцевыми, в цветочках — на немецкий манер — обоями.

Мадам Брюн стояла возле телефона и держала в руке трубку.

— Я думала, вы действительно голый,— сказала она,— мне было бы так интересно увидеть голого красного.

— Еще увидите,— пообещал Степанов, и мадам Брюн ушла по винтовой лестнице вниз, раскачивая задницей, необъятной, как аэродром.— Слушаю,— сказал Степанов, провожая взглядом мощные телеса мадам Брюн.

— Дмитрий Юрьевич, посол просит вас приехать к нему в десять.

— А сколько сейчас?

— Спали еще?

— С чего это вы?

— Мадам сказала, что вы голый.

— Вот как... Когда же это она успела?..

— Они проворные... Сейчас девять пятнадцать...

— Хорошо, я буду к десяти.

Степанов наскоро принял холодный душ, бросил в стакан воды таблетку аспирина — французы утверждают, что аспирин надо пить профилактически каждый день, чтобы разжижать кровь, а после пьянки три раза в день; заел кислую воду жестким красным безвкусным яблоком и, только спустившись вниз, недоумевающе подумал: зачем он, приехавший на этот раз править корректуру своей книги, а не по журналистскому мандату, мог понадобиться столь неожиданно?

12

12.10.83 (10 часов)

Посол Андреенко был сед, моложав, поразительно быстр в движениях; со Степановым их связывала давняя дружба; разница в возрасте — двадцать лет — чем

дальше, тем больше стиралась; особенно после того, как Степанов провел военкором в джунглях Вьетнама и у партизан Лаоса полгода, побывал в переделках в Чили, на Борнео, в Западном Берлине во время бунта «новых левых», в Ливане, когда Израиль только-только начинал планировать агрессию, и тот незримый разрыв, отделявший фронтовиков ото всех тех, кто не был солдатом Отечественной, все больше и больше стирался, хотя конечно же ни одно из трагических событий, свидетелем которых был Степанов, не могло сравниться с теми четырьмя годами битвы, участником которой — с первого дня — был Андреенко.

— Я не очень нарушил ваши планы?— спросил Андреенко, когда Степанов пришел к нему.

— А я люблю, когда нарушают мои планы... Особенно если во время и по делу. Если мне мешают работать,— усмехнулся Степанов, — это еще больше аккумулирует добрую злость, пишется потом особенно жадно...

Андреенко покачал головой.

— «Добрая злость»? Не слишком ли много здесь от фокуса?

— Ну и что? Плохо, если его мало. Фокус, как и анекдот, суть, сюжет для книги, повод для дискуссии, побудитель несогласия...

— И это хорошо?

— Бесспорно, Петр Васильевич. Я пришел в этот мир, чтобы не соглашаться,— кажется, сие Горький. Подвергай все сомнению — Маркс.

— Когда это говорят мыслители, они готовят мир к новому качеству, Дмитрий Юрьевич, и я с ними солидарен, но к великим часто примазывается могущественная прослойка лентяев, которые козыряют гарантированным правом не соглашаться во имя того, чтобы бездельничать.

— Отлито в бронзу,— Степанов вздохнул.— Можно чеканить.

Андреенко открыл красную папку, цепко пробежал машинописный текст, спросил, не поднимая глаз:

— Вы журналиста Лыско знаете?

Степанов нахмурился, вспоминая, поинтересовался:

— Он аккредитован во Франции?

— Нет, в Шенеф, это европейский Пресс-центр...

— Что-то слыхал, Петр Васильевич, но знать на знаю. Быть может, встречались где... Что-нибудь случилось?

— Да.— Андреенко протянул Степанову два сколотых листка бумаги.— Почитайте.

На первом листке сообщалось, что ночью был избит до полусмерти и отправлен в Москву журналист Николай Иванович Лыско, сорок пятого года рождения, украинец, холостой; в консульстве об этом узнали от неизвестного, который назвал место, где лежит Лыско, и предупредил, что, если красный еще раз посмеет приставать к его любимой женщине Мари Кровс, он будет убит.

На втором листке сообщалось, что Мари Кровс — журналистка из Гамбурга, аккредитована при Пресс-центре, там же, где работал Лыско.

Степанов пожал плечами.

— А какое все это имеет отношение к Парижу, если не считать, что бедный Лыско — наш гражданин?

— Непосредственное,— ответил Андреенко.— Сегодня утром мне доложили, что кто-то, назвавший себя доброжелателем, оставил в консульстве папку, в которой хранилась запись разговоров Лыско и этой самой Кровс... Интимные разговоры...

— Ну и что?— Степанов снова пожал плечами.— Я не пуританин.

— Вам можно позволить себе эту роскошь,— Андреенко, в свою очередь, улыбнулся.— Мне, увы, нет, и не столько потому, что я посол, сколько потому, что я старше вас и дольше работаю здесь, за рубежом... Словом, в записке, оставленной вместе с пленкой, говорится, что Лыско дурно себя вел...

— Что-то пахнет грязью...

— Согласен. Именно поэтому я и хотел предложить вам этот «сюжет для небольшого рассказа»... Беретесь? Или дел невпроворот?

— Я же сказал: мне нравится, когда мешают.

13

2.10.83 (10 часов 45 минут)

Первый выброс акций гаривасских какао-бобов, на которые ставил Леопольдо Грацио, оказался громом среди ясного неба; кто-то резко снизил цену за едини-

цу товара; к продаже было объявлено акций на общую сумму в десять миллионов долларов.

Маклеры осаждали кабинеты двух представителей Леопольдо Грацио — шефа европейского бюро Хуана Бланко и специального консультанта по связям с биржами Северной Америки и Гонконга доктора Бенджамине Уфера; ни того, ни другого не было; секретари отвечали, что ждут боссов в течение получаса; биржа гудела, как улей; кто-то пустил слух, что к вечеру цена упадет еще больше; репортеры передали сообщения в «Бизнес ньюс» и «Файненшл таймс» о том, что кто-то начал игру на понижение акций Грацио, возможна кризисная ситуация; экономический советник Гариваса отказался прокомментировать вопросы журналистов.

14

12.10.83 (10 часов 45 минут)

— Ты должна мне оставить хотя бы иллюзию свободы,— сказал Бреннер и отошел к окну, чтобы сдержать ярость.— Мы живем с тобой девять лет, и тебе пора понять меня. Я не могу ездить в Киль, потому что там, по твоим сведениям, у меня была любовница Хельга, и в Рим — там была Вероника. По твоей милости Европа сделалась для меня очень маленькой. Лгать тебе? Говорить, что я лечу в Лиссабон — там у меня, кажется, пока еще никого не было,— и заворачивать в Гамбург, чтобы выгодно продать цикл репортажей под чужим именем, получить деньги и смиренно привезти их тебе? Я — чем дальше, тем больше — не могу понять, чего ты хочешь, Мишель?

— Правды. Я хочу правды.

Эти унылые скандалы, ставшие составной частью их быта, повторялись не менее трех раз в месяц. Сначала они довольно быстро мирились, чаще всего в постели, но потом, чем известнее становился Бреннер, чем уважительнее говорили о его политических анализах в газете, чем более серьезные задания ему давал шеф-редактор, отправляя то в Москву, то в Вашингтон, то в Пекин, то в Токио, тем тяжелее и горше было ему дома, ибо Мишель, не желавшая знать его дел, требовала невозможного. Бреннер был убежден, что она любила

не его, а свою любовь к нему. Он считал, Мишель — на самом-то деле несостоявшийся художник, причем очень талантливый, она поэтому и требовала от окружающего ее мира той полной и законченной гармоничности, которую, как правило, создают живописцы в своих творениях, однако в мире такого рода гармонии нет и быть не может. А потом он стал думать, что ей просто-напросто не хватает его. «Мы с тобою одного роста,— кричал он во время очередного скандала, начавшегося из-за ерунды, у них все скандалы начинались из-за ерунды,— моя обувь только на размер больше твоей, а тебе нужен громила с бицепсами! Ходи в бассейн! Уставай! Перекопай сад! Или заведи себе кого-нибудь, но так, чтобы это было в рамках элементарного приличия! И перестань вить из меня веревки! Если я сдохну от инфаркта, тебе будет очень несладко! Я всюду в обороне. В редакции я обороняюсь от завистливых друзей, в поездках — от врагов, дома — от тебя! С тобой нужно жить с позиции силы, как это делают другие мужчины! Купить любовницу, и все! Не нравится — развод! Хочешь жить, как живешь сейчас рядом со мной — с машинами и летними поездками в Биарриц,— терпи!»

...Бреннер всегда вздрагивал, когда звонил телефон. Он купил в Лондоне громадный золоченый аппарат начала века. В отличие от современных аппаратов (борьба с шумами и все такое прочее) этот золоченый ящик издавал звук, напоминающий сигнал тревоги в тюрьме.

— Да!— яростно, словно продолжая спор с женой, крикнул Бреннер в замысловатую трубку, формой напоминавшую ему японку в кимоно.— Кто?!

— Добрый день, можно попросить месье Бреннера?

Он быстро передал трубку жене.

— Спроси, кто говорит, и скажи, чтобы оставили свой номер, я в ванной...

— Алло,— пропела Мишель.— Что передать месье Бреннеру? Он в ванной...

— Передайте, что звонит Дмитрий Степанов, мы провели вместе вчерашний вечер.

— Вечер?— поюще усомнилась Мишель.— Он вернулся домой в пять утра.

«Родные мотивы,— усмехнулся Степанов,— видно, я несколько подвел коллегу, мы действительно расстались в полночь...»

— Нам было так весело, мадам Бреннер, что я потерял счет времени.

Мишель закрыла мембрану ладонью и шепнула мужу:

— Какой-то Стефа... Очень плохо говорит по-французски...

Бреннер взял у нее из рук трубку.

— Привет вам, Степанов... Простите, я от всех скрываюсь... Очухались после вчерашнего?

Степанов перешел на английский:

— Я вас не очень подвел своим звонком?

— Меня уже нельзя подвести: я давно занес ногу над пропастью, любимые подталкивают, но я пока что балансирую, нелепо размахивая руками...

Степанов усмехнулся.

— Вам не приходилось читать «Молитву для людей среднего возраста», рекомендованную англиканской церковью?

— Нет.

— Там есть прекрасный постулат: «Сохрани мой ум свободным от излияний бесконечных подробностей».

— Приобретаю.

— Постулаты не продаются. Их пишут для того, чтобы распространять бесплатно... Пропаганда...

— Тогда давайте все, что у вас есть из этого англиканского пропагандистского арсенала...

— Могу. Мне, например, нравится такая заповедь: «Я уже не смею просить о хорошей памяти, но лишь припадаю к стопам твоим с просьбой не делать меня самоуверенным, а потому смешным, при встрече моей памяти с чужой». Или, например: «Я не умею быть святым, ибо жизнь с иными из них слишком трудна для нормального человека, ибо желчные люди — одна из вершин творений дьявола».

Бреннер посмотрел на Мишель с тоской, покачал головой и потянулся за сигаретой.

— Слушайте,— сказал между тем Степанов,— у меня к вам вопрос...

— Пожалуйста...

— Вам имя журналистки Мари Кровс ничего не говорит?

— Это левачка, которая сидит в Шенеф?

— Да.

— Любопытная девка.

— Может быть, выпьем кофе?

— Хорошо, в пять часов у Пьера, в Латинском квартале.

...Однако в пять часов Бреннер не пришел в кафе; к Степанову подплыл официант Жобер, из г о л у б ы х, доверительно и ласково положил холеную ладонь на плечо гостя, низким басом, глухо покашливая, сказал:

— Месье Бреннер просил передать, что у него чрезвычайно важное дело, он не может приехать и, если ваш вопрос не терпит отлагательства, ждет вас к себе в редакцию что-то к девяти вечера, он полагает к этому времени высвободить тридцать минут, а кофе вам приготовит его секретарь, жирная шлюха с блудливыми, как у мартовской кошки, глазами... Я убежден, она тайно плюет в его кофе, потому что он перестал с ней спать после того, как она раздалась, словно винная бочка... Что-нибудь выпьете?

— Нет, спасибо,— ответил Степанов.— Я немного поработаю. Пожалуйста, принесите мне еще стакан воды.

Жобер томно вздохнул и отплыл к стойке — открывать «минераль».

Степанов достал из кармана маленький диктофончик, включил его и, завороженно разглядывая красную моргающую точку индикатора, начал неторопливо диктовать, ловя себя на мысли, что профессия, то есть постоянная работа со словом, выработала в нем какое-то особое, осторожное отношение к фразе произнесенной; воистину, вылетел воробей — не поймаешь, хотя он отдавал себе отчет, что пленку можно просто-напросто стереть, слово исчезнет, будто и не было его, но такова уже природа профессии, видимо, человек делается ее подданным, особенно если эта профессия стала счастьем, трагедией, судьбой.

Степанов хотел надиктовать для себя набросок плана действий на ближайшие дни, выделить те вопросы, связанные с делом Лыско и Кровс, которые показались ему наиболее интересными,— кое-что он успел узнать, позвонил коллегам из Рейтер, ТАСС и Юнайтед Пресс Интернэшнл,— но неожиданно для самого себя начал рассказывать красному индикатору совсем о другом: о детях, Плещеевском озере и Пицунде, когда там собираются его друзья...

15

12.10.83 (17 часов 12 минут)

«Центральное разведывательное управление
Майклу Вэлшу

Строго секретно

Через час после того, как в Гаривас пришло сообщение о самоубийстве Грацио, президент Санчес собрал экстренное заседание кабинета, как только что сообщил агент Серхио.

Санчес начал с того, что предложил почтить память «убитого» Грацио вставанием и минутой молчания.

Затем он сказал, что это «преступление есть первое в числе тех, которые, видимо, спланированы как против самостоятельно мыслящих бизнесменов Европы, не поддающихся нажиму военно-промышленных многонациональных корпораций, так и против режимов, отстаивающих свою самостоятельность и национальную независимость». Он подчеркнул далее, что с гибелью Грацио «вопрос об энергопроекте и займе под это гигантское — в масштабах Гариваса — предприятие поставлен под удар. Все мои попытки снестись с Фрицем Труссеном, который, в принципе, не отвергал возможность своего участия в финансировании проекта, пока что безрезультатны. Так же безрезультатны были и попытки снестись с представителями Грацио на биржах, Уфером и Бланко; телефоны молчат, секретари не дают ответа, где их можно найти. Я опасаюсь удара по тем акциям на бобы какао, которые мы выпустили под заем Грацио. Я опасаюсь финансового кризиса, который может разразиться в ближайшие часы. В какой мере мы готовы к такого рода испытаниям?»

Первым выступил директор радио и телевидения, посоветовав Санчесу обратиться к нации по поводу случившегося. Его поддержал

министр финансов. Однако министр обороны майор Лопес предложил воздержаться от выступления, «в котором Санчес обязан выразить мнение кабинета», но предложил «ввести военное положение в стране и вывести из казарм армию, заняв все стратегически важные узлы в городах, на побережье и вдоль сухопутных границ». Министр общественной безопасности Пепе Аурелио резко возражал майору Лопесу, считая, что такого рода мера вызовет панику и может привести к непредсказуемым последствиям. «На севере будут рады подобным жестам правительства,— заключил шеф сил безопасности,— ибо это позволит начать кампанию по поводу неустойчивости положения в Гаривасе, «угрозы» национальным интересам Штатов, которые конечно же обязаны быть защищены не только всеми возможными дипломатическими демаршами, но и морской пехотой». Адъютант Санчеса по военно-морским силам капитан Родригес открыто заявил, что считает миллиардера с Уолл-стрита Барри Дигона повинным в настоящем кризисе, ибо «американский финансист развернул активную деятельность в Гаривасе, особенно в течение последнего месяца». Он предложил выступить в печати с резкой критикой северного соседа и тех его представителей в лице миллиардера Барри Дигона, которые в своих узкокорыстных целях мешают развитию нормальных отношений между двумя странами. Министр иностранных дел высказался против такой позиции, заявив, что правительство не располагает документами по поводу незаконной деятельности людей Дигона, это может привести к еще более серьезным осложнениям с администрацией Белого дома, чутко реагирующей на то, как затрагиваются интересы Уолл-стрита в Центральной Америке.

Министр энергетики и планирования Энрике Прадо считал, что необходимо немедленно отправить делегации в Вашингтон, Мадрид, Бонн и Москву, чтобы на местах внести предложения о финансировании энергопрограммы,

если после гибели Грацио его концерн откажется проводить линию покойного.

В заключение Санчес задал вопрос: «Не настало ли время объявить о вооружении народа, создании народной милиции и одновременно обратиться в Международный валютный фонд с просьбой о немедленной помощи — на любых условиях, под самые высокие проценты?»

Мнения членов кабинета разделились.

Санчес предложил провести следующее заседание правительства завтра утром, когда, по его словам, «мы получим более или менее полную информацию от наших послов в Европе и Северной Америке».

Резидент Роберт Бак».

Секретарь, передавший Вэлшу эту телеграмму с пометкой «срочно», спросил:

— Видимо, копии следует отправить директору и помощнику президента?

Вэлш ответил не сразу:

— Ничего определенного пока нет, не о чем информировать... Я предпочитаю сообщать начальству о конечном успехе, это хоть отложится у них в памяти.

16

12.10.83 (17 часов 17 минут)

Бреннер действительно угостил Степанова крепким кофе, поинтересовавшись при этом:

— Любите каппуччино?

— Это когда холодные сливки кладут в горячий кофе и получается сладкая темно-желтая пена?

— Именно.

— Люблю.

Бреннер нажал кнопку селектора, странно поклонился микрофону, словно бы извиняясь перед ним, и сказал:

— Вивьен, будет очень славно, если вы найдете возможность попросить кого-нибудь подать нам мороженое, я хочу угостить русского визитера итальянским каппуччино.

— Я постараюсь,— ответил сухой женский голос, и Степанов сразу понял, что это та самая секретарша, о которой с раздражением говорил официант в кафе; только те женщины, которые были близки с мужчиной, могут говорить с такой обидой и снисходительным превосходством, особенно если обе стороны чувствуют невозможность восстановить отношения; женщина, которая надеется на окончательную победу, умеет быть постоянно нежной, или же мужчине встретился ангел, но есть ли они на земле?

Бреннер отключил селектор, мазнул Степанова рассеянным взглядом — понял ли тот интонацию; не смог определить; открыл новую пачку «Голуаза», неловко прикурил и, видимо, досадуя на себя, заметил:

— Я не смог приехать к вам оттого, что пришла сенсация, но мы не втиснули ее в выпуск, позор, стыд, конец миру свободной журналистики!

— Что-нибудь интересное?

— Застрелился Леопольдо Грацио...

— Кто это?

— Фу, Степанов, как не стыдно! Либо вы хитрите, либо я был о вас слишком высокого мнения... Леопольдо Грацио — чудо послевоенной деловой Европы, парень нашего возраста, пятьдесят один год, начало заката, но силы хоть отбавляй, стоит семьсот миллионов долларов, президент «Констракшн корпорейшн», содиректор Банка валютных операций, хозяин двух гонконгских банков, человек, который тратил на себя двенадцать долларов в день и обедал в рабочих столовых... Правда, у него свой «боинг», две яхты и семнадцать апартаментов в крупнейших отелях мира...

— Насколько мне известно, в одной из крупнейших столиц мира,— отчего-то обиделся Степанов,— я имею в виду Москву, у него апартаментов не было.

— Убежден, что были. Через подставных лиц, на имя другой корпорации, но были непременно! Через пару дней я дам вам точный ответ, но верьте мне, Диметр, он был вездесущ... Полиция поступила подло, он застрелился утром, а мне позвонили только в половине пятого, после того, как тираж пошел подписчикам... Я готовил экстренный выпуск, поэтому не смог к вам приехать... Кстати, почему вы интересовались Мари Кровс?

— Это связано с судьбой нашего коллеги, русского журналиста Лыско.

— Диметр, это не по правилам.

— То есть?— не понял Степанов.— О чем вы?

— Я люблю русских, мне это завещал отец, он был в маки, его завет для меня свят, но иногда ничего не могу поделать с собою: меня гложет червь недоверия, когда я имею дело с вами.

— Персонально со мной?

— Я имею в виду красных. Вы скрытничаете, недоговариваете, словно бы страшитесь самих себя...

Степанов вздохнул.

— По молодости бывает...

— По зрелости тоже. Вы утром спросили меня о Мари Кровс. Это было что-то около одиннадцати. Значит, вы знали про Грацио, но мне об этом не сказали, а пошли своим обычным российским окольным путем... Ведь я только что кончил говорить с мадемуазель Кровс, она специалист по людям типа Грацио, встречалась с ним, занималась его концерном и банками, писала о нем... Вот так-то.

— Какая-то чертовщина, Бреннер... Я ничего не знал про Грацио, даю слово... Все иначе... Я скажу вам, в чем дело, но я говорю об этом доверительно, хорошо?

— Я буду нем как рыба.

— В Шенеф работал наш коллега Лыско, молодой парень... Его увезли в Москву с проломленным черепом... Чудом не угробили, чудом... За то, что он якобы был слишком близок с Мари, понимаете? Вот отчего я интересовался ею...

— Когда его хлопнули?

— Вчера.

— Она знает об этом?

— Я не говорил с нею... Я жду визу.

— Хотите, позвоню я?

Степанов неторопливо закурил, ответил задумчиво:

— Черт его знает... А почему нет?

— Я могу сказать ей про этого самого...

— Лыско?

— Да,— поморщился Бреннер.

— Говорите, как считаете нужным... И предупредите, что я приеду в Шенеф сразу же, как получу визу.

— Забудьте про ваши русские номера: как только получу визу... Это ваше личное дело, когда вы получите визу... Ее дело согласиться на встречу и назначить время и место...

Бреннер набрал номер, представился, попросил соединить его с мадемуазель Кровс, зажал мембрану ладонью, объяснил:

— Она в баре Пресс-центра... Хорошая жизнь, а?!

— Спросите, какого она мнения о Лыско как о журналисте...

— Если его били за близость с этой фройляйн, надо спрашивать про другие качества.— Бреннер отчего-то вздохнул, нажал на селекторе кнопку, поинтересовался:— Хотите слышать наш разговор?

— По-французски я не пойму.

— Я поговорю с ней на английском, не на немецком же, право...

— Нет, но вы французы, неисправимые националисты...

— Имеем право на это, Диметр, имеем право...

В селекторе прозвучал низкий голос:

— Кровс.

— Здравствуйте еще раз, это снова Бреннер.

— Добрый вечер, мистер Бреннер.

— Могу я задать вам еще несколько вопросов?

— Пожалуйста, хотя я сказала то, что мне представлялось возможным сказать...

— Речь пойдет не о Грацио, мисс Кровс. Известно ли вам имя русского журналиста Лы...Лы...— Бреннер посмотрел на Степанова, снова прикрыл ладонью мембрану, но Кровс ответила:

— Вы имеете в виду мистера Лыско?

Степанов кивнул.

— Именно,— ответил Бреннер.

— Мне не просто известно его имя, мы дружны.

— Вам известно, что его в бессознательном состоянии увезли в Россию?

— Что?!

— Да, на него было совершено нападение.. Он, как говорят его русские коллеги, очень плох... Мотивом избиения послужили якобы ваши отношения...

— Ах, вот так? Его обвиняют в том, что он спал с представительницей бульварной прессы?

— Его обвинили в том, что он был близок с женщиной, которую любит неизвестный друг...

— Неизвестный друг конечно же связан с корпорацией Дигона, мистер Бреннер, потому что Лыско исследовал те же материалы, которыми занималась и я... Точнее говоря, он... Словом, у меня нет ревнивого друга, который пошел бы на такое безумство...

Степанов показал пальцем на себя. Бреннер быстро закрыл трубку ладонью, спросил:

— Хотите поговорить?

— Да.

Бреннер на секунду закаменел лицом; видимо, стремительно продумывал то, как он должен объяснить Кровс про красного; снова потянулся за сигаретой, мгновенно прикурил, прижав трубку острым плечом к уху.

— Мисс Кровс, у меня в гостях наш русский коллега Степанов; он писал репортаж о партизанах Лаоса и Вьетнама, был в Чили накануне трагедии и дружил с вождем РАФ[1] Ульрикой Майнхоф. Он хочет поговорить с вами.

— Пожалуйста,— ответила женщина, помедлив.— Я слушаю.

Бреннер протянул Степанову трубку.

— Добрый вечер, мисс Кровс. Я жду визы, думаю мне дадут ее в ближайшие дни... Вы сможете повидаться со мной?

— Конечно.

— Я возьму у господина Бреннера номер вашего телефона?

— Можете записать домашний. Тридцать семь, двадцать четыре, сорок девять... Лыско плох?

— Да.

— Почему его не госпитализировали здесь?

— Потому что кто-то позвонил в наше консульство и угрожал ему... Потому что его обвиняют в том...

— Я уже слышала... У меня нет ревнивых друзей, а у него могли появиться серьезные враги... Из-за меня, это верно. Приезжайте, я вам расскажу кое-что... Днем я обычно в бюро или баре, вечером дома.

Когда Степанов положил трубку, Бреннер заметил:

[1] Ультралевая организация «Роте Арме Фракцион».

— Странная история... Концерн Дигона... Пошли посмотрим по справочникам? Она — хоть и не прямо — все же обвинила этого старика... Вы ничего же о нем не знаете?

— Я знаю о нем, и знаю немало.

— Вот как?!— Бреннер удивился.— Все-таки вы непредсказуемые люди! А может, мы доверчивые агнцы в сравнении с вами и вы постоянно играете нами, словно детьми?

— Если бы,— усмехнулся Степанов.— Каждый из нас норовит поиграть другим, что не есть хорошо, как говорят мои немецкие друзья.

— Пошли в досье, там расскажете мне про Дигона, проверим эти данные по нашим последним справочникам...

17

Ретроспектива I (семь месяцев назад, весна 83-го)

Барри Дигон начал сдавать, как-никак семьдесят семь, но все наиболее важные дела по-прежнему вел сам, не передоверяя даже самым близким, проверенным помощникам.

Поэтому, когда департамент концерна, отвечавший на все биржевые операции в мире, обработал информацию о том, что люди Леопольдо Грацио (конечно же не служащие его концернов и банков, а к о н т а к т ы в иных фирмах) начали играть на повышение курса акций какао-бобов, когда служба разведки концерна сообщила, что в Гаривасе, где всего лишь пять месяцев назад пришли к власти военные во главе с полковником Мигелем Санчесом, наметилась тенденция к расколу в руководстве и министр обороны, сорокалетний Армандо Лопес, выпускник Вест-Пойнта, примкнувший к левым силам, дважды нелегально встречался с послом США Дональдом Баркли, причем запись беседы сразу же ушла в Белый дом с пометкой государственного секретаря «Срочно, совершенно секретно, только для президента», Барри Дигон дал указание внешнеполитическому департаменту концерна выяснить, существуют ли высокоавторитетные контакты, которые смогут обеспечить встречу с министром обороны в самое ближай-

шее время, желательно на нейтральной территории; в случае же, если это может бросить тень на майора Армандо Лопеса, следует срочно купить какой-нибудь замок в Гаривасе на берегу океана — ничего вызывающего, десять, пятнадцать комнат от силы, не более двадцати акров земли, незачем привлекать внимание левой прессы — и пригласить среди прочих на новоселье этого самого майора Лопеса.

После этого Дигон позвонил помощнику государственного секретаря Полу Гоу, договорился с ним о ланче; перед тем как ехать в клуб, внимательно просмотрел данные, полученные от своих брокеров[1] на биржах Цюриха, Амстердама, Лондона, Гонконга и Франкфурта-на-Майне; речь шла исключительно о ценах на какао-бобы, Гаривас — один из крупнейших поставщиков этого продукта; убедил Зигмунда Шибульского, помощника по специальным связям с администрацией, договориться о встрече с первым заместителем директора ЦРУ Майклом Вэлшем; попросил секретаря, занятого составлением ежедневных компьютерных сводок, выяснить, отчего Леопольдо Грацио начал играть на повышение акций какао-бобов именно после прихода к власти военных в Гаривасе, и отправился на ланч в клуб «33».

(Брат помощника государственного секретаря Пола Гоу был директором филиала треста Дигона в Швейцарии, курировал интересы концерна на биржах Цюриха, Антверпена и Франкфурта-на-Майне, поэтому разговор Гоу и Дигона был, как и всегда, доверительным. Впрочем, Пол Гоу понимал, что излишняя откровенность с магнатом нецелесообразна; дипломат, он полагал, что информация, отданная по частям, ценится куда как выше; профессионал от экономики не понял бы избыточной открытости, это может свидетельствовать о шаткости позиции чиновника; как правило, откровенничают люди, взявшие бога за бороду, стоящие на грани краха или же дурни; все остальные ведут свою п а р т и ю, иначе говоря, торгуют знанием.)

— Мой иглотерапевт,— сказал Дигон, рассеянно поглядев на официанта, стоявшего возле их столика,— мистер Гарольд Личжу утверждает, что Александр Македонский был убит совершенно поразительным образом...

[1] Биржевой маклер.

— Насколько мне известно, он умер от лихорадки,— возразил Гоу.— Латынь...

— Я закажу нам спаржу,— пожевав губами, перебил Дигон,— и телячье филе, здесь это делают специально для меня по венскому рецепту.

— Прекрасно,— откликнулся Гоу,— по-моему, прекрасно.

— По-моему, тоже,— и Дигон передал официанту меню, запрессованные в сафьяновые с атласом папки.— Что же касается латыни, которую вы изучали в колледже, то в этой капле бытия отражается все несовершенство нашего мира, его н е п о с п е в а е м о с т ь за неразумной устремленностью знания... «Античность, античность, нет ничего мудрее античности!» Ерунда... Пришло время, и античность рассчитали на компьютерах дошлые мудрецы от математики. И установили с абсолютной точностью, что в некоем индийском храме жрецы предложили Македонскому «приблизиться к богам». Тот, ясное дело, согласился, но как это осуществить? Очень просто. Надеть самую дорогую корону с алмазом величиной с кулак и совершить ритуальный выход ровно в полдень на площадь в самый жаркий день месяца. Великий полководец прошел с алмазной короной по плацу, с лица его струился пот, щеки покрылись бледностью. Вернувшись на родину, Македонский начал мучиться головными болями и вскорости умер. В чем дело? Да в том, что жрецы сожгли ему гипоталамус... Или гипофиз, я путаюсь в медицинских обозначениях. Никакого ожога волосяного покрова, а человек тем не менее убит... Месть побежденных — алмаз фокусирует полуденную энергию солнца, чрезмерное тепло делает свое страшное дело...

Гоу усмехнулся.

— У меня нет личного иглотерапевта, Барри, поэтому я лишен той информации, которой владеете вы, однако же моя латынь, то есть античность, позволяет прокомментировать историю об убийстве Македонского несколько иначе. Если согласиться с тем, что мы рождены под определенными планетами, если позволить себе — с известной долей снисходительности — признать правомочие астрологии для тех, кто желает в нее верить, тогда следует вспомнить историю про то, как астролог, живший при дворе матери великого завоева-

теля, молил ее, рожавшую Македонского, потерпеть еще пятнадцать минут, всего лишь пятнадцать, и он, тот, который идет на свет из твоего чрева, станет властелином земли! Но женщине неподвластна природа... Александр родился в свой срок, и жрец предсказал, что мальчик завоюет полмира, создаст великую империю, но умрет в возрасте тридцати трех лет, и царство его распадется, лишь только он испустит дух. Случилось именно так...

— Значит, по-вашему,— сказал Дигон, подвигая к себе тарелку со спаржей,— прогулка по плацу с короной-лазером была предопределена свыше? Как и завоевание Азии?

— А это на ваше усмотрение,— ответил Гоу и добавил:— Спаржа действительно отменна.

— В таком случае, я ставлю новый вопрос на ваше усмотрение, Пол... Вопрос из другой области: что определит будущее министра обороны Гариваса майора Лопеса — предсказание астролога или же месть жрецов?

— Какого рода жрецов вы имеете в виду, Барри?

— Мне любопытны жрецы, которые входят в поле вашего интереса.

— Чем дальше, тем больше мы, дипломаты, стремимся к тому, чтобы говорить откровенно, Барри. Вы недостаточно четко формулируете вопрос. Вас интересует моя точка зрения на отношения Лопеса с Мигелем Санчесом? Или же вам хочется узнать мое мнение о перспективе нашего присутствия в Гариваса?

— Меня интересует все. В частности, мне любопытно ваше отношение к активности наших европейских союзников в Гариваса.

— Кого вы имеете в виду?

— Концерн и банк Леопольдо Грацио.

— Это серьезный вопрос, Барри. Новая информация об активности Грацио в Гариваса недавно пришла к нам, он ставит на Санчеса, так выгодно западноевропейской тенденции, однако я не думаю, что Грацио добьется успеха: как-никак Гаривас в непосредственной близости от наших границ, а не от европейских, поэтому разумнее ставить на майора Лопеса, армия есть армия, тем более он говорит по-английски, как мы с вами, традиции Вест-Пойнта и все такое прочее...

— Он надежный человек?

— Задайте этот вопрос вашим друзьям из ЦРУ, для меня как дипломата важны тенденции и возможности; они же, парни из Лэнгли, в первую очередь интересуются личностями.

— Не грех бы и вам не разделять тенденцию и личность,— заметил Дигон,— это в конечном счете неразделимо.

— Верно. Однако же работаешь с увлечением, оперируя глыбами теории, а не суматохой практики... Если бы все же я был заинтересован в личности, а не тенденции, я бы занялся и ею.

— Следовательно, вашего брата, то есть всю вашу семью, должна занимать именно личность майора Лопеса, мой дорогой Пол. От того, куда он пойдет, этот загадочный майор, примкнувший к левым военным, зависит успех моего дела, а это значит — дивиденды вашего брата...

Пол Гоу отодвинул тарелку с мягким телячьим мясом (чересчур мягкое, ощущение безвкусицы), аккуратно вытер чуть ли не жестяной — так накрахмалена — салфеткой чувственные крупные губы и ответил:

— Я бы поставил на майора Лопеса. Так, во всяком случае, посоветовал бы поступить брату, если он решит поиграть на бирже.

— А что ему играть на бирже? В Гаривасе есть немного каучука, в и д ы на нефть, серебро, бананы и какао-бобы. На что н а м играть с вашим юным братом?

Пол Гоу рассеянно кивнул метрдотелю, поставившему перед ним кофе, и ответил, когда тот отошел:

— По нашим данным, не до конца проверенным, майор Лопес через подставных лиц скупает плантации какао-бобов... Особенно в тех районах, где скрываются люди, которых нынешний режим называет крайне правыми.

— Откуда у этого майора деньги?

— А он рискует, Барри, он взял ссуду на год... Опять-таки не он лично, кто именно и где, я не знаю, но, по слухам, ссуду ему открыл один из наших банков.

— Какой конкретно?— спросил Дигон.— Видимо, это знает ваш посол.

— Барри, я люблю моего брата, который служит вам, и очень хочу, чтобы он получил лишнюю пару сотен

тысяч баков, но я не могу делиться с вами сверхсекретной информацией...

«Красиво поделился,— отметил Дигон,— знает, как продавать себя, молодец, смекалист, надо бы продумать вопрос о том, как заранее пригласить его к нам, если когда-нибудь Шульц уйдет, этот с головой».

Назавтра люди Дигона вылетели в Гаривас и купили небольшой испанский замок в сельве, неподалеку от тех мест, где скрывались формирования правых экстремистов; следом за ними прибыла бригада реставраторов; представитель европейской корпорации «Бельжик минераль» месье Ласен — никто, понятно, не знал, что он работал на Дигона,— во время приема в перуанском посольстве был представлен послом США не только Санчесу и министру энергетики Прадо, но и Лопесу; повернувшись спиною к залу, месье Ласен поинтересовался, не согласится ли майор посетить — конечно же вместе с другими членами правительства — новоселье, которое собирается отметить Барри Дигон, в данном случае не только банкир с Уолл-стрита, но член наблюдательного совета Международного банка инвестиций; старик думает о будущем, он готов помогать республике, он считает руководителя армии высокоавторитетным деятелем страны и хочет перемолвиться с ним парой слов в доверительной обстановке...

— Я готов к встрече,— усмехнулся майор Лопес,— имя Дигона говорит само за себя любому латиноамериканцу, особенно такому, как я, натерпевшемуся от гринго не только на родине, но и за годы учения в Штатах...

18

13.10.83 (9 часов 45 минут)

Инспектор Шор попросил Папиньона, своего молодого помощника, на все звонки журналистов отвечать в том смысле, что никакой новой информации не поступало, версия самоубийства остается прежней, хотя, с его, Шора, точки зрения, во всем случившемся есть ряд «черных дыр», которые он пока что не намерен комментировать.

Звонили беспрерывно; Папиньон отвечал так, как ему сказал Шор; корреспондент «Геральд трибюн» связался с комиссаром полиции Матэном, пожаловался на нарушение закона об ответственности чинов сыска за гласность информации; Матэн пообещал разобраться и решил было уехать из офиса; понимая, что и ему не будет покоя, но, как раз когда он собирался надеть легкое пальто из невесомой ангоры, секретарь сказал, что на проводе мистер Джон Хоф, просит соединить его хотя бы на три минуты; шеф знал, кто такой Джон Хоф, подошел к аппарату, не уследил за лицом, почувствовав гримасу некоторого подобострастия, рассердился на себя, ответил поэтому сухо:

— Комиссар Матэн слушает.

— Доброе утро, комиссар, спасибо, что нашли для меня время... Меня замучили покровители из нашего посольства, в газетах появились странные сообщения, связанные с трагической кончиной Грацио, он был большим другом Штатов, его самоубийство всполошило всех... Не согласились бы вы пообедать со мною, комиссар? В час дня,— торопливо закончил Хоф, опасаясь услышать отказ,— в ресторанчике Пьера Жиго?

Джон Хоф был резидентом Центрального разведывательного управления, жил здесь под крышей вице-директора «Уорлд иншурэнс компани», поддерживал отношения с полицией открыто, как-никак возглавляет страховую компанию; связи его были широки и надежны; комиссар Матэн ответил поэтому:

— А у вас нет никаких сведений, связанных с этой трагедией?

— Кое-что есть.

— Хорошо, я принимаю ваше приглашение, мистер Хоф.

Комиссар снял пальто, попросил секретаря ни с кем его не соединять, сварил себе кофе и вызвал инспектора Шора.

— Изложи-ка мне свои соображения по делу Грацио, дорогой Соломон...

Шор удивился: комиссар обычно не вмешивался в его дела, ждал, когда инспектор сам придет с новостями; за помощью никогда не обращался, волк среди волков, он привык работать в одиночку.

— Еще рано делать выводы, шеф.

— Мне надо быть готовым к разговору с человеком, который интересуется этим делом...

— Не один человек этим интересуется, шеф.

— Тот человек интересуется не ради любопытства, Шор, дело экстраординарное, ищут политическую подоплеку, словом, — ты уже читал материалы Пресс-центра — приплели мафию, ЦРУ, КГБ и палестинцев...

— Я не убежден, что он шлепнулся,— Шор пожал плечами.— Экспертиза только что прислала мне ответ на повторный запрос: на пистолете нет отпечатков пальцев, а Грацио лежал на кровати без перчаток...

— Ну, а если горничная с испуга вытерла рукоять?

Шор закурил и, вздохнув, заключил:

— Ха-ха-ха!

— Ты будешь шутить,— поморщился комиссар,— когда свалишь дело в архив, пока что тебе не до шуток, Шор. Дальше, пожалуйста.

— Дальше проще. Я установил, что Грацио вызвал на десять Бенджамина Уфера и Хуана Бланко... И тот и другой были его доверенными людьми — биржа и международные связи; Хуан искал контакты в России и Пекине, а Уфер выполнял самые щекотливые поручения на бирже. Помнишь эпизод, когда кто-то решил свалить Ханта, пустив бедолагу по миру с его запасами серебра? Так вот, Уфер приложил к этому руку, сработал по высшему классу, никаких улик... Я вызвал их на допрос... Фрау Дорн была невменяема... Обрывки информации... Буду беседовать с нею сегодня, думаю, что пришла в себя... Довольно любопытна его записная книжка... Там телефон посла Гариваса Николаса Колумбо и запись о ланче, который должен был состояться у них сегодня в два часа во французском ресторанчике, даже меню записано: «салад меридиональ», антрекот «метрдотель», на десерт «шуа де фромаж»[1] и «айриш кафе»[2]... Как быть? Имею ли я право вызвать на допрос этого посла?

— Ты сошел с ума?— деловито спросил комиссар Матэн.

— Отнюдь. Трижды звонила какая-то баба из Гамбурга, она аккредитована в Шенеф при Пресс-центре, требует встречи, говорит, что ей известны причины,

[1] Набор сыров.

[2] Кофе по-ирландски.

приведшие к преступлению... Прямо говорит, что Грацио убили, и утверждает, что ей известно, кому это было выгодно...

— Кому же?

— Она требует встречи и предметного разговора... Я отказываюсь... Грозит бабахнуть свою информацию...

— Ты знаешь ее фамилию?

Шор медленно поднял глаза на комиссара и кивнул.

— Как ее фамилия?— повторил свой вопрос комиссар.

— Кровс.

— Пригласи ее, не надо ссориться с прессой... Послу Гариваса я бы на твоем месте позвонил и попросил его назначить встречу... Ни о каком допросе речи не может быть...

— Хорошо.

— Как у покойника было с бабами?

— Как у всех...

— То есть?

— Имел двух-трех любовниц, с женой, Анжеликой фон Варецки, давно не живет...

— Где она?

— В Торремолинос, это где-то в Испании...

— Тебе не кажется разумным слетать к ней?

— Оставленные жены всегда валят три короба на своего бывшего избранника, стоит ли брать в толк ее показания?

— А если она исключение?

— Бывшие жены не бывают исключениями. Тебе как шефу можно позволить себе иллюзии, а я живу грубой явью...

— Я женат вторым браком, Шор, и сохраняю с первой женой самые дружеские отношения...

Шор знал первую жену Матэна, слушал запись ее бесед с тем альфонсом, который спал у нее, когда сыновья уезжали на ферму, оставленную семье комиссаром; как же она говорила о бедняге, что несла — уши вянут! Наивная, святая простота; воистину: стареющие мужчины невероятно глупеют, самая глупая баба в сравнении с ними — Ларошфуко; в сравнении со мною тоже, поправил себя Шор, и я не юноша, пятьдесят четыре — все-таки возраст, куда ни крути.

— Я понимаю,— сказал наконец Шор,— наверно, ты прав, я и первым-то браком не успел сочетаться, сплю со шлюхами, это дешевле, чем благоверная, никаких претен-

зий, семь раз в месяц по пятьдесят франков. Коплю на гостиницу в Сен Морице...

Комиссар рассмеялся.

— Разве вам, евреям, надо копить? Обратись в свою общину, сразу соберут деньги, это нам, католикам, трудно жить... Ну, хорошо, вернемся к делу... Кому могло быть выгодно убийство, если это, как ты считаешь, действительно убийство?

— Черт его знает... Сегодня иду на биржу, надо посмотреть, как там. Что же касается меня, я патриот Швейцарской Конфедерации, в бога не верю, в синагоге не молюсь, акции не покупаю. Еще не научился продавать совесть... А на бирже началась игра... Через пятнадцать минут после того, как я вошел в номер покойника, его акции полетели вниз, кто-то греет на нем руки...

— Вечером или, в крайнем случае, завтра утром я бы попросил тебя рассказать мне, как прошел день.

Шор поднялся.

— О'кэй... Я свободен?

— От меня да,— улыбнулся комиссар,— но не от обстоятельств...

Джон Хоф был, как обычно, весел и резок в жестах (постоянно бил посуду в ресторанах, платил за убыток щедро, поэтому его приходу радовались и хозяева, и официанты; впрочем, он выбирал для деловых встреч маленькие ресторанчики, где официантов не было,— хозяин готовил, хозяйка, дочь, сын или невестка обслуживали гостей, очень удобно, полная конспирация, времена крутые, клиентом дорожат).

— Месье Матэн, нас угощают сегодня оленем, ночью привезли с гор, стараются охотники Венгрии, у них на границе с Австрией замечательно отлаженные охотничьи хозяйства... Выпьете кампари? Или, как мы, грубые янки, виски жахнете?

— Немного виски со льдом, благодарю вас.

— Забегая вперед, хочу вас обрадовать: Жиго договорился с кубинцами и напрямую покупает у них самые роскошные сигары, так что я обещаю вам двадцать минут блаженства после кофе.

— Сегодня придется сократить,— ответил комиссар,— в связи с делом Грацио у меня совершенно нет времени, каждая минута на счету.

Он тактично пригласил Джона Хофа к делу, тот был смекалист, к беседе всегда готовился тщательно.

— На нас часто обижаются,— заметил Хоф,— за излишний практицизм... Между прочим, именно из-за этого наш государственный департамент проиграл Франца Йозефа Шрауса; мне рассказывали, как баварский фюрер жаловался друзьям: «Они высокомерны, эти янки, смотрят на часы, прерывают беседу, ссылаются на занятость, никакого такта...» Как представитель крестьянского изначалия, он никогда не простит этой нашей прагматичной, действительно весьма специфичной манеры поведения...

— Мы, швицы[1], нация банкиров и лыжников,— ответил комиссар,— и те, и другие в ладу с понятием «время».

Джон Хоф рассмеялся.

— Вы меня прямо-таки толкаете коленом под зад, комиссар Матэн... Хорошо, я готов... Утром у меня было три разговора с Нью-Йорком и Вашингтоном, звонили люди, так или иначе связанные с Леопольдо Грацио... Они потрясены случившимся. Их, понятно, интересуют все обстоятельства трагедии... Сейчас, как вы понимаете, те, кто был с Грацио на ножах, распустят слух о банкротстве и все такое прочее, может начаться паника, он ведь не только строил электростанции и мосты, играл на бирже и вкладывал деньги в рискованные предприятия, он еще давал займы целому ряду режимов, особенно в Латинской Америке... Что, по-вашему, могло привести его к столь странному решению?

Комиссар понял, что Хофу угодно выслушать объяснения версии самоубийства; он сразу же отметил, что американца устраивает именно эта версия. «А почему?— спросил он себя.— Или Хоф хитрит? Он же хитер, как дьявол».

— Поскольку наши разговоры, как обычно, весьма доверительны, мистер Хоф, я позволю себе заметить, что у нас не все разделяют версию самоубийства Грацио...

Джон Хоф откинулся на спинку красного плюшевого кресла.

— Не может быть! Кто же убил, в таком случае? Нет, нет, вряд ли. Он не занимался нефтью и не поддержи-

[1] Так с юмором называют себя иногда швейцарцы.

вал Израиль... Куба? Чья-то ревность к диктатору Гариваса полковнику Санчесу? Мафия?

— На главный вопрос «кому это выгодно» я пока не могу ответить...

— Кто ведет следствие?

— Инспектор Шор...

— О, это, как я слыхал, ваш главный ас...

— Верно.

— И он всерьез полагает вмешательство какой-то неведомой силы в эту трагедию? Я еще не слыхал о такого рода версии. В прессе пока не было?

— Шор не любит прессу, он привык работать в тишине... Олень действительно был великолепен...

— Я рад... Пьер Жиго вымачивает мясо — хотя бы три—пять часов — в очень терпком вине, кажется, он предпочитает португальские, там есть совершенно черные вина, рот вяжет... Хм... Вы меня озадачили... Если такого рода версия появится в печати, это может позволить левым начать очередную кампанию против банкиров — и ваших, и наших, — но, поскольку, как мне объяснили друзья, последние годы Грацио ориентировался на европейский бизнес, кампания обрушится на головы бедных дедушек с Уолл-стрита...

— Ваши предложения?

Хоф отпил вина, пожал плечами.

— Идеально, если бы вы смогли удержать прессу — хотя бы в ближайшую неделю — на той версии, которая сформулирована в выпусках вечерних газет...

— Почему именно неделю?

— Для того чтобы наши люди толком подготовились к объяснениям... Вы же знаете, чем кончается неконтролируемость с л у х а...

— У русских есть точное выражение: «На каждый рот не набросишь кашне». Где гарантия, что какой-нибудь журналист — а желающие уже есть — не опубликует свою версию в газете? Телевидение и радио можно в какой-то мере держать под контролем, а за газетами разве усмотришь?

— А кто этот «желающий» дать свою, оригинальную версию?

Поскольку комиссар Матэн держал акции трех нью-йоркских корпораций, швейцарской «Нестле» и западногерманской «БМВ», поскольку Хоф несколько раз —

обычно после такого рода встреч — давал дельные советы, на какую компанию следует ставить в ближайшие недели, он ответил, чуть, впрочем, помедлив:

— Некая Кровс из Гамбурга.

Хоф пожал плечами.

— Это имя мне ничего не говорит.

«Пережал,— отметил Матэн,— надо было ответить спокойнее, а может, и вовсе не отвечать, просто-напросто пожать плечами. Он знает эту гамбургскую девку, нет сомнения...»

— Сегодня вечером или завтра поутру Шор сообщит мне результаты допросов весьма важных свидетелей... Потом, он что-то ищет на бирже,— Матэн усмехнулся и о т д а л Джону Хофу главную информацию.— Предупредите вашего коллегу по бизнесу Барри Дигона, чтобы он аккуратнее вел свои дела, его имя в журналистских кулуарах связывают с трагедией Грацио. (Запись телефонного разговора Мари Кровс с Бреннером и русским писателем Степановым он прочитал сегодня утром, отделом прослушивания фиксировались все разговоры, связанные с делом Грацио; имен Степанова и Бреннера тем не менее отдавать не стал.) А что касается поисков моего Шерлока Холмса, то я подскажу вам, в каком направлении он пойдет, мистер Хоф...

— Я убежден, что все будет идти, как и шло,— ответил Хоф.— То есть в нужном направлении... Я, со своей стороны, позвоню моим друзьям в столицу и Нью-Йорк... Возможно, у меня появятся небезынтересные новости; резервирую за собой право позвонить вам завтра... Кстати, если думаете, что интересовавшая вас «Энилайн корпорейшн» закачалась, побейтесь со мною об заклад. Помните нашу дискуссию на эту тему во время прошлой встречи?

— Я, как и вы, помню все, мистер Хоф. Благодарю за точность,— он снова усмехнулся,— за американский прагматизм, столь импонирующий представителям облениившегося Старого Света...

Вернувшись в свой офис, Джон Хоф трижды звонил в Нью-Йорк; ему отвечали руководитель страховой компании «Салливан», вице-директор «Бэнкинг корпорейшн» Уолт Грубер и президент «Кэмикл индастри» Пастрик. Разговор касался дела Грацио; собеседники

информировали Хофа, что в Штатах все громче звучат голоса, объясняющие кончину Грацио тем, что он был на грани банкротства, хотя умел это весьма мужественно и достойно скрывать; видимо, предстоит ревизия его активов; если так, то, значит, он пустил по миру огромное количество европейцев, вложивших свои средства в его дело; возможна паника на бирже.

После этого Хоф посетил Роберта Дауэра, представителя цюрихской биржи, выпил чашку кофе с испанским журналистом Хорхе Висенте, который исследовал конъюнктуру латиноамериканских рынков (нефть, бананы, какао-бобы и серебро), и лишь после этого, позвонив предварительно по телефону (конспирация и еще раз конспирация), отправился в посольство, попросив «аудиенцию» у советника по экономическим вопросам; под этой «крышей» сидел его второй заместитель Нольберт Кук, в е л связи с наиболее серьезными газетчиками, аккредитованными и в столице Конфедерации, и при Пресс-центре.

В посольстве Хоф сразу же поднялся в свой звукоизолированный кабинет.

Закончив запись беседы с комиссаром Матэном и журналистом Хорхе Висенте, отправив информацию в Центр, Джон Хоф приступил к изучению шифротелеграмм, полученных из Лэнгли за время его отсутствия; в посольстве он бывал четыре раза в неделю, на связи с Майклом Вэлшем сидел его первый заместитель Джозеф Буш, в экстренных случаях тот приезжал к шефу в офис или на квартиру — там тоже существовали комнаты, где можно было разговаривать, не опасаясь подслушивания.

«*Джону Хофу.* 10 часов 27 минут. Предпримите все возможные шаги для того, чтобы в местной прессе никто не подверг сомнению версию самоубийства Грацио. *Джордж Уайт*».

«*Джону Хофу.* 12 часов 55 минут. Соответствует ли действительности информация, согласно которой инспектор полиции Шор готов выдвинуть обвинение против неизвестного (или неизвестных), лишившего жизни Леопольдо Грацио? *Уильям Аксель, отдел стратегических планирований*».

«*Джону Хофу*. 17 часов 42 минуты. До начала операции «Коррида» осталось тринадцать дней. За это время — в случае если вы не сможете убедить инспектора Шора в нецелесообразности опровержения факта самоубийства — необходимо организовать кампанию в местной прессе, а также в прессе сопредельных стран, устроив «утечку информации» о том, что Леопольдо Грацио был убит по поручению левоэкстремистских элементов в правительстве полковника Мигеля Санчеса; предположительно, одним из этих людей был Массимо Куэнко, проходивший обучение в специальных лагерях для левых террористов. Фотография Массимо Куэнки отправлена, обеспечьте встречу курьера, рейс 42-14, компания «ТВА». Советуем также связаться с представителем всемирного сионистского союза в Швейцарии Гербертом Буркхардом и через него оказать влияние на инспектора Шора. Версию Куэнки считать запасной, использовать в крайнем случае; все указания о том, как вывести Куэнку из операции, получите в надлежащий момент. В настоящее время он проживает в Вадуце в пансионе фрау Шольц под фамилией Питер Лонгер; пароль для встречи: «Дядя Герберт просил вас срочно отправить ему ваши последние фотографии, сделайте это, ибо старик очень хвор». Отзыв: «Дядя Герберт поменял свои апартаменты и не удосужился прислать мне новый адрес». После этого он выедет в Базель, где будет ждать встречи в ресторане «Цур голден кроне», пароль для связи: «Милый Питер, вы же всегда обедаете в итальянских ресторанах, не следует менять привычки». Отзыв: «Привычки существуют только для того, чтобы лишний раз убедиться в глубине своей главной привязанности». Затем вы излагаете ему задачу, проработав заранее места, где он будет жить, рестораны, где он обязан питаться так, чтоб его запомнили; в дальнейшем никаких прямых контактов; выведение его из комбинации проведете после того, как он выполнит задание, на котором будет

скомпрометирован; комбинацию планируйте сразу же после получения данного сообщения; основные узлы сообщите непосредственно мне. *Уильям Брайен*».

«*Джону Хофу.* 18 часов 12 минут. Передайте дополнительную информацию о Мари Кровс, 1953 года рождения, место рождения Гамбург, отец — Ганс Иоганн Пикс, профессор экономики, журналист, оплачиваемый концерном Бельсмана, выступает в прессе под псевдонимом Жюль Вернье, постоянно проживает в Париже вместе со своей любовницей Гала Оф; мать — Элизабет Пикс, домохозяйка в Западном Берлине, Ам Альтплац, 12, живет сепаратно от мужа, официально не разведены; брат — Ганс Пикс, студент Свободного университета в Западном Берлине, придерживается левоэкстремистских убеждений, употребляет марихуану, попытка подвести к нему людей, которые могли бы приучить к героину с тем, чтобы, используя это, повлиять в нужном аспекте на отца, успехом пока не увенчалась. Соберите информацию о русском журналисте Лыско в плане его компрометации по поводу сотрудничества с КГБ. Следует подготовить человека, который в случае необходимости дал бы показания о том, что Лыско платил ему деньги за развединформацию. Человек обязан быть высоконадежным, ибо, по нашим сведениям, Лыско никогда с КГБ не был связан и всякое непродуманное заявление может быть использовано во вред нам. *Уильям Аксель, отдел стратегических планирований*».

Закончив чтение шифровок, Джон Хоф усмехнулся; он взял за правило не подделываться под запросы Лэнгли, не подгонять полученную информацию под л и н и ю, разработанную стратегами ЦРУ; он привык ошеломлять своих боссов; эту его самостоятельность тем не менее ценили; Майкл Вэлш как-то сказал: «В каждом серьезном учреждении должен быть свой «анфан террибль»; Хоф — именно такого рода шалун, но в его вздорной информации встречаются подчас зерна правды».

Хоф написал на бланке шифрованного сообщения:

«*Уильяму Акселю.* 19 часов 57 минут.

В здешней прессе — предположительно через интересующую вас Мари Кровс — может быть поднят вопрос о конфронтирующем пересечении интересов концерна Барри Дигона и фирм, которые контролировал Грацио; если это так, следует срочно подготовить контрдоводы, которые я смогу через моих людей напечатать в ряде здешних газет. Приступаю к выполнению ваших указаний.

Джон Хоф».

Он знал, что эта телеграмма вызовет в Лэнгли бум.

И не ошибся; Майкл Вэлш сразу же позвонил Дигону, договорился о встрече; выслушав заместителя директора ЦРУ, старик, помолчав, ответил:

— Все теперь зависит от вас. Я отмоюсь, какие бы помои на меня ни вылили, я к этому привык; вопрос заключается в том, успеете ли вы привести к власти майора Лопеса? Если опоздаете, скандал будет громким, интересам Штатов может быть нанесен вполне чувствительный удар. Только в том случае, если Лопес обоснуется в президентском дворце (в намеченный срок, через тринадцать дней), я смогу заставить замолчать наших с вами противников, цена на какао-бобы позволит мне заинтересовать тех, кто ставил на Грацио, бедный, бедный, кто бы мог подумать...

Вэлш посмотрел на телефонную трубку с изумлением, не мог найти слов, чтобы заключить беседу, подумал: «И это про нас-то говорят как про костоломов, а?! Какая все-таки несправедливость! Мои люди выполняют то, что им предписано уставом и руководством, а Дигон одной рукой толкает человека в пропасть, а в другой держит цветы, чтобы возложить их на крышку гроба».

19

Директор ФБР еще раз перечитал запись телефонного разговора и спросил своего помощника, ведавшего наблюдением за высшими чиновниками администрации:

— Вы убеждены в том, что Майкл Вэлш крутит свой бизнес в Гаривасе без санкции босса?

— Этого я утверждать не могу. Я утверждаю лишь то, что он встречается с людьми Уолл-стрита, соблюдая все законы конспирации. А от своих, если есть санкция босса, не конспирируют.

— Подождем,— подумав, заметил директор ФБР.— Умение ждать — это больше, чем наука или талант, это призвание... Конечно же оптимальным решением этого любопытного дела была бы организация прослушивания бесед Вэлша... Я понимаю, что мы не имеем права записывать его разговоры без санкции босса, но ведь можно продумать, как подкрасться к нему со стороны его собеседников...

— Вы дадите мне санкцию на прослушивание разговоров Барри Дигона?— Помощник директора ФБР улыбнулся.— Я стану считать этот день первым в новом временном отсчете...

— Посоветуйтесь с нашими финансистами,— заметил директор ФБР.— Из тех, кто контролирует банки и связан с оппозицией в конгрессе. Может, вам подскажут какую-нибудь любопытную зацепку, связанную с вывозом капитала, или что-нибудь в этом духе... Может, у них есть что-то на людей Дигона, тогда мы получим право послушать дедушку... Мне нужен повод, малейший повод, ничего, кроме повода...

20

14.10.83

Майкл Вэлш обычно просыпался в шесть часов; несколько минут лежал, не открывая глаз, силясь вспомнить сон; он верил снам, и очень часто днем с ним случалось то, что виделось ночью; потом, если ночь была пусто-темная, полное отключение, он с о б и р а л с я перед началом дня, четко выделял основные задачи и только после этого поднимался с кушетки (спал в библиотеке: перед сном обычно читал, порою среди ночи вставал к столу, не хотел тревожить Магги, она спала очень чутко; перебирался в комнату жены только на «уикэнд», когда позволял себе роскошь отключать телефон или, того лучше, уезжать с ней на ферму) и отправлялся на гимнастику. Он разминался недолго, радуясь тому, что наступил день; все те недели, что он на свой

страх и риск и г р а л в «Корриду», были до того тревожны и рискованны, что по вечерам он не находил себе места, мечтая, чтобы скорее прошла ночь и началась ежедневная круговерть, которая засасывала, убаюкивала, давала привычное ощущение надежности.

Во время гимнастики он все время слышал в себе самом музыку из фильма «Рокки», когда неистовый Сталлоне — ах, какой замечательный художник, как много всевышний отпустил одному человеку: и режиссер, и актер, и драматург, да и боксер отменный — бежал по Филадельфии и возносился по ступеням храма Закона; его окружали болельщики, и он скакал, как молодой жеребец, а комментаторы так его и называли «жеребец»; все-таки странная мы нация, то, что у других, особенно в Испании или России, звучит как оскорбление, у нас вполне приложимо к настоящему мужчине.

Затем Вэлш принимал холодный душ и шел на кухню, это был самый любимый уголок дома: Магги уже приготовила овсянку на сливках, можно десять минут поболтать перед тем, как придет машина, выпить кофе, послушать сына. Дик по-настоящему увлечен нейрохирургией, будет толк; если с «Корридой» все пойдет так, как задумано, можно помочь ему с приобретением лицензии на клинику, огромное поле для эксперимента, своя рука — владыка. Люси убегала в школу первой; в этом году надо решать, в какой колледж стоит поступать, девочку интересует международное право, будь оно трижды неладно, права нет вообще, тем более международного, у кого больше силы, тот и победит, а эту победу, какой бы бесчестной она ни была, припудрят правоведы, им за это и платят деньги. Как отвлечь ее от этой затеи? Говорить в лоб нельзя — грех топтать иллюзии молодости, все свое приходит в срок, да здравствует эволюция мысли, постепенность и еще раз постепенность; девочка имеет на это право, поскольку я принял на себя тяжелое бремя игры со временем, всякое убыстрение чревато, но и промедление тоже... Милый мой человечек, она уже собрала денег на первый курс, как-никак две тысячи долларов...

(Действительно, Люси в прошлом году проработала месяц в универмаге упаковщицей, а потом помощником продавца в отделе детских игрушек; зимние каникулы поделила на две части: рождество праздновала дома, а в

оставшиеся дни нанялась мойщицей автомашин на бензозаправочной станции, платили хорошо, не скупясь.)

По дороге в Лэнгли, особенно когда машина вырывалась из города, Майкл Вэлш закуривал свою первую сигарету, тяжело затягиваясь; с невыразимым наслаждением ощущал сухой аромат «Лаки страйк», вот уж воистину солдатские сигареты, какая-то в них сокрыта надежность, право слово... Впервые он закурил эти сигареты, когда семнадцатилетним мальчишкой с войсками Патона ворвался в маленький немецкий городок и увидел штабеля трупов — расстрелянные военнопленные, истощенные, одни кости; гримаса ужаса и одновременно избавления на лицах; воронье кружит, и белые тряпки на домах — «сдаемся»... Второй раз он закурил эти же сигареты — ими снабжали армию,— когда его подразделение захватило золотой запас третьего рейха; приехали офицеры; мешки с золотом вскрывали, взвешивали каждый брусок, упаковывали наново, шлепали сургучными печатями (запах чем-то напоминал ладан, у него был друг Иван Восторгов, вместе ходили в русскую церковь, с тех пор в памяти отложился этот особый, з а г а д о ч н ы й запах) и укладывали в «студебеккеры». Его поразил и обидел вид т о в а р н о г о золота; какая-то серятина, ничего романтического, дьявольского в этом металле не было, если не смотреть на страшное клеймо свастики. Только назавтра, когда колонна грузовиков ушла, Вэлш ощутил странное чувство. Это была не обида, нет, скорее недоумение или же ощущение несправедливости: они, солдаты, отбили это золото, выставили охрану, берегли как зеницу ока, как-никак военный трофей, а потом приехали молчаливые старики в форме, которая сидела на них, словно на корове седло, и, не поблагодарив даже за с л у ж б у, не выдав ни цента премии, не поставив ни бутылки виски, увезли клад в неизвестном направлении, ку-ку, мимо...

Когда он начал работать в Центральном разведывательном управлении, при Аллене Даллесе еще, ритм работы увлек его; он свято верил, что все, исходящее из Лэнгли, посвящено одному лишь: борьбе за демократию, за идеалы свободного мира, против красной тирании, которая методично, не останавливаясь ни на день, пульсируя, разрасталась, проникая во все регионы мира.

После того, как Даллес заметил его (Вэлш был привлечен к разработке операции против Кастро на Плайя-Хирон, д е л о планировалось лично Даллесом, хотя он понимал, что Кеннеди возражать не станет, тем не менее он привык свои коронные операции замышлять и разрабатывать единолично), рост молодого разведчика стал стремительным. Когда Даллес после провала его операции вынужден был уйти, ибо Кастро — неожиданно для всех — легко и убедительно победил, борьба против интервентов оказалась воистину всенародной, надежда на выступление оппозиции не оправдалась, он рекомендовал Вэлша своему преемнику,— директоры могут (и должны) меняться, служба не имеет права на п р е р ы в а н и е.

Вэлш перешел в тот сектор, который организовывал надежные к р ы ш и для «благотворительных фондов»; его личным детищем был фонд «Американские друзья Среднего Востока». Поначалу газетчики — в глубине души он восторгался ими, ненависти в нем не было, «пусть победит сильнейший», а он себя слабым не считает, состязание угодно прогрессу — получили информацию, что фонд финансирует Кэйлан, и это было правдой, нежелательной правдой, ибо люди знали, что еще со времен войны тот был «богом финансов» и проводил головоломные операции по финансированию акций ОСС[1] в Мадриде и Португалии, под боком у нацистов... Тогда-то он завязал довольно прочные связи в Северной Африке, оттуда с Ближним и Средним Востоком; был создан тайный пул — сообщество финансистов и промышленников, в основном из Техаса, которые заинтересованы в надежных контактах ЦРУ, рассчитывая получать точную информацию из первых рук, Лэнгли надежнее страховой компании, самой мощной; деньги потекли рекою, Вэлш легко платил, перекупая на корню редакторов газет, местных шейхов, вождей племен, генералов; скандал в прессе удалось замолчать; ему пришлось поработать над операцией «прикрытия», поднять все материалы; его подчиненные — он это поначалу чувствовал, потом лишь убедился в правоте своего ощущения — не хотели о т д а в а т ь всего, кое-что берегли, утаивали, и не столько из корыстного интереса, такого рода данных Вэлш не сумел получить, не

[1] Нынешнее ЦРУ

пойман — не вор, сколько из соображений оперативной целесообразности на будущее. Однако он подсчитал, какую прибыль извлекли из «фонда» три нефтяные компании Техаса,— более семидесяти миллионов долларов; эта сумма показалась Вэлшу астрономической, и тогда впервые родилась мысль: «А ведь вот на кого я работаю... Что означают мои скромные сто тысяч в год в сравнении с их десятками миллионов?!»

Потом, когда он стал начальником отдела и разрабатывал «вариант» под кодовым названием «Соло» («вариантов» было четыре), его был признан наиболее точным: завербованный среди ультраправых военных офицер организовывает покушение на премьера Италии, документы о том, что он на самом деле тайный коммунист, сразу же уходят в газеты, купленные в ЦРУ; скандал начинает разрастаться, начата компания по «нагнетанию кризисной ситуации», обывателя пугают неотвратимостью коммунистического путча и военной интервенцией Москвы; после этого особые подразделения военной контрразведки арестовывают лидеров коммунистов и социалистов, к власти приходит правительство военных, игра сделана.

Когда план этот стал трещать — и не по вине Вэлша и его аппарата, но ввиду утечки информации в Риме,— пришлось еще раз провести срочную операцию «прикрытия»; было имитировано самоубийство полковника Рока, руководившего ключевым отделом военной разведки. Главный свидетель устранен, все, что будет потом, неважно.

Анализируя причины неудачи «Соло», Майкл Вэлш пришел к выводу, что свара американских финансистов, нацелившихся на итальянские рынки, столь очевидна, страсти так накалены — еще бы, в и г р у вложены огромные деньги,— дилеры на биржах так затаились перед началом «Соло», что провал можно было предполагать. И Вэлш второй раз подумал о несправедливости мира: победи он в Риме, никто об этом все равно не узнал бы, во всяком случае в этом столетии, да и личного выигрыша нет, в то время как банки Уоллстрита положили бы в свои сейфы сотни миллионов долларов.

И когда ему удалось одержать победу в Греции и привести к власти «черных полковников», Вэлш впер-

вые намекнул директору «Бэнк интернэшнл», который передал в «Фонд свободы и спокойствия Средиземноморья» триста тысяч долларов перед началом операции в Афинах, что «люди моего аппарата должны быть заинтересованы в конечных результатах своего рискованного и благородного труда».

Его поняли и передали чек на сто тысяч долларов для того, чтобы «мистер Вэлш смог отметить наиболее достойных рыцарей разведки».

Во время подготовки операции в Биафре Вэлшу подсказали, куда следовало вложить деньги, какие фирмы могут получить прямой профит от успеха внешнеполитической операции США, планируемой ЦРУ; он купил акции на пятьдесят тысяч долларов; прибыль оказалась, по его масштабам, громадной — почти сорок процентов.

Однако, при разработке комбинации, когда компьютеры исследовали все заготовленные «варианты», он убедился, что его прибыль смехотворно мала, ибо те фирмы, которые ему даже не были названы, получили семьсот двадцать четыре процента прибыли. Именно тогда он и пришел к мысли (ворочалась она в нем еще со времен «Соло»), что ставить на одну силу нецелесообразно, надо и г р а т ь. Рискованно? Бесспорно. Но кто выигрывает, не рискуя? Перераспределение доходов не санкционировано законом, тем не менее им же, законом, и не запрещено, а понятие «взятка» к людям, поднявшимся на верхние этажи власти в Лэнгли, неприложимо, честь мундира превыше всего.

...Он приехал в Лэнгли ровно к девяти, сразу же попросил секретаря приготовить кофе, осведомился, как здоровье его сына,— мальчик температурил уже вторую неделю, хотя был весел, подвижен и не жаловался на боли; пообещал устроить консультацию у профессора Рэбина — великолепный педиатр, любит детей, но не сюсюкает с ними и совершенно не старается угодить родителям, потому-то и ставит великолепные по своей точности диагнозы,— устроился на диване и начал просматривать срочную информацию, пришедшую за ночь.

Московская резидентура не сообщала ничего интересного; после того как люди КГБ разоблачили наиболее ценного агента Трианона, оттуда шли с л у х и, сколько-нибудь серьезной информации не поступало.

Довольно любопытные новости передавал резидент в Каире, надо бы сразу отправить телеграмму в Тель-Авив, перепроверить, возможна комбинация, вполне перспективная. Сообщения из Центральной Европы он проанализировал особо тщательно, главным образом информацию из Ниццы, Берна и Палермо, посвященную, казалось бы, событиям, не имеющим сколько-нибудь серьезного значения: реакция на гибель Леопольдо Грацио и подробный отчет о передвижении людей, завязанных на окружении крупнейшего кинопродюсера и бизнесмена Дона Валлоне.

После этого он позвонил в шифроуправление, спросил, отчего нет новой информации о Гаривасе, пригласил к себе начальника сектора, ведавшего разработкой данных по биржам, обсудил с ним в е р о я т и я, допустимые в связи с ухудшением обстановки на ирано-иракской границе, забастовками в Чили и экономическими трудностями Гариваса, вызванными тем, что приостановлена реализация энергопроекта, задуманного полковником Санчесом; на ленч он пригласил одного из руководителей отдела валютного управления по контролю за иностранным капиталом, порекомендовал ему (сугубо доверительно) немедленно потребовать ареста активов Грацио, поскольку вполне проверенные источники полагают, что он обанкротился, в этом-то и причина самоубийства, а уж после, вернувшись в кабинет, снял трубку телефона, который связывал его с директором, и, заранее п р о к р у т и в предстоящий разговор (исходя из анализа психологического портрета своего шефа), сказал, затягиваясь сладкой, сделанной на меду «Лаки страйк»:

— Я все-таки решил попробовать несколько вариантов с Гаривасом... Ситуация такова, что мы, не рискуя многим, можем получить все...

Он так сформулировал эту фразу, она казалась ему такой литой и неразрываемой, что, думал Вэлш, ответ шефа будет однозначным, ему ничего не останется, как сказать «да».

Однако же директор ответил не сразу, спросил почему-то, нет ли тяжести в висках у Вэлша, синоптики грозят резким падением барометра, порекомендовал постоянно пить сок тутовника, а еще лучше — есть натощак эти диковинные черные ягоды, «разжижает

кровь»; поинтересовался, не видел ли Майкл новую ленту Фрэнсиса Копполы, «чертовски талантлив, бьет по больным местам, честь ему за это и хвала», и только потом лениво и безо всякого интереса сказал:

— А что касается «вариантов», то думайте... Составьте записку на мое имя, пусть будет под рукою, я при случае посмотрю...

— Упустим время... Без вашей санкции все будут оглядываться, ждать вашего слова...

— Так-то уж вы все и ждете моего слова,— рассмеялся директор,— так уж я вам и поверил...

На этом разговор кончился, и тон его показался Вэлшу странным.

Он довольно долго п р о с л у ш и в а л каждое слово директора, включив автоматическую запись разговора (все разговоры, даже по внутреннему телефону, записываются), не нашел чего-либо угрожающего ему, но все равно какой-то осадок остался на душе, и он погрузился в работу, которая лишь и приносила успокоение.

21

14.10.83

В библиотеке Сорбонны было тихо и пусто еще; Степанов устроился возле окна; работал со справочниками и подшивками газет упоенно; страсть к документу — пожирающая страсть; если она по-настоящему захватила человека, тогда получается книга под названием «История Пугачева» и одновременно «Капитанская дочка». Но Пушкин был только один раз, больше не будет, никто с той поры не смог так понять документ, как он, подумал Степанов, такие, как Александр Сергеевич, рождаются раз в тысячелетие. Он предупреждал власть, когда писал «Пугачева», но требуется умная власть, чтобы понять тревожное предчувствие гения, а откуда ей было взяться тогда в России...

Степанов копался в справочниках по американским корпорациям; британская школа аналогов казалась ему интересной и не до конца еще понятой современниками.

Отчего, думал Степанов, и Мари Кровс словесно, и несколько провинциальных американских газет в статьях, с разных сторон, исходя их разных, видимо, посы-

лов, т р о г а ю т имя Дигона именно в связи с Гаривасом?

Он искал и нашел в старых документах дело Чарлза Уилсона, министра обороны в кабинете Эйзенхауэра. Именно он, доверенный человек группы Моргана, один из блистательных президентов «Дженерал моторс», резко сломал свой прежний курс, выступил за ограничение гонки вооружений, обвинил в политической слепоте своих коллег по правительству, а затем подал в отставку.

Подоплека неожиданной смены ориентиров стала понятной значительно позже — это была одна из форм скрытой драки за власть в Вашингтоне между империями Морганов и Рокфеллеров. Если человек Моргана настаивает на необходимости «мирных переговоров» с русскими, на развитии с ними добрых отношений, на прекращении военного психоза, значит, по логике вещей, именно Морганы лучше всего чувствуют настроение народа, значит, им и надлежит получить ключевые позиции в администрации; ничто «просто так» за океаном не делается, за всем, коли поискать, сокрыт глубокий и тайный смысл.

Степанов нашел документы и об одном из лидеров республиканцев Гарольде Стассене. Связанный с тем же Морганом, именно он, Стассен, начал в свое время громкую кампанию против братьев Даллесов — государственного секретаря Джона и директора ЦРУ Аллена. В подоплеке этого скандала, в который были втянуты крупнейшие политики и журналисты, была та же схватка Морганов с Рокфеллерами.

Но это драка на Уолл-стрите. А существует глубинное могучее противоборство банкиров Юга и Среднего Запада против твердынь банковского Нью-Йорка. Группа Джанини требует поворота Вашингтона к Латинской Америке за счет западноевропейской активности. Отчего? Видимо, банки Юга и Среднего Запада не успели закрепиться в Западной Европе, им необходим новый рынок, Латинская Америка и Азия, они хотят получить свой профит, они готовы к сражению против «старых монстров» Уолл-стрита, которые захватили все, что можно было захватить, и в этой их борьбе со старцами заручились поддержкой и генерала Макартура, и могучего сенатора Тафта.

«Дигона выталкивают на первый план,— подумал Степанов,— именно так; слишком уж выставляют напоказ. Кому это выгодно? Поди найди; не найдешь, старина, такое становится ясным после того лишь, как закончено д е л о, когда оно стало историей».

Степанов отчего-то вспомнил, как Гете объяснял пейзажи Рубенса. Его собеседники верили, что такая красота может быть написана только с натуры, а великий немец посмеивался и пожимал плечами; такие законченные картины, возражал он, в природе не встречаются, все это плод воображения художника. Рубенс обладал феноменальной памятью, он природу носил в себе, и любая ее подробность была к услугам его кисти, только потому и возникла эта правдивость деталей и целого; нынешним художникам недостает поэтического чувствования мира...

«Имею ли я право в данном случае с Лыско, который отчего-то — так, во всяком случае, утверждает Мари Кровс — поднял голос против дигонов, в о о б р а ж а т ь возможность некоей коллизии, в которой до конца не уверен, ибо не имею под рукой фактов? Наверное, нет. Я ведь не пейзаж пишу,— подумал Степанов,— я пытаюсь выстроить концепцию, отчего произошло все то, что так занимает меня, и чем дальше, тем больше».

Он хмыкнул: ничто так не обостряет и страдания, и одновременно высшие наслаждения, как активная работа ума, будь она трижды неладна; хорошо быть кабаном — пожрал, поспал, полюбил кабаниху, вот тебе и вся недолга...

22

14.10.83 (9 часов 05 минут)

Инспектор Шор подвинул фрау Дорн, секретарю покойного Грацио, чашку кофе.

— Я заварил вам покрепче... Хотите молока?

— Нет, спасибо, я пью без молока.

— С сахарином?

— Мне не надо худеть,— сухо, как-то заученно ответила женщина.

— Тогда погодите, я поищу где-нибудь сахар...

— Не надо, инспектор, я пью горький кофе.

— Фрау Дорн, я пригласил вас для доверительной беседы... Однако в том случае, если в ваших ответах появится то, что может помочь расследованию, я буду вынужден записать ваши слова на пленку. Я предупрежу об этом заранее. Вы согласны?

— Да.

— Пожалуйста, постарайтесь по возможности подробно воспроизвести ваш последний разговор с Грацио.

Женщина открыла плоскую сумочку крокодиловой кожи («Франков триста, не меньше,— отметил Шор,— а то и четыреста»), достала сигареты, закурила; тонкие холеные пальцы ее чуть подрагивали.

— Он позвонил мне что-то около одиннадцати и попросил срочно, первым же рейсом вылететь в Цюрих, там меня встретят, ему нужна моя помощь, прибывают люди из-за океана, беседа будет крайне важной... Вот, собственно, и все.

— Какие люди должны были прилететь из-за океана?

— Кажется, он упомянул «Юнайтед фрут», но я могу ошибиться...

— Спасибо, дальше, пожалуйста...

— Это все...

«Это не все,— отметил Шор,— разговор-то продолжался более семи минут».

— Как вам показался его голос?

— Обычный голос... Его голос... Только, может быть, чуть более усталый, чем обычно... Господин Грацио очень уставал последние месяцы...

— Жаловался на недомогание?

— Нет... Он был крайне скрытен... Как-то раз сказал, что у него участилось сердцебиение накануне резкой перемены погоды... Но потом врачи провели курс югославского компламина — и ему стало значительно легче...

— Он не жаловался на здоровье во время последней встречи?

— Нет.

— Следовательно, попросил вас прилететь утренним рейсом, и на этом ваш разговор закончился?

— Да.

— Вы живете одна?

— С мамой.

— А кто подошел к телефону, когда он позвонил вам? Матушка или вы?

— Я, конечно. Мама рано ложится спать.

— Фрау Дорн, я вынужден включить диктофон и попросить вас воспроизвести разговор с мистером Грацио еще раз.

— Пожалуйста... «Добрый вечер, дорогая...» Нет, нет, мы никогда не были близки,— словно бы угадав возможный вопрос Шора, заметила женщина,— просто господин Грацио был обходителен с теми, кому верил и с кем долго работал... «Не могли бы вы завтра первым рейсом вылететь ко мне, вас встретят в аэропорту. Если вы захотите арендовать в «ависе» машину, счет будет, понятно, оплачен; прилетают люди из-за океана, предстоит сложная работа, пожалуйста, выручите меня...» Вот и все.

— А что вы ему ответили?

— Сказала, что сейчас же забронирую билет и прилечу с первым рейсом; на всякий случай, попросила я, пусть концерн вышлет машину; как я понимаю, за рулем будет Франц, я помню его «ягуар»...

— Понятно... Спасибо, фрау Дорн, я выключаю запись... Расскажите, пожалуйста, когда вы начали работать с Грацио?

— Давно, инспектор... Лет семь назад.

— Каким образом вы к нему попали?

— Я пришла по объявлению... Выдержала конкурсный экзамен и начала работать в его банковской группе... Знаю итальянский и английский, выучила французский... Однажды пришлось стенографировать совещание наблюдательного совета, на котором были представители итальянских и американских фирм... Господину Грацио понравился мой итальянский, с тех пор я часто с ним работала...

— Вы стенографировали все важные сообщения?

— Да. Особенно если собирались представители разноязычных стран...

— Господин Грацио приглашал вас когда-нибудь на ужин?

— Только с компанией.

— Вы знали его близких друзей?

— Как вам сказать... По-моему, близких друзей у не-

го не было, инспектор. Я знаю, что он уезжал отдыхать — дней на пять, не больше — на свою яхту в Палермо... Там не бывал никто из его служащих... Он был со всеми очень добр и ровен... Нет, я не знаю его близких друзей.

— А какими были его отношения с господами Бланко и Уфером?

— Это его... Как бы сказать... Я не уверена, являлись ли они его компаньонами, но, мне кажется, он доверял этим людям и делал с ними серьезный бизнес.

— Какого рода?

— Господин Грацио никогда и никому не рассказывал о своем бизнесе, инспектор, это не принято.

— Вы хорошо знакомы с этими людьми?

— Нет. Поверхностно.

— Вы хорошо относились к покойному?

— Очень.

— Вы не хотите помочь мне в установлении истины?

Женщина снова закурила; пальцы ее не дрожали больше, но лицо было бледным и глаза тревожными.

— Я готова помогать во всем, инспектор.

— Меня интересует любая подробность, любое ваше соображение о случившемся... Может быть, вас тяготит что-то, вы подозреваете кого-либо?

— Нет.

— Вы считаете, что у Грацио были веские причины уйти из жизни?

— У каждого человека есть своя тайна.

— Вы не замечали каких-либо аномалий в его поведении за последние недели или месяцы?

Женщина покачала головой, ничего не ответила.

— Вчера по телефону вы говорили, что все случившееся ужасно, что это невозможно, он так любил жизнь и все такое прочее... Господин Грацио был человеком настроения?

— Нет, он был человеком дела, там настроения невозможны...

— Почему господин Грацио мог решиться на такой страшный шаг, фрау Дорн?

— Я не знаю...

— Скажите, пожалуйста, на последних совещаниях вашего наблюдательного совета не было тревожных сигналов о близящемся банкротстве?

— Если бы эти разговоры и были, я не ответила бы вам, инспектор, потому что подписала обязательство не раскрывать секреты концерна в течение десяти лет после окончания работы...

— Я понимаю вас, фрау Дорн... Когда вы беседовали с господином Грацио перед его последним телефонным звонком?

— Это было... Мне кажется, дней восемь назад... Он звонил из...

— Откуда?

— Из Гариваса.

— И что же?

— Продиктовал памятку...

— Это секрет?

— Думаю, нет... О подробностях я вам говорить не стану, но касалась эта памятка — только для членов наблюдательного совета — энергопроекта Гариваса...

— В ней не было ничего тревожного? Простите, но я вынужден поставить вопрос именно в такой плоскости, фрау Дорн.

— Нет,— чуть помедлив, ответила женщина.— Я бы сказала...

— Что?— подался вперед Шор.— Что бы вы хотели сказать?

— Я бы сказала, что тон памятки был вполне... оптимистичным...

— Вы можете предположить, что могло подвигнуть господина Грацио на смоубийство?

— У всякого человека есть своя тайна... Я уже сказала...

Шор откинулся на спинку кресла, бросил под язык мятную таблетку, потянулся и, нажав на одну из кнопок селектора, спросил:

— Что там с расшифровкой записи беседы? Готова?

— Да,— ответили ему.

— Очень хорошо. Прочитайте мне, пожалуйста...

— Да, но...

— Нет, она не услышит, я переведу разговор на трубку, читайте.

Он не смотрел на женщину, он смотрел в окно, где ее отражение было четким; и сразу же заметил, как она потянулась к сумке и нервно закурила.

Шор сидел, словно каменный, только открывал и закрывал глаза, лицо его иногда сводило гримасой...

По прошествии нескольких томительных минут он сказал:

— Благодарю, Папиньон, молодец.

Положив трубку, Шор повернулся к фрау Дорн и усмехнулся, не разжимая рта.

— Вы все поняли?

— Не-ет...

— Фрау Дорн, вы читающий человек, у вас дома прекрасная библиотека, и большую часть ее составляет детективная литература, не надо лгать мне попусту... Поскольку я не очень-то верю в самоубийство вашего босса — говорю вам об этом очень доверительно, вы не вправе передавать мои слова кому бы то ни было,— мне пришлось взять под опеку и контроль всех тех, кто был близок к Грацио... От греха... В ваших же, кстати, интересах... Если Грацио действительно убили, то и вас шлепнут, как муху... Ясно?! О чем вы говорили с тем человеком, который позвонил вам в отель в девять и пришел в десять вечера? Я хочу, чтобы вы это сказали на диктофон, потому что в противном случае я обращу записанную моим помощником беседу с этим человеком против вас! Вы утаиваете правду от следствия! Таким образом, вы покрываете тех, кто повинен в гибели Грацио! Ну, давайте!

— Я не знаю этого человека... Я не знаю, я ничего не понимаю,— женщина заплакала.— Если тем более вам уже все известно...

— Повторяю, я не желаю вас позорить... Одно дело — вы сами рассказали мне все, а другое — если я вызову вас в суд в качестве человека, который скрывает правду! Говорите, фрау Дорн, можете говорить так, как вам представляется удобным сказать, я вправе представить следствию запись, но могу и не представлять, а передать ваши скорректированные показания.

— Я не знаю этого человека,— повторила женщина,— он позвонил и сказал, что ему необходимо увидеть меня по поручению господина Раффа...

— Кто это?

— Мой бывший шеф.

— Где он?

— Он вице-президент филиала «Кэмикл продакшнз» во Франкфурте.

— Дальше...

— Рафф никогда бы не стал тревожить меня попусту... Значит, что-то случилось...

— Дальше...

— Этот господин отрекомендовался его новым помощником; он сказал, что его зовут мистер Вакс... Говорил, что вокруг гибели господина Грацио начинается скандал... Втянуты темные силы... Словом, я не должна давать никаких показаний, чтобы не поставить в опасность жизнь мамы и мою...

— Дальше.

— Это все.

Шор покачал головой.

— Пожалуйста, подробнее, фрау Дорн.

— Но это все!— воскликнула женщина.— Вы можете сверить с вашей записью!

— Помните телефон Раффа?

— Триста сорок четыре тринадцать семьдесят.

Шор посмотрел в телефонной книге код Франкфурта-на-Майне, набрал номер; ответила секретарь, как всегда, с улыбкой, поюще, заученно:

— «Кэмикл продакшнз», добрый день, чем я могу быть вам полезна?

— Тем, что соедините меня с господином Раффом.

— У господина Раффа сейчас переговоры, с кем я говорю?

— Я инспектор криминальной полиции Шор. Звоню по крайне срочному делу, связанному с гибелью Грацио.

— Не будете ли вы любезны подождать у аппарата?

— Мне ничего не остается делать, как ждать у аппарата,— пробурчал Шор.

В трубке щелкнуло, наступила громкая, слышимая тишина.

Прикрыв мембрану тонкой, девичьей ладошкой, Шор спросил:

— Этот самый мистер Вакс передал вам письмо от Раффа?

— Визитную карточку.

— Где она?

Женщина открыла сумочку, достала помаду, два листочка бумаги, плоскую коробочку пудры, визитную карточку, протянула ее Шору.

Тот взял визитку, хмыкнул, показал ее женщине — на глянцевой бумаге не было ни единой буквы.

— Поняли, отчего мы за вами смотрели? Это ж фокусы. Суют визитку, напечатанную таким образом, что шрифт сходит через пять — восемь часов.

Глаза женщины сделались до того испуганными, что Шору стало жаль ее.

«Сколько же вас с такими вот крокодиловыми сумочками садилось в мое кресло,— подумал он,— как вы все были поначалу неприступны, как точно следовали тому, чему вас научили юристы, любовники, гадалки, сутенеры, мужья, черти, дьяволы, а я знал, что должен вырвать у вас признание, добиться правды, и я добивался ее, но как же мне было жаль вас всех, боже ты мой, кто бы знал, как мне было вас жаль...»

В трубке щелкнуло.

— Здесь Рафф. Слушаю вас, господин инспектор Шор.

— Я хочу вас предупредить, господин Рафф, что наш разговор записывается на диктофон, так что вы вправе отказаться от беседы со мною.

— Все зависит от ваших вопросов, господин Шор. В том случае, если они не будут меня устраивать, я свяжу вас с моими адвокатами, они станут отвечать за меня.

— У меня пока что единственный вопрос, господин Рафф: вы знаете фрау Дорн?

— Конечно! Она была моим секретарем... Что-нибудь случилось?

— К счастью, нет. Если позволите, второй вопрос, господин Рафф: в связи с чем вы направили мистера Вакса вчера вечером к фрау Дорн?

— Кого?

— Мистера Вакса. Он позвонил к фрау Дорн от вашего имени...

— Господин инспектор Шор, я не знаю человека с такой фамилией.

— Я благодарю вас за исчерпывающий ответ, господин Рафф, приношу свои извинения, до свидания...

Шор положил трубку, бросил под язык еще одну мятную таблетку и сказал:

— Вас проводит мой человек... Расплатитесь в своем отеле и сразу же улетайте домой... За вашей квартирой будут смотреть наши коллеги, живите спокойно, только перед тем, как мы попрощаемся, расскажите мне все, что вы знаете о последних днях Грацио... И передайте в точ-

ности последний разговор с ним, фрау Дорн... Грацио говорил с вами семь минут — нет, нет, ни его, ни тем более вас мы не подслушивали, не было оснований, просто счет на разговор с Франкфуртом отмечен как семиминутный... Я выключаю диктофон и даю слово не ссылаться на вашу информацию при допросах тех людей, которые так или иначе входили в окружение покойного...

После того как фрау Дорн увезли, Шор пригласил Папиньона и, посмеиваясь, заметил:

— Ну, что я тебе говорил? Она обязана была клюнуть на удочку и клюнула. Запомни, с умной женщиной можно бороться только одним — жесткой логикой. Из нашего с тобой разговора она поняла, что нам известно о вчерашнем визитере; мы вовремя успели выяснить про ее франкфуртские связи, про маму и библиотеку детективов. Эрго: она, как и все, читающие Флеминга, считает, что у полиции денег куры не клюют, и мы записываем все беседы в отелях, бардаках и даже телефонных будках. Остальное — дело техники; ненавистные мятные таблетки, гримаса гнева и чуть повышенный голос... Но кто-то крепко вертит все это дело, Папиньон... Такого рода визитки,— он кивнул на глянцевый листок бумаги,— мелкие шулеры не делают, этим занимаются, мой милый, мелкие типографии могучих разведывательных институций... Возьми на анализ и запроси Интерпол, не было ли зафиксировано такого рода фокусов у мафиози... И пригласи на допросы всех тех, кого она только что упомянула... В первую очередь эту самую Мари Кровс, журналистку... А я попробую выпросить у комиссара Матэна десяток хороших сыщиков, чтобы они последили за теми, кого она назвала... И последнее. Она сказала про какого-то русского журналиста, с которым у него была обговорена встреча...— Шор пролистал записную книжку Грацио.— Ты можешь разобрать его почерк?— Он подвинул книжку Папиньону.— Лисо? Лиско? Узнай к вечеру, кто этот человек, о'кэй?

В два часа дня Папиньон передал копию записи допроса фрау Дорн быстрому холодноглазому Паулю Заборски, наиболее доверенному контакту резидентуры ЦРУ в Берне.

В три часа Джон Хоф отправил шифротелеграмму Майклу Вэлшу.

Ответ из Лэнгли пришел незамедлительно: «Пред-

примите все меры, чтобы Шор был отстранен от расследования хотя бы на ближайшие пять дней. Поручите Папиньону производство обыска на квартире Лыско — неожиданно для Шора — в тот момент, когда получите наше на то указание. *Майкл Вэлш*».

23

Из бюллетеня Пресс-центра:

«Как стало известно, группа финансистов Уолл-стрита вошла с интерпелляцией в Верховный суд с требованием немедленного ареста всех активов покойного Леопольдо Грацио, так как, предположительно, он покончил с собою в связи с надвигающимся банкротством.

Поскольку Грацио в последнее время, как утверждают чиновники банковских корпораций, предпринял ряд весьма рискованных операций, финансировал гигантские проекты в развивающихся странах, поддерживал прогрессивный режим в Гаривасе, скупал акции на биржах Гонконга, Чикаго и Франкфурта, его положение резко пошатнулось, он выбрал для себя самый легкий путь, чтобы уйти от ответственности.

В случае, если решение об аресте активов покойного Леопольдо Грацио войдет в законную силу, предполагается ревизия всех его бумаг.

Однако уже сегодня активы Грацио находятся под подозрением и цена на его акции катастрофически падает; если день назад он был тайным банкротом, то сегодня стал банкротом явным. Если же он не был банкротом, то его им сделали самим фактом такого рода открытой, широко рекламируемой интерпелляции».

24

Ретроспектива II (шесть месяцев назад, лето 83-го)

Заместитель директора ЦРУ Майкл Вэлш мельком глянул на большие часы, показывающие местное, вашингтонское время; до встречи с Дигоном оставалось

еще четыре часа; вертолет идет в Нью-Йорк сорок семь минут; времени хватает, можно и нужно прочитать последние сводки из пограничных с Гаривасом государств; особенно интересно работает резидент в Паме, совсем еще молодой Юджин Пат; к разговору с Дигоном следует хорошо подготовиться.

В 14 часов 45 минут Пат сообщал: «Предстоящая конференция в Гаване побудила меня предпринять ряд срочных мер, особенно после того, как я получил информацию, что официальный представитель нынешнего режима Гариваса примет участие в ее работе в качестве наблюдателя. Агент Сидней, работающий на телевидении, имеет ряд материалов, компрометирующих полковника Мигеля Санчеса. Эти материалы были переданы мне ЮСИА[1] , но не выдерживали никакой критики в силу их прямолинейности и недосказанности обвинений, выдвинутых против лидера. Я подключил к переработке материалов моего агента из газеты «Эль Эпока»; ныне «тайные связи» полковника Санчеса с режимом Кастро кажутся вполне правдоподобными; хорошо прозвучит история о том, как Санчес не пожелал спасти своего друга во время охоты на акул в заливе и его друг (профессор Мориета) погиб в пасти хищника; есть также показания девушки, обвиняющей полковника Санчеса в покушении на ее добродетель. Я предложил тогда добавить еще один эпизод: агентура, работающая в среде левых профсоюзов, организовала материал о том, что некий Мигель Санчес из Гариваса еще девять лет назад ездил в Прагу и Улан-Батор на средства, не заявленные финансово-контрольным органам; следовательно, эти средства не что иное, как деньги КГБ или ЦРУ, хотя я порекомендовал допустить версию «кубинской черной валюты». Послезавтра появится заявление «Конфедерации демократических граждан Памы», в котором будет превозноситься предстоящая конференция, в резких выражениях «заклеймят» американский империализм и колониализм, предпринимающий все возможное, чтобы «задушить» прогрессивные режимы Латинской Америки; после этого наша агентура напечатает сообщение о том, что «Конфедерация демократических граждан» есть не что иное, как запасная штаб-квартира компартии и именно отсюда исходят все приказы

[1] Информационное агенство США.

на проведение забастовок в Паме, разрушающих и без того ослабленную экономику страны».

В 15 часов 05 минут Юджин Пат передал:

«Мой агент, работающий ныне в посольстве Гариваса, во время конспиративной встречи, состоявшейся только что, сообщил, что начальник генерального штаба полковник Диас, весьма близкий к премьеру Мигелю Санчесу, находится в крайне натянутых отношениях с министром обороны майором Лопесом. Предполагают, что это происходит оттого, что в новом кабинете не все верят Лопесу, получившему образование в Вест-Пойнте, хотя министр иностранных дел режима полковника Санчеса, доктор Малунде, выпускник Гарварда, стоит тем не менее на позициях, приближающихся к крайне левым. Пока что Санчес сохраняет видимость единства кабинета, но я предполагаю начать в здешней прессе кампанию против начальника генерального штаба Диаса, в заговоре против полковника Санчеса, из опасения, что «чрезмерный либерализм гаривасского лидера может ввергнуть республику в пучину гражданской войны».

Представилась возможность выйти на один из контактов майора Лопеса, связанных с его операциями по перекупке на фиктивные имена плантаций какао-бобов, однако контакт требует пятьдесят тысяч долларов в качестве аванса, объясняя это условие крайним риском всей операции. Он полагает, что информация, которой он снабдит нас, позволит провести конспиративную встречу с майором Лопесом и установить с ним деловые отношения. Жду указаний».

Майкл Вэлш пожал плечами, откинулся на спинку кресла, легко взбросил ноги на краешек стола, сладостно закурил и нажал на кнопку селектора.

— Пожалуйста, передайте в шифровальный отдел, что я согласен с предложением Пата, мы переведем ему десять тысяч баков[1] — десять, а не пятьдесят — сегодня же. Это первое. Теперь второе: я вылетаю через пятнадцать минут, сообщите в Нью-Йорк, в наше бюро. И

[1] Доллар *(см.жаргон. – Ю.С.)*.

третье: меня интересуют имена всех людей, которые соприкасались с министром обороны Гариваса майором Лопесом в ту пору, когда он учился у нас в Вест-Пойнте. Это все. Я вернусь к одиннадцати. Если что-нибудь срочное, звоните мне за город, я лягу спать поздно, осталось много незавершенной работы.

В шесть часов вертолет Майкла Вэлша приземлился на плоской крыше небоскреба, где располагался среди прочих контор, банков, директоратов филиал акционерного общества «Гонконг — Лос-Анджелес трэйд асошиэйшн лимитед». Под такой «крышей» помещался конспиративный центр ЦРУ, сориентированный на работу по странам Центральной Америки и островам Карибского бассейна.

...Дигон приехал в подземный гараж; там его машина была погружена в автолифт и поднята на семьдесят девятый этаж; возле лифта его встретил Вэлш, осведомился о здоровье, рассказал новый анекдот о президенте Рейгане; посетовал на постоянные глупости, которые творит администрация «старого артиста», пожурил государственный департамент: совершенно запутались, никакого курса, отдали право политических решений Белому дому, забвение уроков Джона Фостера Даллеса; о времена, о нравы; конечно же, Кремль стрижет дивиденды с такого рода глупости; мы одни пытаемся что-то делать, но все эти высылки из Европы русских дипломатов — с нашей подачи — вряд ли возымеют сколько-нибудь продолжительное действие, нет, пришла пора кардинальных решений, от слов надо переходить к реальному делу, иначе мы потеряем все то, что с таким трудом наработали...

— Верно,— согласился Дигон, когда они остались одни в большом зале с голыми стенами, в которые были вмонтированы карты важнейших регионов Центральной Америки, они начинали светиться после легкого прикосновения к пульту, установленному на письменном столе, за который сел Майкл Вэлш, пригласив собеседника устроиться рядом с собою в удобном мягком кресле.

— Отсюда вам будет сподручнее знакомиться с нашими материалами, мистер Дигон,— сказал Вэлш.— Я усадил вас в кресло директора, а он любит комфорт.

— Готов поступиться комфортом во имя надежнос-

ти,— заметил Дигон.— Если бы ваш директор и наш президент руководствовались такого рода постулатом, думаю, американцам жилось бы спокойно и счастливо. Как у вас со временем, мистер Вэлш?

— Я должен вернуться в Вашингтон не позднее десяти тридцати, в Европе напряженное положение, шифровки из наших резидентур приходят каждые три минуты; хотя бы пятую часть, увы, приходится читать...

— Тогда я сформулирую предмет нашего интереса как можно жестче...

— Я в курсе, мистер Дигон.

— Нет, мистер Вэлш, вы в курсе того, о чем вас проинформировали мои помощники... Я им доверяю и люблю их, но они — это они, а я — это я. Дело в том, что Гаривас меня интересует не только потому, что я не хочу, как и всякий патриот Штатов, повторения Кубы или Никарагуа, но и оттого, что я принципиально озабочен деятельностью Леопольдо Грацио. Именно поэтому и попросил моих людей устроить нам встречу.

— Но они ничего не сказали мне о Леопольдо Грацио,— Вэлш удивленно пожал плечами и полез за своими «Лаки страйк».— Я понял их так, что объектом вашего интереса являются плантации бобов какао в Гаривасе, мера стабильности нынешнего режима, угроза национализации или социализации, которые могут оказаться полезны вашему предприятию... Я понял ваших коллег именно таким образом.

Дигон улыбнулся.

— Я же сказал вам: они — это они, а я — это я... Убежден, что телефонные разговоры моей корпорации фиксируются аппаратом ФБР, оттуда вполне возможна утечка информации, она, впрочем, возможна, увы, и в моем штабе... Поэтому главное я открываю вам. Одному. И никому более.

Вэлш нажал на одну из кнопок пульта; пророкотал низкий бас из двух динамиков, укрепленных где-то под потолком:

— Центральный пункт информации слушает.

— Меня интересуют данные по Леопольдо Грацио, финансисту.

— Центральный пункт информации настаивает на том, чтобы вы назвали свой пароль и номер удостоверения.

— Тридцать восемь — восемьдесят семь, номер карточки девять тысяч один, дробь кэй даблю.

— Благодарю вас,— пророкотал низкий бас, и на стене как раз напротив кресла, где расположился Дигон, появилось изображение Леопольдо Грацио: высокий, чуть располневший мужчина с белозубой улыбкой, в строгом черном костюме.— Приблизительная стоимость акций, скупленных его фирмами в последние месяцы,— начал рокотать бас еще в более низком регистре,— исчисляется в сто семьдесят миллионов долларов; близок к концерну Блика, владеет контрольным пакетом акций в фирме «Грацио корпорейшн», стоимость которых равна двумстам сорока миллионам долларов; особая активность его представителей зафиксирована за последние месяцы в Гаривасе, Бразилии и Эквадоре. Объект интереса в Бразилии — акции «Фольксвагена», в Эквадоре — игра на понижение акций компании ИТТ, в Гаривасе он поставил на какао-бобы, скупая акции «Фрут компани» на биржах Женевы, Гонконга, Амстердама и Франкфурта. Имел две беседы с премьер-министром Гариваса полковником Мигелем Санчесом, предложил заем в сто миллионов долларов для реализации проекта единой энергосистемы в стране после того, как какао-бобы завоюют мировой рынок. Концерн Грацио проявляет серьезный интерес к энергетическому бизнесу, владеет семнадцатью процентами акций в «Электрисите женераль» и семью процентами «Электришегезельшафт ам Майн». Грацио имеет надежные связи с руководителями профсоюзов работников электростанций Федеративной Республики Германии, Бельгии, Дании и Испании, которые, в свою очередь, постоянно контактируют с министрами экономики соответствующих государств. Таким образом, в случае если Грацио разместит заём в Гаривасе и правительство полковника Санчеса подпишет с ним договор, интересам Соединенных Штатов может быть нанесен определенный ущерб, поскольку ключевые посты по связям с экономикой Гариваса перейдут в руки центристских, а возможно, и социалистических (Испания, Франция) правительств Европы.

Рокочущий бас продолжал выдавать бесстрастную информацию:

— Оперативные данные о Леопольдо Грацио: весьма скромен во время публичных выступлений, порочен до

определенной меры, к гомосексуализму, группенсексу не склонен, имеет двух любовниц: Мадлен Роша в Париже, рю Тильзит, семь, и Анжелику Фор, Бад-Годесберг-Лисем, Ауф дем Колленхоф, два; по прежним итальянским законам не имел права на развод, платит жене Анжелике фон Варецки, с которой не живет уже двенадцать лет, сорок пять тысяч долларов на содержание, к азартным играм не пристрастен, упрям в достижении цели, внутренне одинок, ценит ласку, к попытке подвести к нему нашего агента Муар отнесся подозрительно, в прошлом поддерживал деловые связи с представителями марсельской и палермской мафии через некоего Гастона, предположительно Яна Гломбу, проживающего в Мюнхене; его дилерами на бирже Цюриха являются Хуан Бланко и Бенджамин Уфер, сам он никогда в зале бирж не появляется, во время кризисных ситуаций, как правило, находится на борту своего самолета, откуда держит постоянную связь с дилерами; из концернов США в связях с ним зафиксирована группа Моргана, однако попытка использования его в интересах концерна успехом не увенчалась; можно полагать, что он относится к числу финансистов «новой волны», которые полагают разумным развитие связей не только с представителями националистических режимов, выступающих с критикой нашей политики, но и социалистическими странами, поскольку это, по словам гамбургской журналистки Мари Кровс, взявшей интервью у Грацио, «угодно европейской тенденции, а она весьма условно делима на «западную» и «восточную», да и то чаще всего в идеологической сфере; что же касается экономики, то Европа не может не быть единым организмом...».

— Хватит,— сказал Дигон,— это самое важное. Что известно о его контактах с Кремлем?

Вэлш снова закурил, вместо него пророкотал низкий бас:

— Зафиксирован факт переговоров фирмы «Петролеум индастри» с Внешторгбанком России по поводу совместного проекта; работа экспертов продолжается, Грацио имеет одиннадцать процентов акций «Петролеум».

— Пусть он теперь не слушает нас,— сказал Дигон Вэлшу,— поблагодарите его, и пусть отключится..

— Это автомат,— усмехнулся Вэлш,— робот, он не умеет реагировать на слово «благодарю», глядишь, ответит бранью... Что касается подслушивания, то гарантировать ничего не могу, мы находимся в оперативном центре, здесь каждое слово фиксируется, как в кабине реактивного бомбардировщика...

— Хорошо, тогда ответьте мне под вашу поганую запись: как долго вы намерены терпеть этого самого полковника Санчеса? Если нет, то существует ли у вас замена ему и опасно ли для моих и ваших интересов в пограничных с Гаривасом странах возможное развитие ситуации, сумей Леопольдо Грацио закрепить там свои позиции?

—Существует девять вариантов, разработанных...— зарокотал было бас, но Вэлш живо нажал на одну из кнопок, и на втором экране, вмонтированном в стену, тревожно зажглись два слова: «Но ансвэр!» — «Не отвечать!»

— У нас есть кое-какие соображения, мистер Дигон, нас не может не тревожить политика полковника Санчеса, хотя пока нет реальных доказательств его связей с Кремлем или Кастро... Пожалуй, мы готовы будем помочь вам информацией, если вы решите поставить на здравомыслящие элементы в Гаривасе... В первую очередь я имею в виду майора Лопеса, министра обороны... Я солидарен с Карлом Марксом — лишь уповая на решение экономических проблем, мы сможем добиться угодных нам политических корректив...

— По поводу этого самого министра Лопеса тоже будет «Не отвечать!»? Или какими-то сведениями об этом парне вы можете поделиться?

— Мы им очень дорожим, мистер Дигон, поэтому я готов дать вам лишь строго дозированную информацию. Если вы решитесь на прямой контакт с Лопесом и он пойдет на этот контакт, я открою вам то, что пока должно оставаться тайною Штатов.

— Спасибо, мистер Вэлш, я тронут вашей откровенностью, мне хотелось бы увидеться с вами после того, как я обговорю мои планы с майором Лопесом, не возражаете?

— Мои коллеги заинтересованы в этом не меньше вас, мистер Дигон, несмотря на то, что это не затрагивает их финансовых интересов...

Дигон усмехнулся.

— А вы покупайте акции моей дочерней фирмы «Континентл фуд индастри», именно она станет играть на понижение стоимости акций какао-бобов Гариваса... Тогда вы — в случае удачи предприятия — на вложенный доллар получите не меньше пяти. Спасибо за то, что нашли для старика время...

25

14.10.83 (17 часов 04 минуты)

Корреспондент провинциальной «Стар» Фрэнк По прилетел в Шенеф в девять вечера, взял такси возле маленького аэропорта и попросил шофера отвезти его в европейский Пресс-центр.

Там он сразу же пошел в бар, надеясь увидеть кого-либо из знакомых; сейчас здесь шумели, пили, спорили, рассказывали анекдоты; это были в основном европейцы; один лишь американец — Фрэнк определил его по клетчатому пиджаку, узеньким брюкам и тяжелым черным полуботинкам (никто так не традиционен в фасоне одежды и обуви, как американцы, которым за пятьдесят) — сидел за стойкой и, быстро пролистывая страницы пресс-бюллетеней, пил лимонный сок птичьими, очень маленькими, жадными глотками.

К нему он и подошел.

— Я Фрэнк По из «Стар», можно, я сяду рядом?

— Я «сэр Все» из ниоткуда,— ответил американец.— Здесь не принято спрашивать разрешения, если свободно, садитесь, и все тут...

— Меня пригнали сюда, потому что коллега из Гамбурга, кажется Мари Кровс, имеет какую-то информацию по делу шлепнувшегося миллионера из Палермо. Вы ее не видели?

— Видел. Она скоро вернется, куда-то уехала... Мечется все время, пытается опубликовать свои разоблачения, воюет против нашего агрессивного империализма, а беднягу никто не печатает... Как это все смешно,— вздохнул «сэр Все»,— суета сует и всяческая суета... Вот, глядите,— он подвинул Фрэнку несколько страниц,— я передал в бюллетень Пресс-центра свою подборку самой важной информации о том, что сотрясает сегодня

мир. Однако и у нас здесь, как везде, во всем и всюду, сплошная тенденция... Вот прочтите мое сообщние о том, что у нас изобретен препарат — тимолол, который уменьшает рабочую нагрузку на сердце и снижает смертность на сорок процентов. А ведь подсчитано, что в этом году от инфаркта у нас с вами на родине умрут миллион человек. Миллион, понимаете? Не умерли, а у м р у т... Спокойно пишут, отстраненно... Так вот, про тимолол печатать не стали, «еще не проверено до конца»... Ладно... Дал другое: токийский профессор Касуга доказал, что жена человека, который вроде меня смалит шестьдесят сигарет в день, «пассивно выкуривает» полпачки в сутки. А некурящая секретарша курилки босса тем не менее также пассивно выкуривает двадцать штук в сутки.. Мне сказали: «Ну и что? Вы хотите отпугнуть стенографисток? Они и так бегут как крысы с тонущего корабля, потому что мы спим с ними бесплатно, заставляем работать по ночам без сверхурочных и легко передаем друг другу, когда они нам приедаются, называя этот акт «списание в национальное хозяйство». Ладно. Я просил, чтобы напечатали сообщение о работе голландцев, которые доказали, что мы стоим перед катастрофой: химические удобрения убивают червей в почве, а это означает умерщвление структуры пахотной и луговой земли. Мне ответили, что эта информация носит дурно пахнущий, не эстетический оттенок. Тогда я принес сообщение из Манилы о том, что филиппинская армия делает взрывчатку для бомб из кокосовых орехов. Надо мной посмеялись — не может быть. Ладно, нас, янки, просто так не скрутишь. Я им сунул информацию про то, что акулы не болеют раком, да и другим серьезным инфекционным заболеваниям не подвержены и ученые сейчас бьются над тем, как обнаружить вещества, которые стимулируют их иммунную систему, а еще лучше выделить их, чтобы спасти род людской от рака. Мне ответили, что нечего прославлять акулу в прессе... Знаете, что напечатали?

Фрэнк По, завороженно слушавший «сэра Все», покачал головой.

— Ума не приложу.

— Зачитываю,— «сэр Все» факирским жестом отмахнул три страницы бюллетеня.— Британская фирма «Строуб айдент» сконструировала портативный маяк

для подачи сигнала бедствия. Длина — двести миллиметров, масса — двести пятьдесят граммов, стоимость — шестьдесят долларов... Ничего, а? Каждый тонет в одиночку, век разобщенности, эра тенденции и крушения человеческого духа... А бедненькая Мари носится с идеей добра, изоляции наших финансовых китов и спасения красивого полковника Санчеса, последнего идеалиста испаноговорящей Америки...

— Простите, а как вас все-таки зовут?— поинтересовался Фрэнк.

— Меня зовут «сэр Все», я же вам представился,— раздраженно ответил американец.— Или у вас дырявая память, как у всех молодых людей? Когда я поверю вам, тогда расскажу, отчего у меня такое странное имя... У меня нет оснований вам верить, потому что я трезв, а пить начну через неделю, когда кончу работу, запланированную на этот месяц.

...Мари пришла в бар около одиннадцати; растерянная, с ярким румянцем на острых скулах.

— Я Фрэнк По из «Стар», мисс Кровс... Так же, как и вы, я ненавижу наших старых мумий, готовлю материал о ситуации в Гаривасе, а в Париже мне сказали — я там аккредитован, хотя работаю по всей Западной Европе,— что у вас есть какие-то новые данные в связи с интересующей меня проблематикой...

Мари ответила не сразу, а лишь после того, как изучающе осмотрела По.

— Какая проблематика вас интересует? Я, признаться, прежде не читала ваших корреспонденций.

— Меня интересует то же, что и вас: загадочный клубок «Грацио — Гаривас — Санчес», будущее этой несчастной республики, тайна палермского миллионера...

— Можете гарантировать, что информация, которой я располагаю, появится в вашей газете?

— Я не редактор и не владелец контрольного пакета акций, мисс Кровс... Я представляю нашу провинциальную прессу, вы же знаете, сколь консервативны наши люди в глубинке...

Мари усмехнулась.

— Думаю, не более, чем любые... Мне, кстати, очень нравятся глубинные американки, в них еще много от прошлого века.

Фрэнк горько вздохнул.

— Вы слишком добро сказали «американкши»... Вы не знаете, что такое американский прошлый век... Это же рабство, мисс Кровс... Я не чистый американец, мы выходцы из Европы, отец всегда вспоминает настоящую родину с тоской и нежностью. Увы, я не могу гарантировать опубликование ваших материалов... Но я обещаю молчать, подскажите только, в каком направлении и у кого искать мне.

— Опять-таки можете гарантировать, что сами напечатаете то, что я вам открою? Я готова отдать вам все, только напечатайте...

— Я был бы бесчестной свиньей, если бы сказал, что гарантирую... Нет, не гарантирую...

— Мне обидно за Америку... За Северную Америку,— быстро поправилась Мари, и Фрэнк сразу же понял, что у нее много друзей на Южноамериканском континенте, там не любят, когда о Штатах говорят «Америка».— Почему Белый дом так нетерпим ко всему тому, что не укладывается в схему, выработанную в пору доктрины Монро, великого североамериканского изоляционизма?! Это ж китайская стена двадцатого века, мистер По... Возьмите подборки ваших газет по Гаривасу, колонки комментаторов, послушайте радио, посмотрите телевидение... Нагнетают психоз, это понятно непосвященному, не то что нам с вами, циникам, которые прекрасно знают, как все это делается... Почему? Все просто: поднимите таблицы внешнеторгового баланса Гариваса за последние семь месяцев... Правительство взяло в свои руки то, что раньше было бесконтрольной монополией Дигона, Рокфеллера, Моргана. Особенно Дигона... Ну, а потом попросите редакцию финансировать ваш полет в Гаривас — готова помочь вам получить интервью у Санчеса.

— Это он вам дал интервью, и я восхищаюсь его прямотой, хотя кое-чего вы недоговариваете... Вы красивая, это понятно, отчего он согласился дать вам интервью... Мне он покажет фигу...

Фрэнк сказал это до того жалостливо, что Мари улыбнулась, положив свою мягкую ладонь на его руку.

— Слушайте, прежде чем лететь в Гаривас — Санчес вас примет, я обещаю,— попробуйте в Париже встретиться с профессором Вернье, он знает латиноамери-

канский узел, как никто другой... Только не ссылайтесь на меня... Если вы упомянете мое имя, он вряд ли станет говорить с вами...

— Как Вернье относится к американцам?

— А как он должен к ним относиться?— удивилась Мари.

— В Европе нас не любят... Ракеты, нейтронная бомба и все другие дела...

— Нет... Вернье — культурный человек, у него много друзей в Штатах, он не страдает ущербностью западноевропейского шовинизма... Если вы его разговорите, вам будет над чем подумать... Как раз он-то не станет требовать гарантий, чтобы вы напечатали то, что он вам скажет... Это человек щедрый, и у него нет в данном случае такого интереса, какой есть у меня.

Фрэнк По сдержался, чтобы не спросить про то, какой же интерес у мисс Кровс, поднялся и пошел к бару заказать два кофе.

Мари, словно бы почувствовав это, крикнула:

— Не вздумайте меня угощать, я плачу за все сама...

Ночью, возвращаясь в пустом курьерском поезде в Париж, Фрэнк По притулился к окну, но уснуть не мог, со щемящим чувством тоски вспоминал Мари, думая о том, как будет счастлив человек, которого полюбит эта зеленоглазая пшеничноволосая женщина с ярким, нездоровым румянцем на острых скулах и такой ласковой, мягкой, теплой ладонью...

26

Ретроспектива III (пять месяцев назад, лето 83-го)

«Директору Центрального
разведывательного управления
Подлежит расшифровке
в аппарате директора
Докладывать лично директору
Совершенно секретно

Агент «Жозеф» передал вчера документацию о том, что на биржах Лондона, Антверпена, Женевы и Гонконга в течение ближайших месяцев возможен бум, связанный с атакой на

цены бобов какао, это следует расценивать как удар по режиму лидера Гариваса полковника Санчеса.

По не подтвержденным еще сведениям, полученным Жозефом от его контакта в Цюрихе Андрэ, за предстоящей акцией угадываются интересы концерна Дигона. Однако Андрэ предполагает, что не один лишь Дигон заинтересован в устранении Санчеса для того, чтобы во время хаоса, который последует за этим, укрепить свои позиции в Гаривасе. В связи с предстоящими событиями трижды было упомянуто имя Майкла Вэлша.

Ульрих».

После того как шифровальщик доложил директору эту телеграмму суперагента ЦРУ, человека, руководившего службой телефонного и радиопрослушивания контрразведки одной из западноевропейских стран, в надежности информации которого не приходилось сомневаться, директор вызвал своего первого заместителя Майкла Вэлша, угостил его кофе, попросил рассказать о последних новостях в Азии и Центральной Америке, выслушал сдержанный ответ о том, что никаких особо секретных событий в ближайшие часы там, по его сведениям, не предвидится, поделился информацией, пришедшей только что из Каира, о возможных перестановках в египетском кабинете (следует загодя подготовиться к этому), поинтересовался — вскользь, очень легко,— нет ли сведений с ведущих бирж, которые могли бы привлечь внимание перед предстоящей завтра беседой с президентом, получил ответ, что никаких тревожных симптомов агентура не зарегистрировала, затем перевел разговор на ситуацию в Албании и в заключение с улыбкой уже попросил Вэлша рассказать, что нового на теннисных состязаниях в Лондоне. «Я не читал газет последние три дня, разламывается голова, видимо, придется лечь в госпиталь для обследования и профилактики, так что, Майкл, вам придется пересесть на неделю в мой кабинет и взять на себя и мою — не очень-то в сравнении с вашей объемную — часть работы... За вашей многоопытной спиной я чувствую себя великолепно, постоянно благодарен вам за то, что вы ведете всю

текущую, столь изнурительную работу с присущим вам блеском и профессорской обстоятельностью; выручайте и на этот раз, мой друг...»

Попрощавшись с Вэлшем, директор попросил помощника срочно зашифровать запрос Ульриху о том, какие — предположительно — цены будут на акции бобов какао во время кризисной ситуации в Гаривасе, кто получит профит в случае, если обстоятельства станут развиваться так, как это угодно заинтересованному концерну (или концернам), каковы уязвимые точки в предполагаемой на бирже комбинации и кто возьмет сверхприбыль, если ситуация станет развиваться не в том направлении, которое запланировано.

Он не уезжал из офиса до тех пор, пока от Ульриха не пришел ответ, в котором назывались оптимальные цены и давался,— впрочем, весьма гипотетически — анализ тех шагов конкурентов Дигона, которые могут нанести ему поражение на биржах и дать сверхприбыли тем, кто в самый последний момент поставит на акции других концернов и банков.

После этого директор отправился на встречу со специальным помощником президента, показал ему расшифрованные телеграммы и в течение двух часов разрабатывал план предстоящих мероприятий в связи со вновь открывшимся обстоятельством, которое заключалось в том, что Майкл Вэлш предпринимал такого рода внешнеполитические шаги, которые он не имел права предпринимать без санкции Белого дома; на худой конец — директора.

Через двадцать минут после того, как директор уехал, помощник президента пригласил к себе старого друга Роберта Кара, ведущего специалиста по биржевым операциям, ознакомил его с сообщениями, оставленными ему шефом ЦРУ, и попросил, соблюдая абсолютнейшую конспирацию, просчитать возможные ходы, позволяющие поставить на такого рода акции, которые принесут максимальную прибыль тем, кто решит поиграть, вложив свои деньги в эту рискованную комбинацию.

Через сорок минут после того, как помощник президента попрощался со своим другом, к нему приехал директор ФБР.

Вернувшись к себе поздно вечером, директор ФБР пригласил двух самых доверенных сотрудников и поручил им в течение сегодняшней ночи разработать план операции, цель которой заключалась в том, чтобы организовать т о т а л ь н о е наблюдение за Майклом Вэлшем.

27

14.10.83 (17 часов 05 минут)

— Господин Хуан Мануэль Мария Хайме Антонио Бланко?— спросил Шор учтиво.

— Де Бланко, с вашего позволения,— уточнил высокий малоподвижный человек,— я дворянин, инспектор.

— С вашего позволения, господин инспектор. Я еврей, господин де Бланко, я тоже люблю точность, хоть и не могу — фактом своего рождения — быть дворянином.

Бланко презрительно улыбнулся.

— А Ротшильд? Ведь он барон.

— Он финансист, господин де Бланко,— ответил Шор вполне дружелюбно,— следовательно, он вненационален.

— Однако его считают главным покровителем Израиля.

— Израиль — это далеко не все евреи, господин де Бланко. Эйнштейн, Пастернак и Ремарк не были гражданами этого государства... Кстати, барон Ротшильд так же активно поддерживает режим Саудовской Аравии, где особенно сильны антиизраильские настроения... Но мы отвлеклись от темы нашего разговора... Я пригласил вас в качестве свидетеля по делу о гибели Леопольдо Грацио. Мне необходимо задать вам ряд вопросов, господин де Бланко.

— Я к вашим услугам, инс... господин инспектор.

— Хочу предупредить, что наш разговор записывается на пленку. Если вы намерены пригласить адвоката, я готов назначить вам другое время, но не позже четырнадцати часов завтрашнего дня.

— Все будет зависеть от ваших вопросов, господин инспектор.

Шор кивнул.

— Мой первый вопрос: когда и на каком бизнесе началось ваше сотрудничество с мистером Грацио?

— А отчего вы называете покойного «мистер»? Он материковый европеец, точнее говоря, итальянец, следовательно, его должно называть «синьор».

— Справедливое замечание, господин де Бланко, но его бизнес мало распространялся на Италию, все больше на Американский континент... Кстати, вы были первым, кто проводил зондаж среди членов кабинета Санчеса по поводу энергопроекта?

— На этот вопрос вам ответит юрист нашей корпорации, господин инспектор... Что же касается времени, когда началось мое сотрудничество с Грацио, то это, дай бог памяти, началось году в семьдесят пятом... Да, именно так...

— То есть после смерти испанского диктатора?

— Я бы не стал так говорить о генералиссимусе Франсиско Франко. Он не был диктатором, во всяком случае последние годы своего правления... Мы, люди бизнеса, через жену Франко, отдав ей акции крупнейших магазинов «Корт инглез», смогли ввести его в нашу среду. А нам не нужна диктатура, во всяком случае пока не возникла кризисная ситуация и дело может быть чревато бунтом черни.

— Такого рода точку зрения можно дискутировать, а вы занятой человек, господин де Бланко, я не вправе злоупотреблять вашим временем. Но вы обязаны согласиться, что ваше сотрудничество с синьором Грацио началось в первые дни детанта, не правда ли?

— Вы хотите сказать, что я левый бизнесмен?— улыбнулся де Бланко.— Нет, я монархист, то есть живу в мире реальностей. Мой брат занят в сфере бизнеса с Америкой, я — с Востоком, дядя поддерживает контакты на Европейском континенте; нормальная жизнедеятельность планеты невозможна без и вне надежных контактов с русским колоссом, худой мир лучше доброй войны.

— У Грацио был хороший бизнес в коммунистическом мире?

— Этот вопрос вы зададите моему юристу, господин инспектор.

— Хорошо, я подойду к интересующему меня делу с другой стороны... Леопольдо Грацио никто никогда не

угрожал? Особенно после того, как он наладил широкие контакты с коммунистическими режимами и развивающимися странами?

Бланко спросил разрешения закурить, достал самые дорогие сигареты «Ротман» (без фильтра, густо-сладкие), прикурил от массивного золотого «Дюпона», потом наконец ответил:

— Мне такого рода факты неизвестны, господин инспектор.

— А вам, особенно последнее время, никто не угрожал?

— Даже если бы это было, я не стал бы вам говорить, господин инспектор, это не по правилам.

— Господин де Бланко,— медленно, чеканя слова, произнес Шор,— я тоже поступаю не по правилам, предупреждая вас о том, что ваша жизнь в опасности. Данные прослушивания ваших телефонных разговоров позволили мне сделать вывод: будете вы откровенно разговаривать со мною или не станете этого делать, поделитесь своими соображениями, связанными с убийством Грацио, или будете, как вас просят, настаивать на версии его самоубийства, опасность вам грозит постоянно. И это связано, как мне представляется, с судьбой энергопроекта для Гариваса. Это все, господин де Бланко, я больше вас не задерживаю.

Лицо Бланко враз сделалось морщинистым; Шор поразился этой перемене: только что перед ним сидел лощеный моложавый красавец — и вдруг стало видно, сколько усилий тратит этот с т а р и к, чтобы сохранять себя на людях; постоянная схватка с возрастом!

— Я могу это ваше заявление, господин инспектор, повторить представителям прессы?

— Вы не решитесь, господин де Бланко, вы никогда не решитесь на это, ибо отдаете себе отчет, в каком сложном положении находитесь. Вы правы, полиция коррумпирована, Мегрэ — выдумка доброго и талантливого Сименона, вы правы, мы работаем хуже, чем преступники, но все-таки мы пока еще умеем охранять ключевых свидетелей. А вы свидетель именно такого рода.

— Господин инспектор Шор, вы были весьма любезны, советуя мне избрать верную линию поведения, благодарю вас сердечно. Но позвольте и мне дать вам со-

вет: знайте, на кого можно замахиваться, а на кого рискованно. Не думайте, что ваша жизнь будет вне опасности, если вы и дальше станете заниматься правдоискательством.

— Вас уполномочили сказать мне э т о? Или вы сделали такого рода заявление по собственной инициативе, исходя из добрых ко мне чувств, господин де Бланко?

— Мне импонирует ваша манера поведения, господин инспектор. Вы очень смелый человек, но вы еще более беззащитны, чем я.

Де Бланко поднялся, сухо кивнул и пошел из кабинета.

Шор остановил его:

— Господин де Бланко, для вашего сведения: человек, назвавший себя Роберто, да, да, тот самый, который советовал вам не влезать во все это дело, прилетел сюда из Палермо, он, сдается, мне, из семьи Дона Валлоне, из их группы в л и я н и я. Вам это известно?

— Нет, мне это не было известно.

— Можете использовать мою информацию в ваших целях, господин де Бланко, фрау Дорн великолепно владеет итальянским, она поможет вам в доверительной беседе с Доном Валлоне, если вы на нее решитесь.

28

14.10.83 (17 часов 27 минут)

Советник посольства по вопросам культуры был, как всегда, дружелюбен.

— Мистер Степанов, я думаю, ответ из столицы придет с часу на час, у вас нет никаких оснований для беспокойства, можете покупать билет, надеюсь, вы с пользой проведете время в Шенеф, согласитесь, я и так пошел на нарушение всех норм, ведь гражданам вашего блока надо ждать ответа из министерства иностранных дел две недели, я же взял на себя смелость, и мне приятно было это сделать для вас...

Степанов испытывал усталость, когда ему приходилось посещать консульства, заполнять три анкеты, бежать в универмаг, чтобы сфотографироваться в цветном автомате; он обычно ходил без галстука, дипломаты —

люди вежливые, замечаний не делали, но кряхтели, обрезая маленькие портретики, о чем-то переговариваясь друг с другом явно осуждающе; он уже привык к тому, что ему приходилось платить за телеграммы, которые отправляли консульские работники в министерства, мотивируя это необходимостью убыстрить выдачу визы; привык к тому, что надо искать среди знакомых тех, кто знал кого-то в посольстве, звонить, объяснять цель поездки, просить поднажать, замолвить слово; с тех пор, как он начал много путешествовать, все это стало бытом, но таким, привыкнуть к которому не дано — и унизительно, и по нервам бьет.

Положив трубку, он отчего-то вспомнил выездной секретариат российского писательского Союза, когда один из правдолюбцев обрушился с трибуны — это было в Волгограде — на тех руководителей хозяйств, кто в своей практике пользуется «отвратительным, не нашим правилом»: «Хочешь жить — умей вертеться». А потом писателей пригласили в замечательный совхоз между Волгой и Доном. Директор водил гостей по усадьбе; все восторгались прекрасными домами, крытыми оцинкованным железом («Товар фондовый,—посмеиваясь, удивлялся директор,— как попал к нам, неизвестно; в конституции записано «можно», а бюрократы больше предпочитают «нельзя»: у нас прибыль хорошая, хотели открыть музыкальную школу, договорился с пенсионерами, педагогами из города, те согласились приехать, обратился наверх — «нельзя»; хотели открыть клинику, нашли пенсионеров-врачей, на общем собрании решили построить им квартирку при новой больнице, поехали в город — «нельзя»!).

А потом директор привел писателей в огромный транспортный парк, представил гостям маленького голубоглазого, очень быстрого человека, оглядел его любовно и сказал: «Это наш транспортный гений. Если бы не он, все планы б завалили. Истинный талант, живет по замечательному принципу «время — деньги», или же, на наш манер: «Хочешь жить — умей вертеться».

Правдолюбец, сторонник степенности, враг шустрости смущенно улыбался, пожимая плечами: «И сюда проникла зараза».

...Степанов научился «вертеться», когда путешествовал по миру; первый раз он столкнулся с такого рода

необходимостью, когда ему надо было попасть на антифашистский съезд писателей в Латинской Америке, а лететь туда можно было только через Париж, на «Эр Франс». Французы тянули с визой; тогда он купил билет, сел на самолет и в аэропорту Орли получил без всякого труда (экономика диктует свои законы политике, «Эр Франс» нужны перевозки, компанию не интересует партийная принадлежность того, кто платит деньги за билет, компанию интересует профит, иначе будет забастовка, нестабильность, кризис) транзитную визу на семьдесят два часа, ибо пассажир должен иметь гарантированную возможность состыковать свои рейсы. Однако же самолета в Буэнос-Айрес не было, точнее все места проданы, и Степанов отправился в городской полицейский комиссариат, заполнил обязательные анкеты, представил три фотографии и получил вид на жительство. Он мог теперь провести здесь месяц; улетел, впрочем, через пять дней, как только подошла очередь на рейс...

Сегодня он тоже в е р т е л с я достаточно долго, пока наконец не вышел на Жюля Верньe, профессора экономики, который занимался проблемой банков; знал, как говорили, все обо всех финансистах; напрямую к нему позвонить нельзя было; на Западе люди весьма подозрительно, а порою со страхом относятся к тем, кто прилетел из Москвы, нужен гарант, личные связи, будь они трижды неладны, а впрочем, нечего бурчать на самого себя и на весь мир, мы уже уговорились: «Хочешь жить — умей вертеться...»

В отличие от Москвы здесь, как правило, встречи с иностранцами назначали не дома, а на службе или же в кафе, за стаканом минеральной воды, в том случае, понятно, если собеседник не был фирмач, который угощает обедом, но при этом берет у официанта счет, который оплачивает ему компания; всякий перспективный контакт стоит того, чтобы выставить бутылку вина, кусок мяса и салат, в будущем может окупиться сторицей.

...Жюль Верньe оказался маленьким лысым толстяком, страдающим одышкой; по-английски он говорил с чудовищным, явно не французским акцентом и до того правильно, что Степанов только диву давался такому разобщению фонетики и морфологии.

— Мистер Степанов, мне объяснили предмет вашего интереса. Вы нащупали одну из самых интересных тем мировой литературы; если вы сможете понять причинность связей, историю и будущее, сопряжение золота с политикой, вы напишете поразительную книгу.

Он достал дешевую сигару, откусил кончик, сплюнул, поморщился; Степанов обратил внимание на зубы профессора, они были темно-желтыми, как у старого-престарого коня; отхлебнул минеральной воды и утверждающе поинтересовался:

— Вы уже ужинали?

— Да. А вы?

— Я не ужинаю. Иначе лопнет брюхо, я толстею по неделям, не то что по месяцам, хотя стараюсь ограничивать себя в еде.

— Французы — страшные антикитайцы,— улыбнулся Степанов.— Те предлагают ужин отдать врагу, а вы предпочитаете поесть на ночь...

— Животные спят после еды, отчего же не следовать естеству?— Профессор пожал покатыми, округлыми плечами и тяжело, с хрипом закашлялся, затянувшись сухим сигарным дымом.— Вы предпочитаете телевизионное шоу «Спрашивайте — постараемся ответить»?

— Поначалу введите, пожалуйста, в существо проблемы.

— Извольте... Итак, что такое биржа? Когда задумана? Кем? Отчего? Начало положили в Лионе. Потом голландцы научились выращивать такие тюльпаны, каких не знал мир. Красотою надо дорожить — то есть продавать по самой высокой ставке. И вот в Амстердаме в тысяча шестьсот сороковом году, кажется, появилась биржа тюльпанов, да, да, именно так. Ее создание было продиктовано чисто человеческой потребностью в гарантии, без которой немыслимо экономическое развитие общества. Я, Питер ван дер Гроот, или же Матильда Нилестроль, или же черт с дьяволом, выращиваю тюльпаны, я должен быть уверен, что мой труд не пропадет даром, я должен знать, что продам мои тюльпаны по заранее зафиксированной цене и цена эта, что бы ни случилось, не упадет к тому моменту, когда мои тюльпаны вырастут. Сколько бы тюльпанов ни произвел мой сосед, я убежден, что договор, заключенный на бирже, гарантирует мой хлеб и кров мне и моей семье.

Следовательно, по первоначальному замыслу, биржа была местом сделки не на произведенный товар, но на обязательство произвести товар. И ту биржу я считал и продолжаю считать разумным инструментом хозяйствования... Однако биржа в Голландии сложилась не сразу, это не было изобретением гения от экономики, это был поиск тяжкий и рискованный, потому что в течение тридцати лет спекулянты взвинчивали цены до тысячи процентов за одну луковицу; тюльпаны приводили страну на грань бунта, экономического краха, гражданской войны... Впрочем, нет, тогда, как и сейчас, в Нидерландах нет граждан, там были и есть подданные... Но в Голландии уже в то время существовал первый в мире банк векселей, были пущены в обращение первые акции Нидерландской ост-индской компании, то есть там существовали предпосылки для упорядочения хаоса торга... Смысл акции этой компании заключался в том, чтобы производители и спекулянты не следовали за скачками цен, не зависели от жуликов; заранее оговаривалась твердая цена, я же говорю, начиналось все во благо прогресса. Если хотите, тюльпановая биржа была неким планирующим органом на товар — впрок, на определенный период... Я также могу считать разумной Чикагскую и Нью-Йоркскую биржи, созданные в середине прошлого века, это были целенаправленные биржи — зерно и скот... Тут уже, однако, смысл заключался не в гарантии цены, а в логике ценообразования. Отсюда цена на хлеб и мясо навязывалась миру; знаете ли, американский менталитет,— страсть к превооткрывательству, желание доминировать везде и во всем... Но тогда цены образовывать было легче, на земле жил всего один миллиард людей, а ныне каждые пять дней рождается больше миллиона. За последние полстолетия, кстати говоря, человечество получило такой объем знаний, который был накоплен им за предыдущую тысячу лет. Но это так, заметки на полях, нота бенэ... Вопрос заключается в том, к чему мы пришли ныне. В чем смысл сегодняшней биржи? Ее теперешний смысл ужасен, ибо это продажа б у м а г... Запомните, пожалуйста, расхожий термин нынешней биржи «комодити»... Знаете, что это такое?

— Серия товаров?— спросил Степанов.

Верньe отхлебнул воды, глаза его сделались колючими.

— Мне сказали, что вы полный профан в биржевых делах... Видимо, что-то вы все же знаете, если вам знакомо понятие «комодити»... Может, вы и про тюльпановую биржу знали раньше?

Степанов легко солгал:

— А вот про это я услышал впервые.

— Так вот, ныне биржи продают «комодити», это благословленная биржей спекуляция, хуже, чем спекуляция, это смертельный покер — либо миллион, либо пуля, которую надо пустить себе в лоб, если проиграл ставку. В восьмидесятом году нынешнего века товарного золота, которое можно было купить и продать, существовало что-то около тысячи шестисот тонн, а на биржах Лондона, Штатов и в Цюрихе «комодити» на золото было куплено на восемьдесят тысяч тонн, можете себе представить?! Таким образом, биржа ныне стала местом, где происходит купля и продажа бумаг, то есть н е с у щ е с т в у ю щ е г о! Если раньше производитель тюльпанов страховал свой труд у серьезных торговцев, то ныне между садоводом и тем, кто финансирует производство, стоит от двадцати до сорока посредников, то есть пока товар идет от производителя к потребителю, цена на него возрастает от двадцати до сорока процентов — по количеству спекулянтов-прилипал, играющих на бирже... Вам это внове?

— Кое-что слышал, но ваша концепция внове мне. Спасибо, мистер Вернье... Я бы хотел просить вас объяснить мне значение ряда терминов, расхожих на бирже... И не просто объяснить их суть, но проиллюстрировать, если можно, как биржа увязана с политикой...

— Но это же яснее ясного! Каждый из сорока посредников имеет связи! Нельзя жить вне связей в мире бизнеса, а особенно биржи... А связь — это цепь, замыкающаяся на том человеке, который — корыстно, или по-дружески, или исходя из соображений карьерных — может оказывать влияние на политические решения... Археолог Шлиман, открывший Трою, некоторое время жил в Санкт-Петербурге, играл на бирже и купался в роскоши, потому что имел широчайшие связи в правительственных кругах, подсказывая те или иные ходы министрам; проекция на прошлое в политике ценится более высоко, чем упражнения футурологов... Политики боятся нового, им удобнее жить по британскому принципу аналогов...

— Что означает биржевой термин «рулетка»?

— Это гангстеризм, игра на риск, это несерьезно...

Степанов не удержался:

— Мистер Вернье, у вас очень странный английский — правильный, но акцент явно не французский...

— Немецкий, мистер Степанов, немецкий, я немец, Вернье — мой псевдоним, по правде я Пикс, колбасник, и платит мне деньги Аксель Шпрингер... Нет, нет, я не разделяю его убеждений, просто он платит так хорошо, что у меня остается время и на то, чтобы написать ему пару обзоров, и на свои книги...

— Почему же вы живете в Париже?

— Но коммент,— отрезал Вернье,— как говорят американские президенты, этот вопрос я не комментирую...

— Обзоры Вернье мы читаем,— заметил Степанов,— они умные...

Вернье улыбнулся.

— Давайте ваши вопросы, отвечу с удовольствием... Между прочим, вы знаете, что вашего Распутина охраняли две службы: тайная полиция конечно же, но лучше всего — частные детективы банков. Те берегли его как зеницу ока, он же влиял на политиков... Назревал путч... Механика заговора прочитывается абсолютно...

— А биржа может иметь отношение к заговору?

— Непосредственное... Только, ясное дело, не так, как пишут коммунистические пропагандисты...

— А как они пишут?— поинтересовался Степанов.— Мне не доводилось читать книги коммунистических пропагандистов о бирже...

Вернье крякнул.

— Вы хороший собеседник, и мне приятно рассказыать вам, потому что умение заинтересованно слушать утеряно человечеством, сплошные вулканы, все самовыражаются, а за душой ни черта нет, изрыгают мягкую вату... Вы спросили про связь биржи с политикой... Докажу на примерах... Только все же выпьем кофе, а?

— И немного «пастис». Я угощаю.

— Вы мой гость.

— Мы с вами оба гости Парижа, а я уже получил гонорар за книгу, вы пока еще нет.

— Мне говорили, что русские обижаются, когда им предлагают стол по немецкому счету: каждый платит за себя...

— Не то чтобы обижаются... Не очень это понимают.

— Ну, хорошо, платите, согласен. И слушайте, что я вам стану рассказывать... Итак, я дилер...

— Что такое «дилер»?

— Крупный биржевой воротила с хорошими связями... Допустим, хозяин одной из крупнейших корпораций, который заседает в наблюдательном совете своего концерна вместе с братом вице-президента, или племянником государственного секретаря, или с мужем личной стенографистки премьер-министра, сообщает дилеру, что ему точно известно: через три месяца два дня и восемь часов в какой-то африканской республике, богатой серебром, будет свергнуто правительство и вместо президента «икс» сядет новый президент, «мистер игрек», который пообещал в благодарность за то, что я, президент корпорации, и мои контакты в том или ином правительстве, приведем его к власти, продавать мне серебро, или олово, или бананы, которыми богата его страна, по ценам, которые угодны моему концерну. Ясно?

— Пока да.

— Отлично. Только внимательно следите за логикой развития моей мысли... Получив гарантии сильных мира сего, что через три месяца два дня и восемь часов к власти придет «игрек», финансисит вызывает своего брокера — на каждого из них в картотеке разведок мира и концернов есть подробнейшее досье — и предлагает ему начать одну из игр: либо «шорт», либо «лонг»...

— Вот теперь я перестал что-либо понимать.

Верньe удовлетворенно кивнул.

— Если бы вы и это поняли, я бы уверился в том, что вас сюда прислало ЧК... Что такое «шорт»? Это игра на короткое в р е м я и в стремительно точном времени... Я начинаю игру на понижение...

— Не понял.

Верньe снова кивнул.

— «Мистер игрек» подписал со мною, главой концерна, тайный контракт, по которому он взял на себя обязательство продавать мне серебро или бананы, к примеру, по пятьсот долларов вместо двух тысяч за единицу, по которой сейчас идут акции этого товара, принадлежащие какой-то другой корпорации. По моей

команде мой брокер начинает продавать акции на серебро или бананы за тысячу девятьсот долларов. Мои люди организовывают прессу — в газетах появляются статьи о предстоящем крахе тех компаний, которые вложили свои сбережения в акции серебра, бананов или сосисок, какая разница, во что!— рассердившись вдруг, резко заключил Вернье.— Начинается паника, цены катастрофически падают, все продают «горящие» акции, цена доходит до тысячи долларов... Продают «комодити», то есть бумаги, заметьте это себе. Я шеф концерна, который смог купить «мистера игрек», затаившись, жду; мои брокеры на страже. И как только получаю сообщение, что «игрек» победил, мои брокеры на всех биржах мира начинают стремительно скупать «горящие» акции по тысяче долларов. Скупают тотально, делая меня монополистом товара. Сбив поначалу цену с двух тысяч до тысячи, я-то был уверен, что стану получать от «игрека» р е а л ь н ы й товар, а не бумаги, и не за тысячу долларов, а за пятьсот. А дело моих брокеров снова взвинтить цену — теперь уже под царствующего «мистера игрек». Словом, с каждой единицы т о в а р а я получил пятьсот долларов прибыли. А когда взвинчу цену, моя прибыль составит полторы, две тысячи за единицу товара. Это сотни миллионов долларов чистого барыша, если не миллиард... При этом, понятно, я заранее тайно, через третьих лиц скупил весь реальный товар у «мистера игрек» по пятьсот долларов, то есть стал реальным хозяином т о в а р а заранее. Риск? Да, бесспорно. В случае, если «игрек» не придет к власти, я могу оказаться если и не банкротом, то позиции в мире бизнеса потеряю.

— Действительно, сюжет поразителен.

— Это не сюжет, мистер Степанов, это жизнь, а она всегда трагедийна. Проследите, как танцевали акции многих компаний накануне переворота в Чили. Или проанализируйте, как ртутно скакали цены на акции Родезии накануне прихода к власти национального правительства; за спиною, если так можно выразиться, этих скачков стояли к л а н ы, интересы которых тайны, могущественны и не управляемы никем, кроме двух-трех стариков, страдающих язвенной болезнью или гипертоническими кризами...

— Очень интересно проследить связи между людьми, втянутыми в кровавую игру, я это имел в виду, когда говорил про сюжет...

— Тогда есть сюжет почище... Интересы политиков и банкиров сплетаются еще более явственно — при всей тайности предприятия,— когда начинается игра на повышение.

— А это как?

— Это так: я ставлю на того же «мистера игрек». Как и в случае «шорт», я знаю, что он придет к власти двадцать пятого мая в девять утра, именно утром, ибо я должен начать игру на бирже в тот момент, когда «игрек» сядет к микрофону в президентском дворце, в кресло, залитое кровью убитого предшественника, и обратится к нации со словами поздравления по поводу избавления от тирании коммуниста «икса», или националиста «зета», или правого экстремиста «даблью». Понятно, я поставил условием прихода «игрека» к власти то, что в течение ближайших двух лет он не будет продавать свое серебро или марганец ни одной корпорации, но возьмет в Международном валютном фонде кредит под будущий товар из расчета две тысячи пятьсот долларов за единицу товара. Я заранее подписываю договор с «игреком» о том, что он будет лишь м н е продавать товар через два года за пятьсот долларов. И я начинаю через своих дилеров взвинчивать цену. Начинаю покупать за тысячу долларов, тысячу двести, тысячу четыреста... Начинается бум, все кидаются покупать акции, которые пошли в цене... «Игрек» взял власть. Товар никому не продает, только мне. И через два года я пускаю на бирже акции президента «игрека» по моей, монопольной цене.

— Мистер Вернье, мне было очень интересно слушать вас, многое прояснилось, спасибо... Последний вопрос... Один наш с вами коллега, точнее говоря, одна — речь идет о журналистке,— выдвигает версию возможной связи концерна Дигона с делом Грацио... Как вы относитесь к такого рода допуску?

— Эту журналистку зовут Мари Кровс, не так ли? Дело в том, что эта версия не столько ее, сколько моя, во-первых. Я выдвинул ее месяца четыре назад, когда мы были неразлучны с Мари, во-вторых. И, в-третьих, эта версия базируется не на допуске, но на тех фактах, которые я вам открывать не намерен.

— Почему?

— Да потому, что мне жаль вас. Вас уничтожат, если узнают про то, что вы знаете. Меня, впрочем, тоже, поэтому молчу.

29

15.10.83 (19 часов 49 минут)

— Он мелкий, трусливый сластолюбец,— очень тихо сказала фрау Элизабет Пикс доктору Кроллю.— Я прожила с ним девятнадцать лет, видела его в разных переплетах... Все те годы, что мы были вместе, я, в сущности, ждала, когда он попадет в лапы какой-нибудь шлюхи. Дети — ни Мари, ни Ганс — не верили мне, любили его больше, чем меня, потому что он хороший актер... Теперь наконец они убедились в моей правоте, теперь они со мною...

— Но карты говорят, что он был искренен с вами,— сказал доктор Кролль, тронув длинными пальцами с обгрызенными ногтями червового туза.— Впрочем, я готов посмотреть по старогерманскому раскладу, рейнский вариант незаменим в такого рода коллизиях... Вы родились в маленькой деревне, что спускалась по ущелью к берегу Рейна, не правда ли?

— Да, именно там,— ответила Элизабет Пикс, и большие красивые глаза женщины сделались испуганными, а потому беззащитными.— Мне говорили, что вы знаете все про тех, кто к вам приходит, но я не могла представить, что вы можете угадать даже место рождения...

— Это просто,— отрезал доктор Кролль.— Я настроился на вас, я выполняю свою работу, фрау Пикс, причем весьма высокоплачиваемую, я раскрепостил мои магнитные поля и отдал вашим полям свою энергию. Я даже увидел сейчас, какой была ваша деревня: всего двадцать, тридцать дворов, не более того; лишь два или три новых дома, остальные старого типа, с деревянным каркасом, очень много красной герани в окнах, разве я не прав?

— Да,— женщина завороженно кивнула,— у нас в деревне было всего три новых дома, вы совершенно правы...

Доктор Кролль неторопливо раскидал карты: отбросил семь последних в сторону, закурил, сожалеюще заметил:

— Вы еще любите его? Или карта лжет?

— Не знаю. Иногда ненавижу, но порой мне, в сущности, жаль его...

— А как быть с трефовым королем, что подле вас?

— Это другое.

— Ну, хорошо, и что же это? Как объяснить это другое? Вы увлечены им? Или обычная дань естеству?

— Не знаю. Наверное, мне нужен рядом именно такой человек.

— Вы преклоняетесь перед ним? Он умен? Силен? Надежен? Богат? Или он покорил вас другими качествами? Девятка червей, лежащая между вами и этим королем странная карта, в такого рода рейнском раскладе она свидетельствует о разном, как толковать. Вы хотите, чтобы я остановился на этом аспекте вашего настоящего и будущего?

— Да,— чуть помедлив, ответила Элизабет Пикс.— Хотя я живу в прошлом, я не верю в будущее, его, в сущности, нет уже для меня...

— Это как сказать... Как сказать.— Доктор Кролль открыл карты, лежавшие под пиковой дамой, раскидал их веером; первыми лежали девятка, десятка и король пик.— Это к смерти, фрау Пикс, нет, нет, не к вашей. Скорее к гибели кого-то из близких... Вы еще считаете вашего мужа своим близким?

— Не знаю.

— Если хотите, я могу обратить этот удар на того, кто враг вам... За вами решение... Или все-таки вы хотите вернуть его?

— Да, я хочу вернуть его... Не для себя — для Ганса, мальчик, в сущности, привязан к нему...

— Расскажите мне,— тасуя карты, поинтересовался доктор Кролль,— на что острее всего реагирует ваш бывший муж? На мягкость или на силу? На страх или на радость? Что точнее всего может на него подействовать?

— Он трус, невероятный трус, я же помню, что он говорил мне, когда мы были молоды, он лишен стержня...

— Словом, вам кажется, что если я попытаюсь что-то предпринять в плане ваших интересов, то это надо делать без экивоков, сразу, наотмашь?

— Только так.

— Расскажите что-нибудь такое, за что можно уцепиться... Если только вы и вправду намерены просить меня, чтобы я вернул его вам... Что может испугать его?

— Не знаю, — растерянно ответила женщина.— Я знаю про него все, но не знаю, чем его можно испугать... Я думала, он вернется, когда дети перестали видаться с ним... Наверное, ему станет очень страшно, если он не сможет и дальше содержать Ганса, помогать ему.

— Он любит детей?

— Мне так, в сущности, казалось порой...

Доктор Кролль снова разбросал карты, усмехнулся трефовой десятке, лежавшей подле червового короля, поинтересовался:

— У него нет капитала, который хранится в банке?

— Наверное, есть.

— Вы убеждены в этом?

— Мне так кажется... Он много зарабатывает...

— А каковы его траты?

— Ах, он никогда не считал пфенниги...

— Но карты говорят, что вы живете на его средства...

— Вы же знаете, доктор Кролль, каковы ныне расходы, цены растут, эта ужасная инфляция, конечно, он содержит нас, но он так много печатается в газетах, читает лекции... Нет, он богат, это точно...

— Вы когда-нибудь работали, фрау Пикс?

— Нет. Впрочем, я вела дом... Эта работа тяжелее всех других...

— Вы не находили в ней счастье? Мне кажется, это высшее счастье женщины — вести дом, не всем оно дается.

Доктор Кролль стремительно выбросил несколько карт; шли в основном пики; лицо фрау Пикс было отрешенным, на колоду и пальцы мага она смотрела завороженно.

Наконец доктор Кролль спросил:

— С кем он считается?

— Он всегда говорил, что я, в сущности, чудовищно авторитарна... Нет, это он авторитарен, сам же боится авторитета, особенно если человек сух и резок! Он пугается приказов, я же помню его, я помню его, я помню... Он считается с тем, кто у власти, вот что я считаю...

— А как он относится к слову и мнению детей?

— Я же говорила, мне казалось, он любит их...

— А что, если сын еще раз потребует его возвращения? Я внимательно изучил фотографию вашего сына, он похож на вас, и хорошо, что вы привезли мне его рубашку, я смогу подействовать на него, мальчик поддастся мне, моей энергии, он поставит перед ним дилемму: или — или.

— Но я уже была у...— фрау Пикс оборвала себя, замолчав.

— Вы уже были у другого человека моей профессии, и он не помог вам, я понимаю... Расскажите, когда у вас случилась первая ссора? Отчего? Кто был виноват в этом? Только рассказывайте как на исповеди, фрау Пикс, не себе, и не детям, и не подругам, а богу, без снисхождения к себе...

— Это было через два месяца после того, как мы поженились. Ко мне на улице подошла женщина... У нее были огромные сине-черные глаза, и она сказала, что я буду несчастна с тем, кого люблю. Она говорила про то, что меня ждет, и мне сделалось так страшно, как никогда еще в жизни не было... Я просила эту старуху отойти, дала ей десять марок, но она шла рядом и говорила, будто читала, словно бы знала, как я верю картам, словно бы чувствуя, что муж всегда смеялся над моей тайной страстью узнать сегодня то, что ждет нас завтра... Она так говорила о нас, что мне показалось, будто она, в сущности, знает и его, и меня много лет.

(Фрау Элизабет, сказав это, была близка к истине; дядюшка, у которого она воспитывалась, был против ее брака с Гансом Иоганном Пиксом; он нанял эту женщину, ее звали Магдалена, норвежская цыганка, она брала много, долго готовилась к у д а р у, но умела бить наверняка.)

— Дальше случилось то, что она вам предрекала,— понимающе сказал доктор Кролль.— Она обещала вам, что муж поздно придет с пирушки, так и произошло, вы не сдержали себя, а затем стали таиться и следить, началось взаимное отчуждение, потом ссоры, разве я не так говорю?

— Да, так все и случилось, а я ждала ребенка и не нашла в себе силы расстаться с Пиксом.

— Отчего он не ушел от вас?

— Не знаю. У меня был дом, машина, я была обеспечена, а он только начинал, наверное, поэтому я была нужна ему и он терпел...

— Может быть, он любил вас?

Лицо женщины на какое-то мгновение дрогнуло, смягчилось; Кролль угадал в ней борьбу, потом увидел, как верх взяло глубинное, с в о е, что противно логике и памяти.

— Нет,— она покачала головой,— он меня никогда не любил...

— Но он терпел сцены, скандалы, обиды?

— И я терпела... Да, так будет, в сущности, честно, если я скажу, что терпели мы оба...

— Фрау Пикс, вы хотите, чтобы он ушел?

— Как?— тихо спросила женщина.— Я не...

— Вы хотите, чтобы он исчез? Разрыв сердца, автокатастрофа... Карта лежит так, что я могу это сделать. Принесите мне его вещи, ведь что-то вы храните в доме. Я помогу вам... Или вы надеетесь на другой исход? Тогда я стану работать с вашими детьми... Они сделают ему так больно, что жизнь его превратится в муку...

...Через два часа резидент БНД, курировавший этот район, знал все, что ему было поручено узнать о характере Пикса и его детей; в первую очередь интересовала Мари, понятно.

Доктор Кролль получил обычное в таких случаях вознаграждение, плюс к тому с л у ж б а продвинула его объявление о сеансах провидения в те газеты, где работали верные контрразведке люди; экономия весьма ощутимая; действительно, инфляция, цены растут, приходится считать каждую марку; получая гонорар, доктор Кролль вернул ту фотографию деревни, где родилась фрау Пикс, которую ему вручили накануне; резидент, впрочем, сообщил в Пуллах[1] про то, как доктор Кролль заметил, что фотография эта не очень хороша, снята только часть деревни, левая; «по крайней мере, восьми домов, которые спускаются по крутой улице к Рейну, здесь нет». На вопрос резидента, откуда ему это известно, доктор Кролль ответил, что ему это удалось, ибо он честно делает свою работу и серьезно относится к своему дару.

[1] Штаб-квартира БНД.

— Можете перепроверить,— заключил он.— Самый последний дом окрашен в желтоватый цвет, построен в начале пятидесятых годов, и его владелица — старуха с больными ногами.

Проверили.

Доктор Кролль сказал правду, словно бы сам побывал в этой деревне, но он там не был...

...Получив — через три дня после встречи Элизабет с доктором Кроллем — страшное письмо от сына, Верньe ощутил жуткую пустоту; несколько дней молчал, на расспросы Гала не отвечал, потом начал пить, ярясь на себя, что не может работать, а работа его — это же не просто так, это во имя Мари, во имя девочки, именно эта его работа может спасти то, что так дорого ей и нужно, это защита. Он несколько раз брался за перо, чтобы написать ответ сыну, но так и не смог, понимая, что истинным ответом будет его дело, посвященное Мари, да и ему, Гансу, а уж потом правде...

30

15.10.83 (20 часов 03 минуты)

В Торремолинос было душно; всю дорогу из Малаги инспектор Шор просидел у открытого окна такси, жадно вдыхая воздух, в котором ему постоянно чудился запах моря.

Перед тем как вылететь сюда для встречи с вдовою Грацио, он успел прочитать проспект о новом испанском курорте; понятно, что в красивом глянцевом издании говорилось про море, микроклимат, пляжи, бассейны, рестораны ста национальных кухонь, бары, концерты фламенко, корриду в Малаге; вот бы отдохнуть здесь недельку, подумал Шор, нет ничего прекраснее, чем запах моря, я бы спал на берегу первые три дня, выхаркал бы табачную гарь и перестал кашлять по утрам.

Шор, однако, запаха моря так и не ощутил, сплошной бензин; испанские водители носятся со страшной скоростью, несмотря на повсеместные ограничения и посты дорожной полиции.

«Поэтому, наверное, они так отстали в своем развитии,— подумал Шор.— Нельзя насильно ограничивать

скорости в век, когда люди открыли эру космической устремленности в пространстве. Элита — Гагарин и Армстронг — летала с неведомыми ранее скоростями, а их земных братьев понуждают не превышать стокилометровую отметку спидометра на сверхмощных машинах. И рождается некая трагическая вольтова дуга: угодные прогрессу скорости в небе противоборствуют с жестокими ограничениями на земле. А чем тише едешь, тем меньше успеваешь, то есть познаешь, тем меньше у тебя возможности с д е л а т ь, а ведь это самое главное в ритме нынешней жизни — сделать...»

С другой стороны, возразил он себе, ученые подсчитали, что избыток бензиновой гари необычайно высок при больших скоростях, загрязняется окружающая среда, но ведь она неизмеримо больше загрязняется при взрыве одной водородной бомбы... Ограничения не спасут окружающую среду, только людей покалечат, ведь шофер, который вынужден проезжать поселок со скоростью не большей, чем пятьдесят километров, всего два года назад служил в армии, в танковых или автодесантных войсках, и его приучили яростно п р о н о с и т ь с я сквозь населенные пункты, агрессии угодна устремленность, она подобна в ы п а д у на рапире... А их снова ломают... Нет, подумал он, люди конечно же некоммуникабельны и разрозненны по своей сути, все попытки собрать их в общность, расписанную по графам законов, ни к чему, кроме горя, не приведут...

...Шор позвонил фрау фон Варецки перед вылетом; голос у вдовы Грацио был красивый, низкий, очень ровный; нет, я не смогла вылететь отсюда, оттого что был гипертонический криз, это уже не первый раз, я бы не пережила похорон; да, конечно же я готова принять вас, отель «Палома», пятый этаж, я ложусь поздно, особенно сейчас, так что можете прийти хоть в полночь.

Торремолинос ошеломил Шора; ярко освещенные улицы этого города, выросшего в дюнах за последние двадцать лет, полны народа; заметно, что днем люди жарились на пляжах, такие они были загорелые; Шору даже показалось, что он ощутил запах кокосового масла; хотя бы так, подумал он, пусть не море, пусть масло для загара, все равно атрибут отдыха; надо заканчивать это дело и возвращаться сюда, к черту, устал, хватит.

(Шофер такси заметил, что слово «палома», то есть «голубь», так же распространено в испанских отелях, как в Германии «мове» — «чайка» — в дорожных ресторанчиках. «Я бывал в Западной Германии и Швейцарии, продрабатывал там,— объяснил шофер,— сплошные «чайки», а моря нет, разве Северное может считаться морем, бррр, сплошные ветры, у меня там насморк не проходил».)

От номера, забронированного ему фрау фон Варецки, инспектор отказался; в кармане был билет на шестичасовой рейс в Женеву, отосплюсь в самолете, решил он, «Эр Франс» — хорошая компания, вкусно кормят, выпью хорошего вина и два часа сладко подремлю.

...Анжелика фон Варецки приняла Шора в холле; огромный, трехкомнатный апартамент, долларов двести в день, не меньше, сразу же прикинул Шор, с жиру бесится, ведь у нее здесь особняк, почему не жить там?

Женщина была красива, хотя ей уже за сорок; впрочем, определить это можно лишь по морщинам на шее да еще по чуть отекшему лицу.

В ней не было ничего подчеркнуто траурного; это понравилось Шору, он не любил, когда переживаниям (если оные имели место, а чаще всего одна лишь видимость, соблюдение приличий) придавали определенный цвет и форму; все подчинено памяти, она и диктует манеру поведения; самые лицемерные люди — плакальщики, отслуживают горе...

— Хотите выпить с дороги? — спросила женщина.

— Нет, благодарю, раскисну.

— От такого вина, как т и н т о, не раскиснете.

— Спасибо, я с удовольствием выпью воды. У вас здесь очень душно.

— Я скажу, чтоб кондиционер поставили на «холод», но в таком случае бойтесь простуды.

— Нет, нет, сразу подхвачу насморк, я имел в виду духоту на улицах, у нас идет промозглый дождь, а под утро в парках просто холодно..

Женщина усмехнулась.

— Я живу здесь седьмой год, и мне вдруг после ваших слов очень захотелось обратно в эту самую промозглость... Это так прекрасно, когда в мокрых парках под утро ощущается холод, студеный, предзимний... Здесь же нет зимы...

— Почему вы не живете у себя, фрау фон Варецки?

— Потому что тот дом построил Грацио... Он там постоянно присутствовал... И сейчас присутствует... Мне страшно там, господин...

— Шор.

— Да, простите, у меня отвратительная память на имена, даже такие простые, как у вас...

— Я понимаю... Это болезнь века, слишком увеличился объем информации, в голове остается самое необходимое, остальное мы пропускаем мимо, чтобы не мешало попусту...

— У вас есть вопросы, господин Шор? Я готова ответить.

— Спасибо... Вы можете не отвечать мне на те вопросы, которые вам покажутся... Ну не знаю, неправомочными, что ли.

— Господин Шор, я каждый вечер смотрю телевизор... Поэтому законы детективного жанра мне известны... Я готова ответить на все ваши вопросы...

— Тогда начну с главного. Вы верите в то, что Грацио покончил с собой?

— Нет.

Шор удовлетворенно кивнул, спросив:

— У вас можно курить?

— Разумеется.

— Благодарю... Значит, вы полагаете, что официальная версия необъективна?

— Это же ваша версия...

— Лишь в какой-то мере... Но если бы я ее держался до конца, я бы не стал к вам прилетать, фрау фон Варецки.

— Я звонила Леопольдо за три дня до... Я говорила ему... У меня болело за него сердце... Но ведь он был одержимый человек, редкостный, господин Шор, один из самых прекрасных на этой земле.

«Все-таки баб не поймешь,— подумал Шор, тяжело затягиваясь,— я был убежден, что она начнет нести его по кочкам из-за любовниц...»

— Куда вы ему звонили и в связи с чем, фрау фон Варецки?

— На яхту. В Сицилию. Я вообще очень испугалась за него после того, как он провел конференцию с Дигоном, Роллом и Труссеном...

— Почему? Мне кажется, эта встреча продемонстрировала их дружество.

— Вы хитрите со мною, господин Шор... Не надо вовлекать меня в разговор, я к нему и так готова, я рада, что вы ко мне прилетели.

— В таком случае объясните, что произошло на этой встрече? Я имею в виду именно то, что породило у вас страх за Грацио.

— Меня испугала демонстрация дружества, господин Шор, именно то, что вас так умилило...

— «Умиление» — не то слово, которое можно сопрягать с участниками этой встречи,— не удержался Шор.

— Грацио начал с нуля, он сам себя сделал, он никогда не имел отношения к торговле оружием, он занимался энергетикой, химией, ботинками и бумагой.

— Я тоже начал с нуля, большинство начинают с нуля, фрау фон Варецки, но они на нуле и остаются...

— Это их беда. Значит, у них нет таланта Леопольдо...

Женщина плеснула себе в высокий тяжелый стакан виски, положила длинными пальцами с очень красивыми, коротко обстриженными ногтями без лака кусок льда, добавила чуть содовой воды, выпила; в глазах вдруг появились слезы; она по-детски шмыгнула носом.

— Простите... Чтобы вы поняли, каким был Леопольдо, я должна объяснить, отчего мы с ним расстались... Хотя, быть может, это вас не интересует?

— Меня интересует все, связанное с ним, фрау фон Варецки.

— Я его очень любила... И сейчас люблю... Наверное, даже больше, чем раньше... Все прекрасное особенно очевидно на расстоянии, к тому же таком, через которое не переступить... Он был как пружина, понимаете? Сгусток энергии, устремленность... Но при этом очень добрый человек... Нежный... И еще он не умел лгать... Да, да, я знаю, что говорю. Как у всякого мужчины, у него были подруги, и он тяготился тем, что эти связи ему надо скрывать от меня... Его мать была болезненно ревнива... Видимо, глубокая шизофрения... Отец страдал из-за этого, умер молодым от разрыва сердца, у Леопольдо поэтому был комплекс — страх перед домашними сценами... Больше он в жизни ничего не боялся... Его независимую позицию в бизнесе поддержал в свое

время Энрике Маттеи, которого убили, когда он решил сделать Сицилию цивилизованным государством, частью Италии... Знаете это имя?

— Да. Он был шефом нефтяного концерна, его самолет взорвали...

— Верно. Именно Маттеи нацелил Леопольдо на энергетику... Ведь ничто так не объединяет людей, как свет... Я говорю сумбурно, не сердитесь... Словом, я не желала быть обузой и не умела сносить его увлечения, поэтому и предложила ему свободу... Мы ведь не разведены с ним... Мы остались друзьями... Я мечтала, что он вернется ко мне... Рано или поздно... Сюда, в мой дом, он привозил Мигеля Санчеса, когда тот еще не был премьером Гариваса, и они два дня говорили о будущем, а потом Санчес вернулся к своей подруге в Бонн, к Мари Кровс, а Леопольдо сказал мне: «Если этот парень победит, тогда мы утрем нос дяде Сэму и докажем третьему миру, что именно с большим бизнесом Европы можно и нужно иметь дело» Я ему возражала... Я не верила, что дядя Сэм простит это... Гаривас — их вотчина... А он ответил, что все это ерунда, что трус не играет в карты и что хватит всем жить с оглядкой на Белый дом... Мужчины знают, женщины чувствуют, в этом наша разница... Когда я прочитала в газетах интервью Барри Дигона после их встречи, мне сделалось страшно...

— Я тоже читал это интервью, фрау фон Варецки, но я не испытал чувства страха.

— Потому что вы не знаете их... Ролл и Дигон — жестокие люди... Их интересы замкнуты на Латинской Америке... Труссен с его западногерманскими монополиями всегда стоял в стороне... Он осторожный человек, а Леопольдо с его энергопроектом для Гариваса, который должен был изменить эту несчастную страну, дать людям свет, избавить от унизительного ручного труда, замахивался на интересы тех американцев, которые сделали ставку на юг их континента...

— Значит, последний раз вы говорили с Грацио за три дня до гибели?

— Да.

— Вы его просили о чем-либо?

— Как всегда, об одном лишь — об осторожности.

— Что он ответил?

— Он пообещал мне прилететь сюда на несколько дней после того, как заключит контракт в Гаривасе. Он был так нежен и добр, бедненький, так смешно шутил...

Женщина снова налила себе виски, положила лед, воды доливать не стала; выпив, вздохнула:

— Я, видимо, говорю совсем не то, что вас интересует, господин Шор?

— Вы говорите именно о том, что меня интересует прежде всего... Как вы относитесь к господину де Бланко?

— Он мышь... Маленькая мышь... Отчего вы спросили о нем?

— Потому что фрау Дорн, Бланко и Бенджамин Уфер видели Грацио последними и говорили с ним последними...

— Нет, — женщина покачала гловою,— не они... Последними видели те, которые убили...

— Кто мог его убить?

— Вы знаете, что после гибели Энрике Маттеи он два года жил под постоянной опекой телохранителей?

— Нет, я этого не знал. Почему?

— Потому что Леопольдо финансировал расследование обстоятельств убийства Маттеи. Потому что он не скрывал, что не верит в версию авиакатастрофы. Потому что он прямо говорил, что нефтяные концерны Далласа были заинтересованы в Сицилии и связаны с американской мафией, а Маттеи стал им поперек дороги...

— Что же изменилось за те два года, которые он прожил под охраной? Исчезла мафия? Или господин Грацио стал иным?

— Ни то, ни другое... Просто Леопольдо за те два года очень окреп...

— Вы допускаете какой-то договор о перемирии, заключенный им с мафией?

Женщина вздохнула.

— Допускаю.

— С кем конкретно?

— Он никогда не говорил того, что могло угрожать мне или моим близким... Он был очень открытым, но умел молчать про то, что могло принести мне горе...

— А где телохранители Грацио?

— Один, Эрнесто, живет на моей вилле... Второй уехал в Сицилию.

— Я могу поговорить с Эрнесто?

— Бесполезно. Он ничего не скажет.

— Почему?

— Потому что он сицилиец. Потому что сам ничего не знает... Он умеет только охранять, следить за теми, кто идет по улице, стрелять и резать...

— Силач громадного роста?

— Нет, Эрнесто как раз очень маленький. Громадным был Витторио, который уехал в Катанью...

— Почему?

— Кончился контракт... Прокурор республики заверил Грацио, что опасность миновала...

— Как фамилия этого Витторио?

— Фабрини.

— У него очень большой размер обуви, не правда ли?

— Да, сорок пятый...

Шор снова закурил.

— Мне бы все-таки очень хотелось, поговорить с Эрнесто...

Женщина поднялась с низкого сафьянового овального дивана, подошла к перламутровому, старой модели телефонному аппарату, набрала номер, долго ждала ответа, пояснила, что Эрнесто рано ложится спать, они такие сони, эти сицилийцы, так любят поспать...

— Алло, Эрнесто, простите, что я потревожила вас поздно... Здесь у меня...

Шор поднес палец к губам, шепнул:

— Не говорите обо мне! Просто попросите приехать...

Женщина кивнула.

— Вы бы не смогли сейчас приехать сюда? Нет, нет, ничего не случилось... Хорошо, спасибо, я жду.

— Не вздумайте ему сказать, что я из полиции,— попросил Шор,— он тогда не станет со мною ни о чем говорить... Скажите, что я стараюсь понять причину гибели Грацио...

— Господина Грацио,— поправила женщина.— Он не станет говорить с вами, если вы скажете о Леопольдо просто «Грацио»...

— Господин Бланко тоже очень следит за тем, чтобы его фамилия произносилась с обязательным «де».

— Он мышь,— повторила женщина,— он только играет в больших, он не в счет.

— А Уфер?

— Тоже мышь, но дрессированная, знает все о бирже, Леопольдо верил ему как себе... Он может догадываться, кто против концерна Леопольдо в Гаривасе, он знает пружины... После того как Леопольдо не стало, дни Санчеса сочтены, и Уфер и Бланко знают это...

— Вы согласитесь под присягой повторить то, что сказали сейчас?

— Конечно.

— У вас хватит денег, чтобы держать трех телохранителей, фрау фон Варецки?

— Я не люблю, когда считают мои деньги, господин Шор. Вы спросили, я ответила. И достаточно.

— Прошу простить, но я осмелился спросить вас о телохранителях оттого, что понимаю всю меру опасности, которую я, лично я навлеку на вас после такого рода заявления... Мы не сможем дать вам охрану, а она потребуется, в этом я не сомневаюсь.

— Я сказала то, что сочла нужным сказать. Какие у вас еще вопросы?

— Господин Грацио называл вам тех, кого он подозревал в гибели Энрике Маттеи?— спросил Шор, отметив, что более не смеет называть покойного просто Грацио. Женщина сумела корректно, но твердо навязать ему свое отношение к нему.

— Его врагами были те, которые крепче всех пожимали на приемах руку и громче других клялись в дружбе.

— Простите, но этот ответ слишком общий.

— Другого не знаю.

— Постарайтесь вспомнить: вам никто не подсказал — дружески, вскользь — переехать из вашего дома сюда, в «Палому»?

Женщина нахмурилась, снова потянулась к бутылке, глаза ее сделались прозрачными, водянистыми, поэтому казалось, что в них постоянно стоят слезы, хотя они были сейчас сухи...

— Мне звонила фрау Дорн... Обещала прилететь ко мне... Она спросила, не слишком ли мне тяжко в доме одной... Но она ничего не советовала.

— Когда это было ?
— Когда Леопольдо не стало.
— У вас в доме есть сейф?
— Да.
— Ключи от него у вас?
— Да.
— Там хранятся документы господина Грацио?
— Нет. Только мои бумаги.
— Когда господин Грацио был у вас последний раз?
— Весною, пятнадцатого апреля...
— Он был один?
— Да.
— Работал?
— Нет. Отдыхал. Конечно, он много звонил по телефону, он умел прекрасно работать по телефону, но ничего не писал... Хотя нет, конечно, что-то писал, все это осталось у него на столе, я храню все его бумаги, он не любит... он не любил... Погодите, вы спрашивали о его врагах... Вы слыхали о Доне Валлоне?
— Да.
— Ну, и что вы о нем слыхали?
— Я слыхал, что он крупный мафиози, занят в кинобизнесе...
— Леопольдо как-то сказал, что это самый страшный человек, которого он когда-либо встречал в жизни... Дом Леопольдо стоит рядом с замком Дона Валлоне... В Палермо... Внешне они были очень дружны, но я никогда не забуду, как мне сказал о нем Леопольдо... Сказал шепотом, а ведь он не знал, что такое страх...

...Эрнесто от виски отказался, посмотрел маленькими колючими глазами на Шора, выслушал Анжелику фон Варецки о том, что этот господин намерен разобраться в обстоятельствах гибели ее мужа, аккуратно присел на краешек кресла, сжал в кулаки толстые маленькие пальцы, поросшие темными волосками, и сказал:

— Я готов помочь господину в его деле, как же иначе-то?

— Где Витторио?— спросил Шор. — Хорошо бы нам поговорить вчетвером...

— Вы служите в полиции?— утверждающе уточнил Эрнесто.

— Я частный детектив.

— А ваша фамилия случайно не Шор?

— Ну, а если моя фамилия действительно Шор? Что тогда?

— Тогда я погожу говорить с вами, покуда вы не изложите всю правду о деле господина Грацио...

— Вам звонил кто-нибудь по поводу этого дела? Давал советы?

— Господин Шор, я же сказал, что пообожду с вами говорить, мы люди неторопливые, умеем ждать своего часа...— Он обернулся к Анжелике фон Варецки.— Пожалуй, я поеду, а то псы воют, покормлю...

31

Из бюллетеня Пресс-центра:

Как стало известно, представители «Континентл фуд индастри», контролируемой финансовой группой Дигона, которые прилетели на встречу с Грацио в тот день, когда он покончил жизнь самоубийством, встречались с ним до этого трижды на протяжении последней недели в Лондоне, Далласе и Гонконге. Переговоры проходили при закрытых дверях, в обстановке полной секретности, однако обозреватели, близкие к финансово-промышленным кругам, утверждают, что целью этих встреч было удержать Леопольдо Грацио от подписания договора с режимом Санчеса в Гаривасе о строительстве энергосистемы; оплата гарантировалась реализацией урожая бобов какао, который, как утверждают, ожидается весьма высоким.

Грацио наотрез отказался торпедировать свой проект; ситуация во время переговоров накалилась, однако коммюнике для прессы, как всегда, были весьма обтекаемые, полные заверений о «единстве и общности взглядов по всем обсуждавшимся вопросам».

Предполагают, что встреча, назначенная в день кончины Леопольдо Грацио, должна была оказаться решающей. Можно допустить, что в случае отказа итальянского мультимиллионера

подчиниться нажиму «Континент фуд индастри» против его концерна была бы объявлена война, причем не только на Американском континенте, но и в Европе.

Предсказать исход битвы гигантов никто не мог до того дня, пока Грацио не покончил с собой, ибо его позиции были особенно сильны как в Европе, так и в третьем мире, с мнением которого приходится считаться чем дальше, тем серьезнее».

32

Ретроспектива IY (за два месяца до убийства Грацио)

На каждую «тревожную» страну Латинской Америки в Центральном разведывательном управлении — в различных его подразделениях — хранятся закодированные, под сургучными печатями, в подземных сейфах так называемые варианты.

Это проработанные до последних мелочей, п о ч а с т н о с т я м давно отрепетированные, но до поры не сведенные воедино планы свержения правительств, организации военных переворотов, захвата правительственных учреждений, аэропортов, радиостанций, казарм, тюрем, сенатов, портов, банков; здесь же подобраны сведения о тех людях, которых надо убрать или, наоборот, привести к власти, причем для каждого «варианта» существует свой кандидат на лидерство; сотрудники, которые готовили «вариант N 1», не догадываются даже, что существует «вариант N 7», который предусматривает немедленное уничтожение того человека, который у них был утвержден на руководство путчем.

Правом знать в с е «варианты» обладает лишь директор ЦРУ.

Именно поэтому, понимая, что настало время сводить «варианты» воедино, отдавая себе отчет в том, что игра начата им, первым заместителем директора, на свой страх и риск, Вэлш тем не менее решил п о д с т р а х о в а т ь с я и, таким образом, получить санкцию на продолжение начатой работы, во-первых, и, во-вторых, узнать все «варианты».

Он попросил директора найти для него время; тот сразу ответил ему согласием и назначил встречу на вечер; никто не помешает; суматоха кончилась, можно выпить виски со льдом, съесть соленого миндаля и не торопясь, без изматывающих душу телефонных звонков поговорить тридцать — сорок минут.

Разговор с директором Майкл Вэлш начал не впрямую; сначала он рассказал ему о том, как с л у ж б а вычислила французского резидента в Брюсселе, очень потешался деталями; став вдруг сосредоточенным, вспомнил молодого сотрудника в Париже Фрэнка По, который был задействован в этой операции и проявил себя блистательно.

— Он не родственник Эдгара По?— спросил директор.

— Мне как-то не приходила в голову возможность такого родства,— улыбнулся Вэлш.— Но я обязательно попрошу навести справки.

— Было бы славно, окажись он каким-нибудь правнуком родоначальника нашей детективной литературы... Мы бы могли это обыграть в пропагандистском плане.

— После его выхода на пенсию...

— Ради такого дела мы бы его рассекретили, пусть выступает в телевизионных шоу... Вполне могли придумать ему пару-тройку подвигов в Кампучии или Гаривасе.

Вот спасибо, подумал Вэлш, ты сам мне помог, упомянув Гаривас; после целого дня нервотрепки довольно трудно вязать кольца, чтобы без нажима подойти к д е л у, ты сам мне помог, босс, благодарю.

— Кстати, о Гаривасе,— заметил Вэлш.— У меня есть всякого рода любопытные наметки, я как-то говорил вам, но не хотел мучить вас подробностями...

— Почему?— директор пожал плечами.— Это даже приятно, когда вы меня мучаете подробностями, я дилетант, а вы профессионал, есть чему поучиться.

Вэлш не ждал, что директор т а к ответит ему, поэтому он начал говорить медленно, взвешивая каждое слово, стараясь в паузах обдумать несколько позиций вперед.

— Санчес есть Санчес, он не нуждается в комментариях... Тот «вариант», который я визировал — его про-

работали в секторе анализа и планирования, — предполагает начало кризисной ситуации в декабре этого года, когда правительству Гариваса придется пойти на частичное повышение цен после получения займа от европейского концерна Грацио... Авторы «варианта» исходят из того, что заем все-таки будет получен и работа по энергопроекту начнет раскручиваться... Поскольку люди там стояли в стороне от машинной цивилизации, городского рабочего класса практически нет, в основном сельскохозяйственные арендаторы и мелкие предприниматели, занятые в сфере сервиса, можно предполагать срыв графиков строительства, порчи оборудования, весьма дорогостоящего, естественно; начнется ломка привычного уклада с п о к о й с т в и я, возникнет недовольство с р е д и н н о г о элемента, возникнут экономические неурядицы, правительство разобьется на две потивоборствующие группы, правое крыло, видимо, возглавит министр энергетики и планирования, дипломированный инженер Энрике Прадо, который войдет в блок с Лопесом, у нас есть возможность помочь созданию такого блока; на левом крыле будут министр иностранных дел Малунде и начальник генерального штаба Диас, Санчес постарается балансировать, но сектор проработал вероятность создания кризисной ситуации, выход из нее наиболее вероятен в проведении плебисцита, который кончится либо переходом власти к Энрике Прадо, это мирный пассаж, либо же, в случае если агентура сообщит о возможном перевесе сил влево, майор Лопес захватит дворец, став президентом; кресло премьера будет передано Прадо...

Директор принес виски, два стакана, банку со льдом, соленый миндаль, заметив:

— Я, в общем-то, помню этот вариант, Майкл... Вы говорили о любопытных наметках... Я думал, принесли мне что-либо новое...

— Резидентура сообщает о повышении интереса Барри Дигона к событиям в Гаривасе... Причем, и это довольно занятно, его люди словно бы идут по нашим следам...

— Вы допускаете утечку информации?

— Исключено...

Директор улыбнулся.

— Значит, Дигон и его люди так же умны, как наши сотрудники... Что вы предполагаете?

— Мне бы казалось целесообразным присмотреться к активности мистера Дигона... Может быть, его действия в Гаривасе каким-то образом подтолкнут развитие ситуации в выгодном нам направлении, убыстрят процесс. Я не знаком со всеми вариантами, но, думаю, среди них есть и такие, которые предполагают начало кризиса не на декабрь, а на более ранний период...

Директор, однако, не ответил так, как ожидал Вэлш, он не сказал, как хотелось бы, что, мол, ознакомьтесь со всеми вариантами, подумайте, что можно сделать, почему бы нет... Он смотрел в стакан с виски своими водянистыми пронзительными глазами и молчал тяжело и, как показалось Вэлшу, настороженно.

— Или вы полагаете, что в нынешней ситуации следует, затаившись, ждать?— не выдержав паузы, спросил Вэлш.

Он не мог и не имел права говорить сейчас о своем контакте с Дигоном, потому что за этим сразу же прочитался бы его личный интерес; он обязан был вынудить директора подтолкнуть его к такого рода контакту или хотя бы высказаться в том смысле, чтобы потом его слова можно было толковать как санкцию на действия.

— Я чту диалектику,— откликнулся наконец директор.— Когда стоит ждать, надо ждать, если возникает необходимость форсировать события, что ж, надо форсировать...

— Активность Дигона, мне сдается, может форсировать ситуацию в Гаривасе... Естественно, в нашу пользу...

...Все это время директор ждал, что Вэлш скажет о контакте с Дигоном, объяснит свой замысел, и тогда вопрос о тревожной телеграмме Ульриха решится сам собою, однако первый заместитель, ас разведки, лучший профессионал управления молчал, более того, он хитрил, и чем дальше он хитрил, тем яснее становилась директору та задача, которую Вэлш намеревался решить.

— Вы хотите просить у меня санкции на какие-то действия?— спросил наконец директор.— На какие именно?

— Если бы вы посчитали возможным позволить мне

встречу с Дигоном, чтобы просчитать вероятность использования его людей в Гаривасе, я думаю, это бы не помешало нам в будущем.

— Вы с ним вообще-то знакомы?

Столь прямого вопроса Вэлш не ждал, поэтому ответил не сразу, несколько заторможенно:

— Мы, кажется, встречались с ним на коктейлях...

Директор выпил свой стакан до конца, поняв, что Вэлш лжет ему. Что ж, у него в этом случае развязаны руки, он получил право на поступок, и пусть потом никто не обвиняет его в провокации.

Да, он ведет свою игру, подумал директор, угощая Вэлша сигарой, он не хочет делиться идеей даже со мной, я уж не говорю об администрации, что ж, пусть пеняет на себя...

33

15.10.83

Вольф Цорр просыпался еще затемно. Он подолгу нежился под огромной, но очень легкой периной, сладостно ощущая тело; однажды вспомнил шутку своего приятеля Герберта Аша, с которым в е р т е л дела в Мюнхене в последние месяцы войны: «Если человек, которому исполнилось шестьдесят, проснулся и не чувствует неудобства, отека или колотья под лопаткой, значит, он умер».

Цорр просыпался, словно бы кто толкал его в бок; он не сразу открывал глаза; поначалу осторожно, чего-то неосознанно пугаясь, шевелил пальцами; начинал с мизинца; когда был молодым, пятидесятилетним еще, всегда просил мадемуазель Сизи делать особый маникюр на левом мизинце — растил ноготь, но конечно же не безобразно длинный, а на особый манер, лопаточкой. Вспоминал, как Герда любила, когда он щекотал этой лопаточкой у нее за ушами, там, говорила она, у нее эрогенная зона: «Я млею, как кошка, милый».

Убедившись, что все пальцы двигаются, особого хруста в суставах нет, Цорр поднимался, делал себе легкий массаж, особенно тщательно разминал икры, надевал тренировочный костюм и отправлялся на пробежку.

Он мог т р у с и́ т ь с закрытыми глазами, маршрут был знаком до мелочей; Цорр знал, когда фрау Тузен выбросит перины на балкончик своего дома, можно не смотреть на часы, семь двадцать пять; в семь двадцать ее муж, начальник почты, уезжал на велосипеде в контору; сын Паульхен отправлялся в школу; когда мальчик приближался к разлапистому кусту облепихи, не раньше и не позже, фрау Тузен начинала уборку.

Он чувствовал по запаху — бензин здесь, в маленьком пригородном поселке на склоне гор, ощущался далеко окрест,— что часы на кирхе пробьют семь сорок пять, потому что именно в это время фройляйн Гизен начинала прогревать «фольксваген»; она прогревала его четыре минуты и н а л а ж и в а л а с ь в свой детский сад.

С герром Вюрстом он обычно перебрасывался несколькими фразами, тот выходил в садик в семь пятьдесят и начинал поливать цветы; розы он продавал лишь нескольким клиентам, растил чайные, желтые, тяжелые.

Для Цорра было событием, если на дорожках поселка встречался новый человек; особенно радостной была встреча с незнакомой женщиной; он сильнее втягивал живот и поднимал плечи, представляя себя со стороны; горделиво думал, что никто и никогда на давал ему семидесяти семи, максимум шестьдесят, а то, что седины много, то ныне она ценится, даже женщины стали красить волосы в бело-голубой цвет, очень элегантно.

Вернувшись домой, он принимал холодный душ, растирался цветным — обязательно с детским рисунком — полотенцем (специально ездил в универмаги на распродажу, выбирал такие, на которых были изображены голенькие шалуны, перевязанные ниточками-складочками, с белыми, пепельными кудряшками или девчушки в ванночках с куклами в руках), надевал белый свитер, эластичные спортивные брюки, обтягивающие ноги, кеды фирмы «Ромика», на толстой подошве, тоже непременно белые, и отправлялся на кухню, где фрау Курс, соседка из коттеджа напротив, готовила ему завтрак (платил сущий пустяк — триста франков в месяц).

Он приучил себя есть только п о р и д ж; англичане не дураки, правильно делают, начиная рабочий день с этой каши на воде, с добавлением четверти стакана

сливок, съедал немного меда из Шварцвальда и выпивал полчашечки кофе.

Потом он ставил себе в особом дневнике оценку за утро; в случае, если т р у с и л не сорок минут, а всего лишь полчаса, выставлял минус, так же и в воскресенье, когда позволял роскошь — ломтик ветчины и кусок семги.

Затем переходил в кабинет, поднимал жалюзи и погружался в изучение утренних газет.

Просмотрев прессу, Вольф Цорр отправлялся в маленькую комнату, где жили его любимцы, Изольда и Анжелика, сиамские кошки, рыжая и голубая; он никому не доверял приготовление пищи для малышек, сам готовил им завтрак; считал варварами тех, кто покупал в магазинах специальную кошачью еду; бесстыдно кормить животных мороженой пищей, отбросами, второсортицей; коль уж ты завел в доме этих бессловесных доверчивых тварей, приручил их, изволь относиться к ним, как к равным себе; разве они виноваты, что творец не одарил их счастьем речи? Вглядись в их глаза, там сокрыты мысль и тоска по слову, которого они лишены. Обычно он разогревал для Изольды и Анжелики куриный бульон, насыпал гренки, добавлял немного сыра; печень он давал им мелко резанную, перемешав предварительно с огурцами,— помогает обмену веществ.

Затем он выгуливал малышек во внутреннем дворике дома, кидал им теннисные мячики, чтобы мускулатура сиамочек была еще ярче выражена и шкурка о т л и в а л а, а уже после этого садился за еженедельные журналы; прежде всего он открывал страницы, где была подборка «Отвечаем на ваши вопросы»; более всего его интересовал западногерманский «Квик»: «Если вы не можете сами решить свои проблемы, немедленно обращайтесь в нашу редакцию, вам ответит врач-психолог и дипломированный специалист по вопросам семьи и брака из Мюнхена доктор Ханс Нигенабер».

Вольф Цорр периодически отправлял в «Квик» свои заметки по поводу рекомендаций дипломированного психолога доктора Нигенабера; сегодня его возмутило письмо некоего К.Н.Любека, который жаловался, что его жена после пятнадцати лет счастливого супружества поехала на отдых в Барселону и завела там флирт с молодым испанцем. «Я не нахожу себе места; крах, ко-

нец счастью, перечеркнуто прошлое. Как мне поступить?» Дипломированный психолог отвечал К.Н.Любеку, что во многих семьях пятнадцатилетнее партнерство может быть подвергнуто такого рода испытанию, чувства стерлись, необходим допинг. «Это событие должно мобилизовать вас,— наставлял терапевт,— и, если вы откровенно обсудите с вашей супругой все происшедшее, выясните детали флирта и заставите себя быть прежним, а может, еще более изобретательным партнером вашей любимой, счастье вернется и происшедшее окажется лишним импульсом в вашей сексуальной жизни и счастливом содружестве».

Он достал из шкафа пишущую машинку и направил в «Квик» ответ, не перепечатывая начисто, так был раздражен: «Уважаемый господин редактор Ханс Вагнер! Каждый волен писать в журнал все, что хочет, но «Квик» как мощное оружие пропагандистского воздействия не вправе отвечать ложью на вопрос обманутого мужа, над чувством которого надругалась взбесившаяся самка. О какой «мобилизации» может быть речь, когда супруга отдалась молодому испанцу?! Прекрасно известно, что испанцы, являясь жертвами кровосмешения с семитским племенем арабов и евреев, избыточно сексуальны, и надежда на то, что «изобретательность» супруга убьет в женщине память о темпераментном любовнике, совершенно химерична. Не стоит обманывать доверчивых читателей, господин редактор Вагнер! Вы потеряете подписчиков!»

Еще большее раздражение вызвал в нем ответ психолога на письмо фрау Бергкамен; та жаловалась, что после родов в течение трех месяцев муж перестал быть с нею близок, не появляется дома, пьет.

«Настоящий мужчина всегда чувствует себя властным собственником,— наставлял дипломированный доктор,— именно поэтому вы должны уделять мужу еще больше внимания, чем уделяли до родов; более того, он должен видеть, что он важнее для вас, чем бессловесное пищащее дитя, лишь в этом случае вы сможете сохранить семью. Отец начинает интересоваться ребенком, когда тот повзрослеет, до той поры он не понимает его».

Второе письмо в редакцию было еще более резким: «Какая гнусность! Какое падение нравов, господин ре-

дактор Вагнер! Дитя всегда должно быть первым и главным в семье! Любовь к ребенку свята, любовь к мужу греховна! Нельзя подвигать женщину на то, чтобы она ублажала самца, забыв о главном своем призвании: воспитывать дитя, наше будущее!»

После этого Вольф Цорр отправлялся в ресторан Вольфганга; хозяйка фрау Анна не спрашивала даже, что он будет есть; столик возле окна был заранее сервирован; чашка супа из бычьих хвостов, антрекот с кислой капустой (по пятницам отварная рыба, ничего больше), а на десерт сыр (по вторникам, средам и субботам); в остальные дни мороженое или же малиновый сок со взбитыми сливками.

Затем он возвращался к себе, спал до пяти и уходил в плавательный бассейн; в тяжелой зеленоватой воде он ощущал свое тело особенно радостно; сравнивая себя с молодыми, сорока- или пятидесятилетними мужчинами, не видел особой разницы, его возраст, казалось Цорру, можно установить лишь по дряблым морщинам шеи; живот, руки и ноги были гладкими, никакой патологии, свойственной тем, кто с д а л с я.

(Два раза в месяц он уезжал в Западную Германию; там «дома любви» были вполне надежны, истинная индустрия здоровья. Он приходил туда в пять часов, перед ужином; посетителей было еще мало; девочки в купальниках стояли в темном зале, курили, переговаривались о чем-то своем; не приставали, вполне воспитанны, можно было не торопясь выбрать партнершу; в молодости Цорр любил больших, толстых женщин, к старости потянуло на миниатюрненьких. Правда, теперь он к этому относился как к необходимому физиологическому отправлению, некоей терапии от старения. Выбрав партнершу, шел мимо бдительных стражей, сидевших между первым и вторым этажами, в маленькую комнатку с зеркальным потолком и стенкой возле кровати; обычно на посетителя здесь отпускалось не более двадцати минут; поднимаясь по лестнице, обговаривал с партнершей стоимость без обязательного здесь предохранения; как правило, хозяйка запрещала это своим подопечным — опасность венерического заболевания, удар по престижу дома и все такое прочее. Девушки, правда, шли на нарушения; это стоило ему лишние тридцать марок.)

...В шесть часов Вольф Цорр заваривал себе кофе, а потом отправлялся на прогулку в лес. Обычно он шел быстрым шагом, тихонько напевая песни молодости; несколько раз ловил себя на том, что чаще всего на ум приходила «Лили Марлен»: хотя он никогда не служил в армии. Просто, видимо, маршевый ритм угоден вечернему моциону.

А в восемь часов после легкого ужина садился к телевизору, предварительно переодевшись. Как всегда, надевал черный костюм; в девять, после передачи последних известий, Цорр готовил себе легкий аперитив; искал наиболее интересную программу, благо можно принимать передачи из Италии, Франции, Федеративной Республики плюс три своих, национальных канала.

Последние семь лет, после того, как его вынудили уйти на пенсию, распорядок дня был раз и навсегда заведенным, б а ю к а ю щ и м, но в то же время именно таким, который позволял Цорру чувствовать себя словно оторванным от течения времени, он как бы законсервировался, не ощущал своих лет и был — чем дальше, тем больше — уверен в том, что впереди его ждут истинное, незнакомое дотоле счастье, борьба и победа.

Единственное, впрочем, что он запрещал себе, это воспоминания.

Цорр боялся памяти; почти все те, с кем он рос, работал, мужал, умерли; он жил в пустыне, один.

Поэтому, когда в девять часов вечера раздался звонок и о т д а л е н н о знакомый голос пророкотал в трубку «добрый вечер, дорогой Вольф, счастлив слышать вас», он поначалу испугался; ощущение такое, будто звонок с того света.

— Кто это?— спросил он, откашлявшись.— Пожалуйста, представьтесь... Что-то очень знакомое, но...

— Ах, Вольф, как грустно, когда мы забываем друг друга! Неужели вы забыли Берлин сороковых годов, наши дружеские застолья, пирушки на Кудаме и беленькую красотку Хельгу?!

— Боже мой! Неужели это вы?! Ведь вы, как я слыхал...

— Да, да,— быстро перебил его собеседник,— это я, но об остальном не по телефону! Я могу прислать за вами машину, давайте выпьем и вспомним молодость, а?

Звонил Вольфу Цорру, бывшему представителю концерна «Нестле» в третьем рейхе, заместитель руководителя «европейского отдела» министерства пропаганды Ханс Эпплер; от ареста его спас генерал Гелен, помог перебраться в Испанию; американцы морщились, в «Управлении стратегических служб» работало много евреев, однако Гелен доказал разумность использования своего многолетнего агента на Ближнем Востоке. «В ряды национального движения надо загодя вводить наших людей,— убеждал начальник разведки Федеративной Республики,— они будут незаменимыми в работе с экстремистами, одержимыми реанимацией идеи «окончательного решения еврейского вопроса», именно эти люди дадут нам право проникнуть в Египет, чтобы мы имели возможность охранить мир от новой кровавой резни. А никто, кроме Эпплера, не сможет дать нам п о в о д, он наладит такую антисемитскую пропаганду, которая даже Геббельсу не снилась, разве это не основание для компрометации руководства, вывода на сцену верных людей и закрепления наших демократических позиций в арабском мире?!»

Американская секретная служба помогла Эпплеру в Испании, где он поначалу отсиживался, опасаясь, что его выдадут Советам как нацистского преступника, затем перебрался в Египет. Там взял новую фамилию, Салах Шаффар, и начал работать в «Исламском конгрессе», сделавшись консультантом в «отделе психологической войны против евреев».

После семидневной войны Гелен был вынужден передать контакт с ним военной разведке Пентагона, хотя оставил за собой право получать от Салаха Шаффара годовые обзоры деятельности «Исламского конгресса».

Пентагон высоко ценил Салаха Шаффара, его работа оплачивалась беспрецедентно высоко; курировал его лично шеф ближневосточного сектора военной разведки полковник Исаак Голденберг; они периодически встречались, чаще всего в Швейцарии; после того как племянник Голденберга, тридцатилетний Абрахам, начал работать во внешнеполитическом департаменте «Ролл бэнкинг корпорейшн», этим источником остро заинтересовался наблюдательный совет — надо было исследовать вопрос о возможности гарантированных

вложений капитала в развитие судоходства по Нилу. С тех пор встречи Исаака Голденберга с Салахом Шаффаром проходили не только в Швейцарии, но и Вене, шесть раз в году.

Вот после такой встречи Салах Шаффар, увидавшись накоротке с неким Ламски, состоявшим в контакте с резидентом ЦРУ, и отправился в Базель для беседы с Вольфом Цорром.

Они расстались в полночь, подобревшие, размягченные воспоминаниями той поры, когда были тридцатилетними м а л ь ч и ш к а м и.

Цорр с радостью взялся выполнить просьбу Шаффара. Чек на три тысячи долларов принял легко, как визитную карточку, положил в портмоне, будто забыв о нем. Попросил трижды изложить то, что он должен сделать с переданной ему информацией — в тот именно момент, когда к нему позвонят, но лишь после того, как сообщат по переданному ему телефону имя человека, который к нему обратится.

34

16.10.83 (19 часов 15 минут)

Комиссар Матэн подвинул Шору чашку кофе и, откинувшись на спинку вертящегося кресла, сказал:

— Соломон, я совершенно задерган, заместитель министра требует доклад по делу Грацио, пожалуйста, сформулируй сжато все, что ты обещал доложить, вооружи меня, иначе эти дилетанты не слезут, ты же знаешь их интерес к сенсации, никакого профессионализма.

— Надо писать?

— Нет. Ты рассказываешь лучше, чем пишешь.

— Ты в курсе, что на пистолете нет отпечатков пальцев, я уже докладывал... Я кое с кем побеседовал, и это понудило меня побродить по чердаку отеля... Нашел там след одного пальца... На окне, которое выходит как раз на ту сторону, где расположен апартамент покойника...

— Этот палец есть в нашей картотеке?

— Нет.

— Слава богу.

— Я запросил Интерпол.

— Прекрасно... Пусть ищут... Дальше?

— Я нашел там же еще след, ботинок сорок пятого размера... Отправил химикам... Они полагают, что обувь итальянская... Ответят определенно завтра поутру...

— Дальше?

— Ну, а что дальше? Дальше кто-то спустился по веревке — это научились хорошо делать после итальянских фильмов о мафии... Форточка в номере Грацио была открыта... Жахнули бедолагу, свертели бесшумную насадку и бросили револьверчик поближе к койке, возле которой он лежал...

— Дальше?

— Дальше химики ищут след от веревки с чердака. Что-то нашли, исследуют.

— А что тебе может дать исследование веревки?

— Многое. Профессионалы возят свои, отечественные. Выйдем на страну, уже зацепка.

— А что? Вполне. Опросил всех в отеле?

— Конечно. Папиньон передал мне допросы семнадцати служащих... Никто никого не видел... Я затребовал карточки всех, проживавших и проживающих в отеле поныне... Изучаем...

— Когда получишь информацию?

— Ее уже обрабатывают, шеф. Думаю, завтра к вечеру будут исчерпывающие данные.

— Считаешь, что в нашем деле можно получить исчерпывающие данные? Завидный оптимизм. Дальше?

— Дальше хуже. Допустим, палец, ткань веревки, следы от ботинок и все такое прочее приводят нас в никуда. Как же нам в таком случае выяснить личность человека, посетившего Грацио вполне легально, через дверь?

— Не знаю.

— Я знаю, что мог войти только хорошо знакомый Грацио человек. Логично?

— Вполне.

— Таких здесь трое.

— Кто они?

— Сюда накануне прилета Грацио приехал Бланко; из Амстердама прискакал Уфер, и, наконец, мне толь-

ко что стало известно, тут появился сосед Грацио по замку в Палермо, брат Дона Валлоне, синьор Аурелио, вполне серьезный старичок из высшего круга мафиози.

— Ну и?..

— С Бланко я говорил, но на него жмут. За Уфером и Аурелио смотрю.

— Итак, если позволишь, я подытожу, Соломон... В номере «Континенталя» погиб Леопольдо Грацио... Никаких следов насилия, на ковре валяется пистолет, никто не слыхал выстрела, никто не видел человека, который направлялся в апартамент покойного... Вопрос был бы решенным, если бы на рукояти пистолета мы обнаружили пальцы нашего бедолаги. Когда ты пришел в номер, там до тебя уже находились директор, шеф охраны, портье, метрдотель, который привез каталку с завтраком, горничная и полицейский, что дежурит возле отеля. Я задаю себе вопрос: а если один из этих людей схватил — в ужасе, без злого умысла — пистолет, потом испугался, что обнаружат его следы, вытер рукоять полотенцем и положил на место? Такое допустимо?

Шор прищурился, рассеянно глянул на Матэна, полез за сигаретами, достал мятую пачку «Голуаз», закурил и, стремительно глянув на комиссара еще раз, ответил:

— Вообще-то если...

— Что «если»?

— Если очень хочется считать это дело самоубийством, то...

— Ты полагаешь, я подталкиваю тебя именно к такой точке зрения? Соломон, что с тобою? Ты выдвигаешь свою версию, но и я имею право на свою.

— Пресса берет в оборот не тебя, а меня, Луи.

— Так было всегда, так будет и впредь, пока ты не сменишь меня в этом кресле, а на твое место не сядет Папиньон... Но я отнюдь не отвергаю твою версию. Имей в виду, я на твоей стороне, куда бы ты ни повернул дело... Как всегда, я стану прикрывать тебя. Копай, Соломон.

Через два часа, после мимолетной встречи с комиссаром Матэном в кафе, Джон Хоф нацелил резидентуру ЦРУ на то, чтобы журналисты, состоящие на связи со с л у ж б о й, побеседовали с работниками «Континенталя»

Подразделение, отвечавшее за выполнение специальных мероприятий, получило задание о р г а н и з о в а т ь такого человека в «Континентале», который в с п о м н и т, что не далее как три дня назад, примерно за день до самоубийства Грацио, вызывали мастера по профилактике электропроводок на чердаке, в подвальных и складских помещениях; приходил мужчина средних лет, очень крупного телосложения, что-то около пяти часов пополудни; приглашение мастера было вызвано тем, что шли дожди, ужасная погода, что-то случилось с климатом, эти американцы и русские наверняка доведут мир до нового потопа с их космическими безрассудствами; мастер был из какой-то конторы, надо вспомнить, вероятно, где-то в бумагах есть телефон или соответствующая запись; нет, в день гибели Грацио этого человека в отеле не было, мы внимательно следим за всеми, кто входит в наш отель...

Через три часа, после соответствующей шифрограммы Хофа в Лэнгли, Майкл Вэлш отправил указание римской резидентуре ЦРУ предпринять все возможное, чтобы подействовать на соответствующих людей в кабинете и добиться отправки телеграммы в Берн с официальным запросом по поводу обстоятельств гибели итальянского гражданина Леопольдо Грацио; поскольку письмо должно исходить от секретной службы, то, естественно, на этот запрос должна ответить секретная служба Швейцарии. А отвечать на письмо, не затребовав в криминальной полиции все документы, допросы, заключения экспертов, невозможно.

Правдолюбцы — это хорошо, но Шор решил поиграть в это дело слишком уж серьезно. Не время.

Впрочем, осталась еще надежда на завтрашний контакт с Шором тех, кому резидентура в Берне верит безоговорочно.

35

Ретроспектива Y (месяц тому назад, осень 83-го)

Прием был устроен на английском газоне перед новым домом Дигона в Сарагоса де Вилья; пальмы подсвечивали лампами дневного света, и ночь поэто-

му казалась нереальной, пожалуй, слишком уж черно-белой, как у режиссеров первых фильмов раннего итальянского неореализма.

Дигон, как всегда, был в своем скромном черном костюме; он позволял себе только одну роскошь — шофер покупал ему невероятно дорогие туфли, невесомые, лайковые, в шикарнейшем магазине Нью-Йорка. Как и всякий состоявшийся человек, Дигон не придавал значения одежде, любил старые привычные вещи; впрочем, в молодости, как и все ему подобные, рвавшиеся вверх, он заказывал себе изысканные костюмы, покупал самые большие машины, ибо человек, стремящийся состояться, должен уметь пускать пыль в глаза; чем меньше реальных денег, тем больше должно быть показного богатства; только купив три дома, более тысячи акров земли, богатой нефтью, завязав — через третьи страны — надежные связи с банками Саудовской Аравии, он перестал обращать внимание на внешнее, «жениховское», как шутил позднее, и стал, наоборот, и г р а т ь в скромность; поначалу переигрывал, она выглядела ненатуральной. По прошествии лет, особенно после сорок пятого года, получив доступ в Западную Германию через концерн Дорнброка, он жил понятием дела — агрессивного, всепожирающего, беспощадного; всякое — со стороны — проявление богатства казалось ему теперь смешным и нелепым.

...Когда посол Никльберг подвел его к министру обороны, когда они обменялись прощупывающим, настороженным рукопожатием, кряжистый майор Лопес отчеканил:

— Наша революция против роскоши, но этот дом отмечен печатью достоинства; праздник не режет глаз излишествами, столь угодными сильным вашего мира; рад чести засвидетельствовать свое уважение, мистер Дигон, и выразить надежду, что вы не только поправите здоровье в благодатном климате Гариваса, но и поразмыслите на досуге, какую помощь можно оказать республике, развивающейся ныне столь динамично.

Возле майора стоял высокий холодноглазый полковник, начальник генерального штаба Диас, близкий друг премьер-министра; Дигон сразу вспомнил то, что говорил ему о Диасе Майкл Вэлш, когда они встретились на конспиративной квартире ЦРУ в Нью-Йорке, поэтому Дигон чопорно поклонился майору и ответил:

— Хотя я, не скрою, являюсь противником любой революции, кроме американской, но тем не менее, господин Лопес, меня воодушевляет динамика вашего развития и то чувство стабильности, которое я здесь ощущаю... Не вижу поэтому оснований для того, чтобы хоть в какой-то мере бойкотировать вашего министра финансов... Думаю, коллеги по наблюдательному совету нашего концерна поддержат мое пожелание пойти навстречу вашим предложениям...

— Ну что ж,— сухо усмехнулся майор Лопес,— если они поддержат вас и ссудят нас займом, республика позволит им жить здесь, на берегу, как они того захотят... В роскоши так в роскоши...

Дигон пожевал губами.

— В какой-то книжке, мне сдается — переводной, я прочитал любопытный анекдот о моем юном друге Дэйве Рокфеллере... Будто бы он вспомнил, что в одной из соседних с вами стран его дед купил пару миль хорошего пляжа и дворец восемнадцатого века... Дэйв отправил туда нескольких своих помощников — цент любит счет, с него начинается доллар...

Лопес резко заметил:

— Две мили нашего побережья меряют не центом, мистер Дигон, а миллионом...

— Для Рокфеллера миллион и есть цент,— улыбнулся Дигон.— Так вот, его люди прибыли на двух вертолетах, увидели причудливый замок, пальмы на песчаном берегу, банановые рощи, вызвали управляющего и сказали: «Через неделю сюда прилетит большой босс. Поэтому, пожалуйста, снесите этот помпезный замок, мы пришлем строителей, и они сделают небольшой двухэтажный коттедж с хорошим бассейном, бомбоубежищем и радиоцентром; босс не любит пальм, надо засадить два километра крымской сосной. Песок следует посыпать красной галькой Средиземного моря, это мы доставим на самолетах... Теперь так,— продолжал самый доверенный помощник Рокфеллера,— какое созвездие появляется над домом, если сесть на пляже, опереться руками о землю и задрать голову?» Управляющий ответил, недоумевая: «Мне кажется, Южный Крест или что-то в этом роде». А помощник, посмотрев в свою записную книжку, отрезал: «Нет, он не любит это созвездие, пожалуйста, сделайте так, чтобы над го-

ловой у него был Козерог, мы уплатим любые деньги...» Через неделю прилетел Дэйв, вышел из своего сверхмощного вертолета — в поношенных белых джинсах, стоптанных кедах марки «пума» и стираной фланелевой рубашке,— прошелся по берегу океана, усыпанного средиземноморской галькой, глубоко вдохнул сухой сосновый воздух, какой бывает, наверно, только в Крыму, сел, задрал голову, спросил управляющего, какая звезда загорается здесь в полночь, выслушал ответ, что тут появится Козерог, вздохнул горестно и направился в свой небольшой двухэтажный коттедж, бросив на ходу: «Какая благодать, боже ты мой! Жить бы здесь и думать о вечности... Кому нужны эти проклятые деньги?! А мы их все делаем и делаем... Для чего?!»

Начльник генерального штаб Диас рассмеялся; посол Никльберг тоже посмеялся и увлек его к столику, на котором стояли бутылки с легким розовым вином, привезенным с юга Франции; полковник Диас понял, что его ловко понудили оставить своего министра с глазу на глаз с Дигоном; он не хотел этого, однако не вырываться же.

Взяв майора Лопеса под руку, Дигон заговорил быстро, но не частя, так, чтобы каждое слово было литым:

— Если вы сможете взять власть и я буду осведомлен о точной дате, когда это произойдет, вы станете самым богатым человеком Латинской Америки, ибо я знаю биржу, цены на бобы какао и понимаю силу армии. Пусть в Нью-Йорк перебежит ваш человек, пусть он станет изменником — через него и его цепь я смогу координировать все наши шаги в будущем.

Дигон почувствовал, как закаменела рука майора, нажал:

— Детали обговорит ваш друг Луис, вы же верите ему, не так ли? Мне нужен определенный ответ, причем сейчас, здесь, иначе я продам это бунгало — и считайте, что нашего разговора в природе не было.

— Когда бы вам хотелось видеть здесь перемены?

— Через месяц, пару... Я жду ответа, потому что времени у нас в обрез, дольше оставаться одним — значит навлечь на вас подозрения...

— Хорошо, я обговорю детали с Луисом.

— Тогда я пускаю в дело на бирже для начала миллионов сто, чтобы повалить цену на какао-бобы. Я дол-

жен быть уверен, что, когда к власти придете вы, ваша цена будет ниже, я выброшу на рынок скупленные акции, а вы на этом получите не менее двадцати пяти миллионов. О`кэй?

Плечо Лопеса расслабилось, мышцы правой руки сделались дряблыми, и, усмехнувшись чему-то, он ответил:

— О`кэй.

— Скажите Луису, куда перевести первый взнос,— закончил Дигон и, отпустив руку Лопеса, заторопился к полковнику Диасу и послу Никльбергу, начав на ходу еще рассказывать им смешную историю про скаредность Моргана-младшего.

Рассказывая, Дигон только два раза мельком глянул на ладную фигуру министра обороны, который сухо разговаривал с военным атташе США; отдал должное манере этого майора конспирировать, точно выстраивать линию поведения с разными представителями разных концепций северного соседа. «Чего-чего, а концепций у нас хоть отбавляй»,— успел подумать Дигон, переходя к завершающей, самой смешной части своей новеллы; у него был набор такого рода новелл, проверенных в его особом бюро «психологических разработок»; он заранее знал, о чем говорить с азиатами, европейцами, латиноамериканцами; был утвержден также и набор рекомендаций для бесед на приемах, в самолетах, накануне заключения сделки, при первом зондаже, после того, как партнер сломлен, во время острого душевного криза у человека, принужденного — во имя интересов концерна — преступить черту закона; впрочем, Дигон никогда не следовал рекомендациям слепо: заметив неловкость в беседе с контрагентом, магнат тут же ломал схему, которую ему заранее готовили помощники, и легко шел на экспромт. В данном случае, однако, он отдал должное Бэйзилу, Маку и Кроми, которые исследовали майора Лопеса последние три недели самым тщательным образом; поначалу Дигон возражал против той жесткой схемы, которую предложил его ш т а б; парни настаивали на своей правоте; Дигон уступил нехотя: «Вы предлагаете говорить с ним так, будто он прагматичный ирландец из Бостона или быстрый нью-йоркский еврей, принявший англиканство еще в прошлом веке! Но ведь он испанец! Может впасть в амби-

нию — и делу конец». Ему возражали: «Лопес — выпускник Вест-Пойнта, прожил среди наших «зеленых беретов» четыре года, он сделал ставку на премьера Санчеса, поняв, что к власти можно прийти только на гребне левого или хотя бы центристского движения; ничто иное невозможно на том континенте, где столь сильны антипатии к северному соседу; в бизнесе, в своем тайном бизнесе, он ведет себя как прагматичный ирландец и быстрый нью-йоркский еврей одновременно, а конспирирует эту свою деятельность подобно агенту ЦРУ. Он понимает, что мы знаем про него то, что нам надлежит знать, и поэтому хочет разговора скорого и предметного».— «А если фыркнет?— спросил тогда Дигон.— Возможность д е л а улетучится как дым, а мы на грани самого великого предприятия из тех, какие концерн проводил за последние годы. Обидно». — «Не фыркнет,— ответил Кроми.— Всю ответственность мы берем на себя. Лопес знает, что его заместитель по военно-воздушным силам пытается наладить контакты с государственным департаментом, он умеет считать возможности».

36

16.10.83 (23 часа 21 минута)

Сенатор Эдвардс прилетел в Гаривас рейсом «Эр Франс» с частным визитом; от пресс-конференции отказался, хотя в аэропорту его ждали более сорока журналистов.

— Пока еще не о чем беседовать, друзья,— улыбнулся сенатор.— О том, какой вкус у манго, говорят после того, как его отведают.

Он приехал в отель «Шератон», принял душ, позвонил в Вашингтон; секретарь рассказала о последних новостях; потом поговорил с сыном, а уже после этого устроился возле телефона в мягком кресле, ожидая, когда с ним свяжется Санчес,— только ради этого он и оказался здесь.

Санчес позвонил, как об этом было заранее договорено, в полночь, сказал, что машина отправлена, можно спускаться, у выхода сенатора встретят.

Они увиделись через полчаса в загородной резиденции правительства, на берегу океана.

Знакомство Эдвардса и Санчеса, однако, началось не сегодня, а четыре года назад, когда молодой выпускник Боннского университета Санчес, возвращаясь на родину, сделал остановку в Вашингтоне. Он позвонил в сенат, в секретариат Эдвардса, представился и попросил о встрече. Эдвардс, загруженный делами сверх меры, вряд ли выбрал бы время для безвестного Мигеля Санчеса, но накануне во всех газетах Штатов были опубликованы сообщения о том, что гаривасский диктатор расстрелял двенадцать профессоров, обратившихся с призывом о либерализации режима и проведении муниципальных выборов.

Эдвардс передал секретарю, что он готов принять мистера Санчеса от семнадцати до семнадцати десяти; Санчес приехал загодя, походил по длинным коридорам сената, вдыхая сладкий воздух капитолийской свободы, без трех минут опять вошел в приемную; там было полно народу; двое сыновей Эдвардса в спортивных, довольно заношенных костюмах разбирали корреспонденцию; секретарь, на столе которой стояла бронзовая табличка с одним лишь словом «смайл»[1], отвечала на бесконечные звонки стандартно учтивым вопросом:

— Мэй ай хэлп ю?[2]

И при этом строго следовала указанию, отчеканенному на бронзовой табличке, постоянно, совсем не деланно улыбаясь тем, с кем говорила, и каждому, кто заглядывал в комнату.

— Я Санчес,— представился Мигель,— сенатор назначил мне встречу.

— О да, мистер Санчес, он вас ждет, пожалуйста, проходите.

Кабинет был не очень большой, похож на декорацию из американских фильмов, где рассказывалось о банде богатых злодеев, противостоящем им бедном прокуроре и покровительствующем правде сенаторе; старинная мебель, фотография с дарственными надписями, вполне домашние шторы на широком окне, закрытом металлическими жалюзи, и множество книг в застекленном шкафу — в основном по вопросам права и истории.

Эдвардс улыбнулся своей обычной белозубой улыбкой, пошел навстречу Санчесу, резко тряхнул его руку,

[1] Улыбайся (*англ.*).

[2] Чем я могу вам помочь? (*англ.*).

предложил сесть, осведомился о профессии гостя, намерениях и цели визита в Штаты; Санчес ответил, что он правовед, мечтает свергнуть диктатора в Гаривасе и хочет просить сенатора оказать ему и его друзьям помощь в этом нелегком деле.

Эдвардс был осторожным прагматиком, и такой предельной открытости ему не приходилось встречать с той поры, как он вышел из колледжа.

— Я уложусь в шесть минут, сенатор,— продолжал между тем Санчес.— Передам вам список всех тех, кто томится в тюрьмах и концлагерях, скорбный лист, куда занесены фамилии расстрелянных без суда и следствия за то лишь, что они имели свою точку зрения на происходящее, я оставлю вам документы об уровне детской смертности, о количестве начальных школ в стране и коек в трех больницах. Вам, видимо, известно что хранение такого рода данных карается в Гаривасе двадцатипятилетней каторгой; распространение — расстрелом, так что просил бы предупредить ваших сотрудников, которые, возможно, решат перепроверить мои материалы, чтобы не ссылались на меня, ибо моя гибель будет означать крах движения в стране...

Они беседовали сорок девять минут; через два месяца после этой встречи Эдвардс выступил в телевизионной передаче компании Си-би-эс и обвинил администрацию в том, что она поддерживает «откровенно фашистский режим, глава которого называет себя самым близким другом Соединенных Штатов». Назовите мне своих друзей, и я скажу, кто вы, гласит мудрость древних; это позор двадцатого века — кровавая, слепая тирания, боящаяся правды и мысли, провозглашающая себя при этом «самым надежным партнером североатлантического сообщества в борьбе против сил агрессии и зла». То, что мы поддерживаем дипломатические отношения с этим режимом, то, что там есть наши советники, то, что полиция диктатора вооружена нашими автоматами и минометами, а повстанцев расстреливают с «фантомов», отправленных нашими ВВС, недопустимо и безрассудно, бросает пятно позора на демократию».

Эдвардс был первым человеком, который узнал о перевороте в Гаривасе; он сразу же послал поздравительную телеграмму Санчесу, и, хотя ряд его коллег, не говоря уже об аппарате государственного секретаря, вы-

разили глубокое сожаление по поводу столь неосмотрительного жеста сенатора, Эдвардс стоял на своем и поддерживал открытые контакты с посланцами полковника.

...Санчес и Эдвардс обменялись рукопожатием, а потом неожиданно для них самих обнялись, похлопали друг друга по спинам.

— Ну что,— сказал Эдвардс,— сильно пахнет порохом?

— Очень,— ответил Санчес.

— Я знаю... Меня восхищает ваше спокойствие в создавшейся ситуации... Я читал, что вас обвиняют в бесхребетности, в неумении и нежелании стукнуть кулаком по столу, но я считаю вашу линию единственно правильной... Прежде чем задать ряд вопросов, связанных с экономическими проблемами, я хотел бы выяснить главный... В случае, если ваш энергопроект окажется заблокированным — финансы, таким образом, полетят к чертовой матери, возникнет кризисная ситуация,— вы намерены пустить сюда кубинцев или русских в обмен на их экономическую поддержку?

— Если мы очутимся в безвыходном положении и все откажут нам в помощи, мы вынуждены будем принять помощь марсиан, не то что кубинцев.

— Полковник, я имею в виду их военное присутствие.

— С правыми ультра, обстреливающими нас из сельвы, мы справимся, народ ненавидит их... Но с американским флотом тягаться нам не под силу.

— Я пока не имею данных о такого рода выходе из кризиса. А вы?

— Мы помним Гватемалу и Санто-Доминго.

— Как это говорил Маркс?— Сенатор нахмурился, память у него была завидная.— История повторяется дважды: один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса.

— Жизнь вносит коррективы,— заметил Санчес.— Сначала была трагедия в Гватемале, потом в Доминиканской Республике; не фарс, еще более страшная резня... А после Чили... А потом Уругвай...

— Как правило, Белый дом оказывался втянутым в с и т у а ц и ю...

— Кто же говорит в таком случае «а»?

— Те, кто заинтересован в кризисе. Те из наших крупных финансистов, кому вы и Грацио наступили на мозоль... А бедной администрации ничего не остается делать, как покрывать случившееся.

— У нас есть основания предполагать, что Белый дом уже давно готов п о к р ы т ь то, что готовится в Гаривасе,— усмехнулся Санчес.

— Основания?— Эдвардс недовольно поморщился.— Мы люди одной профессии, полковник... Дайте мне факты, и я обещаю вам начать драку, когда вернусь в Вашингтон.

— Хорошо, фактов нет, но я могу заверить вас, что правительство пока что не обсуждало возможность заключения военного союза ни с Гаваной, ни с Москвой. Я готов заверить вас, сенатор, что мы не пойдем на то, чтобы благословить военное присутствие тех, кто гарантирует Гаривас от интервенции с севера, до самого последнего момента. Если же мы получим заверения вашего правительства о том, что нам будет оказана помощь в реализации энергопроекта, то кризис, очевидно, будет погашен.

— Тут дело не в правительстве, полковник... Ваши люди испробовали все возможности на Уолл-стрите?

— Насколько мне известно, да.

— Не убежден. В конечном счете далеко не все наши бизнесмены з а в я з а н ы на военно-промышленный комплекс... Большинство действует именно в мирных отраслях экономики.

— Сенатор, мы готовы пробовать еще и еще раз, но, согласитесь, терпение — не мое, я умею терпеть, но моих коллег, которые выражают мнение большинства нации, — отнюдь не безгранично. Согласитесь и с тем, что вопрос престижа в нашем испаноговорящем мире имеет особый, обескоженный, что ли, характер... У меня создается впечатление, что Вашингтон намеренно подталкивает нас к повороту на восток, чтобы иметь развязанные руки. Не находите?

— С точки зрения формальной логики, не могу не согласиться с вами, но я требую фактов... Я готов оказать вам посильное содействие в контактах с Японией, это был бы оптимальный, полагаю, вариант выхода из сложившейся ситуации...

— А почему не Бонн?

Эдвардс вздохнул.

— Какая разница, Италия или Федеративная Республика? И та и другая в Европе... Я согласен с вами: гибель Грацио была слишком угодна вашим противникам, чтобы считать это самоубийством... У нас довольно сильны сейчас те группы, которые весьма ревниво относятся к «западноевропейской тенденции» экономической модели... Впрочем, политической тоже — в первую голову я имею в виду контакты Европы с Кремлем... Бонн вряд ли займет открытую позицию в нынешних условиях. Они будут ждать. Токио может решиться на то, чтобы сразу же войти в ваш энергопроект...

— Мы были бы глубоко вам признательны, сенатор, если бы вы оказали нам содействие...

— Я приложу все силы. Вы даете мне возможность выступить в Вашингтоне перед прессой и сказать о вашей позиции по поводу вероятного присутствия русских и кубинцев?

— Бесспорно...

— Хорошо... И вот что, полковник... Наши сообщения о разобщенности в вашем правительстве соответствуют действительности?

Санчес достал сигареты, протянул сенатору, закурил сам, ответил нехотя:

— Я бы считал недостойным ни себя, ни вас лгать... Поэтому отвечу вашим же вопросом: у вас есть факты?

— Нет.

Санчес пригласил сенатора к столу. Ужин был скромным, на американский манер — два куска мяса, много овощей, вино.

Именно здесь, поливая острым соусом салат, огурцы и помидоры, Санчес и спросил:

— А как вам кажется, тем у вас, кому не нравится эксперимент, проводимый в Гаривасе, угоден разброд в правительстве?

— Конечно,— ответил Эдвардс.— Салат чертовски вкусен, назовите мне этот соус, дома будут счастливы, если я смогу привезти две или три банки.

— Считайте, что я подарил вам эти три банки.

— Спасибо,— Эдвардс поднял бокал и сказал:— Я желаю вам успеха в ваших начинаниях, полковник. Я отношусь к вам с откровенной симпатией... Мне импо-

нирует ваша сдержанность, и я буду говорить в Вашингтоне о том, что неразумно провоцировать ситуацию, именно так, провоцировать, обещаю вам это. Но не торопитесь, используйте все, чтобы заручиться поддержкой нашего бизнеса. Если вы повернетесь к Москве, мне станет трудно защищать вас и впредь... Я обещаю вам также использовать свое влияние на администрацию, чтобы удержать наши горячие головы от неразумной активности...

Президент, выслушав сенатора Эдвардса, когда тот назавтра возвратился в Вашингтон, заметил:

— А не кажется ли вам, что все, что происходит в этой несчастной стране, есть следствие интриг противников наших с ними добрых отношений?

— Я допускаю такую вероятность.

— Не мы, не американская пресса, но Кремль нагнетает кризисные настроения...

— Я не располагаю фактами такого рода, господин президент. Я располагаю иными фактами: в целом ряде наших изданий Санчеса прямо обвиняют в антиамериканской активности, тогда как это не соответствует действительности. Он заверил меня, что вопрос о военном присутствии русских и кубинцев не стоит на повестке дня, он сказал, что больше всего надеется на нашу помощь, но все его попытки договориться наталкиваются на сдержанную стену непонимания... Я мягко выразился, господин президент, я отношу себя к числу тех, кто чтит корректность в политике...

— Благодарю вас, сенатор, за то, что вы побывали в Гаривасе. Ваша информация носит исключительный характер. Я немедленно поручу моим коллегам еще раз самым тщательным образом изучить наши возможности нормализовать положение в Гаривасе...

— Положение там вполне нормальное.

— Вы пробыли там одну ночь, сенатор,— заметил президент,— а ночь не та пора, когда все можно увидеть... Я бы рекомендовал вам найти время для директора адвокатской фирмы Роберта Корра, ему поручено следить за ситуацией в Гаривасе, соотнося ее с тем, что творится на ведущих биржах мира... Думаю, ваша информация поможет ему выполнить возложенную на него миссию...

— Я это сделаю непременно, господин президент, но, со своей стороны, хочу спросить вас: а нет ли смысла предложить кому-либо из ваших помощников выступить и успокоить общественность по поводу «гаривасских страхов»? Это было бы высоко оценено Санчесом и его коллегами.

Президент кивнул, улыбнувшись чему-то, и поинтересовался:

— Всеми? Или только определенной их частью?

37

17.10.83 (20 часов 11 минут)

Вернье поговорил с Фрэнком По, который разыскал его по телефону; решил было, что встречу с русским Степановым недурно бы уравновесить беседой с американцем, это угодно нынешней европейской концепции, а потом снова посмотрел на лист бумаги, лежавший на полированном холоде стола, письмо Гансу; он перечеркивал его уже столько раз; всего нельзя писать мальчику о наших отношениях с его матерью, все-таки ему еще только двадцать два, да и вообще нельзя всего открывать детям, хотя, с другой стороны, Элизабет открывала сыну все с самого детства, правды было там мало, одни эмоции, впрочем, кто доказал, что правда не эмоциональна?

— Знаете, мистер По, я сейчас очень круто занят... Сколько времени вы пробудете в Париже?

— Да я здесь живу постоянно! Аккредитован здесь! Я-то готов ждать, но не знаю, будет ли дожидаться развитие ситуации в Гаривасе! Там пахнет жареным, мои соплеменники готовят им хорошую баню, не считаете?

— Дайте-ка мне ваш номер... Сейчас запишу, погодите... Но лучше позвоните мне сами через пару дней в это же время... Я пока не читал ваших публикаций, подошлите что-нибудь, иначе я плохо чувствую собеседника...

— Отправлю сегодня же, мистер Вернье, а еще пошлю и те журналы, которые создавал вместе с моими германскими и испанскими друзьями, только они чересчур левые, вы уж не взыщите, может, по молодости лет...

Вернье явственно увидел лицо Мари, круглые глаза

Ганса, милые мои леваки, как же мне ужасно жить без вас, почему вы не приняли мою подругу, добрую Гала, как безумно и непонятно все происшедшее...

— Хорошо,— оборвал он разговор,— присылайте и звоните, сейчас я занят...

Он скомкал листок, лежавший перед ним, бросил в корзину под столом, начал писать наново.

«Дорогой Ганси!

Никогда мне не было так трудно как сейчас, никогда. Ты написал мне, повторив, видимо, во всем Мари: «Или Гала, или я. До тех пор пока вы вместе, я не стану с тобой видеться и не приеду к тебе в Париж ни за что и ни при каких условиях». Замечу, кстати, что ты, исповедующий свободу и честность, то есть право человека на выбор, стоящий на левых позициях, то есть на позиции человеческой свободы, грешишь в такого рода постановке вопроса против самого себя; что-то не сходится в твоей гражданской логике. Свобода — это в первую очередь уважительное отношение к поступку и мысли другого человека, желание понять мотив, смысл, цель деяния или слова, им произнесенного.

Помню, однажды мы ездили в Гренобль кататься на лыжах и ты сказал о женщине, которая жила рядом с нами в номере и показывала тебе, как надо исполнять поворот с подскоком на особо крутых склонах: «Па, вот какая тебе нужна подруга». Я тогда подумал: слава богу, он понимает, что мне нужна подруга, которая была бы всегда рядом; те пятнадцать лет после того, как мы расстались с мамой, я посвятил вам и работе, а здоровье не вечно, кто-то должен помогать жить... Или доживать, пожалуй, точнее... Ладно, это мои заботы... Просто ты тогда не знал того, что знал я: та женщина очень хотела быть подле меня, но я-то видел, что она мечтает о семье (а я это слово стал ненавидеть из-за наших домашних неурядиц, оно стало казаться мне кабальным, ассоциируется со словами «ревность», «скандал», «собственность», «неприятие», «авторитарность»), о ребенке (а я

знаю, что в мире существуют только два ребенка — ты и Мари, другие просто невозможны, да и потом в моем возрасте как-то неловко выглядеть смешным); в ее представлении содружество мужчины и женщины отличают замкнутость и взаимопринадлежность, которые чужды мне, ибо я... Ладно, опять-таки не хочу надоедать тебе исследованием собственной персоны, бог с нею... Давай без гнева и пристрастия восстановим все, что произошло.

И ты, и Мари просили меня знакомить вас с моими подругами; пятнадцать лет я не решался на это; Хелена, которую ты любил — а ты, я заметил, очень любишь иностранок, но хорошо говорящих на нашем с тобою берлинском диалекте,— не была, как тебе казалось, моей подружкой; она была мне другом, да и продолжает оставаться им и поныне, приезжает ко мне в Париж, останавливается в комнате, которую я (и, понятно, Гала) называют т в о е й; иногда Гала стелет ей в библиотеке, но это значит, что Хелена будет работать всю ночь и, следовательно, станет варить себе кофе, а из твоей комнаты на кухню надо проходить мимо меня, я просыпаюсь от любого шороха, потому что постоянно жду вашего с Мари звонка в дверь... Ладно, и это сантименты... Я человек факта, всегда стремился привить это качество тебе и Мари, если не привил, плохой, значит, воспитатель, проиграл вас, нет мне прощения... Надеюсь, ты понимаешь, что слово «проиграл» не из карточного лексикона... Это более приложимо к Ватерлоо, Дюнкерку или Сталинграду... Я познакомил тебя и Мари с Гала, и сначала Мари ужасно огорчилась, а я обиделся на это, и она почувствовала, позвонила мне в отель (парижская квартира еще не была закончена) в шесть утра, нет, шести еще не было, и сказала своим нежным хрипловатым прекрасным голоском, что все хорошо, что я не должен обращать внимание на ее настроение и что мы встретимся вчетвером — ты, она, Гала и я,— попьем кофе и поговорим о том, как вместе съез-

дим на море на неделю, она так мечтает научиться кататься на водных лыжах... Но, сказала Мари, я поговорю с мамой, если она будет против, я не поеду, не сердись... Я очень ждал этого разговора, и мама сказала, что в ней уже все перегорело и ей плевать на моих шлюх (естественно, ни одна приличная женщина не может быть близка мне), и это дало вам право, никак ее не обижая, поехать на море. Вы полетели в Ниццу первыми, я должен был подписать три контракта, поэтому прилетел назавтра. Весь день перед вылетом Гала носилась по городу в поисках сувениров для вас, и это было честно, ничего показного; когда мы прилетели и она вам эти сувениры отдала, Мари улыбнулась. «Знаешь, Гала относится к числу редкостных людей, которым постоянно хочется сделать кому-либо подарок, я такое испытываю далеко не ко всем». Было зарезервировано два номера в Сен-Поль, один большой и один маленький. Я сказал, прилетев, что, мол, давайте переселяйтесь ко мне, станем жить табором, втроем, как всегда, а у Гала будет своя комната, через дверь от нашей. Мари ответила, что вы прекрасно устроились вдвоем, не надо переселений, пошли лучше ужинать, а потом плясать, и мы плясали вчетвером и говорили о том, как завтра утром спустимся вниз, на пляж, арендуем лодку и начнем учить Мари катанию на водных лыжах. Мы учили Мари кататься, и как же прекрасно она падала в море, теряя равновесие, и как хохотала, и ее смех был слышен на пляже всем, и лица людей от этого делались мягче, потому что наша Мари совершенно особый человек, таких нет больше на свете... Мы тогда здорово нажарились на пляже, загорели, вернулись к себе, у меня сильно трещала голова, и Гала измерила мне давление; сильно подскочило; когда мы вечером пошли в наш ресторанчик и официант спросил, что я буду пить, чай или кофе, Гала ответила: «Месье не будет пить ни чая, ни кофе, он будет пить сок». Наверно, она и не предполагала, что эти ее слова вас так

обидят, ведь она думала о том, чтобы мне не стало хуже, это, я полагаю, можно было простить... Вы не простили, потому что привыкли, что все, всегда и везде я решал сам и никто не может решить за меня ничего и никогда. Но, поверь, я так же все решаю и сейчас, ничего не изменилось.

Я не очень-то обращаю внимание на мелочи, особенно когда погружаюсь в новое исследование, видимо, и тогда не заметил, что вам стало неприятно, когда Гала бросалась к холодильнику, готовя для нас в номере последний ужин... Сердце мое разрывает ее фраза: «Я же хотела как лучше...» Казалось бы, такая простая фраза... Важно, чтобы человек действительно хотел, как бы сделать лучше, наверное, тогда можно простить ф о р м у во имя этой доброй с у т и: «Я же хотела как лучше...» А вы потом сказали, что не желаете быть гостями в моем доме. Разве нельзя было сказать иначе? И не мне, а Гала: «Поучись, как надо накрывать для папы, мы это знаем лучше, мы знаем все, что он любит». Но ведь вы не сделали этого. Почему? А потом на пляже, когда Гала стала на лыжи и сразу же упала в море, вы отрубили: «Мы никогда не приедем к тебе в Париж, в квартиру, которую ты строишь, если рядом с тобою будет Гала».— «Почему?» — «Это все, что мы тебе можем сказать...» Я пишу это письмо восьмой уже раз, вижу, что и этот вариант никуда не годится, потому что я не писатель и не художник, я лишен дара слова... Что могло подвигнуть вас на такую бескомпромиссность? Что?! Да, Гала — человек самосделанный, у нее не было тех возможностей, какие были у вас, путешествовать, как вы со мной, встречать разных людей, иметь под боком мою библиотеку; да, она лишена дара писать, как Мари, и блистательно рецензировать работы по археологии, как это умеешь делать ты, Ганс, но она умеет быть доброй и заботливой подружкой, которая помогает мне жить и работать, не требуя ничего взамен, а в наш скоростной и жестокий век

это редкостный дар, поверь мне, сын... Сначала я подумал, что на тебя повлияли мамины черномагические старухи, такой неожиданный слом настроений — то было все прекрасно, а то вдруг жесткий ультиматум... Потом, когда ты попросил перевести на тебя мою берлинскую квартиру, когда сказал, чтобы я понаблюдал, какой будет реакция на это Гала, мне сделалось до боли обидно: неужели ты рассматриваешь отца не как человека, к которому женщина может относиться с симпатией и дружественностью, но лишь как преуспевающего профессора экономики, подвизающегося в хорошо оплачиваемых изданиях? Старый, толстый, безвольный сластолюбец, объект отлова модными хищницами? Хотя, возразил я себе, может быть, все дети считают своих родителей стариками, не имеющими права на личную жизнь?

Мне стыдно напоминать тебе, но я должен это сделать, Ганс... Прости... Я до сих пор слышу и вижу голос и лицо твоей первой подружки из Гамбурга. Я помню все наши разговоры с тобой про то, что эта девушка — или больной, или очень дурной, хищный человек... Я считал (да и продолжаю считать), что нельзя никому ничего категорически запрещать, любой ультиматум — проявление честолюбивого властвования, даже если в подоплеке ультиматума любовь; кстати говоря, чаще всего и бывает так. Я не запрещал тебе ничего и никогда, я ждал, пока наконец ты не понял, кто есть кто... А чего мне все это стоило, помнишь? Или твой первый брак? Брррр, какое ужасное слово, ненавижу... Помнишь, как я просил тебя подождать, как доказывал преждевременность этого шага, и ты вроде бы соглашался, но потом заехал ко мне и сказал: «Папа, я завтра женюсь». И все. Как отрезал... Ты же знал, что я не выдвину ультиматум, ты же знал, что я не брошу тебя, не скажу: либо я, либо твоя подруга... Ты это знал... И я был с тобою, я забросил работу над книгой, пригласил тебя и твою Ингеборг поехать на север, в дюны, и там тебе наконец

стало страшно, потому что ты убедился в моей правоте, и я принял на себя весь ужас твоего расставания с женщиной, которую ты столь сурово и наперекор мне назвал своею женой... Если ты убежден, что Гала не просто добра ко мне, что ее интересую не я, Вернье, а мой новый парижский дом, почему же вы с Мари так легко бросили меня и отдали на «поживу»?! А если бы вы убедились в своей неправоте, приехав ко мне сюда? Что тогда? Или, помнишь, ты приехал ко мне и сказал, что профессор Видек — негодяй и мерзавец, не дает тебе работать над той темой, которую ты выбрал, а я-то знал, я-то помнил, как он рассказывал мне, за что любит тебя, как гордится тобою... Эта горестная разность — твоя неприязнь к нему, слепая и необоснованная, и мое з н а н и е отношения к тебе доброго старого Видеке — терзала мое сердце, не давала работать, я мучительно думал, как переубедить тебя, доказать твою неправоту, но ты был неумолим к бедному Видеке, как и ко мне сейчас... И лишь год спустя ты сказал, защитив у Видеке свою работу по раскопкам в Азии, что он замечательный старик и что ты был не прав... Но ведь на это ушел год... Ты не поверил мне, ты хотел сам дойти до правды. Что ж, желание понять правду — прекрасное и высокое желание, но тогда не надо выводить как примат свое право на то, чтобы сначала думать о человеке плохо, а потом год идти к тому, чтобы эту точку зрения изменить. Надо бы наоборот, Ганс. Всегда начинай с того, что человек отменно хорош, все люди рождены на свет, чтобы делать добро, жизнь их ломает, если они слабы, корректирует, если умны и честно говорят себе о собственных недостатках.

Конечно, я могу расстаться с Гала, она добрая и умная подружка, я могу с ней говорить обо всем без утайки, да она и сама все видит, понимает мое состояние и бежит ко мне в кабинет, когда в библиотеке звонит междугородный телефон: «Может, это дети, скорей!» Она

знает, что вы не хотите говорить с нею, и очень боится, как бы я не пропустил ваш звонок. Я могу снова остаться один — смешно требовать от Мари или тебя, чтобы вы поселились навсегда со мною в Париже и мерили мне давление, готовили еду, делали массаж, перестилали кровать, переносили правку в мои рукописи, ездили по моим поручениям в библиотеки, на биржи, в досье банков... Ты хочешь этого? Ты берешься поставить крест на своей жизни? Посвятить ее мне? Конечно, нет. Как же тогда быть? Или все случившееся — детский эгоизм? Но ведь эгоизм — прагматическое понятие, оно включает в себя ясное осознание того, что я скоро уйду, и вы останетесь одни, и некому будет брать на себя твои горести с Ингеборг и с той вздорной девушкой из Гамбурга, и никто не сможет удержать тебя от разрыва с добрым стариком Видеке, и никто не сможет заряжать тебя на новую работу, спасать от метаний, неуверенности в себе, убеждать в том, что ты призван в этот мир — как, впрочем, и каждый,— чтобы сказать свое единственное, неповторимое слово... Помнишь, я взял тебя в редакцию, мне хотелось, чтобы ты уже в юности прикоснулся к делу, и познакомил с моим другом, добрым и шумным Клобером? Помнишь? Он отчего-то не понравился тебе, и ты, клоп, не посчитал нужным скрывать свою к нему неприязнь, а он так старался заинтересовать тебя, так заботливо водил по редакции, так весело знакомил тебя с коллегами... Но он тебе отчего-то не понравился, и ты смотрел на него презрительно, и мне было ужасно обидно за Клобера и страшно за тебя: как же ты сможешь жить с таким характером, хороший мой, умный Ганси?! А потом ты прочитал книгу Клобера о его путешествии в Чили и сказал, что он замечательный журналист и что тебе очень хочется сходить к нему еще раз... Я отвел тебя, как же иначе, ты ведь мой любимый маленький сын, кровь моя, все тебе прощал и прощу, защищу ото всех, помогу всем, чем могу, но, если я уй-

ду раньше срока, кто станет охранять тебя, мальчик?!»

«Получается,— подумал Вернье, отложив ручку,— что я угрожаю ему... Это ужасно... И я не имею права писать ему про то, что его мать любит другого, а до этого другого любила другого и хранила его слащавые пустые письма в своем портмоне вместе с портретами детей, я, видно, впервые в жизни позволил себе уподобиться ей, Элизабет, открыл ее портмоне дрожащими руками и увидел там эти письма вместе с фотографиями Мари и Ганса. Но я это сделал потому, что она вскрывала все мои письма, особенно если в графе обратного адреса стояла женская фамилия... Я не имею права писать им про то, что их мать полюбила другого, когда я был в Санто-Доминго, где шла война, если написать это, я порву им сердца, разве нет? Я не смею писать им, что она прощала своему другу все, абсолютно все то, что никогда мне не простилось бы... Я не могу писать им про то, как их мать водит своего любовника в дом к их деду и они там скорбят о жизни, а потом веселятся и пируют, пока мы с вами путешествуем. Хотя, конечно, она вдолбила им, что в ее любовных связях виноват тоже я, во всем кругом виноват я, такая уж у меня планида — быть виноватым! Почему все кругом так странно и горько устроено, все как-то с д е л а н н о, а потому неразумно! Ведь я мог бы — а дети сами подвигают меня к тому — утаивать свою дружбу с Гала, расставаться с нею на тот месяц, когда они приезжают ко мне, но неужели же ложь угодна даже самым близким? А может, на них давит Элизабет с ее сонмом старух, спящих на подушках, набитых книжками по черной магии и ворожбе?! Я боюсь за Ганса порой, его настроения меняются как у девушки: то говорит одно, а через день совсем другое. А ты?— сказал себе Вернье.— Разве ты не такой же? Человеческая модель одинакова, модификации разные, и как много от этого зависит в мире, если не все... Да, я не должен отправлять ему это письмо, потому что оно нечестно, ибо в нем нельзя написать всего, что надо... И про то, что нельзя дозволять говорить при вас гнусности об отце, и про то, что нельзя думать гадко про других, считая, что их поступки рождены только материальным интересом, а никак не чувством... Я не могу корить Ганса тем, как он жил все

эти годы; я принимал на себя удары, я терпел характер Элизабет, только бы ему и Мари жилось спокойно, только бы они не узнали того, что узнал я в детстве,— нищету, ужас, неуверенность в завтрашнем дне... Да, у меня много интересных друзей, и дети хотят, чтобы все, кто появляется возле меня, были равны им по интеллекту, знанию, обостренным чувствованиям, но ведь это невозможно! Слово «равенство» придумано для добрых идеалистов; для прагматиков существует иное слово — «жизнь», оно страшнее, ибо предполагает неравенство... Отчего Пауль ушел от Маргарет и женился на Лоте, а его дети приезжают к нему в горы и живут весело и смешливо все время своих каникул?! Почему так много моих друзей развелись с женами, но остались с ними друзьями и дети не казнят их этим расставанием?! Почему? Потому что ты сам во всем виноват,— сказал себе Вернье,— потому что ты... А что я?— споткнулся он.— Почему и в этом виноват я? Чем я виноват, в конце концов?! Я даже с их матерью не разведен, хотя она любит другого все эти пятнадцать лет и гордится им, и преклоняется перед его даром... Даром... Вот именно, а ты консервативный профессор, который умел т е р п е т ь, ну и сейчас терпи, а порвется сердце — даже лучше, может выйти замуж, главное, чтобы во всем был соблюден порядок. Ах, боже, родиться бы мне актером или живописцем, дал бы мне всевышний дар выразить себя в музыке или камне, тогда, может быть, и мне разрешили бы право на чувство, на желание хоть когда-то стать самим собою... Не разрешили бы, не простили,— усмехнулся Вернье,— потому что люди всегда трагически путают два понятия: мягкость и безволие... Они думают, что если человек мягок, значит, он безволен, боже, как это глупо! Ничего не глупо! Раз такое мнение существует, значит, оно разумно, а вот если бы ты умел ощериваться... Стоп, а разве я не умею ощериваться? Еще как умею, только я это умею с теми, кого не люблю... Нет,— сказал себе Вернье,— ты и на тех не умеешь ощериваться, ибо человек, который умеет ощериваться, никогда в этом не признается, считая себя в глубине души самым добрым, беззащитным и ранимым... И потом, ты беспороден, в тебе нет столь любезной авторитарным натурам, а таких большинство, непререкаемости, аристократизма, равнодушия, вальяжности... Ты слишком

горячишься, когда споришь, слишком давишь, если убежден в своей правоте, слишком яришься, если видишь несправедливость... А это в наше время дурно... Надо уметь посмеиваться, тогда будут уважительно говорить: «Человек с железной выдержкой...» И потом, ты консерватор, сторонник удержания существующего баланса, а это тоже не модно, сейчас надо быть левым ниспровергателем, либо тем, кто держит дома портрет Гитлера. Этого твоего консерватизма тебе тоже не прощают, считая его приспособленчеством... Нет,— твердо решил Вернье,— я не стану переписывать письмо Гансу в который раз, все равно не смогу его написать, лучше сяду за работу, которая поможет Мари, она скажет об этом Гансу, если, конечно, я смогу ей помочь, и Ганс тогда позвонит вечером и назовет номер поезда, на котором он выезжает ко мне, мальчик терпеть не может самолетов, в нем много созерцательности, и это прекрасно, такой видит больше, поезд — это чувство, а ничто так хорошо не входит в душу, как понятое чувством... Я поеду на вокзал — черт, теперь мне уже никогда не научиться водить машину, тем более с моим брюхом, я и на заднее-то сиденье с трудом влезаю — и встречу его, и прижму к себе, и вспомню те годы, когда он был маленьким и отталкивал меня, когда я хотел обнять его, он ведь так любит мать, но сейчас он не оттолкнет меня, хотя и не обнимет, потому что не терпит внешних проявлений любви... А какие, кроме внешних, есть у нее проявления?— подумал Вернье, вставая из-за стола.— Внутренние проявления настолько сложны и таинственны, что понять их не дано никому, даже порою самому себе, потому что ты ведь помнишь слова Ганса, который сказал: «Все равно, папа, вы расстанетесь с Гала; она моложе тебя на двадцать лет и мечтает о другом... Увлечение никогда не бывает длительным». Ты всегда помнишь эти его слова и часто думаешь над ними, разве нет, Вернье?»

Он хотел было порвать письмо, но потом сложил листки, сунул их в стол и, сняв трубку телефона, набрал номер Фрэнка По; в голосе этого парня, в его манере говорить было что-то от Ганса; даже сердце защемило, когда снова подумал о сыне, увидел его большие добрые голубые глаза, ощутил, какие у него мягкие белые

волосы, какой прекрасный выпуклый лоб, какой смешной нос с площадочкой на самом конце, «аэродромчик», называл его Вернье, услышал его раскатистый смех... Детство принадлежит родителям, всего лишь детство, короткие, как миг, пятнадцать лет, потом наступает новое качество отцовского бытия, и никто не волен изменить это, никто, нигде и никогда, а уж тем более сам ты...

— Алло, слушаю...

— Это Вернье, могу я говорить с мистером...

— О, это я, Фрэнк! Сижу и вырезаю свои публикации — сплошная преснятина, даже стыдно посылать такому мэтру, как вы!

— Ну и не посылайте... Вы где живете?

— На Рю Лемуан, а что?

— Да ничего, просто я сейчас иду гулять и мог бы с вами увидеться где-нибудь в кафе... Угощу вас похлебкой и стаканом пива...

— Вы так добры, мистер Вернье, скажите, куда подойти, мне стыдно приглашать вас в мой бедлам, назовите адрес, я бегу!

38

17.10.83 (21 час 27 минут)

Сообщение из Пресс-центра о том, что в Торремолинос, на вилле «Каса нуэва» в кровати были обнаружены тела Анжелики фон Варецки, вдовы Леопольдо Грацио, и смотрителя дома Эрнесто Суретти, доставили Шору поздним вечером.

Он закурил, потер лоб пальцами, потом снял трубку, позвонил в полицию Малаги и сказал, глухо покашливая:

— Пожалуйста, пришлите мне подробный отчет о вскрытии, их же отравили, и пусть тщательно исследуют отпечатки пальцев, хотя я, увы, убежден, что их притащили в кровать, надев предварительно резиновые перчатки.

Он выслушал учтивый ответ испанского комиссара, который говорил на плохом французском, и закончил:

— Я дам свидетельское показание о том, что их убили, поскольку был последним, кто говорил с Анжели-

кой фон Варецки, у меня есть данные, чтобы утверждать это, коллега...

— В таком случае вы подробно расскажете нам, о чем шла беседа с сеньорой фон Варецки-Грацио, не так ли, господин Шор?

— Нет, не так. Я не стану давать вам никаких показаний до той поры, пока не закрою дело, которое веду, а вы прекрасно знаете, какое я веду дело.

39

Ретроспектива VI (месяц тому назад, лето 83-го)

«П р е м ь е р С а н ч е с. Граждане министры, я позволю себе суммарно изложить ту краткую программу действий, которую намерен — если вы ее одобрите — вынести на обсуждение нации. Я не стал раздавать текст, полагая, что будет много корректив, пожалуй, целесообразнее размножить более или менее единый вариант... Нет возражений?

М и н и с т р ф и н а н с о в. Ты намерен предложить к обсуждению статистические таблицы? Будут цифры?

П р е м ь е р С а н ч е с. Нет, только общий абрис.

Д и р е к т о р Н а ц и о н а л ь н о г о б а н к а. Тогда, пожалуй, можно и без текста.

П р е м ь е р С а н ч е с. Спасибо... Итак, я исхожу из той данности, что диктатура настолько искалечила людей, что нам следует в первую голову определить экономическую доктрину, ибо лишь она гарантирует надежное и относительно быстрое л е ч е н и е нации. Те аморфность, праздность и леность, которые и поныне видны повсеместно, декретом, как это стало всем нам ясно, не излечишь, нужны такие стимулы, какие побудят людей к деятельности, инициативе, ответственности, предпринимательству, смелости. Полагал бы разумным — после того, как министерство финансов еще раз просчитает все резервы платежного баланса, если вы согласитесь с моим предложением,— объявить немедленное повышение заработной платы рабочим и пеонам не менее чем на сто процентов...

М и н и с т р э н е р г е т и к и и п л а н и р о в а н и я П р а д о. Это утопия, Мигель!

Премьер Санчес. Позволь мне закончить, потом ты аргументированно возразишь... Я не договорил: немедленное повышение заработной платы на сто процентов при условии, что лентяи и демагоги подлежат увольнению, понятно, при согласовании каждого конкретного случая с профсоюзами и рабочим контролем на плантациях, фабриках, в отелях и мастерских... Ждать истинного творчества от людей, которые получают в месяц лишь столько, чтобы не умереть с голода, вот что такое утопия. Да, только производительность труда, ее эффективность сможет вывести нас из болота. Да, я отдаю себе отчет в том, что повышение заработной платы вызовет общую радость, но жесткое требование отдачи всех сил понравится далеко не каждому: многие крикуны, примкнувшие к нам в первые дни, представляют себе революцию немедленной панацеей от нищеты. Это химера! Революция обязана гарантировать труд, требовать продуктивный труд, щедро вознаграждать за честный труд и жестоко карать бездельников, только тогда придет национальное оздоровление. Я считаю целесообразным вынести на обсуждение законопроект, по которому рабочие и пеоны станут получать определенный процент от реализации произведенного ими продукта; чем выше прибыль предприятия, тем больше денег мы платим всем, занятым в той или иной отрасли... Раздаются голоса о создании сельских кооперативов в тех районах, где мы производим какао-бобы. Это разумные голоса, но важно, чтобы хорошее дело не обернулось во благо митингующих лентяев, против рачительных хозяев. Нам нужно сразу же оговорить принцип: если я, Мигель Санчес, вхожу в кооператив со своим гектаром плантаций, десятком свиней, полсотней кур, а Пепе Суарес имеет всего полгектара и трех свиней, то при распределении дохода я, Санчес, должен получить десять процентов от прибыли, а Пепе лишь два. Необходимо доказать Пепе Суаресу, что эти два процента будут, по меньшей мере, в несколько раз больше нынешних его ста процентов. Но мы встретим стену непонимания, если сразу же, немедленно, с завтрашнего дня не бросим в деревню студентов,— что поймет грамотный человек, то отвергнет тот, кто живет под давним гнетом привычек, въевшихся в сознание. И если мы в данном деле можем надеяться на помощь сту-

денчества, то вопрос о здравоохранении я бы выделил в особую тему. Мы пока не вправе пойти на то, чтобы медицина, как образование, стала бесплатной... Мы еще слишком бедны, а врачи получали большие деньги при диктатуре. Мы должны сохранить их заработную плату, и правительству придется взять на себя дотацию: примерно семьдесят процентов за визит к врачу оплачивать будем мы, это даст экономию каждой семье, не очень большую, но все-таки. Мы не имеем права превратить медицину в фикцию; за гроши доктора работать не станут; мы можем толкнуть их на путь подпольной практики, коррупции, взяточничества. Когда профсоюзы окрепнут, когда прибыли отраслей промышленности сделают их финансово самостоятельными, они смогут взять на себя все бремя бесплатного медицинского обслуживания; мы, правительство, не в силах сейчас пойти на это. Мы должны далее честно сказать о том, что увеличиваем налоги на тех, кто работает в сфере сервиса, приняв какую-то часть затрат в этой крайне важной отрасли, гаранте стабильности, на себя; придется поставлять предпринимателям в рассрочку соковыжималки, мини-трактора, кофейные агрегаты для баров, мебель, которой станут обставлять квартиры-пансионаты, стиральные и швейные машины... Мы должны пойти на то, чтобы снизить арендную плату за подвалы и чердаки тех домов, которые принадлежат муниципалитетам,— пусть там открывают ателье, кафе, бары, прачечные. Мы должны объяснить мелким предпринимателям, что повышение налогов необходимо для того, чтобы строить дороги, вокзалы, аэродромы, клиники, пляжи, школы, дома для престарелых... Мы должны открыто сказать, что у нас сейчас нет возможности увеличить заработную плату служащим таких министерств, как сельского строительства и лесного хозяйства, энергетики и продовольствия, но мы идем на то, чтобы отчислять этим коллективам процент с годовой прибыли отрасли; это намертво свяжет чиновников с каждодневной практикой; не переписывание бумаг, но живое дело; умеешь проявить себя, инициативен, смел, предприимчив — получай деньги, они заслужены, это не нанесет ущерба бюджету, не вызовет инфляции, заработок подтвержден товаром, который можно приобрести в магазинах... Я бы не побоялся вынести на

всенародное обсуждение вопрос о концессиях... В пограничные области, не связанные с центром шоссе и железными дорогами, можно и нужно приглашать тех, кто поднимет эти земли — под нашим контролем, естественно, лишь на определенный период и, понятно, с нашим участием. Я бы решился сказать народу, что мы готовы субсидировать тех крестьян, которые живут на побережье, чтобы они расширяли свои дома для ускорения притока туристов: шестьдесят процентов валюты отчисляют государству, сорок берут себе. Туризм дает Испании чуть ли не четверть бюджетных поступлений, туризм организует все районы страны в нерасторжимую общность, это индустрия будущего... Лишь после того как программа будет одобрена и войдет в повседневную практику, мы приблизимся к следующему этапу: к изучению науки парламентской демократии, к свободным выборам, к переходу власти в руки депутатов, формирующих правительство... Вот, собственно, вчерне набросок обращения к народу... Я готов ответить на ваши вопросы, граждане министры...

Директор Национального банка. У нас нет денег на дотации мелким предпринимателям, Мигель, у нас нет денег на то, чтобы взять на себя семьдесят процентов оплаты за визит к врачу...

Министр обороны Лопес. Мигель, я думаю, тебе следовало бы обратиться к армии: если ты честно объяснишь невозможность прибавки к жалованию офицерам, тебя, полагаю, поймут патриоты. Не сказать этого нашим товарищам по борьбе с диктатурой я считаю неправильным и недостойным тебя.

Адъютант премьера по ВМС капитан Родригес. Санчес должен особенно четко разъяснить ситуацию морякам, на плечи которых сейчас возложена наиболее трудная задача по охране наших границ... Именно там мы испытываем наибольшие трудности, именно по воде правые ультра получают военную помощь от потенциальных агрессоров.

Министр финансов. Я не готов к детальному обсуждению. Прости меня, Мигель... Я должен сесть за компьютер и как следует посчитать. Бюджет в ужасном положении, граждане, мы штопаем его из последних сил... Если республика не получит обещанного Леопольдо Грацио займа, мы станем банкротами. И это

вопрос не отдаленного будущего, это дело недель, от силы месяцев... Я понимаю, как это неприятно слушать, но я сказал правду...

Премьер Санчес. Мы получим заем через две недели. Я только что получил шифротелеграмму от Грацио, он сообщил, что все детали отрегулированы, его поддержали «Креди де Женев» и «Дрезденер банк».

Министр общественной безопасности. Именно этого страшатся наши противники, Мигель... Если они узнают точную дату возможного соглашения, можно ждать усиления вооруженной борьбы против нас на севере. Не исключена попытка путча в столице; мы пока что держим под контролем две наиболее серьезные подпольные группы, но их активность растет угрожающе.

Министр финансов. Пора пресечь эту деятельность... Ждать неразумно.

Министр общественной безопасности. Преждевременный удар — до той поры, пока мы не узнаем всех участников, — не спасет положения.

Министр обороны Лопес. Армия готова включиться в твою работу.

Министр общественной безопасности. Я надеюсь на твою помощь, но еще рано, Лопес.

Министр обороны. Как бы не было поздно.

Начальник генерального штаба Диас. Я готов служить неким связующим звеном между силами безопасности и армией.

Министр общественной безопасности. Хорошо, мы обсудим это в рабочем порядке.

Министр энергетики и планирования Прадо. Мигель, понимаешь... Я опасаюсь, что нас после твоего выступления могут начать травить, как марксистов... Северный сосед ударит во все колокола...

Министр обороны Лопес. Нам незачем оглядываться на янки, Энрике! Мы суверенное государство. Я еще более ужесточил бы ряд аспектов правительственной программы и, может быть, коснулся вопроса о национализации тех земель, которые были захвачены янки...

Директор радио и телевидения. Я, наверное, сейчас буду выглядеть довольно глупо, но я не могу согласиться с проектом Мигеля... Он слишком прагматичен... «Дело, дело, дело...» Это не программа, а погонялка какая-то... Я стану голосовать против... Наши люди только-только получили высший дар — свободу... Они наконец могут открыто и без страха говорить и думать, собираться на митинги...

Премьер Санчес. И треть рабочего времени сотрясают воздух словесами, красиво говорят о свободе и угрозе империализма...

Министр обороны Лопес. Но она же существует...

Премьер Санчес. Да. Но свободу нужно защищать не словом, а делом; время болтовни кончилось... И не вчера, а, по крайней мере, полгода назад... Править — не значит заигрывать; править — значит планировать возможности.

Директор радио и телевидения. Я не перебивал тебя, Мигель.

Премьер Санчес. Прости.

Директор радио и телевидения. Понимаешь, тот престиж у народа, который получило правительство, свергнув кровавую диктатуру и даровав свободу, может оказаться поколебленным... Нам станет трудно работать... Если мы введем те меры, какие ты предлагаешь, нам наверняка припомнят фразу, что, мол, революция — это когда галерка меняется местами с партером, а на сцене продолжается все тот же старый фарс...

Министр здравоохранения. Увы, Мигель, это правда, припомнят.

Директор радио и телевидения. Если кабинет примет проект, мне не останется ничего другого, как уйти в отставку, я не смогу организовать сколько-нибудь действенную пропаганду в поддержку твоему новому курсу, жесткому курсу...

Премьер Санчес. В чем ты видишь его жесткость? В том, что мы будем требовать работы? Хорошо — с полученных прибылей — за нее платить? И карать, да, беспощадно карать всех тех, кто болтает и по три часа дрыхнет после обеда?

Директор радио и телевидения. Мигель, прости, но ты рос в гасиенде и катался, маль-

чишкой еще, на автомобиле... А я рожден в бидонвиле... Я был оборвышем, Мигель, нищим оборвышем... Я помню, как люди, таясь, говорили по ночам... А теперь они получили право говорить днем, громко, без страха...

Премьер Санчес. У них никто не забирает этого права... Но его заберут, силой заберут, если мы превратимся в республику свободных болтунов! Больницы для народа строит сам народ, и школы тоже, и дороги, и отели, и библиотеки... То, что ты говоришь, демагогия!

Министр здравоохранения. Хорошо, а если первым пунктом твоей программы, как предлагает Лопес, мы обозначим немедленную национализацию всех банков, иностранных фирм и компаний? Это будет хорошо принято, под это можно подверстать жесткие пункты программы...

Премьер Санчес. Во-первых, с каких это пор правда стала обозначаться как «жесткость»? Во-вторых, кто сказал, что революция отменяет такое понятие, как «требовательность»? И, в-третьих, ты убежден, что, объявив о национализации, немедленной и безусловной, мы получим заем, без которого нам не сдвинуться с мертвой точки? Заем позволит нам поднять экономику, построить базу независимости, а уж следом за этим мы национализируем банки и земли иностранных фирм. Первым актом правительства было объявление ревизии всех договоров иностранных фирм с нашими пеонами, мы ведь взяли под защиту пеонов; разве нет? Мы положили конец бессовестной эксплуатации; движение только тогда одержит конечную победу, если оно будет постепенным и последовательным... До тех пор пока мы не получим энергии, достаточной для того, чтобы стать цивилизованной страной, всякая ура-революционная фраза на самом деле будет фразой контрреволюционной...

Директор радио и телевидения. И тем не менее я уйду в отставку, Мигель, если ты соберешь голоса и кабинет поддержит тебя...»

Дэйвид Ролл, президент наблюдательного совета «Ролл бэнкинг корпорейшн», кончил читать этот секретный стенографический отчет о заседании правитель-

ства Гариваса, походил по своему маленькому кабинету, что располагался на сорок втором этаже здания, построенного еще его отцом, долго любовался маленькой картиной Шагала, потом вернулся к столу, нажал кнопку селектора и сказал:

— Загляни ко мне...

...Когда пришел его шурин — он любил не столько его, сколько младшую сестру Дези, на которой тот был женат,— Ролл протянул ему текст.

— Ну-ка, определи, кто из этой команды служит мне? Это экзамен на то, как ты готов к своей будущей деятельности...

40

17.10.83 (20 часов 25 минут)

Когда Шор, ответив на большинство вопросов, объявил атаковавшим его журналистам, что он попросил итальянских коллег помочь ему задержать для допроса в качестве свидетеля жителя города Палермо синьора Витторио Фабрини, который работал в течение двух лет телохранителем Леопольдо Грацио, но при этом был связан с Доном Валлоне, подозреваемым в принадлежности к мафии, телефонные линии, связывавшие Пресс-центр в Шенеф с Римом, оказались занятыми.

На все вопросы журналистов в Риме отвечали в высшей мере корректно:

— Мы предложили синьору Витторио Фабрини, местонахождение которого неизвестно, добровольно отдаться в руки властей; мы гарантируем ему честь и достоинство; у нас пока что нет достаточных оснований подозревать этого человека, однако то глубокое уважение, которое мы испытываем к синьору Шору, обязывает нас помочь ему.

41

17.10.83 (21 час 00 минут)

В девять часов вечера Мишель позвонила Бреннеру в кабинет; его телефон не отвечал, секретарь вышла к главному редактору; Бреннер сидел в досье, просматри-

вал документацию, связанную с Грацио; час назад из Шенефа с ним связался Степанов, назвал несколько имен; интересно, есть над чем подумать; увлекся. Когда Бреннер приехал домой в половине одиннадцатого, на столе лежала записка: «Мой любимый! Я ждала тебя, как мы и договорились, до девяти, ибо мы, как и полагается каждой счастливой семье, должны были сегодня поехать на маленькое торжество к Бернару и Мадлен. Если бы ты позвонил или поручил это сделать одной из своих редакционных бабенок, я бы задержалась, извинившись перед нашими друзьями. До свидания. Мишель».

Бреннер пошел на кухню, открыл огромный холодильник; запасов еды могло хватить на месяц, такой емкой была морозильная камера, достал йогурт[1] с земляникой, сливки, два ломтика ветчины, поставил кофе, наскоро перекусил, вернулся в кабинет, набрал номер Бернара, там, понятно, никто не ответил; только безумцы при нынешней дороговизне устраивают вечеринки дома; значительно дешевле посидеть где-нибудь поблизости в небольшом ресторанчике и выпить вина; держать служанку, которая готовит еду и моет посуду, ныне могут только миллионеры.

«Ездить по кабачкам вокруг их дома?— подумал Бреннер.— Искать? А если они рванули в «Куполь»? Или в «Клозери де Лила»? Или куда-нибудь в Латинский квартал? Там сейчас довольно дешевые итальянцы, очень вкусно кормят, вино сказочное, великолепный выбор сыров... Нет, все-таки характер у Мишель чудовищный... Я, конечно, не сахар, но нельзя же так, работаю до кровавого пота, неужели непонятно?! Непонятно,— сказал он себе,— потому что она никогда не работала, не знает, что это такое, как бы я ни пытался ей объяснить. Опыт, да здравствует опыт, только он примиряет человека с миром, а значит, и с теми, кто этот мир населяет...»

Бреннер любил Мишель, и все его случайные, а потому быстротечные связи с женщинами были следствием домашних сцен; первый раз это случилось через одиннадцать месяцев после свадьбы; позвонил Франсуа и сказал, что хотел бы навестить Бреннера; «Знаешь, я бы приехал с моей невестой, с Лолой, мы женимся,

[1] Кефир.

она, оказывается, прекрасно знает Мишель, учились в одном колледже».— «Мишель,— крикнул тогда Бреннер,— к нам едет Франсуа с Лолой, это твоя подруга!»— «Если эта лупоглазая сволочь приедет сюда,— очень спокойно, только закаменев лицом, ответила Мишель,— я уйду из дома». Бреннер зажал трубку ладонью, чтобы разговор не услышал Франсуа. «В чем дело, Мишель? Франсуа на ней женится, я не могу отказать другу, он ведь и тебя любит, как сестру».— «Я сказала,— так же спокойно ответила Мишель,— если он привезет эту девку, которая считала себя самой гениальной в классе и пялила на всех свои голубые блюдца, думая, что она неотразима, я, сказала уже, уйду из дома, можешь их принимать сам». Бреннер шепнул Франсуа: «Давайте, ребята, Мишель ждет вас»,— положил трубку и отправился в спальню ублажать жену. Та одевалась. «Ну что с тобой?— спросил он.— Нельзя же так, родная... Если ты не любишь ее, то не будь жестокой к Франсуа». — «А ты не будь жестоким ко мне».— «Но почему?!— закричал он.— Объясни мне, отчего такое упорство?! Она предала тебя? Увела любимого? Отравила папу?»— «Нет, просто я не могу ее видеть, и все тут. Когда мне можно вернуться домой? Сколько времени ты намерен сюсюкать с ними?»— «Мишель, ну зачем ты так? В конце концов, отнесись к этому визиту как к н у ж н о м у! Франсуа дает мне работу, за которую хорошо платят, на эти деньги я содержу тебя так, как ты к этому привыкла!» — «Не смей меня упрекать!» —«Я не упрекаю, просто пытаюсь тебе объяснить, почему этот визит нельзя отменить!» Мишель вышла в прихожую, накинула плащ; Бреннер снял плащ с нее; сказал, что встретит Франсуа у подъезда; в ярости ходил по улице, ожидая, когда тот подъедет... Франсуа выскочил из машины радостный: «Познакомься, в наш самый счастливый день мы решили приехать к Мишель и тебе». Лола держала в руках огромный букет роз. «Мишель была самой красивой и умной в классе,— сказала она,— я перед ней преклонялась, да разве я одна? Все, все без исключения!»— «Мы заказали столик в «Секте»,— объявил Франсуа,— заберем Мишель и попируем». Бреннер, ощущая ненависть к себе, начал униженно лгать про то, что Мишель ждет врача, подскочила температура, озноб, как бы не корь, сейчас, говорят, эпидемия, она боится вас заразить,

просила поцеловать Лолу. «Я привезу врача,— сказала Лола,— мой друг Патрик, ты его знаешь, Франсуа, лучший специалист по инфекционным заболеваниям».— «Нет, нет,— растерялся Бреннер,— спасибо, я уже пригласил доктора, созвонимся позже, я обязательно свяжусь с вами, друзья, поздравляю тебя, Франсуа, рад, что у тебя такая красивая и добрая подруга, Мишель обожает Лолу, она рассказывала о ней так много хорошего...»

Он вернулся домой, чувствуя себя обгаженным; какой-то ничтожный, жалкий подкаблучник, настоящий мужчина никогда бы не допустил подобного. «Ты удовлетворена?— спросил Бреннер.— Я не пустил их». — «Ах, какое мужество,— отозвалась Мишель.— Не пустить в семейный дом шлюху!» — «Но она говорила о тебе так, как могут говорить только о подруге». — «Ну, конечно, я мегера, а эта особа — лучший в мире человек, тебе ведь всегда нравились блондинки».— «Ты сошла с ума? Или начинаются месячные?» — «Мерзавец,— сказала Мишель,— не припутывай физиологию!»

Бреннер вышел из дома, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка.

Денег не было, он еще не зарабатывал тогда, еле сводил концы с концами, попросил у Люсьена триста франков, поехал на Клиши, крепко выпил, сторговал старую проститутку в высоких лаковых сапогах, зашел в ее номер на третьем этаже маленького пансиона, наскоро переспал с ней, лишь бы потушить в себе гнев и острое чувство неприязни, возникшее к Мишель, потом уехал к тетке, она жила возле Эйфелевой башни, выпил виски и сказал, что останется ночевать, если ему позволят устроиться на диване в гостиной. Он проснулся в три часа утра, увидев прекрасное лицо Мишель над собою; начал чиркать спичками, потому что забыл, где выключатель, оделся и пошел через весь Париж домой; Мишель сидела на кухне в слезах, добрая и беззащитная; они помирились; Бреннер ненавидел себя за ту отвратительную измену со старой бабой; собрал денег, увез Мишель на море; первые недели все было чудесно, но потом их пригласили в компанию и Мишель снова темно и внезапно возненавидела какую-то женщину, сказалась больной, ушла к себе, а когда Бреннер с друзьями, выпив сухого вина с гор, начал дурачиться и

танцевать, Мишель выскочила и надавала Бреннеру пощечин; той же ночью он уехал; уехала и Мишель; он прислал к ней адвоката, чтобы оформить развод; из клиники позвонил ее отец, он все знал уже: «Слушай,— сказал он,— девочка ждет ребенка, в это время они становятся дурными, прости ее, я слег со стенокардией из-за всей вашей передряги».

Полгода прошло спокойно, примирение было искренним, хотя ребенок не родился, она сделала операцию. «Мне нужен только один ты, любимый».

Но потом к Бреннеру приехал профессор из Польши, Мишель не была дома, он не успел ее предупредить о визите, поэтому попросил хозяина соседнего ресторанчика принести пару антрекотов и хорошего сыра — идти в ресторан им было не с руки, надо успеть поработать над рукописями, поляк привез с собой манускрипт.

Мишель вернулась от отца; Бреннер вышел ей навстречу.

«У нас гость, я представлю сейчас его тебе, поразительно интересный человек, я кормлю его антрекотом».— «Зачем же тебе нужна я?— Мишель побледнела, так бывало у нее всегда, когда накатывали приступы ярости.— Если можешь его кормить сам, ну и корми, я-то здесь при чем? Лучше пойду в парикмахерскую».— «Но я сказал, что познакомлю его с тобой! Это некрасиво!» Тем не менее она ушла, и тогда впервые Бреннер подумал, что Мишель больна, так было с женой Скотта Фицджеральда, об этом писал Хемингуэй, она слишком красива и здорова, меня ей не хватает, это шизофрения, сомнений не может быть. Когда Бреннер предложил ей пойти к психиатру, был новый скандал, он л ю б и л ее, не мог р е ш и т ь с я на развод, примирения были сладостны, по крайней мере пять медовых месяцев в году; потом он ушел в работу, сказав себе, что семейная жизнь для него кончена, крах, катастрофа; те женщины, с которыми он сходился, не могли заменить ему Мишель, его тянуло к ней...

А ее нет...

Она вышла замуж за него случайно, как-то слишком уж стремительно и лишь потом, по прошествии месяца, поняла, что это не тот, кто нужен ей; сначала, как со-

ветовал отец, пыталась заниматься психотерапией, сдерживала себя, но чем дальше, тем труднее ей, целостной и честной натуре, привыкшей к отцовской непререкаемой твердости, было жить вместе с Бреннером, который казался ей чересчур легким, быстрым, поверхностным, а потому жалким. К его успехам в газете она относилась равнодушно, считая это случайностью; жизнь сделалась о ж и д а н и е м; впрочем, иногда в ней рождалась какая-то жалость к мужу, которая проходила, как только она прислушивалась к его л о в к и м разговорам с бесконечными компромиссами.

Поэтому сейчас, в «Куполе», куда ее пригласили Берар и Мадлен, она с особенным интересом всматривалась в сильное лицо Клода Гиго, профессора математики, огромноростого человека с острыми, пронзительными глазами.

Он говорил фразами, подобными всему его облику,— рублеными, сильными:

— В подоплеке любого мирового открытия, которое определяет философию века, лежит случай, то есть судьба. Плод, упавший на землю, позволил англичанину сформулировать свою идею, а уж из нее родилось динамическое миропонимание, ставшее альфой и омегой структуры западного духа... Но каждое великое открытие, отданое миру гением физика, астронома или математика, гибельно для той п р а в д ы, которую оно собою являет. Да, именно так. Слово есть выражение власти. Сказав, то есть определив суть, я наложил на нее свою руку. Но ведь противостояние существует не только в мире музыки, когда сталкиваются в споре последователи Глюка и Моцарта, не только в литературе.

В науке такие же распри. Великая идея, властно желающая подтолкнуть мир в том направлении, каким он видится гению, рождает другую великую идею. Именно Ньютон вызвал к жизни Эйнштейна, а Эйнштейн, сформулировав теорию относительности, в которой прошлое может быть будущим и наоборот, самим фактом открытия породил своего врага, который, может, еще и не появился на свет. Все, что начато, обречено на смерть. Телесное зачатие есть первый акт в той трагедии, которую называют жизнью, а кончится эта трагедия лишь одним — смертью. Я назвал ребенка, я дал ему имя, значит, я обрел над ним власть. Маги древно-

сти могли ниспослать смерть только после того, как получали имя того, кого надо извести; вне и без слова они были бессильны. Через слово выражается знание, а именно знание есть высшее проявление власти.

Мишель слушала математика завороженно; он, казалось, не замечал ее; Бернар склонился к ней и шепнул:

— Бойся этого математического Казанову.

— Он очень талантлив?— так же шепотом спросила Мишель, хотя в ее вопросе было больше утверждения.

Бернар пожал плечами.

— Говорит хорошо, но пока еще ни одной новой теоремы не выдумал...

Гиго, не обращая внимания на то, что за столом шептались, продолжал, упершись тяжелым взглядом зеленых глаз в надбровье Мишель:

— Математика любит тайну. Она не разгадывает ее, но лишь создает все новые и новые загадки. Именно поэтому философия так боится нас, именно потому-то философия родилась из чувства страха перед недоступным разуму смертных. Поэтому философские школы тяготеют к схеме, они тщатся сделать чертеж мысли, привести его в систему, но ведь нам, математикам, легче разрушить начерченную систему, так как всегда сподручнее разрушать созданное уже, легче всего обнаружить изъян в явном. Ныне философы стремятся поставить знак равенства между понятиями «число» и «время». Это наивно. Урок рисования в школе есть акт живописи. На вопрос «когда?» нельзя ответить, ибо все люди — подданные этого слова. Лишь математики вправе ответить на вопрос «что?». До тех пор, пока каждый человек на земле не научится отвечать самому себе на этот вопрос, мир будет несчастным, неудовлетворенным, мятущимся. Надо просчитывать отношения с любимым, отвергнутым, тем, к кому ты испытываешь нежность, и, наоборот, с тем, кто неприятен тебе, раздражает, делает существование маленьким и оттого скучным...

Произнеся последнюю фразу, Гиго перевел наконец свой тяжелый взгляд с надбровья Мишель на ее глаза и замолк. Он не произнес ни слова до конца вечера, только неотрывно смотрел на нее и много пил; когда одевались в гардеробе, сказал так, будто это было предрешено:

— Я провожу вас, потому что вы очень грустны и вам не хочется идти домой.

Она вернулась в три утра; Бреннер работал в кабинете; посмотрел на Мишель с недоумением.

— Я звонил в полицию...

— Покойников отправляют в морг,— Мишель улыбнулась и сочувственно посмотрела на него: бедный маленький человечек, живет тщетой, мир его эфемерен и суетен, боже милостивый, как слепа первая любовь, кем я увлеклась?!

Она приняла душ, легла в постель, закрыла глаза, и перед ней сразу же возник Гиго, то извергающий мысли, словно вулкан, а то тяжко молчаливый, и в этом молчании была такая же властность, как и во всем его облике; вроде отца, громадный и сильный, слову такого мужчины сладостно подчиниться...

А Бреннер еще долго сидел над бумагами, силился читать их, но писал на полях одно и то же слово: «все, все, все».

Потом он допил холодный кофе, выкурил сигарету и понял, что надо уезжать в пекло; так он уходил в себя, от скандалов, от ощущения безысходности; после Кампучии, Ольстера, войны на границе между Ираном и Ираком, где он провел три месяца, после Фолклендских островов, куда он прилетел на второй день после кризиса, его отношения с Мишель как-то налаживались, хоть и ненадолго.

Гаривас, видимо, самое подходящее место, сказал он себе, надо бежать туда, где стреляют. Или разводиться. А что тогда будет с нею? Что она может без меня? Ей кажется, что она все понимает, но ведь я-то знаю, что это не так. Она погибнет, а я ведь люблю ее...

...Тем не менее утром Бреннер сказал:

— Мишель, видимо, нам стоит разойтись. Когда мы займемся этим делом?

— Когда?— она усмехнулась.— Хоть сегодня... Только это не тот вопрос — «когда?», милый мой... Ты бы сначала постарался ответить на другой вопрос, самый честный: а что лежит в подоплеке твоего желания развестись? Что?

— Увлеклась философией?— спросил он, усмехнувшись.— Ну-ну... Я улечу дня через два, у тебя есть не-

деля для того, чтобы ответить на мой вопрос. А я чуть позже отвечу на столь необходимое «что». Договорились?

42

17.10.83 (23 часа 55 минут)

Степанов всегда приезжал в аэропорт загодя; он любил наблюдать совершенно особую жизнь в пограничье земли и неба; дух происходившего здесь порою напоминал ему последний миг за кулисами перед открытием занавеса в день премьеры, когда Борис Равенских обкусывал свои короткие крестьянские ногти, стряхивал ладонью чертиков с левого плеча, не видимых никому, кроме него, бледнел до синевы, но обязательно улыбался, заговорщически подмигивая окружающим, словно бы намекал, что заранее знает исход и абсолютно убежден в шквальном успехе пьесы; как быстро он сгорел, как многого не успел сделать! А Галина Волчек приходила за кулисы в каком-то странном платье, хрипло, по-одесски бранилась, гладила актеров по головам, находила для каждого особые слова, подбадривала, а сама шептала Степанову на ухо: «Мы провалимся так, как еще никогда не проваливались». И все за кулисами были словно шальные, точно как здесь, в аэропорту; отрешенные улыбки; рассеяннные, будто в последний раз, взгляды; напряженное ожидание, когда диктор объявит посадку на самолет.

Здесь, в Орли, Степанов отчего-то особенно часто вспоминал ночной ханойский аэропорт, когда он возвращался в Китай после трехмесячной командировки к партизанам; свет был тусклый, голоса тихие, война есть война; посадка на «Ил-12» шла быстро, надо взлететь до того момента, пока не появятся «фантомы», добрый лучеглазый Фам принес тогда бутылку ликера; в отличие от лаосцев, которые пили крепкую рисовую самогонку, здесь, в Ханое, предпочитали тягучую сладость неведомого европейцам настоя, очень вкусно, только начинаешь чувствовать себя женщиной, слишком уж изысканно; самогон надежнее, особенно когда предстоит взлетать на пассажирском самолете под снарядами «фантомов»...

Степанов четко увидел скорбное лицо Константина Михайловича Симонова; тот рассказывал, как он летал в сентябре сорок первого на неуклюжих полуфанерных бомбардировщиках бомбить Берлин. «Я тайком выпил полстакана спирта,— говорил он,— и не потому, что панически боялся смерти, ее каждый боится; я боялся не успеть сделать то, что обязан сделать, я очень боялся не написать того, что был не вправе не написать. С тех пор я всегда пью перед полетом, все-таки подъем в небо пока еще противоестествен, лет через сто это сделается бытом, а «ТУ» превратится в некий заменитель дорогой нам всем «эмочки».

Степанов подошел к стойке бара, заказал кофе, до посадки на самолет в Шенеф оставалось еще минут сорок; вспомнил Романа Кармена; тринадцать лет назад, всего тринадцать («Иных уж нет, а те далече») он провожал Степанова сюда же, в Орли; Степанов решил тогда во что бы то ни стало попасть в Испанию; Кармен грустно говорил, как он ему завидует: «Испания — это совершенно особая страница нашей биографии, лилипут, это молодость, это Гриша Сыроежкин, Владимир Антонов-Овсеенко, Хаджи Мурат Мамсуров, Илья Эренбург, Михаил Кольцов, Всеволод Вишневский, это Арагон, Эрнест Хемингуэй, это генерал Лукач, это очень хорошие люди, лилипут, это прекрасное, горькое, но чистое время, Митька».

Степанов явственно помнил этот же аэропорт, когда он возвратился сюда из Сантьяго после того, как убили Альенде; жизнь шла здесь, как обычно, своим чередом; люди ш а л о улыбались друг другу, спешили к выходу на посадку, обменивались телефонами, пили виски; мужчины к а д р и л и с ь к хорошеньким стюардессам, все было как всегда, однако два дня тому назад где-то в мире победил фашизм, убили Альенде, загнали на стадион под палящее солнце художников и поэтов, типографов и врачей; именно в эти минуты, когда Степанов прилетел сюда, в веселый, благополучный парижский аэропорт, прекрасному певцу Виктору Хара отрубали в застенке руки... Маленьким, хорошо направленным топориком...

Все пересекаемо, подумал Степанов, все странно и быстролетно. Память проявляет себя непознанно; она резерв мыслей; однако же иногда может быть и балла-

стом, уступая место новым впечатлениям, которые откладываются в черепушке от дня вчерашнего, но высверкнет вдруг неведомо почему — и поднимется балласт: резервы, вперед! Прошлое видится въяве и рвуще больно... Это только для меня заходит солнце: для кого-то другого оно восходит именно в этот миг... Почему не допустить мысль, что наша земля — это огромный космический корабль, таинственное огнедышащее ядро — двигатель; верхние слои атмосферы — стены, сделанные из материала, неведомого нам еще и не изученного, несемся себе, в звезды врезываясь, не помышляя о том, что все мы братья и сестры, но кто сказал, что родство гарантирует от кровной вражды? Понять себя и тех, кто вокруг тебя, это значит творить эпоху. И не так-то уж много требуется для этого: ум, во-первых, и точное понимание прошлого, во-вторых. Без ватиканских мракобесов не состоялись бы ни Лютер, ни Жижка, ни Гойя, без тирании последних Людовиков, без их слепого упорства не было бы ни Марата, ни Робеспьера, а те, в свою очередь, породили Наполеона... Все увязано, все, абсолютно все на этой грешной земле... Так мало времени всем отпущено, а поди ж ты, забросили поезда, все норовим в небо, время экономим... Черта с два, не экономим, а теряем... Как же неразумно мы тратим время сплошь и рядом! Хотим понять то, что не поняли с первого раза, бьемся, мучаемся, а часы летят, ибо каждому отпущено свое; тот, кто любит математику, не должен терять дни, штудируя эстетику, если, понятно, его к этому не тянет; в нашей короткой жизни все нужно делать весело и с наслаждением, к чему душа лежит. То, что делаешь через силу, с натугой, всегда оказывается второсортным: никто точно не знает, сколько есть эскизов «Сикстинской мадонны» или «Тайной вечери», все видели не эскиз, а работу... Легкость не есть слабость, как у нас считают, легкость — это верх мужественности, это умение скрывать скорбь в себе самом; чего стоит такое, вопрос иной, только высший суд оценит силу того, кто умеет легко жить, скрывая ото всех горе и окружая себя не эскизами — а лишь законченными работами..

Степанов всегда восторгался римлянином, осужденным на смерть Калигулой; император любил наблюдать казнь, таинственный миг насильственного перехода в

небытие; он спросил приговоренного за мгновение перед тем, как должен был свершиться последний акт трагедии, что он ощущает и о чем думает. Тот ответил: «Я хочу напрячь все силы, чтобы уловить — в течение к р а т к о г о мгновения смерти,— произойдет ли какое-нибудь движение в моей душе и ощутит ли она свой уход из тела». Император рассмеялся: «Зачем тебе это? Ты же погружаешься в безмолвие!» Осужденный пояснил: «Нет, обо всем том, что я подмечу, я по возможности сообщу моим друзьям, правда, это случится несколько позже...» Не было у него самомнения, тяжелого и натужного, он не считал, что совокупность вещей и предметов, определяющих планету, содрогнется в момент его исчезновения, он легко ждал встречи с неизвестностью, но ведь каждая чистая страница — это неизвестность; мало ли какая формула будет на ней начертана?! А вдруг после этого о т к р о в е н и я мир перевернется? Люди обретут духовное зрение? Поймут все про себя? И тогда вздохнет человечество, сбросив с себя груз предубежденности...

О чем ты, спросил себя Степанов, снова хитришь с собою? Наверное, даже не знаешь толком, что надо тебе искать в Шенеф, видимо, такие крутые задачи, которые нужно уложить в столь краткое время, не под силу уже тебе и к слову ты стал относиться с определенного рода страхом, хоть и понимаешь всю его малость; прежде всего дело, факт, опыт, практика; слово вторично, бытие рождает сознание, а не наоборот, когда человек знает, что его выкинут с работы за леность и неряшливость, он трудится в поте лица своего, а если он убежден в безнаказанности, тогда, хоть кол на голове теши, не станет он работать с полной отдачей, не станет, и все тут...

«Я понял, что мне надо сделать,— сказал себе Степанов,— я это сейчас понял совершенно ясно. В Штатах есть тьма корпораций, но только малая часть из них работает на военную промышленность, остальные заняты внутренними делами, торгуют с миром станками для легкой промышленности или жилищного строительства. Мне надо найти тех, кто в Штатах заинтересован в мирной торговле с Гаривасом. А такие есть там. И встретиться с ними. Или написать им письмо. Или позвонить. Впрочем, на телефонный звонок денег у меня

не хватит, хотя времени на то, чтобы соединиться с маленькой фермой где-нибудь в Калифорнии, уйдет всего ничего, секунд восемь-десять... Вот где экономия, вот в чем сокрыт успех скоростной динамики конца века... Вложи мы средства в автоматическую телефонную связь по всей стране, прибыль исчислялась бы в миллиардах, но ведь мы хотим дать рубль и получить немедленную отдачу в количестве десяти рублей, Маркса забываем; если на единицу вложения получено пять процентов, это уже сверхприбыль, на большее нельзя рассчитывать, закон не перескочишь...»

Степанов попросил бармена разменять сто франков на жетоны для телефона-автомата, раскрыл справочную книгу, нашел телефон Вернье; к телефону подошла женщина, сказала, что Вернье нет дома, спросила, что ему передать, куда позвонить, поинтересовалась, не может ли помочь она, голос у нее был добрый и веселый, в нем слышалась звонкость, такие голоса бывают у женщин, которые любят.

«Мне нужны имена серьезных людей, которые хотели иметь бизнес с Гаривасом,— раздумывал Степанов.— На старости лет ты стал приходить к решению загадки окольным путем, собираешься слишком долго, как стареющий боксер перед последним боем или балерина, которая сходит со сцены. Ты думал о чем угодно, только не о том, к чему сейчас пришел. Нет,— возразил он себе,— я думал об этом же, только я действительно старею и с о б и р а ю с ь перед боем, как старый боксер, это верно подмечено. Разминка мысли. Хорошо сказалось, именно так, разминка мысли... В Штатах накануне трагедии в Чили медеплавильщики костили Альенде, ибо он сделал все, чтобы поднять эту отрасль у себя в стране, зато те янки, что производили станки для медеплавильной промышленности, были готовы к дружеской кооперации с Народным единством. Надо найти несколько дней и засесть в Шенеф в библиотеку, чтобы посмотреть, какие мирные отрасли промышленности Штатов и банки, что их финансируют, готовы к сотрудничеству с Санчесом. Эти люди только и могут сказать правду о том, почему сейчас стали поговаривать о Дигоне как сатане антигаривасского заговора. Впрочем,— возразил он себе,— когда люди Морганов и Мелонов начали драку против своего главного конкурента,

они называли его открыто: Рокфеллер. Может быть, и сейчас происходит то же? И я зря придумываю сюжет? Такое возможно,— сказал себе Степанов,— все возможно в этом самом странном изо всех миров...»

Он посмотрел на указатели (весь аэропорт в указателях — нельзя терять ни секунды, ибо из них складываются века, по которым историки судят о нации); почтовых киосков было несколько; купил красивый, с разводами лист бумаги, конверт для авиаписьма, написал адрес — не так, как принято у нас, начиная с города, а с имени: «Харрисон Болс, 67 улица, отель «Плаза», Нью-Йорк, США». (Успел подумать: «В нашем бюро проверки пришлось бы сражаться с читчиками; наверняка требовали бы, чтобы я писал «Гаррисон», так дают в наших справочниках, значит, так и пиши; господи, сколько я мучился со словом «гаухсляйтер», будь оно трижды неладно; всегда исправляли «я» на «е», чтоб все было как в немецком письме, но ведь буквосочетание «еи» звучит у немцев как «яй», именно «гаухсляйтер»; ничто не помогало; без бумажки таракашка, а с бумажкой человек, точнее не скажешь».)

«Дорогой Харрисон, привет тебе из Орли. Я был тут по своим делам, но жизнь — штука быстро меняющаяся, я, увы, до сих пор не могу последовать совету Плиния-младшего, который мудро поучал друга: поручи своим людям утомительные хлопоты по хозяйству и, воспользовавшись после этого полным уединением, целиком отдайся наукам, постижению тайн знания, чтобы после тебя осталась хоть крупица такого, что принадлежало бы тебе одному.

Судьба нашего с тобой коллеги Лыско (если ты бывал в Пресс-центре Шенеф, мог с ним встречаться, говорят, славный парень) понудила меня присмотреться к делу Леопольдо Грацио самым внимательным образом, и, как только я стал к этому самому делу присматриваться, всплыла фамилия Барри Дигона. Поверь, это не есть зловредные козни коммунистической пропаганды, пинающей ногами бедных уоллстритовских акул, это пришло ко мне не от нас, а от вас. Поэтому, если ты не

разгласишь строжайший секрет, пожалуйста, помоги мне понять, порасспроси своих коллег в редакции — «Нью-Йорк таймс» знает все, да здравствует «Нью-Йорк таймс»!— почему ваши люди столь недвусмысленно приторачивают именно Дигона к узлу Гариваса. Кто из его конкурентов может быть заинтересован в том, чтобы кивать именно на него, а не на Рокфеллеров, как это по традиции делается? Или же Дигон совершенно переориентировался с Европы на Американский континент? Ведь он никогда не работал на юге. Я, впрочем, им давно не занимался, с конца шестидесятых годов, вполне мог отстать. Как и ты, я не очень-то люблю, когда мне навязыают точку зрения, «во всем мне хочется дойти до самой сути», это писал Пастернак. А он писал прекрасно. Вот я и обращаюсь к тебе с такого рода просьбой.

Напиши мне в европейский Пресс-центр в Шенеф. Напиши про себя, мы ж не виделись черт-те сколько лет. Что касаемо меня, то, пока судьба дарит меня своей благосклонностью, я потихоньку готовлю себя к ее неблагосклонности; знаешь, Монтень прав: мы приучаем себя к войне, фехтуя на роскошных турнирах в дни мира.

Буду бесконечно признателен тебе, если выполнишь мою просьбу.

Дмитрий Степанов».

...В самолете уже Степанов написал еще две открытки, Францу Зиблиху в Гамбург и Хуану Мануэлю в Мадрид; больше всех других ему мог бы помочь, конечно же, Хуан Мануэль, но как истый гидальго он был силен в слове произнесенном; мог часами рассказывать поразительные истории в «Хихоне», что на углу бывшей авениды Хенералиссимо и бывшей калье Примо де Ривера; ныне, к счастью, многое вернулось на круги своя, к прекрасной поре того Мадрида, когда там жили Хемингуэй, Сыроежкин, Андре Мальро, Роман Кармен и Пикассо; Гран Виа — что может быть достойнее этого названия одной из самых красивых улиц Европы?!

43

17.10.83 (23 часа 58 минут)

Шору позвонили, когда он уже лег спать; передачи телевидения ФРГ стали почти такими же скучными, как и здешние, последние известия он обычно слушал в машине, возвращаясь из комиссариата домой, или же утром, за кофе, пролистывая газеты; одно и то же, читать нечего; в каждой строке тревожное ожидание чего-то неотвратимо страшного; пугают друг друга, пугают...

Шор включил светильник, снял трубку, уверенный, что звонят из отдела, не иначе как Папиньон — активен, словно матадор первого поля, рявкнул:

— Шор.

— Месье Соломон Шор?

Голос был незнакомый, властный, раскатистый.

— Да.

— Извините за поздний звонок. Мне сказали, что у вас может быть пресс-коференция, полагал, что окончится за полночь... Вы спали уже?

— Засыпал. Кто говорит?

— Я из «Союза лиц, подвергавшихся расовой дискриминации», месье Шор. Моя фамилия Зеккер. У меня есть кое-какие новости, связанные с судьбой вашего брата Эриха.

Шор резко поднялся, почувствовал, как глухо застучало сердце. Потянулся за сигаретой; откашлявшись, спросил:

— Он нашелся?

— Все не так просто, месье Шор. У меня практически нет времени, приехал всего на два дня, но я готов увидеться с вами завтра до работы, скажем в восемь. Могли бы выпить кофе, я остановился в «Цур голден пост»...

— Хорошо, я приеду в восемь, месье Зеккер... На всякий случай, пожалуйста, оставьте свой телефон.

— Сейчас, минуту, надену очки... У них такие маленькие цифры на аппарате... Так, тридцать три, семнадцать, сорок четыре... Записали?

— Запомнил. Вы остановились в номере на втором этаже, над входом в ресторан?

— Совершенно верно.

— Завтра я буду сидеть за первым столиком возле двери в сером костюме...

— Месье Шор, я видел ваши фотографии в газетах, я вас узнаю, спокойной ночи.

— И вам хорошего сна...

Шор выключил ночник, забросил руку за голову, правой сжал сигарету, словно бы хотел расплющить ее.

...Эрих был старшим, ему исполнилось шестнадцать в сорок четвертом, и он жил в немецком Базеле; родители развелись, он с матерью остался в Германии, отец и Соломон уехали в Берн, здесь были знакомые, которые определили мальчика в хорошую школу; когда отец договорился о квартире для своей бывшей жены и сына, немцы закрыли границу; маму угнали в Равенсбрюк, а потом в Освенцим и там сожгли; Эриха прятали знакомые, а в декабре сорок четвертого он исчез; после войны отец искал его по всему свету вплоть до самой своей смерти; завещал поиск Соломону; и вот этот ночной звонок; так здесь не звонят, что-то не то...

Шор снова включил ночник, набрал номер дежурного по управлению.

— Шарль? Это я, дорогой, прости, что так поздно тебя тревожу. Не сочти за труд установить, причем сразу же, но тактично, без шума, когда в «Цур голден пост» остановился некий господин Зеккер, откуда он прибыл, один ли, ну, и все остальное, что удастся выяснить, о`кэй?

— О`кэй, инспектор... Если будет что-то интересное, разбудить или доложить утром?

— Обязательно буди... Впрочем, вряд ли я усну.

— Вы прекрасно говорили с журналистами.

— Спасибо.

— Я позвоню, Соломон...

Шор положил трубку, поднялся, накинул халат, достал в кухне из холодильника банку пива, открыл,— белая пена, пахнувшая дубовой бочкой, обрызгала его,— выпил одним махом и подумал снова: «Это неспроста, я пока еще не могу понять, в чем дело, но это неспроста».

Он вошел в свой кабинет, включил свет, присел к столу, подвинул ближе фотографию Эриха: носатый, маленький, курчавый, шея тонкая; отчего, вдруг пришло ему в голову, у всех еврейских детей, рожденных в бедных семьях, такие жалкие, тонкие шеи?

И вдруг представил себе слякотное шоссе, колонну маленьких узников, собак, эсэсовцев, а потом ощутил запах барака, куда их загнали перед тем, как отправить в «баню», где маленьких человечков отравят газом и они будут корчиться на цементном полу, а в глазок за этим станут наблюдать взрослые мужчины в черной форме и смеяться над «жиденятами», а потом пойдут в свою столовую и сытно пообедают супом и картофельными котлетами.

Шор вспомнил, как отец впервые повел их в театр смотреть «Синюю птицу». Они с Эрихом тогда сидели на галерке, замерев от счастья, взяв друг друга за руки, и как же долго они потом мечтали, что к ним тоже прилетит добрая фея и жизнь их сделается радостной, такой, как и у этих бедных детей дровосека...

«Только дети умеют играть в чужое счастье,— подумал Шор.— Только они умеют верить, что вся галька на берегу моря — драгоценные камни, изумруды и сапфиры... Видимо, лишь в детстве бывает такое невосполнимое чудо, когда окружающий нас мир кажется не таким, каков он есть, а таким, каким я его чувствую и в какой я верю... Никто не будет несчастным, если мы будем добры. Никто не умрет, если мы сможем не забыть... А я стал старым и посмел забыть лицо Эриха... Значит, он умер... Папа верно говорил, что надо в мыслях быть героем, чтобы в жизни не сделаться подлецом... Почему я вспомнил эти папины слова? Наверное, оттого, что убежден: звонок Зеккера не связан с памятью Эриха... Это связано с делом Грацио... А если я ошибаюсь, мне надо уходить из криминальной полиции, я обязательно наломаю дров, обвиню невиновного или сяду за один стол с насильником и грабителем...»

Он вернулся на кухню, достал из холодильника три яйца и включил электрическую плиту — не мог заснуть, если испытывал даже легкое ощущение голода; сотворное принимать боялся, очень следил за здоровьем, больше всего страшился осенних простуд, осенью и весной кутался, как глубокий старик.

«Я ощущаю себя сейчас,— подумал он,— преступником, за которым следят мой Папиньон и его бригада. Он меняет квартиры, прячется в однозвездочных пансионатах, лишь бы уйти от постоянного, изматывающего душу наблюдения... А почему я себя так чувствую?

Я сижу в своем доме, пью пиво, сейчас буду есть яичницу на оливковом масле; я посыплю ее сверху тертым сыром и, видимо, возьму батон и масло; откуда же такое ощущение? Может быть, просто-напросто одиночество? Но я привык к нему и не хочу ничего другого... Нет, скорее всего, этот звонок сомкнулся с тремя вопросами на пресс-конференции... Мне задавали очень х и т р ы е вопросы эти три человека. Кажется, первый был марокканцем, второй из Уругвая, а третий англичанин... Эти вопросы могли задать либо провидцы, либо люди, которые знают о моем деле столько же, сколько я, либо, наконец, эти вопросы им вручили профессионалы накануне встречи со мною... Точно, они были подготовлены...»

Шор вздрогнул, потому что зазвонил телефон.

Он снял трубку, но в трубке было глухое молчание, звонок продолжался. «Вот дурень,— подумал Шор,— я же отключил здесь аппарат». Он побежал в спальню; звонил Шарль, дежурный по управлению.

— Берите ручку, инспектор, я кое-что выяснил...

44

Ретроспектива YII (двадцать дней тому назад)

«Резидентурам ЦРУ
в Гаривасе, Паме, Далласе, Милане

Шифром директора
Тем, кого это касается
Строго секретно

Представляется целесообразным сбор материалов на членов кабинета министров Гариваса — майора Лопеса, Энрике Прадо, Хорхе Кристобаля, а также на сотрудников аппарата премьера: Гутиереса (связь с прессой) и Родригеса (адъютант по ВМФ).

Цель? Не комментируется.

Что интересует в первую очередь? Связи, скрываемые от семьи, друзей и правительства, финансовые операции, п р о ш л о е, тайные пристрастия.

Возможны ли во время этой работы акции, не разрешенные конгрессом США? По усмотрению руководителей резидентур, которые всю свою деятельность подчиняют интересам США и статьям Конституции.

Финансирование? Ввиду того, что ситуация в Гаривасе грозит национальным интересам США и чревата коммунистическим проникновением в Центральную Америку, все траты представляются разумными в случае, если предлагаемые материалы того стоят.

Отчет о работе отправлять в адрес директора ЦРУ по его шифру».

После того как этот запрос ушел, директор пригласил к себе Джеймса Боу, толстого, огромного, вечно потеющего техасца, старого и верного друга, в прошлом боксера, шерифа, репортера, затем адвоката, работавшего последнее время в Голливуде, и сказал ему:

— Старина, дело, которое надо сделать, я могу поручить только одному тебе... И знаешь почему? Не только потому, что ты тертый, а значит, умный, в этом здании таких много; не только потому, что я тебе бесконечно верю, здесь тоже есть такие люди. Дело в том, что ты не являешься частью нашей проклятой бюрократической структуры, ты не должен писать бумажки, нести их одному из моих заместителей, опасаясь ревности другого, сетуя на черствость третьего и ярясь от излишней эмоциональности четвертого. Дело чрезвычайное, Джеймс. Ты хорошо обкатался в Голливуде, истинный разведчик обязательно должен быть хорошим актером, у гениев это врожденное, у тебя благоприобретенное... Вот прочитай шифротелеграмму, которая ушла в наши резидентуры... Я познакомлю тебя с первыми откликами, наверняка придет масса муры... Твоя задача будет заключаться в том, чтобы отделить чушь от главного и придумать сценарий на каждого из пяти перечисленных в телеграмме людей... Ты сначала придумай сценарий на каждого, исходя из тех материалов,— директор кивнул на пять папок, что лежали на столе,— которые я уже имею... Психологический портрет можно нарисовать, какой-никакой, но все же нечто приближенное к оригиналу... Я дам тебе послушать — здесь, в

этом кабинете — их голоса; здесь же, только здесь ты посмотришь на видеомагнитофоне их выступления с трибун, поведение на приемах и даже в семейном кругу... Посмотришь также съемки их друзей и близких... Исходя из всего этого, ты и начнешь фантазировать, Джеймс, кого и на чем легче в з я т ь... Причем исходя из того, что б р а т ь придется не кому-нибудь, а тебе...

— Это работа займет все мое время... Закрыть контору в Голливуде? Или как?

— Закрывать контору нет смысла, старый толстый хитрец... Я скажу тебе позже, какие акции стоит приобрести на биржах Цюриха, Женевы, Парижа и Франкфурта... Вложишь миллион, я гарантирую возможный проигрыш пятью процентами, так или эдак, но заработаешь славно.

Джеймс Боу вытер пот, катившийся по его огромному лицу, мятым платком, сунул в рот сигарету, но не стал прикуривать, поинтересовался:

— Что, в Гаривасе действительно пахнет порохом, как об этом пишут в газетах?

Директор улыбнулся.

— Не хитри, Джеймс. Тебе прекрасно известно, что все это пропаганда, просто твой друг,— он толкнул себя пальцем в грудь,— не любит, когда его считают глупее, чем он есть на самом деле...

45

18.10.83 (8 часов 06 минут)

Зеккер поднялся навстречу Шору, раскинув тонкие руки, дружески обнял, повел к столу, где уже был накрыт завтрак на две персоны.

— Милый Соломон, позволь мне так называть тебя, я не хотел вчера говорить по телефону, здесь еще живут мерзавцы, которые были с Гитлером и симпатизировали ему, потому что все здешние банкиры швицы, а никакие не евреи; уверяю тебя, твой телефон прослушивают, нигде в мире, никогда и никто по-настоящему нам не верит; я заказал яйца по-венски, сок и хороший сыр; хочешь чего-нибудь еще? Я не стал тебе говорить главное, хочу обо всем информировать сейчас, как, кстати,

твое коронное дело с итальянцем? Бесспорно, это загадка века, убежден, многие из твоих коллег мечтают заполучить такое дело в свои руки, можно крупно подзаработать, поверь мне! Да, ты не взял фотографию Эриха? У нас только две, те самые, что в свое время прислал твой папа...

Шор выпил стакан холодной воды (научились у американцев, ставят на стол, словно аспирин пьянице или хлеб голодающему), достал сигарету и, продолжая слушать тараторившего без умолку Зеккера, медленно, сладостно затянулся, долго размахивал спичкой, наблюдая, как ее пламя мечется в воздухе, прищурился, представив себе цирк, там дрессировщики делают похожие фокусы — выключают свет и гонят сквозь огненное кольцо несчастных собачек, одаривая их за это дешевыми конфетами, потом представил себе собеседника в ином качестве, понял то, что ему нужно было понять, и перебил:

— Господин Зеккер, последний раз я пил на брудершафт семь лет назад с марсельской потаскухой напротив пятизвездочного отеля для собак, кошек и пони, хозяева гарантируют люксовое обслуживание... Сколько помню, я не видел вас ни разу, так что не церемоньтесь и называйте меня по-свойски «инспектор Шор». Завтракать я не намерен, утром пью только кофе, крайне занят и приехал лишь потому, что вы сказали, будто имеете сведения об Эрихе. Слушаю вас внимательно.

Зеккер словно бы споткнулся, заговорил еще мягче:

— Ах, Соломон, ну, перестаньте, мы братья по крови, а что есть выше этого братства, не надо же, право, выпускать колючки, словно ежик, у моей внучки он живет под кроватью, чудное существо с жестокими глазами, разве можно запретить крохе?! По поводу Эриха я имею информацию, вот она,— он достал из кармана конверт, положил его на стол, оглянулся по сторонам,— пожалуйста, уберите в карман, я чувствую себя затравленным с тех пор, как смог вырваться от Гитлера, я всюду всего боюсь... Ты... Вы думаете, нам легко работать? Это только кажется, что нам сочувствуют, на самом деле были бы рады, сожги нас всех в печках ефрейтор! Так вот, тот человек, адрес которого мне удалось достать — и не думайте, что это было легко,— не нацист, хотя, кажется, им симпатизировал. У него есть

уникальные материалы по еврейскому вопросу в рейхе, можно найти следы к Эриху, этот тип швейцарец, но тебе... вам будет довольно сложно говорить с ним, он нас не любит, живет в Базеле, ему семьдесят семь, Вольф Цорр, ты прочитаешь о нем все в этом конвертике, торопись, пока он не умер, если надо, нажми... Нажмите как следует, не мне вас учить, но есть еще один господин, однако подойти к нему почти невозможно. Он хочет встретиться с вами, Соломон, и открыть кое-что, назвать имена тех, кто знал, куда угнали евреев из немецкого Базеля в январе сорок пятого, но он хочет быть уверен, что ты... что вы введете его в курс дела с итальянцем, объясните истинную ситуацию, не так, как журналистам. Он связан с Барри Дигоном, пытался помочь его несчастному брату Самуэлю, но того убили наци и самого Барри тоже чуть не убили. Он знал отца Грацио, а тот был дружен с Муссолини, и его за это союзники сажали в тюрьму, но, говорят, он тайно помогал евреям, этого не простили, палестинцы отомстили Леопольдо Грацио, око за око, зуб за зуб, они мстят и по третьему колену... Тот господин хочет узнать всю правду, он понимает, что ты... что вы не можете говорить открыто, но он наш, у него болит сердце за всех, он будет содействовать вам в поисках брата, его имя... Нет, сначала я должен понять, хотите ли вы искать бедного Эриха и для этого... словом, что ему передать?

Шор поднялся, громко высморкался и сказал:

— Киш мири ин тухес, менш, унд зай гезунд![1]

46

18.10.83 (11 часов 02 минуты)

Мари Кровс оказалась совсем еще молодой женщиной с узкими зелеными глазами, золотоволосая, коротко, под мальчика стриженая.

— Я вас представляла себе другим,— сказала Мари, когда он встретились в баре Дворца прессы.

— Каким?— заинтересовался Степанов.

— Русские очень традиционны в одежде... Или же, наоборот, как-то вызывающе неряшливы, носят черные

[1] Поцелуй меня в заднишу, человек, и будь здоров! (*еврейск. жаргон.*).

брюки и коричневые туфли... А вы прямо-таки парижский журналист...

— В Париже живут разные журналисты... Бреннер — одно, а Вернье — прямо ему противоположное.

Что-то стремительно промелькнуло в лице Мари, в ее узких зеленоватых глазах; «беззащитная цепкость»,— отметил Степанов, удивляясь тому, что возникло именно это словосочетание, казалось бы, взаимоисключающее, хотя, впрочем, мир ведь еще не исчерпал себя, человек, умирая, удивляется тем ощущениям, которые приходят вместе с последним вздохом. «Беззащитная цепкость» — в этом есть что-то от избалованного ребенка...

— Вернье — мой отец,— заметила Мари.— Пожалуйста, не говорите, что он работает на консерватора Бельсмана. Отец — честный человек.

— Он мне тоже показался славным человеком, Мари, но я никак не думал, что он ваш папа.

Глаза ее засияли, но так было лишь одно мгновение, потом они вновь стали настороженными, изучающими, закрытыми.

— Вам что-либо известно, как сейчас Лыско?— спросила она.

— Жив... Это все, что я знаю.. Времени не было звонить в московскую клинику. И потом, знаете, когда человек уезжает оттуда, где он какое-то время жил, начинают действовать законы той общности, куда он вернулся...

— Вас интересует, отчего с ним так поступили, мистер Степанов?

— Ради этого я приехал.

— Вы можете попасть в его квартиру?

— Не знаю...

— Дело в том, что на его письменном столе должно лежать страниц тридцать машинописного текста... Прочитав этот материал, вы поймете, пусть не до конца, кому Лыско мог мешать...

— Кому же? Дигону?

— Да.

— У вас есть факты?

— Они были в квартире Лыско.

— Можно от вас позвонить в посольство?

— Хотите, чтобы разговор стал известен полиции?

Степанов улыбнулся.

— Считаете, что ваш аппарат подслушивают?

— Мне намекнули об этом. Мне дал это понять инспектор Шор, который ведет дело Грацио... Я пыталась взять у него интервью...

— Он сказал, что слушает ваши разговоры?

— Не только один он. Есть частные детективы, есть еще и другие силы, научно-техническая революция и все такое прочее.

Степанов поднялся, поменял у бармена монету на жетон для телефона-автомата, позвонил в бюро, где работал Лыско, представился, попросил ключ от его квартиры.

— У нас нет ключа, товарищ Степанов, его отправляли в таком состоянии, что было не до ключей, попросите у консьержки.

— Почему вы думаете, что она даст мне его ключ? Я и по-французски не говорю...

Мари, стоявшая рядом, шепнула:

— Я говорю, пусть они только позвонят...

— А вы не можете позвонить?— спросил Степанов.

— Мы не знаем номера. Поезжайте, поговорите, в конце концов можете обратиться в консульство...

— Вы очень любезны,— сказал Степанов.— Дайте адрес, пожалуйста...

Мари снова шепнула, словно бы понимала русскую речь:

— Не надо, я знаю, где он живе... где он жил...

...Консьержка приняла подарок Степанова, рассыпавшись в благодарностях (уроки краткосрочных командировок: всегда бери с собою, если, конечно, сможешь достать, пару баночек черной икры по двадцать восемь граммов, три цветастых платочка, три бутылки водки и набор хохломских деревянных ложек).

Прижав к груди «горилку з перцем», женщина достала ключ от квартиры Лыско, заметив:

— Он всегда предупреждал меня, когда уезжал на несколько дней, а теперь даже не оставил записки...

Мари и Степанов переглянулись; консьержка шла первой по лестнице; Мари приложила палец к губам, Степанов действительно готов был спросить: «Неужели вы не знаете, что с ним случилось?» В России все бы

уже знали или строили догадки, а тут личность в целлофане; есть ты, нет тебя — никого не колышет, каждый живет сам по себе, и если наша заинтересованность друг в друге порою умиляет, особенно если это выливается в «подглядывание в замочную скважину», то здешнее равнодушие все-таки куда как страшнее, есть в нем нечто от глухой б е з н а д е г и, иначе как этим российским словом не определишь.

Консьержка обернулась, опершись о теплые (так, во всяком случае, показалось Степанову) деревянные перила старого дома, достала из кармана фартука платок, вытерла лоб.

— Я ощущаю свой возраст, только когда поднимаюсь по лестнице. С тех пор как я начала здесь работать, а это было пятьдесят лет назад, лишь в этом году лестница показалась мне немножко крутой.

Степанов неожиданно для себя попросил Мари:

— Пожалуйста, узнайте, сколько раз в этом подъезде делали ремонт?

Мари удивилась:

— Почему вас это интересует?

— Потому что у нас нет консьержек и ремонт делают раз в три, а то и в два года...

Мари спросила старуху; та нахмурилась, начала загибать пальцы, сбилась.

— Последние лет пятнадцать, в этом я уверена, ремонта не было.

— А сколько ей платят в месяц? — поинтересовался Степанов.

Консьержка погрозила пальцем.

— Разве можно называть сумму заработка, месье? Это мой секрет.

Мари улыбнулась.

— Месье иностранец, его все интересует...

— Я живу очень хорошо,— ответила консьержка,— у меня пенсия, и хозяин платит вполне прилично, так что выходит где-то тысяча двести франков...

Степанов спросил:

— А как вы думаете, Мари, сколько стоит ремонт подъезда?

Та пожала плечами.

— Пятнадцать тысяч, не меньше... Да нет, что я, добрые двадцать пять, квалифицированная работа очень

ценится, краски и все такое прочее... Хотите, узнаю точно?

— Очень хочу. А я подразню тех, кто у нас в Москве занимается этой проблемой... На спичках экономим, а электричество жжем...

Мари вздохнула.

— Все еще относите себя к «бунтующему поколению»?

Степанов покачал головой.

— В пятьдесят лет не бунтуют, Мари; в моем возрасте доделывают недоделанное.

...Консьержка открыла дверь, пригласив Степанова и Мари в маленькую квартиру; прихожая была очень темной, зато, когда старушка отворила дверь в комнату, Степанова поразило огромное, во всю стену окно, такие бывают у парижских художников, что живут на Монмартре рядом с проститутками, студентами-иностранцами и томными сутенерами.

А возле окна, впечатанный в голубой проем неба, сидел помощник инспектора Шора, высокий улыбающийся Папиньон.

— Первые гости,— сказал он,— я вас жду.

Консьержка возмутилась:

— Месье, как вы здесь очутились?!

— Я из полиции, действую с санкции властей, а вот как сюда попали эти люди? И кто они такие? Впрочем, мадемуазель Кровс я мельком видел. Ваши документы, месье,— обратился он к Степанову.

— Я пришел в дом моего коллеги; в отличие от вас я пришел сюда совершенно открыто; мне нужны материалы моего согражданина, оставленные им здесь на столе вечером накануне покушения на его жизнь.

— Здесь не было никаких документов,— ответил Папиньон и, достав из кармана жетон полицейского инспектора, учтиво предъявил его каждому из вошедших.— А теперь я попрошу вас сделать то же, что сделал я. Судьба документов господина Лыско интересует моего шефа так же, как и вас.

«Началось,— подумал Степанов.— Значит, надо звонить в консульство, вызывать нашего представителя, полиция станет дуть дело, это понятно, фу-ты, глупость

[1] МАД — военная контрразведка ФРГ.

какая... Да здравствует Черчилль. «Советуетесь ли вы с женой, господин премьер?»— «О да, и поступаю наоборот». Все давно известно. К тому же эта самая Мари не жена мне, я не Черчилль, но повел себя как дуралей... А впрочем, как мне надо было себя вести?»

— Если вы задерживаете нас,— сказал Степанов,— меня, в частности, я вызову сюда представителя нашего консульства, я русский...

— О?— Папиньон покачал головою.— Даже так? Нет, я пока не задерживаю вас, просто-напросто я обязан идентифицировать ваши личности.

— Мою тоже?— спросила консьержка.— Я не намерена подниматься сюда второй раз, извольте спуститься вниз, я покажу вам свою пенсионную книжку, паспорт я не выписываю, оттого что уже три года как не езжу за границу...

Папиньон снял трубку телефона, набрал номер.

— Шеф, у меня гости, без вас не разобраться, они издалека.

Шор приехал через пятнадцать минут, по лестнице взбежал легко, словно ему было двадцать, а не пятьдесят четыре, сразу же спросил консьержку:

— Я требую от вас ответа под присягой, что говорили вам эти люди, когда просили открыть дверь квартиры Лыско?— Он показал на Мари и Степанова.— И еще: почему вы впустили их в квартиру русского журналиста?

— Эти люди сказали, что знают месье Лыско,— ответила женщина, и лицо ее вдруг стало багровым.— Они сказали, что здесь лежат их общие бумаги. К месье Лыско часто приходили люди, и он всегда позволял мне открывать им дверь. «Пусть ждут,— говорил он,— покажите им, где кофе, могут читать журналы».

— Благодарю вас, мадам. Месье Степанов, вы являетесь официальным представителем русской стороны?

Степанов озлился.

— Я пришел сюда, в квартиру моего коллеги, которого у вас пытались убить. Вы до сих пор не нашли тех, кто покушался на него. Я пришел сюда с женщиной, из-за которой якобы его хотели уничтожить...

— А эта женщина,— сказала Мари,— полагает, что здесь у Лыско остались материалы, которые были нужны тем, кто в этом заинтересован.

— Вы отказались отвечать мне на этот вопрос, когда мы беседовали по телефону, фройляйн Кровс,— заметил Шор.— Отчего же вы решили рассказать все этому человеку?

— Оттого, что я не верю полиции, господин инспектор, а этот человек,— она кивнула на Степанова,— мой коллега.

— Он русский,— заметил Папиньон.

Мари снова усмехнулась.

— Достоевский, кстати, не был швейцарским гражданином.

Шор рассмеялся.

— Хорошо, едем в полицию, я задержу вас на пятнадцать минут, формальность должна быть соблюдена...

47

Ретроспектива VIII (семь дней назад)

Майкл Вэлш выглядел усталым, под глазами залегли темные тени, на висках то и дело выступала испарина, хотя работал кондиционер и народа собралось в его кабинете не так уж много: ЗДП, как сокращенно называют в ЦРУ заместителя директора по планированию, ЗДР — заместитель директора по развединформации, ЗДН — заместитель директора по сбору информации научно-техническими методами и ЗДА — начальник управления анализа и оценки разведданных, получаемых агентурой ЦРУ во всем мире; докладывал Уильям Аксель, шеф управления стратегических операций.

Вэлш вернулся в Вашингтон на рассвете; за два дня успел слетать в Паму, Гватемалу и Сальвадор; провел переговоры с министром обороны и рядом ведущих политиков; три часа ушло на то, чтобы встретиться с главным редактором «Эпока», крупнейшей газеты Памы, и обсудить ситуацию в Центральной Америке; летал «под крышей» вице-президента «Стил констракшн», в дымчатых очках, будь они трижды неладны, терпеть не мог грима, но понимал, что сейчас необходима предельная осторожность: газетчики — ушлые люди, если его расконспирируют накануне д е л а, может быть нанесен удар по всей операции.

Как всегда, Аксель докладывал не спеша, очень следил за словом, фразы строил точные, краткие, без какого бы то ни было двоетолкования.

— До начала операции осталось пятнадцать дней и семь часов. Поскольку мистер Вэлш определил «Корриду» как «локальный эпизод», мы работаем силами внутренней агентуры в Гаривасе с тем, чтобы придать этому предприятию «чилийский флер»,— никакого вторжения, никаких связей с Пентагоном или государственным департаментом, ставка лишь на своих людей. Просчитаны все варианты неудачи. Они сведены к минимуму. Однако же при утечке информации, я имею в виду появление материалов о том, что Лопес проявляет интерес к плантациям какао-бобов, левые группировки начнут шумное расследование. В этом случае Лопес может прийти к власти не как преемник дела Санчеса, но как диктатор, что нецелесообразно. Деятельность Леопольдо Грацио по-прежнему кажется мне нежелательной, так как у него очень широкие связи в Европе, он активно играет на повышение ставок на бобы какао и крайне заинтересован в стабильности нынешнего режима Гариваса. Грацио дважды предупреждал Санчеса о том, что в правительстве полковника зреет оппозиция. По нашим сведениям, несколько людей из разведывательного департамента его концерна готовятся к поездке в Гаривас; мы получим подробную информацию об этом завтра в полдень, агентура к ним подведена вполне квалифицированная. Скорее всего, Санчес будет изолирован в «Клаб де Пескадорес», террористов затем уничтожат «красные береты»; к народу обратится по радио и телевидению майор Лопес, объявит о введении военного положения для борьбы с силами реакции...

— Я бы подумал о формулировке,— заметил ЗДА.— «Силы реакции»... Это сразу же свяжут с нами, левые начнут вопить, что Санчеса убили проклятые янки и все такое прочее...

Вэлш усмехнулся.

— Можно подумать, что не мы устраняем Санчеса, а дядя Иван. Живите реальностями... В разведке — на нашем уровне — опасно пребывать в мире пропагандистских иллюзий... Что же касается «сил реакции», то, пожалуй, разумнее заменить на «экстремистские элементы»— значительно более нейтральная, многозначная

формулировка... Как будут устранены начальник генерального штаба Диас и министр общественной безопасности Пепе Аурелио?

— Одновременно с Санчесом. Группа Хорхе отрепетировала операцию в Гватемале, на нашей базе пятьдесят четыре ноль три,— ответил Аксель.

ЗДА закурил, обернулся к Вэлшу.

— Майкл, у меня есть целый ряд замечаний к тем статьям, которые подготовлены для публикации в прессе Гариваса и Памы после предстоящих событий... Там есть ряд недодуманных пассажей... В частности, редакционные статьи, которые дадут утренние газеты, никак не реагируют на присутствие наших военных советников в Гватемале и Сальвадоре — это непростительная ошибка; майора Лопеса сразу же свяжут с нами. Затем, совершенно недостаточен гнев против тех, кто совершил «кровавое злодеяние». В-третьих, ни слова не говорится о необходимости приложить все силы для проведения в жизнь курса Санчеса на модернизацию экономики, ни словом не упоминается его энергопроект...

Заместитель директора по науке, ЗДН, покачал головою.

— Я до сих пор крайне сожалею о том, что идея «Белой книги» по Гаривасу была кем-то отвергнута.

— Она была отвергнута мною,— ответил Вэлш.— Как только появляется «Белая книга», весь мир начинает ждать, где мы ударим. Вспомните Гватемалу и Доминиканскую Республику, наши «Белые книги» предшествовали операциям... В тех случаях мы силились доказать советское военное присутствие, а что можно доказать в Гаривасе? Нет, нет и еще раз нет, мы опробуем качественно новый вариант смены руководства, мы делаем ставку на преемственность дела Санчеса.

ЗДН усмехнулся чему-то, достал из кармана два маленьких листочка.

— Аппаратура прослушивания, установленная нашими людьми на квартире заместителя министра финансов Гариваса, позволила записать его разговоры... Пока ничего тревожного... Впрочем, одна фраза насторожила,— ЗДН заглянул в листочек,— вот она: «Я убежден, что Санчес разумнее, осторожнее и собраннее, чем о нем думают... Он отнюдь не идеалист, он очень рационален, и если он ждет, то знает, чего ждет».

Вэлш посмотрел на Акселя.

— Вы говорили о вашем источнике, близком Санчесу... Что он дает?

— Убежден, что Санчес ждет какой-то крайне важной информации от Леопольдо Грацио...

Вэлш посмотрел на часы.

— Пусть ждет. Сколько времени ему осталось ждать? Я всегда путаю временные пояса...

Аксель ответил:

— Сейчас должно прийти официальное сообщение, что Грацио ушел со сцены.

— Вы убеждены, что его сотрудники не пойдут в атаку?— впервые за все время задал вопрос ЗДР.— По моим данным, Хуан Бланко — ловкий парень, он в деле, он стоит десяток миллионов, он давно поставил на Санчеса, и он испанец, человек чести, слова и все такое...

Вэлш вопрошающе посмотрел на Акселя; тот покачал головой.

— Сейчас еще рано проводить с ним беседу. Мы это сделаем позже, и я почему-то убежден в его здравомыслии. Дон Валлоне имеет на него влияние...

ЗДР повторил:

— По нашим сведениям, Хуан Бланко цепок, но мозговой трест группы Грацио возглавляет Бенджамин Уфер.

— Верно,— согласился Аксель.— К нему нет подходов, но, судя по психологическому портрету, мы довольно тщательно его анализировали, Уфер не решится на драку. Он из породы тех, кто подпевает, а сам не может вести первую партию.

— Какие есть уточнения или добавления к проекту «Корриды»?— осведомился Вэлш.

— Все определится сразу после того, как уберут Санчеса,— сказал ЗДН. Сколько мы ни планируем, как тщательно ни выверяем детали, машина бюрократии где-то и в чем-то не срабатывает. Во всяком случае, наши люди, наблюдавшие за Лопесом, удовлетворены тем, как он ведет свою партию: никакой суеты, великолепная конспирация, сдержанность и достоинство в отношениях с начальником генерального штаба Диасом. Тревога, которую объявят в частях «красных беретов», расквартированных в столице, будет замотивирована

тремя взрывами пластиковых бомб — перед входом в наше консульство, в посольство Кубы и Эквадора. Взрывы запланированы за пятнадцать минут до изоляции Санчеса, в этом смысле аппарат продумал план вполне точно.

Вэлш оглядел собравшихся, кивнул.

— Спасибо. Послезавтра проведем уточняющее совещание. Возможны коррективы, к ним надо быть готовыми заранее. До встречи.

Когда коллеги, приглашенные им, первым заместителем директора ЦРУ, ушли, Вэлш набрал номер телефона Дигона.

Старик в это время ехал в своем старом «кадиллаке» из Нью-Йорка в парк Токсидо, всего двадцать миль до города, а тишина, зелень, птицы, поляны, озера, перелески, маленькая церковь, оформленная Шагалом; полная иллюзия далекой провинции. Подстанция концерна переключила разговор на автомобиль, Дигон снял трубку — по этому номеру могли звонить только самые доверенные люди.

— Слушаю.

— Это я, мой дорогой друг.

— Боитесь, что наш разговор могут подслушать?—усмехнулся Дигон. — Избегаете называть меня по имени?

— Вы снова правы,— ответил Вэлш.— Именно поэтому мне хотелось бы повидаться с вами.

— В любое время. И в любом месте.

— Хорошо, я прилечу к вам.

(Директор ЦРУ выключил запись — кабинет Вэлша теперь прослушивался круглосуточно — и пригласил к себе ЗДН; шеф науки обещал дать «глубинный анализ» происходящего, Вэлша он давно не любил, сообщал директору обо всем и вся в ЦРУ.)

...После легкого обеда (салат, кусок слегка обжаренного на тефлоновой сковороде мяса, мороженое по русскому рецепту и чашка кофе) Вэлш заключил деловую беседу вопросом:

— Барри, вы до конца убеждены, что европейские партнеры Грацио спокойно отнесутся к тому, что ваши сотрудники предпримут свои шаги на биржах мира в тот день и час, когда это будет признано целесообразным?

— Есть основания для беспокойства?

— Особых нет, но мистер Грацио серьезно готовился к своей игре на повышение акций какао-бобов, им задействованы многие люди...

— Кстати, вы на мой замысел поставили?

— У меня нет свободных денег, Барри, я служащий, живу на оклад.

— Отвечаю на ваш вопрос, Майкл... Связи бывают прямые, бывают опосредованные, эти последние значительно устойчивее, они построены на двойной и тройной проверке надежности того человека, с которым вступаешь в дело... Возьмем ситуацию накануне мировой войны и — с определенной натяжкой — трагическую пору мировой битвы. Кто был главным объектом нападок нацистской пропаганды? Этот мерзкий финансовый кровопийца Ротшильд. Но он имел — через «Бритиш метал корпорейшн»— тайные выходы на германские фирмы «Металлгезельшафт» и «Фельтон унд Гильом», а это есть не что иное, как империя Симменса. Та, в свою очередь — через фирмы со смешанным капиталом, чаще всего швейцарские, типа «Электроанлаген, Базель»,— постоянно поддерживала деловые взаимовыгодные контакты с немецкой «АЭГ», напрямую связанной с нашими «ИТТ» и «Дженерал электрик». Понятно?

— Вот меня и одолевает любопытство: давно ли Грацио связан с Рокфеллером?— аккуратно поинтересовался Вэлш.

— Разговаривая со мной, открывайте все карты, Майкл... Если у вас есть неопровержимые данные о связи Грацио с империей Рокфеллера, я должен пересмотреть ряд ходов, запланированных на ближайшие часы...

— У меня нет доказательств... Но мои информаторы в Паме назвали цепь, подобную той, которую вы только что вычислили, Барри... Эта цепь началась еще в двадцатые годы: «Чейз нэшнл бэнк» Рокфеллера, затем «Стандард ойл», там налажены прямые связи с «Дойче газолин», а оттуда «Хехст», с которым бизнес у Грацио. Так вот — повторяю, источник требует проверки, Барри, это скорее слух, а не информация,— на каком-то этапе люди Рокфеллера в одной из европейских, дочерних фирм оказывали помощь Грацио...

Дигон задумчиво покачал головой.

— Я не убежден, что и мои люди на каком-то этапе не поддерживали Грацио... Во-первых, я не обязан знать все детали, во-вторых, это было давно, в-третьих, помогали к а к о м у-т о Грацио, а не нынешнему Леопольдо Грацио... По-настоящему поддерживают лишь ту т е н д е н ц и ю, которую можно обратить в свою пользу. Это безумие — поддерживать состоявшуюся, самостоятельную силу, Майкл, это значит выпустить джина из бутылки, процесс может оказаться неуправляемым... Если бы Грацио сделал то, что он намерен сделать, я бы понес определенные убытки, это поправимо, но он станет таким могучим, что с ним потом будет трудно сладить, а это уже весьма и весьма тревожно... Я согласен с Оскаром Уайльдом: самое несомненное на свете — страдание... Именно из страданий созидались и гении, и сатрапы, именно в схватке между ними и рождался мир. Обыденность наших дел величава, жаль, что нынешнее искусство проходит мимо этого. Мне очень жаль Грацио, поверьте, но больше всего я опасаюсь неуправляемости... Грацио еще не перешагнул поры возрастной зрелости, в это время сильные люди с безудержной фантазией могут нарушить баланс, а нет ничего страшнее, чем раскачать лодку, особенно когда она болтается в наших пограничных водах... Нет, я не думаю, что интересы Рокфеллера могут пересекаться с интересами Грацио, но даже если б они в чем-то пересекались, дело надо доводить до конца,— начав, не оглядываются.

48

18.10.83 (12 часов 01 минута)

Шор включил приемник, долго искал Москву, странно подмигнул Степанову, поинтересовался:

— Хотите услышать родные голоса?

— Так я же не понимаю французского, даже если текст читают русские дикторы...

Передавали концерт эстрадной музыки; пела Пугачева.

— Вполне европейская певица,— заметил Шор, чуть увеличив громкость.

— А Шаляпин? Чайковский? Европейцы? Или варвары? — Степанов не счел нужным скрыть раздражение.

— На западе я тоже делю художников на европейцев и варваров, господин Степанов,— возразил Шор.— Поверьте, я не отношусь к породе слепцов или шовинистов.

— Это одно и то же.

Шор закурил, пожал плечами.

— Видимо, так. Не сердитесь.

«Хитрит,— подумал Степанов.— Он куда-то клонит, а вот куда? Слава богу, его английский похож на мой, на этом языке легче всего говорить иностранцам».

— Если вы хотите допрашивать меня, господин инспектор, я буду вынужден вызвать работника нашего консульства.

— Нет, я не намерен вас допрашивать, господин Степанов, ни в коем случае не намерен... Я хочу задать вам несколько вопросов, которые не будут фигурировать в деле. Согласны?

— Пожалуйста.

— Я не читал ваших книг, хотя успел посмотреть в американских литературных справочниках, что они про вас пишут... Поэтому я задам вам первый вопрос: вы верите в то, что Леопольдо Грацио покончил жизнь самоубийством?

— Я прочитал в «Интернешнл геральд» ваш ответ на этот же вопрос, заданный журналистами... Вы говорили на американский манер: не комментируется...

— Если бы я верил в его самоубийство, я бы ответил однозначно, господин Степанов.

— Ну, хорошо, а почему вас занимает моя точка зрения на это дело?

— Потому что вы им интересуетесь, во-первых, а во-вторых, как написано в американских литературных справочниках, вы работаете в жанре политических книг, следовательно, неспроста включились в это дело.

— У нас есть детская игра, господин инспектор: «Черного и белого не называть, «да» и «нет» не говорить...»

— Как это? — удивился Шор.

— Очень просто... Я задаю вам вопрос: «Хотите выпить рюмку хорошей русской водки?» Что вы отвечаете?

— Хочу.
— А вы любите икру?
— Конечно.
— Крабы?
— О да!
Степанов улыбнулся.
— Вы проиграли, господин инспектор. Вы произнесли слово «да». А оно по условиям этой игры запрещено.
— Платить штраф?
— Я же учил вас... А с учеников мы не берем... Только в следующий раз аккуратнее обращайтесь со словом «да».
— Господин Степанов, я намеренно включил радио... Не только литераторы живут ощущениями, порою сыщики вроде меня тоже чувствуют нечто... Понимаете? Н е ч т о... Помогите мадемуазель Кровс начать скандал в прессе... Я пока еще хорохорюсь, господин Степанов, но очень может статься, что дело Грацио у меня заберут... И сдадут в архив... А это нечестно.
— Почему вы говорите об этом мне? Иностранцу? Тем более русскому?
— Я говорю об этом именно вам, потому что русские спасли в Тюрингии моих близких друзей... А я пока еще умею помнить добро... Как, впрочем, и зло... Хочу назвать вам одно имя... Вольф Цорр... Он работал в концерне «Нестле», представлял здесь интересы молочных королей Гитлера... Вольф Цорр — это имя может вам пригодиться, он живет в Базеле... Это все, о чем я хотел вам сказать, вы свободны, господин Степанов, факт вашего визита в полицию не зафиксирован в документах... Мадемуазель Кровс я задержу на пять минут, не более, подождите ее в кафе напротив, там прекрасные марципаны...

— Мадемуазель Кровс, вы отказались отвечать на вопросы, когда мы говорили по телефону, и это, бесспорно, ваше право... Вы можете отказаться говорить со мною и сейчас, мы, слава богу, живем не в тоталитарной стране, и я не могу подвергнуть вас превентивному аресту... Хочу лишь задать вопрос, я, как вы понимаете, не смогу его зафиксировать, как и ваш ответ, из-за помех,— он кивнул на радиоприемник, по-прежнему на-

строенный на волну Москвы.— Отчего вы так убеждены в убийстве Грацио?

— У вас свои секреты, господин инспектор, у меня свои.

— Хорошо... Я открою вам свои секреты... Они сводятся к следующему. Первое: на пистолете, из которого был произведен выстрел в Грацио, нет отпечатков пальцев. Второе: форточка в его спальне было открыта. Третье: его номер находился на четвертом, то есть предпоследнем этаже отеля, а на последнем этаже занимал номер человек, предъявивший портье весьма сомнительные документы, да, да, мы не смогли обнаружить его по тому адресу, который он продиктовал, когда снимал апартамент... Впрочем, поиски продолжаются, кто знает, может быть, кто-то успеет подготовить за эти часы алиби интересующему меня объекту. Но про этот секрет знаете только вы и я, понятно?

— Почему вы говорите об этом мне?

— Потому что вы единственный человек, который открыто заявлял об убийстве Грацио. Потому что на вас из-за этого станут жать. Потому что, наконец, вообще вы много знаете, но ни о чем не хотите со мною говорить...

— Не с вами лично, господин инспектор Шор...

— Просто «инспектор»... Терпеть не могу словесной шелухи, экономьте время, я ведь сказал Степанову, что задержу вас не более чем на пять минут.

— Дело не в вас, инспектор. Просто я сталкивалась с полицией в шестьдесят восьмом году в Западном Берлине, потом два месяца лечилась, мне тогда было пятнадцать, и у меня был шок, понимаете?

— Это когда там улюлюкали «новые левые»[1]?

— Я была просто левой, инспектор...

— Вы коммунистка?

— Нет, я не принадлежу ни к одной партии, просто придерживаюсь левых убеждений... Повторяю, я уверена в том, что Грацио убили... Он принимал меня, дал интервью... Понимаете? Он взял с меня слово, что я пока не буду публиковать это интервью целиком... Он предупредил, что мне позвонит господин де Бланко и скажет, когда и где можно печатать материал... Я жду...

[1] Последователи ультралевой группы Баадера—Майнхоф.

— Вы говорите только часть правды, мадемуазель Кровс.— Шор вздохнув, покачал головой.— Неужели я не понимаю, отчего убрали русского журналиста Лыско? Я думаю, вы рассказали то, что представляло для кого-то угрозу... Ну, может, я сказал слишком резко... Допустим, смягчу. Неудобство — так, видимо, точнее?

— Я все-таки не стану отвечать вам, инспектор Шор... Я разговариваю с вами, а внутри у меня кошки скребут: «Не верь ему, он же флик[1]...».

— Ну и не надо, коли скребут кошки. На прощание мой совет. Первое, не ждите звонка де Бланко, он не позвонит вам... Так мне, во всяком случае, кажется... Второе: начинайте скандалить, если хотите, чтобы меня в ы н у д и л и продолжать это дело... Третье: если чувствуете, что вам этого сделать не позволят, попробуйте использовать Степанова...

Мари изучающе разглядывала Шора своими длинными зелеными глазами, потом, закурив, сказала:

— Я пробовала делать нечто в этом духе не раз и не два, инспектор Шор... Только поэтому и возник Лыско... Если вам действительно так трудно жить, как вы мне по секрету сказали, то мне жить в семьсот сорок раз труднее.

— В семьсот сорок? Вы относитесь к той породе женщин, которых слушаешь с обостренным вниманием... Вы сокрыли какой-то смысл в этой сумме превалирующих трудностей — я имею в виду «семьсот сорок»?

— Я перестала верить в мудрость «каббалы»[2], инспектор Шор... Жизнь научила меня прагматизму и юмору... Так что «семьсот сорок» можно легко заменить на «тридцать четыре»... Глядишь, когда у вас будет хорошее настроение, посмеетесь над моей игрой в цифры...

— Посмеюсь,— пообещал Шор,— обязательно посмеюсь... В декабре, во время отпуска... А теперь я назову вам несколько имен и вы их запомните... Это в ваших интересах...

...Степанов сидел на застекленной веранде маленького кафе; солнце было жарким, летним, никак не ска-

[1] Сыщик (*франц.*).

[2] Религиозно-мистическое учение, основанное на толковании Ветхого завета.

жешь, что октябрь; лениво курил (возил с собой советские «Мальборо», самые, как он считал, во всяком случае пока, лучшие сигареты в мире; таможенники Франции долго качали головами, но все-таки пропустили пять блоков, не потребовали уплатить пошлину); заново вспомнил разговор с Шором; странный человек, в нем есть что-то от дикой козы, такие же быстрые глаза и завороженность движений; Степанов часто наблюдал их в Темном лесу под Ставрополем во время осенней охоты на кабана.

«Но он крутит,— думал Степанов.— Или недоговаривает. Впрочем, я бы на его месте поступал так же. А может, ставит капканы? Не все злодеи — патологические уроды; Шелленберг был красавцем, и глаза у него были грустные, прекрасно чувствовал музыку, плакал, когда Гейдрих, шеф СД, играл скрипичные концерты. Шор явно хочет включить меня в их дело с Грацио, иначе зачем он вспомнил какого-то Цорра? Наш Лыско интересует его постольку поскольку... Если господь воистину сотворил человека, то зачем же он наделил его таким качеством, как хитрость? Впрочем, хитрость — это ум глупых, нельзя же всех сделать одинаково умными, тогда мир кончится. Социальное неравенство дурно, а вот неравенство интеллектов — вещь, оправданная всей логикой эволюции...

...Ум противоположен хитрости, трусости противостоит мужество, раскрепощенной деятельности — леность...»

Степанов посмотрел на часы — прошло уже пятнадцать минут, Мари все еще не было.

«Нет, все-таки он крутит, замыслил какую-то игру,— сказал себе Степанов,— а если игра, то это против тебя и тех, кого ты любишь. Как это в стихотворении? «Я — другое дерево». Этот Шор — «другое дерево».

Степанов достал из кармана блокнотик, решил записать то, над чем стоило подумать: ручка конечно же не сработала, «советское — значит, отличное»; если перо золотое, то резиновый резервуар ни к черту не годен; из прекрасного материала делаем седла, а не пальто; сколько пишем об этом, сколько говорим, скорее бы наладить прямую связь: завод — магазин — покупатель; показатель — прибыль; просто, как мычание, а поди ж ты...

Он стряхнул ручку, чернила капнули на скатерть, слава богу, бумажную. Вспомнил сразу же, как некий командировочный приехал из-за рубежа в середине пятидесятых, когда нейлон только входил в моду, привез подруге нейлоновую кофточку, купил на «подкожные», с трудом скрытые от бдительной жены; достал ручку, хотел написать на открытке: «Любимой — сувенир на память»; ручка конечно же отказала; стряхнул перо, чернила капнули на кофточку; командировочный в ужасе начал замывать ее мылом; пятно расплылось, стало огромным; тогда он, ничтоже сумняшеся («Химии в быту» не было и в помине, много чего тогда не было из того, что сейчас повсюду; беспамятные мы, прогресса видеть не умеем), налил в тазик ацетона, опустил туда кофточку, и от нее остались только пуговицы — растворились сэкономленные суточные. Незадачливый любовник в ужасе отправился в туалет, слил ацетон с пуговицами в унитаз, присел с расстройства на стульчак, закурил, спичку, как и полагается, бросил в унитаз... Привезли бедолагу в клинику Склифосовского с обожженным задом и разбитым в кровь лбом.

Степанов, вспомнив это, рассмеялся; он все еще смеялся, когда пришла Мари.

— Что вы?! — спросила она недоуменно.

— Да так,— ответил он.— Покойный отец учил меня, что в сложных ситуациях надо настраивать себя на смешное, это как хороший массаж для нервов, думается чище.

— Слушайте,— сказала Мари, — или я ничего не понимаю, или он нас втягивает в какое-то темное дело... Но, может быть, во что я с трудом верю, он честный человек? Предлагает начать скандал... И он позволил мне объявить вам это в открытую.

— Мне он позволил то же самое... Я готов. А вы?

Мари обернулась к бару, подняла руку, попросила официанта:

— Пожалуйста, кофе!

— Я уже заказал вам,— сказал Степанов.

— Не надо. Я привыкла платить за себя сама.

— Но у нас это не принято, какой-никакой, но все-таки я мужчина.

— А я женщина,— отрезала Мари.— У вас это не принято, там и угощайте, а здесь живите, как живут все.

— Вы что такая жалящая?

— Если ты не ужалишь, тебя ужалят, зачем подставляться? Словом, я передала Лыско материалы, связанные со слухами — серьезными слухами — о том, что на бирже кто-то готовит бум, направленный против Грацио... То есть против Санчеса...

— Кто такой Санчес?

Мари нахмурилась, закурила, лицо ее ожесточилось.

— Вам действительно незнакомо это имя?

— Действительно незнакомо.

— Полковник Мигель Санчес...

— Ах, это лидер Гариваса?! Мари, у русских только-только входит в обычай называть одну лишь фамилию, без имени, а желательно и отчества... Если вы читали наших писателей, хотя бы Достоевского, то чаще всего он называет героев полным именем и отчеством — Порфирий Петрович, помните? Или у Тургенева — Аркадий Николаевич? Национальное мышление, ничего не попишешь... Конечно, я знаю о полковнике Мигеле Санчесе.

— Слава богу, иначе я перестала бы вам верить... Не вам, конечно, а Бреннеру, он ас журналистики, его рекомендации — это ваша визитная карточка, просто со Степановым я бы не стала говорить, мало ли Степановых...

Он расправил плечи.

— Дмитрий Степанов — все-таки один...

Мари улыбнулась.

— Это в России, у нас же никто про вас не знает...

— Ну и плохо.— Он уже не шутил, ответил раздраженно:— Зачем кичиться невежеством? Надо знать хотя бы тех, кого знают в другой стране.

— Ну, ладно, ну, правы, хватит же! Я хочу сказать вам совсем другое... Мигель... Полковник Санчес рассказал мне очень много важного, понимаете? Мы дружны с ним... Но мне не удалось всего напечатать... По целому ряду причин...

— Каких именно?

— Если я не сказала, значит, не сочла нужным говорить, неужели не ясно? Так вот, я передала эти материалы Лыско... В наших левых изданиях печатать нет смысла, этого просто-напросто не заметят, ошельмуют как коммунистическую пропаганду и все такое про-

чее... Лыско глубоко копал... Он встретился с биржевиками, опросил многих людей, которые знают дело и умеют чувствовать жареное... Этим и живут... Вот... Его за это убрали... И материалы похитили... Я же печатаю без копирки, дура... Все мои материалы были у него... Да, дура, ну что поделать?! Когда я беседовала с Грацио, он говорил мне: «Ждите событий, Европа еще скажет свое слово, и мистер Дигон, хоть он и крепкий старик, на этот раз проиграет...»

— Ваш папа отказался познакомить меня с его материалами... Может, вы к нему обратитесь?

Мари смахнула со лба рыжую прядь, глаза ее расширились, стали прозрачно-зелеными.

— Я теперь не смею к нему обращаться.

— Отчего?

— Оттого что я дрянь.

— Выпить хотите?

— Нет! Я тогда могу начать утешаться, и это будет, как у всякой женщины, сладостным, отнюдь не однодневным процессом... Я у гипнотизера лечилась, нельзя мне пить, понимаете?

— Не сердитесь,— попросил Степанов.— Не надо сердиться попусту... У меня есть предложение... Давайте — каждый по-своему — поищем, что поможет нам лучше понять происходящее... А завтра встретимся... Хотите, у меня в отеле? Там славный ресторанчик, можно поужинать и обменяться новостями. Согласны?

49

Цепь (иллюстрация N 2)

«Центральное разведывательное управление
Майклу Вэлшу
Строго конфиденциально

Из абсолютно надежных источников получена информация о том, что Мари Кровс, известная управлению, может иметь сведения об определенном интересе банковской группы Дигона к корректировке существующей ныне ситуации в Гаривасе. Как считают, отец Кровс (Пикс) обладает ценными материалами, свя-

занными с деятельностью корпорации Дигона в Европе.

Можно предполагать, что в сферу интереса Кровс попадет русский писатель и журналист Степанов.

Резидент Джон Хоф».

«Джону Хофу.

Подумайте, каким образом можно дезавуировать вероятные выступления М.Кровс и ее русского коллеги Степанова в плане компрометации Барри С.Дигона. Продумайте возможность компрометации Кровс и Степанова. Какие у вас есть подходы к Пиксу (Вернье)?

Майкл Вэлш».

Отправив эту шифротелеграмму, Вэлш спустился в медицинскую часть, измерил давление, попросил проверить легкие — «Очень кашлял ночью»,— сказал помощнику, что поедет отдохнуть; дома переоделся, принял лошадиную дозу витамина, сел за руль машины старшей дочери (потрепанный «шевроле», купленный на бензоколонке за триста долларов) и поехал на встречу.

50

18.10.83 (18 часов 41 минута)

Президент наблюдательного совета «Ролл бэнкинг корпорейшн» Дэйвид Ролл ознакомился с последними сообщениями, переданными разведкой его концерна из Гариваса, посмотрел секретную информацию, полученную с бирж Лондона, Чикаго, Цюриха, Гонконга, и пригласил одного из самых доверенных помощников, Роберта Бима, ведавшего контактами с Пентагоном.

— Мы были совершенно правы, выжидая.— Он заглянул в шифродонесение.— Конечно, коммунистов в Гариваса нет, связи Санчеса с Кастро мифические; если играть лишь ту карту, наши друзья из ЦРУ снова дадут пищу прессе для нападок на Штаты. Вопрос будет

решен однозначно и лишь единственной силой — морской пехотой... Не сердитесь за то, что я не посвящал вас в подробности, было еще рано... Теперь надо ехать в Пентагон, вас ждут, и обговаривайте все пункт за пунктом. На этот раз ЦРУ лишь разомнет глину, лепить будет Пентагон, так надежнее. После того как в Гаривасе начнутся события, необходимо организовать достаточно шумную блокаду нашего посольства, это повод к высадке десанта: необходимо спасти дипломатов, их семьи в опасности, детишки плачут, мамаши в истерике. Майор Лопес будет смещен, эта фаза тоже тщательно спланирована, в кресло премьера сядет никому пока не известный человек, который обратится к нам за помощью. Контакт с Белым домом отладят позже, накануне акции. За вами максимально конспиративное решение вопроса по всем деталям. Наша акция будет неожиданной, а лучшая неожиданность — это та, которая заранее спланирована. Я отлучусь на два часа, не ищите меня, пообедаем вместе и обсудим вашу информацию.

...Вслед за этим Дэйвид Ролл дал указание «управлению по работе на биржах» п о д о й т и через заранее задействованные связи к Бланко или Уферу и провести беседу (подтвержденную финансовым соглашением), смысл которой должен заключаться в том, чтобы они ни в коем случае не поддавались панике, ни изменяли стратегию Грацио, а, наоборот, несмотря на удар Дигона по какао-бобам, начали скупать бумаги, выброшенные на биржу. Деньги — в сумме ста миллионов долларов — будут в их распоряжении, об этом дано уже указание.

Двенадцатая доля процента от возможного выигрыша идет в их пользу — что-то около ста тридцати тысяч долларов чистой прибыли. Пусть Дигон продает, пусть пытается свалить цену, мы через подставных лиц скупим все.

А потом Дэйвид Ролл отправился в один из пригородов Вашингтона, на территорию, закрытую для въезда; там его ждал Майкл Вэлш. О цели его визита не знал никто, ни одна живая душа. Вэлш просто-напросто не мог позволить никому узнать об этом, оттого, что все время он играл против Дигона вместе с Дэйвидом Роллом; тот думал шире, смелее; всего сорок три года, в самом расцвете, и империя его более могущественна,

чем Дигона.

(Свой план Ролл сформулировал, выслушав Вэлша, когда тот рассказал ему о первой беседе с Дигоном, коротко, с усмешкой:

— Начинайте дело, Майкл. Пусть майор Лопес пообещает Дигону цену на бобы какао в тысячу долларов вместо двух с половиной, которую Санчес гарантировал Грацио, пусть себе. У меня есть молодой капитан, который в нужный час национализирует все плантации, купленные через подставных лиц Лопесом, и назначит цену в восемьсот долларов. Он же заодно обратится к нам с просьбой о помощи: «Не могу удержать толпу, возможен инцидент с посольством, пришлите морскую пехоту для эвакуации вашего персонала.» А там, где появляется морская пехота, будет порядок, и это — в нашу пользу.

Вэлш тогда заметил:

— Дигон не простит мне этого.

— Хуже, если я вам чего-то не прощу. Как-никак наша дружба и деловое сотрудничество подтверждены годами, Майкл, а мы умеем защищать друзей.)

...И вот сейчас, встретившись на о х р а н я е м о й территории, Вэлш устало улыбнулся.

— Пришло то время, когда вам надо защищать меня: в Европе случилась утечка информации, там узнали об активности Дигона в Гаривасе...

Реакция Ролла была неожиданной.

— Так это ж замечательно,— он пожал острыми плечами,— я бы на вашем месте дал этой информации еще больше растечься... Нас с вами это устраивает... Ведь пока еще не болтают о том, что вы, именно вы состоите в блоке с Дигоном и ваши парни должны сделать громкое «пиф-паф»?!

— Пока нет, но...

— Что «но»?

— Если об этом узнают, скандал будет неуправляем, хуже чем после операции Даллеса в Заливе свиней... Для меня, во всяком случае, дело может кончиться крахом...

Ролл потер лицо, потом махнул рукою.

— Ладно, Майкл... Это не по правилам, то, что я сейчас делаю, но мне жаль вас, беднягу, на вас дейст-

вительно лица нет... Я поэтому вынужден открыть вам одну из моих карт... Это наши люди организовали утечку информации о Дигоне, понимаете?

— Нет,— изумленно ответил Вэлш, нахмурился, лоб собрался резкими морщинами.— Не понимаю.

— Все очень просто. Мои планировщики составили достаточно крепкую и мобильную модель развития ситуации... Утечка — это маневр отвлечения... В конечном счете мы с вами играем одну партию, крупно играем ее — и, что греха таить, играем на поле Гариваса, но именно против Дигона... Утечка произведена вполне профессионально. Пусть Дигон отмывается... Я бы на вашем месте, кстати говоря, способствовал скандалу... Есть такая возможность?

— Есть. Но что это даст?

— Многое. Скажу вам еще вот что... На этих днях та пресса, которую контролируют мои люди, начнет атаку против майора Лопеса, это будет сделано аккуратно, понятное дело, но уже надо готовить следующие ходы, пусть в Гаривасе возникнет драка между своими, это в нашу корзину, поверьте моим коллегам, они довольно долго все планировали.

— Дэйв, это путь к неуправляемому скандалу,— повторил Вэлш.— Я не докладывал администрации развернутый план операции в Гаривасе... Директор занимает весьма странную позицию... Я не убежден, что президент согласится с планом... Повторяю, дело может кончиться моей отставкой...

— Ну и прекрасно... Я помогу вам приобрести адвокатскую контору, которая станет вести мой бизнес на Латиноамериканском и Африканском континентах, живое дело, никаких оглядок на перестраховщиков из Белого дома...

— Погодите, Дэйв... Объясните мне толком, что даст н а м скандал?

— Скандал даст нам то, что устранение майора Лопеса будет актом законного возмездия главному заговорщику. Это даст то, что именно мой капитан поднимет знамя з а м у ч е н н о г о ставленником Дигона полковника Санчеса, в старые мехи мы зальем новое вино, наше вино.

— Тогда зачем вводить в операцию Пентагон? Зачем морская пехота? Если вы уверены в вашем капитане... Кстати, как его имя?

— Капитан Рамирес, адъютант Санчеса по ВВС, — нехотя ответил Ролл.— А морская пехота необходима для того, чтобы «эвакуировать паршивых янки», «выкинуть их из Гариваса»... Эвакуировать можно и неделю, и полгода — хватит времени, чтобы закрепить позиции. Рамирес обещал карт-бланш.

Вэлш вздохнул.

— На капитана Родригеса, а вовсе не Рамиреса, адъютанта по ВМС, а не ВВС, на которого вы поставили и которого пытаетесь от меня скрыть, управление ведет досье последние сорок два дня; мы получили информацию о первом контакте ваших людей с ним через девятнадцать часов после того, как этот контакт состоялся.

Ролл поднялся, стал ходить вокруг кресла, где сидел Вэлш, сгибаясь пополам от смеха, потом, обессилев, упал на тахту, отдышавшись сказал:

— Это называется «вор у вора», Майкл! Ну и бестия вы! Любимая моя бестия, которой я не устаю восхищаться... Значит, вам было все известно о моих ребятах?

Вэлш кивнул.

— Почему же вы молчали?

— Потому что они действовали правильно.

— А когда допустили ошибку?

Вэлш покачал головой.

— Они ошибки не допускали; ее допускаете вы, продолжая хитрить со мною и поныне; времени на хитрость не осталось, секунды на счету... Я, в общем-то, держу под контролем всю вашу активность, я бы прокорректировал вас, Дэйв, заметив сбои в работе вашего аппарата, но предложение раскрутить скандал против Дигона накануне операции я все же не очень-то просчитываю...

— Надо готовить общественное мнение, Майкл, во-первых. Надо организовать умную кампанию в прессе по поводу неустойчивости ситуации в Гаривасе, во-вторых. Надо, в-третьих, иметь, простите меня за грубость, козла отпущения: «Дигон — человек старой империалистической школы; он начал аферу в порядке частной инициативы, спровоцировал с и т у а ц и ю, а правительству придется вводить морскую пехоту, чтобы спасти жизни американцев, ни в чем не повинных специ-

алистов, патриотов сотрудничества между нашими странами». Пусть президент отмывается, Майкл, пусть корит Дигона,— глаза Ролла сузились,— пусть отвечает перед журналистами; он вынужден будет взять под защиту акцию морской пехоты; а это непопулярно, все помнят Вьетнам, Ливан, Сальвадор, не говоря уже о Доминиканской Республике, на этом Джонсон крепко набил себе на лбу шишку...

Вэлш закурил, потянулся, вздохнул:

— Как я понял, вы ставите на противника нынешнего президента, Дэйв?

— Вы просчитали мой замысел до конца точно. Да, наш президент меня не устраивает, и, если вы скажете, что он устраивает вас, я позволю себе не поверить, друг мой. Да, я хочу попробовать его на крепость, в Гаривасе работают девяносто семь моих сотрудников, я имею полное право просить его спасти жизни американцев... В случае, если он откажет, нация подвергнет его остракизму...

— Я бы никогда не додумался до того, что вы по-настоящему затеяли, Дэйв... Даже не мог и предположить, что вы начали драку против президента... Знаете, мне сейчас стало жаль себя: маленький ягненок в сравнении с вами, хотя за свою жизнь в разведке спланировал пару любопытных комбинаций... Что за адвокатскую фирму вы мне сулили?

— «Лоренц энд Жабински»...

— По-моему, у нас есть там свои интересы, что-то около трех миллионов долларов.

— Четыре миллиона сорок две тысячи долларов действительно принадлежат ЦРУ,— уточнил Ролл.— Но весь капитал фирмы составляет девять миллионов семьсот четыре тысячи и сорок два цента... Таким образом, вы владелец контрольного пакета, сможете поддерживать прямой контакт с тем директором ЦРУ, который придет после того, как мы свалим вашего шефа,— Ролл хмыкнул,— видимо, вместе с вами, такая уж планида у первых заместителей...

— Дэйв,— сказал Вэлш задумчиво,— еще не поздно дать отбой, дело слишком рискованно, вы замахнулись не на что-нибудь, а на Белый дом. Знаете, как по-испански звучит «Белый дом»? «Каса бланка»... Очень красиво, лучше, чем у нас...

Ролл улыбнулся чему-то, потом погрустнел.

— Отец приучил меня стирать носки и штопать их, когда мне исполнилось семь лет, не позволял горничным убирать у нас, в комнатах детей, заставил меня нянчить Дези, когда та начала ходить; новые ботинки были для меня таким же праздником, как и для несчастного негритенка из Гарлема... Когда я выучился натирать полы, готовить еду, окучивать клубнику на нашем ранчо и в оранжереях здесь, в Вашингтоне, он отправил меня в Рим изучать латынь, штудировать древних. «Ты обязан теперь прикоснуться,— напутствовал отец,— к святой науке логики; у нас ее не понимают; талмудизм нынешней философской школы логики проистекает не от древних, и мне это не нравится; бизнес живет по законам Рима и Греции, да, да, именно так, ибо во времена античности превыше всего ценился дух ответственности, преданность существующему и преклонение перед тем, что выше тебя...» Вот так-то, Майкл... Я логик, я только играю роль плейбоя, это удобно, но я прокручиваю операции — особенно такую, на которую решился сейчас — дни и ночи, долгие месяцы, прежде чем скажу себе: да!

— В таком случае, последний вопрос: у вас уже была деловая встреча с кандидатом в президенты?

Ролл покачал головой, лицо его изменилось, сделалось жестким, беспокойным.

— Кандидат меня интересует постольку, поскольку он даст гарантию, что вице-президентом станет муж моей младшей сестры Дези...

— Ну что же,— сказал Вэлш,— этот ответ меня удовлетворяет. Дадим возможность скандалу разрастись...

51

Из бюллетеня Пресс-центра:

«Известный обозреватель Жюль Бреннер на пути в Гаривас, где ему была обещана встреча с полковником Санчесом, остановился в Нью-Йорке и был принят президентом банковской корпорации «Уорлд сити бэнк» Робертом Макдоуном.

Ниже передаем сокращенную запись интервью: полный текст печатается в сегодняшнем выпуске париж-

ской «Суар».

«Б р е н н е р. Мистер Макдоун, вас знают как человека, банк которого охотно финансирует дорожное строительство, энергетику, комплексы отелей в курортных регионах мира и заводы по производству бытовой химии. Чем можно объяснить вашу приверженность к столь традиционным и не очень-то прибыльным сферам вложения капитала?

М а к д о у н. Вы неверно информированы, мистер Бреннер. Те срезы индустрии, которые вы упомянули, самые прибыльные, ибо они служат миру, но не войне. Я отношусь к числу тех американцев, которые шли с армией Брэдли через нацистскую Германию, там я похоронил брата, я не хочу иметь ничего общего с одержимыми из военно-промышленного комплекса, прибыли моих банков удовлетворяют вкладчиков, наш бизнес развивается стабильно и с выгодой для Соединенных Штатов.

Б р е н н е р. Поддерживаете ли вы деловые связи с коммунистическими режимами?

М а к д о у н. Да.

Б р е н н е р. Администрация не чинит вам препятствий?

М а к д о у н. Этот вопрос я не комментирую.

Б р е н н е р. Такого рода ответ легко поддается расшифровке.

М а к д о у н. В армии я служил танкистом, а не шифровальщиком, я ответил так, как мне представляется целесообразным ответить в наше — весьма сложное — время.

Б р е н н е р. К вам обращался с просьбой о займе режим полковника Санчеса?

М а к д о у н. У вас есть его энергопроект?

Б р е н н е р. Да.

М а к д о у н. Мы готовы в положительном плане рассмотреть вопрос о займе для Санчеса, но до тех пор, пока активы Грацио арестованы и находятся под опекой ревизорской группы финансового управления, я бессилен что-либо сделать. Впрочем, если правительство Гариваса решит провести с нами переговоры до того, как закончится ревизия, мы самым благожелательным образом рассмотрим его предложения. Мы не будем их «тщательно изучать» и «по-деловому анализиро-

вать». Мы готовы к серьезной, взаимовыгодной работе.

Б р е н н е р. Не кажется ли вам тревожным положение на биржах?

М а к д о у н. Биржа есть биржа. Она является нашим детищем, мы, а не администрация, гарантируем стабильность цен, хотя бы даже относительную, мы, а не администрация, давая займы и стимулируя развитие новых отраслей промышленности в разных регионах мира, пытаемся спасти мир от безработицы... Мы реальные созидатели нашего мира, и я очень не люблю, когда о сложнейшем механизме биржи судят некомпетентно, а из банкиров делают страшилищ...

Б р е н н е р. Как вы относитесь к банкирам, которые специализируются лишь на субсидировании военной промышленности?

М а к д о у н. Кому-то приходится заниматься и этой работой. Я отвечаю за себя и за моих единомышленников, а мы представляем собою силу...

Б р е н н е р. Я не являюсь специалистом по вопросам биржи, но коллеги, которые пишут о финансах — в первую очередь профессор Вернье,— считают, что сейчас началась скрытая игра с ценами на акции бобов какао... А это монопольный продукт Гариваса...

М а к д о у н. Я не компетентен в данном конкретном вопросе... Однако скачки цен таковы и выбросы акций столь массированы, что я могу допустить начало игры... Конечно, это не заденет судьбы мира, но, согласен, чьи-то интересы за всем этим делом могут быть угаданы... Тем более что цена на гаривасскую валюту только что упала на три пункта, это сильный удар по Санчесу, весьма сильный... Ситуация в чем-то напоминает мне серебряную аферу, когда некто пытался свалить моего доброго друга Ханта... Тогда тоже был пущен слух, что ряд банков продает серебро под заем, с убытком... Сразу же началась паника, цена упала... А ведь Хант довольно долго поднимал стоимость серебра — с шести долларов за унцию до пятидесяти, это была красивая операция... Он скупил две трети мировых запасов серебра... Его план был любопытен: поднять серебро над золотом, стать императором мира, серебряным императором... Но ведь он поднимал цены постепенно, а его ударили сразу... То же и с акциями гаривасского какао... Либо кто-то играет, довольно крупно

играет на бирже и только на бирже, либо это политическая спекуляция, призванная убрать Санчеса как нестабильную фигуру.

Б р е н н е р. Может ли начаться неуправляемая реакция?

М а к д о у н. Вы имеет в виду кризис? Нет. Это локальное дело, оно касается лишь Гариваса.

Б р е н н е р. Но у режима Санчеса есть не только враги, но и друзья. Считаете ли вы, что они промолчат в случае, если кризис разрастется?

М а к д о у н. Если из-за какао начнется третья мировая война, инопланетяне от души посмеются.

Б р е н н е р. Но ведь бобы какао собирают люди...

М а к д о у н. Это патетика, мистер Бреннер, это не по моей части.

Б р е н н е р. Не создается ли у вас впечатление, что за неустойчивостью на бирже, за очевидной игрой...

М а к д о у н. Это вы говорите «очевидная»... Я сказал, что игра возможна.

Б р е н н е р. Хорошо, я принимаю вашу коррективу... Нет ли у вас впечатления, что кто-то намерен установить контроль на бобы какао?

М а к д о у н. Вы имеете в виду опасность установления монопольного контроля над рынком со стороны отдельных лиц?

Б р е н н е р. Да.

М а к д о у н. Пожалуй, такого рода возможность существует... Мне кажется, что кто-то силится придержать акции бобов какао, а с другой стороны, могу предположить, что этих акций уже продано значительно больше, чем может быть в наличии...

Б р е н н е р. Вы можете предположить, кто те люди, которые начали игру? Какие банки или концерны стоят за всем этим?

М а к д о у н. Знаете, я спросил свою внучку: «Отчего ты такая нехорошая, людей обижаешь?» Она мне ответила: «Не знаю, надо спросить у мамы...» Найдите их маму, мистер Бреннер, я дедушка, а дедушки — безвредные уже люди, мужчины без фантазии, что может быть преснее?»

Перед вылетом в Гаривас Бреннер сообщил журналистам, что после того, как он передал полный текст интервью с Макдоуном в Париж, в его номере раздался

звонок и некто, не представившийся, порекомендовал ему «придержать публикацию, ибо она может поставить вас в крайне сложное положение, когда вы вернетесь в Париж... Точнее сказать, если вы туда вернетесь»...».

52

18.10.83

Вернье знал, что Мари любит Санчеса, и поэтому постоянно тревожился за судьбу лидера Гариваса.

По ночам, когда, выжатый после работы, он ложился в кровать, то долго не мог уснуть, ощущая свое отцовское бессилие; нет, наверно, более страшного ощущения.

— Милый, а что, если тебе напечатать то, что ты знаешь?— сказала как-то Гала.— Ты же места себе не находишь... Это будет очень опасно?

— Какое это имеет значение?— раздраженно пожал плечами Вернье.— Когда речь идет о девочке, страха нет... Просто-напросто меня никто не напечатает.

— А что же делать?

— Не знаю... Я рассчитываю, что умные поймут то, что я сейчас заканчиваю... Но очень может быть, что я снова ошибаюсь, полагая, что умные в этом мире наделены правом решений...

Он договорился с прессой, контролируемой нью-йоркской группой Аверелла Гарримана, напечатать документированное исследование об американской агрессии в Доминиканской Республике. Он думал (мечтал, надеялся, уповал, вернее сказать), что люди поймут: речь на самом деле идет о Гаривасе, о сегодняшнем и завтрашнем дне, о том, что там грядут кровь и ужас...

Вернье начал собирать материалы о том, как Белый дом рушил демократические режимы на Американском континенте, сразу же после окончания университета, в пятьдесят четвертом, когда случилась трагедия в Гватемале; то, как морские пехотинцы вторглись в Доминиканскую Республику, он наблюдал самолично, работая в ту пору на кафедре университета Санто-Доминго; в Чили Вернье прилетел через два дня после путча Пиночета; то, как ЦРУ подготовило переворот в Уругвае, он постигал в Монтевидео, встречаясь с теми, кто еще не был арестован тайной полицией.

(Элизабет, его жена, когда он не мог позвонить ей из Санто-Доминго оттого, что была нарушена телефонная связь во время американских бомбардировок, устроила скандал: «Ты грязный бабник, валялся у одной из своих проституток!» Он никогда так не обижался на нее, как тогда; шла война, какие там проститутки, да и потом, отчего именно проститутками обязаны быть те, с кем сводила его жизнь?! При этом он не знал, что у нее уже три года длится роман с его знакомцем; узнал куда позже; подивился который уж раз своей доверчивости и характеру жены; ну, живешь с другим, любишь его, так зачем же меня допекать без всякого повода, просто так, из давней затаенной неприязни?! Вообще Элизабет была странным человеком, все ее поступки определяли гадалки и жрецы черной магии, их слова для нее закон. А еще, будучи сверхтипичной немкой, она преклонялась перед видимым проявлением авторитета, будь то мнение в обществе или сила.)

...Верньe понимал, что ситуация в Гаривасе чревата, удар будет нанесен именно по Санчесу, это стало ему совершенно ясным после гибели Грацио; он представлял себе, как это д о л ж н о произойти, но ощущал невозможность помочь молодому полковнику, которого полюбила Мари; девочка — сложный человечек; как всякий настоящий талант, она и умна, и непосредственна, а как женщина — лишена атакующего начала, добра от рождения.

Верньe договорился с мадридским еженедельником, что там напечатают его очерк о трагедии Доминиканской Республики, написанный по сенсационным, не известным никому материалам, предпослав — от редакционной коллегии, не от него — врезку о том, как схоже происходящее ныне в Гаривасе с тем, что произошло в Санто-Доминго.

Испанцы, особенно после смерти Франко, набирали авторитет в Латинской Америке; демократический эксперимент короля был угоден «умеренным» за океаном; жандармские методы ЦРУ вызывали в стране негативную реакцию; даже путч Пиночета, во времена фаланги еще, но уже на последнем ее издыхании, был воспринят общественностью как всеобщее испанское горе; поэтому судьба Гариваса не могла не тревожить «альма матер» Латинской Америки.

А тревожиться было из-за чего...

Так же как и в Доминиканской Республике, где ЦРУ санкционировало устранение фанатика и садиста Трухильо, компрометировавшего Белый дом своей дружбой, в Гаривасе уничтожили диктатора, похожего как две капли воды на «коррумпированного христопродавца» Трухильо.

Так же как и в Доминиканской Республике, северный сосед не смог загодя просчитать возможные эмоциональные повороты, связанные со свержением диктатора в Гаривасе, и на смену ему пришел не тот, кто был выпестован в Вашингтоне, а Санчес и его друзья.

Такое же случилось и в Доминиканской Республике: на выборах, наскоро проведенных после убийства Трухильо (под контролем проамериканских сил), народ тем не менее сказал свое слово. Новоявленный президент, ставленник ЦРУ, Рафаэл Боннели, исполнявший при Трухильо должность шефа его секретной полиции, был свергнут. Победил левый кандидат, историк и писатель Хуан Бош. То был открытый выпад против Вашингтона. Несмотря на это, у Кеннеди хватило государственной мудрости отправить вице-президента Линдона Джонсона в Санто-Доминго, чтобы тот лично приветствовал народного избранника.

Но когда Джонсон обменивался рукопожатием с новым президентом перед объективами кинокамер, ЦРУ и государственный департамент — каждый по своим каналам — уже начали тайную работу по созданию единого блока против Хуана Боша. Блок сколотили, армия объединилась с крайне правыми, обвинение, выдвинутое против Боша, было давно знакомо: «Левый, он отдает страну коммунистам». И законно избранного лидера сбросил полковник Элиас Весин-и-Весин; сразу же началась вакханалия расправы. Вашингтон, продолжая запланированную акцию, картинно разорвал дипломатические отношения с Санто-Доминго; «демократия прежде всего», как же иначе; была даже заморожена экономическая и военная помощь; однако, когда посол Мартин прилетел в Америку и его приняли в Белом доме, там заметили: «Мы не очень-то хотим, чтобы Бош вернулся обратно, несмотря ни на что». Мартин ответил с убежденностью: «Да, это не президент».

Однако факт разрыва дипломатических отношений оказывал на правых сдерживающее влияние; никто не знал, как будут развиваться дальше события; народ бурлил, требуя гарантий и законности.

В Вашингтоне шла торговля между «ястребами» и «голубями»; ЦРУ и Пентагон настаивали на немедленной интервенции; но государственный департамент считал, что главное — это выиграть время, внедрить в Санто-Доминго своих людей, поставить их на ключевые посты; слово было за президентом.

Прозвучали выстрелы в Далласе, ушел Кеннеди, воцарился Джонсон, и через три недели после похорон он объявил о восстановлении дипломатических отношений с режимом, обменявшись добрыми телеграммами с марионеточным президентом Дональдом Кабралем, правившем страной под охраной армии. Однако, поскольку Кабраль провозгласил необходимость реформ — крайне половинчатых, не затрагивающих устоев диктатуры,— генералы, как наиболее консервативная сила, давно связанная с ЦРУ и Пентагоном, свергли и его. Началась з а в а р у х а; старые военные не ожидали, что против них поднимутся левые офицеры из молодых; вопрос возвращения Хуана Боша из ссылки казался делом часов, не дней даже.

Весин-и-Весин, как наиболее рьяный консерватор (крупный аграрий, связанный с «Юнайтед фрут»), приказал бомбардировщикам, полученным от Пентагона, сбросить бомбы на президентский дворец, где правил «временный президент» Хосе Молина Уренья; началась гражданская война; посольство США в Санто-Доминго отправило шифровку с предложением начать немедленную военную интервенцию; из столицы ответили, что нужен достаточно аргументированный предлог; за одну лишь ночь посол США Беннет организовал телеграмму Весин-и-Весину в Вашингтон о том, что армия не гарантирует жизнь американских граждан, находящихся в республике; на следующий день по телевидению выступил президент Джонсон и сказал, что правительство Соединенных Штатов информировано военными властями Доминиканской Республики о том, что американцы, живущие там, находятся под угрозой. «Поэтому я отдал приказ министру обороны направить туда войска и обезопасить жизнь наших сограждан».

Президент не сказал, что во время телефонного разговора с послом Беннетом слышалась стрельба; дипломат срывающимся голосом объяснил, что ситуация катастрофическая; стрелял, впрочем, офицер безопасности ФБР, чтобы создать должный шумовой эффект; посол Беннет, тайно связанный с корпорацией Дюпона, получил заверения, что после того, как в президентский дворец придет нужный человек, он получит соответствующее количество акций, игра в «опасность» стоила свеч.

Однако помимо Дюпона в Доминиканской Республике были заинтересованы концерны Рокфеллера, Дигона, Ролла, Моргана.

Конкуренты знали, что первый раунд выиграли люди Дюпона; а это не по правилам, каждый должен получить свое.

Началась новая стадия борьбы.

В Санто-Доминго прилетел посол по особым поручениям Мартин, один из самых железных «хард-лайнеров»[1], человек с болезненной ненавистью ко всему, что казалось ему «коммунистическим».

Он был связан с противниками Дюпонов; именно он отвел кандидатуру Весин-и-Весина, остановившись на Антонио Имберте, одном из участников покушения на Трухильо; это вызвало недовольство, ибо Имберте слыл человеком чрезмерных амбиций и скверного характера. Помимо того, все знали, что он давно куплен империей Ролла; это не устраивало ни Рокфеллера, ни Дигона, ни Моргана.

Президент вынужден был считаться с нажимом разных — не по идейным позициям, но по финансовым и деловым интересам — сил и отправил в Санто-Доминго своего помощника Макджорджа Банди и заместителя министра обороны Сайруса Вэнса.

Банди п о с т а в и л на Сильвестра Антонио Гусмана, крупного агрария, сотрудничавшего в кабинете Боша; это должно было устраивать левых. Однако Пентагон по-прежнему поддерживал как Имберте, так и Весина, а не Гусмана.

Банди отозвали в Вашингтон, его ставка на президентство Гусмана была торпедирована; и м п е р и и ждали, не называя своих ставленников; в столице До-

[1] Человек «жесткого курса» *(англ.)*.

миниканской Республики продолжала литься кровь, в конце концов сошлись на кандидатуре Эктора Гарсиа Годоя, который гарантировал максимальные вложения капитала всем американским империям.

Тем не менее игра в президенты продолжалась; все эти месяцы в храмах гремели колокола по убитым; престиж Северной Америки катастрофически падал; наступило время ударных решений; все хотели определенности; что ж, пускай получат однозначную определенность; так было потом в Чили, так провели операцию в Уругвае, так завершилось дело в Сальвадоре, и лишь в Никарагуа ситуация ускользнула из рук; в Гаривасе подобное допустить нельзя.

Операция, проведенная в Доминиканской Республике, когда страна оказалась в состоянии хаоса, что дало возможность монополиям закрепиться там по всем направлениям, сконструировав такого «президента», который устраивал большинство китов Уолл-стрита, стала «опытным полем»; «ходы» политиков, разведчиков и генералов были записаны, изучены, спрятаны в сейфы банков и корпораций; жить надо по закону «аналога»; что ж, «доминиканский аналог» — тема для размышлений на будущее, Санчеса уберут, остановившись на оптимальном варианте, выбор есть.

...Накануне Верньe встретился со своим старым приятелем, который работал на цюрихской валютной бирже; тот знал все; он уже сделал свои деньги, поэтому позволял себе быть откровенным с тем, кто просидел с ним на студенческой скамье пять лет кряду; Верньe достаточно было намека; он сопоставил данные, известные одному ему, с возможными версиями; экономика, биржа, финансы и их обращение были для Верньe раскрытой книгой, он чувствовал этот предмет, как поэт ощущает слово, его таинство; он четко вычислил, кто стоит за устремлением повернуть ситуацию в Гаривасе вспять. Он назовет этих людей Уолл-стрита, надо только почувствовать продольные мышцы спины, поверить в их силу, словно в молодости, нет, в зрелости, когда он тягостно ощущал, как чернокнижные старухи Элизабет насылают на него свои пассы: только б он поступил не так, как

считал нужным, только б сделать ему больно и плохо, только б восстановить против него детей, только б поставить его в такое положение, чтобы он оставался один, все время один, каждую минуту, секунду, только б заставить его потерять себя, смириться и перестать быть тем, кем он родился, — швабом Пиксом, Георгом, сыном Иоганна...

Он поднялся, включил ночник; уже половина третьего.

— Что, милый?— спросила Гала, словно и не спала.— Тебе дать лекарство?

— Нет, спи.

— Ты хочешь работать?

— Да.

— Сварить кофе?

— Я же говорил тебе, когда я подхожу ночью к столу, молчи. Ясно? Я попрошу, если мне что-то потребуется.

— Не сердись.

— Спи.

— А можно, я почитаю?

— Тогда иди в другую комнату, моя любовь.

— Скажи еще раз.

— Зачем?

— Можно, я тебя поцелую?

— Иди прочь, малыш,— он усмехнулся.

Он сел к столу, ощутив, как у него напряглись мышцы спины. Они сделались сильными, упругими; сейчас я напишу это, подумал он, сейчас я напишу главу «параллели» и приложу таблицу с началом моего п о и с к а и анализа колебаний цен на какао-бобы. И скажу, что Белый дом в течение ближайших недель начнет интервенцию; морская пехóта, «спасение жизней американцев» и все такое прочее; статьи в купленных ЦРУ газетах сегодня слово в слово повторяют доминиканское интермеццо; меняются лишь фамилии и название страны, текст можно оставлять прежним... Бедная девочка, неужели я не могу ей помочь? Маленький мой зеленоглазый козленок, замученный нашими сварами с Элизабет, не простивший мне тишину с Гала, как же я люблю тебя, кровь моя, как же горько мне без тебя, но ведь нужен тебе не я, а Санчес, я обязан лишь гаранти-

ровать исполнение твоих желаний, в этом долг отцов, только в этом, в чем же еще?!

В девять утра Вернье связался с редакцией в Мадриде.

— Я закончил врезку о Гаривасе для материала об интервенции в Санто-Доминго, пошлю ее вам «экспрессом», по-моему удалась; во всяком случае, я ударил наотмашь...

...В одиннадцать часов к нему позвонили из Гамбурга; Вернер Хор, шеф финансовой службы концерна, прилетает в Париж, надо встретить, он относится к тем немцам, которые иностранных языков не изучали, типичный мекленбуржец.

— Гала,— сказал Вернье,— приготовь обед, побольше мяса, прилетает один из моих боссов, его надо ублажить.

— Хорошо, милый. Какого мяса купить?

— Ах, ну я не знаю, право! Купи свинины. Или баранины.

— Хорошо, милый, не думай об этом. Я что-нибудь сделаю и обязательно натушу капусты, он ведь должен, как и все истинные немцы, любить капусту?

Хор, однако, отказался приехать на обед к «герру Пиксу», предложил перекусить в баварском ресторане на Елисейских полях, ему, видите ли, сказали, что там дают настоящий айсбайн[1] и вообще национальная кухня; в моем возрасте, добавил он, нельзя ничего менять, кухню тем более.

Официантка, одетая, как и полагается быть одетой в деревенском ресторанчике под Мюнхеном — белая кофточка с вышивкой, расклешенная юбочка с кринолином и фартук — принесла айсбайн, козий сыр и пенное пиво в больших кружках.

Хор ел хмуро, вяло интересовался распространением изданий, связанных с вопросами экономики, нефти и финансов во франкоязычном мире, отвратительно мял салфетки; тонкие губы финансиста вызывали в Вернье неприязнь, особенно оттого, что были постоянно сальные, словно бы он так и жил с куском айсбайна за щекою, тщательно его пережевывая.

От кофе Хор отказался.

[1] Вареная свинина (*нем.*).

— Берегу сердце, герр Пикс, и вам рекомендую... Мы старики, в нашем с вами возрасте за здоровьем надо следить... Единственно, о чем я молю бога, это о том, чтобы умереть мгновенно. Непереносимо лежать с перекошенной мордой, парализованному... Не находите?

— Я запасся цианистым калием.

— А кто положит его вам в рот?— оживился Хор.— Сиделка? Ее отправят в суд. Родственники? Они тоже не захотят встречи с законом. А вы и не доползете до стола, где храните эту удобную смерть, вы же парализованы, под вас «утку» будут подкладывать... И вас постоянно, с утра до вечера, будет обуревать ужас, которым вы ни с кем не сможете поделиться: деньги кончаются, чем кормить семью, внуков, грядет нищета, что может быть страшнее? Я пережил нищету, знаю ее гнет. А вы, герр Пикс?

— Тоже.

Хор покачал головою.

— Вы пережили ее молодым, одиноким, это не есть нищета, это лишь временное неудобство... Трагедия наступающей нищеты ощутима по-настоящему лишь тем, кто обременен детьми и внуками... Если, впрочем, он человек, а не мотылек... Ладно, теперь о деле, герр Пикс... Вы очень мало пишете в здешних изданиях, ваши публикации аморфны, в них нет угодной концерну позиции... Я уполномочен передать вам просьбу руководства... Пока это просьба... Пока... Либо вы определитесь, либо ваш объективизм перестанет нас устраивать — и мы будем вынуждены отказаться от ваших услуг здесь, в Париже...

— Что не устраивает Гамбург в моих обзорах?

— Плазменность.

— То есть?

— Расплывчатость, внепозиционность, излишнее копание в деталях... Словом, если вы не дадите несколько обзоров о положении в Латинской Америке, особенно о начатой коммунистами вакханалии хаоса в Гаривасе, о подъеме экономики Сальвадора в свете американской помощи, нам придется расторгнуть контракт, тем более что срок его истекает в декабре...

— Я подумаю, герр Хор...

— К сожалению, у нас нет времени, чтобы ждать...

Я должен увезти ваш обзор по Гаривасу с собой, герр Пикс. Обзор должен быть связан с самоубийством Грацио, сунувшегося в авнтюру с безумцем Санчесом.

— Когда вы намерены улетать?

— Как только получу материал. Мы же знаем, что вы можете написать десять страниц за день... Вот я два дня и стану отсыпаться в отеле, невероятно устал, ничего не попишешь, старость...

...Проводив Хора в отель, Вернье зашел в «Клозери де Лила», маленькое кафе, любимое место молодого Хемингуэя, заказал кофе, закурил и подумал холодно, спокойно, без той внутренней дрожи, которая била его, пока он обедал с Хором: «Это не просто начало атаки, это ее конец. Они, видимо, все обо мне знали, они терпели меня, пока можно было терпеть, а сейчас у них нет времени, в Гаривасе начнется резня, им нужно заблаговременно готовить позиции... И они знают, сколько денег из тех, что они мне платят, я перевожу Элизабет и Гансу... Это половина всей суммы, а еще четверть уходит на оплату кредита за парижскую квартиру... Считать они умеют, точно просчитали, что без этих контрактов я останусь нищим. И они отлично понимают, что я не сутенер, не смогу жить на деньги, которые Гала зарабатывает в своем салоне... Что ж, придется крутиться, как в молодости, когда я перебивался мелочью в десяти журналах, ничего, кое-как хватало...»

Он спустился в туалет, разменял у женщины, убиравшей там, десятифранковую купюру на жетоны для телефона-автомата, потом сообразил, что их не хватит,— звонить надо не в город, а в Мадрид, поменял сто франков, набрал номер, представился, попросил главного редактора; ответили, что главный на совещании в министерстве информации, вернется поздно.

— А его заместитель?

— Он проводит с сотрудниками обзор подготовленных материалов, сеньор Вернье, что ему передать?

— Нельзя ли пригласить к аппарату Хорхе Гарденаса, он ведет мой материал для следующего номера о Гаривасе и Доминиканской Республике?

— Одну минуту, я попробую.

В трубке зазвучала тихая, нежная мелодия.

«Быстро научились испанцы нашему опыту,— поду-

мал Вернье,— музыка в телефоне — надежная гарантия от подслушивания, секретарям не надо зажимать потной ладошкой трубку, все равно отдельные слова можно было понять».

— Сеньор Вернье, ваш редактор сейчас в городе,— голос — сама нежность, сразу ясно, лжет,— но он оставил записку... Ваш материал снят, его перенесли, но точный номер пока еще не известен.

— А в чем причина?— спросил Вернье, ярясь на себя: что может ответить ему эта красотка?

— Не знаю, право, сеньор Вернье... Позвоните в конце недели сеньору Гарденасу, всего хорошего...

Вот так взяли в оборот, подумал Вернье, быстро это у них делается... Ну, что же теперь? Как поступать? Садиться за материал для Хора и его команды? Ты много лет был в их команде, сказал он себе, и неплохо тебе жилось, да ты и сейчас с ними, ты же страшишься нищеты, разве нет? А кто ее не страшится, возразил он себе, все боятся, кроме тех, кто по-настоящему талантлив, а таких единицы в этом мире, уж что-что, а таланты бог калькулирует, как самый строгий экономист, считая, видимо, нецелесообразным баловать нас, детей своих...

Он поднялся наверх, попросил официанта принести тройную водку, выпил, ощутил жгучее тепло и понял, что сегодня будет пить, пусть герр Хор ждет, надо же ему отоспаться в отеле, устал, как-никак старость...

Он вернулся домой на набережную, в большую квартиру, построенную этой зимой; три комнаты с окнами на Сену для детей, две для себя; выпил еще, лег на кушетку, поставленную на большом балконе, крикнул:

— Гала, ты никогда не жила с нищим?

Та пришла с кухни, села рядом с ним.

— Почему? Жила.

— Ну и как?

— С милым рай и в шалаше... Тебе худо? Этот самый немец обидел тебя?

— Он меня уволил... Я теперь нищий, Гала,— с какой-то неведомой, странной радостью сказал он.— Ты будешь жить с нищим?

— Я заработаю нам на жизнь в салоне,— улыбнулась

Гала.— Какие пустяки, не думай об этом, милый... Мне попадались богатые идиоты, отчего-то везло на них, так что жить с таким умным, нежным и любимым нищим, как ты, это счастье...

— А как я стану помогать детям?

— Я отдам тебе все, что у меня есть, на первое время хватит мальчику и Мари... Не огорчайся, я хорошо зарабатываю в салоне, ты сможешь помогать им, только был бы здоров и оставался таким, какого я люблю... А ты? Скажи, ты еще любишь меня? Или я надоела тебе?

— Надоела,— сказал Вернье.— Терпеть тебя не могу... Ну-ка, дай телефон...

Он набрал номер Хора и сказал:

— Знаете, лучше все-таки вам отоспаться в самолете, я ничего не стану писать, мы же с вами старики, пришло время думать о вечности, Страшный суд, ад и тому подобное...

Положив трубку, он посмотрел на Гала.

— Слушай, а за что ты любишь меня?

Она усмехнулась.

— За что? Это по торговой части, когда любят за что-то. Ты прожил свою жизнь, я свою, каждый из нас видел многое. Но я никогда еще не встречала в моей прошлой жизни таких, как ты.

53

Цепь (иллюстрация N 3). 18.10.83

В двадцать часов сорок минут Майкл Вэлш отправил шифротелеграммы в европейские резидентуры ЦРУ, в которых были даны соответствующие инструкции по поводу «утечки информации», о причастности Дигона к событиям в Гаривасе — с одной стороны и гибели Грацио — с другой.

В двадцать три часа комиссар полиции Матэн с подачи Папиньона до конца убедился в том, что Шор не пойдет на компромисс, во-первых, и не откроет своих карт, во-вторых.

В двадцать три часа сорок три минуты об этом был проинформирован Джон Хоф.

В двадцать три часа пятьдесят девять минут сообщение обо всем этом ушло в Лэнгли.

Цепь (иллюстрация N 4).19.10.83

В пять часов девять минут утра шифротелеграмма от Вэлша поступила в римскую резидентуру.

В двенадцать часов пополудни заместитель резидента ЦРУ встретился со Славко Кадричем за чашкой кофе в маленькой пиццерии, что неподалеку от Колизея (совсем рядом со «стеной наглядной пропаганды»: границы Рима в пору античности; огромная территория империи; княжества времен краха; «Великая Италия» Муссолини и, наконец, нынешние границы республики очень впечатляют).

В пятнадцать часов Славко Кадрич остановил свой потрепанный «фиат» в центре Рима, поднялся по виа Венето, тщательно проверился, сел в автобус, спустился к вокзалу и здесь, возле кассы номер шесть, встретился с Францем Шолли; беседа продолжалась пять минут; Шолли получил портфель, где лежал паспорт на имя Фридриха Роделя, билет на самолет в Берн, водительское удостоверение и пять тысяч долларов; портрет Соломона Шора Кадрич сжег после того, как Шолли сказал, что запомнил лицо инспектора; так же была уничтожена рукописная карта с нанесенным на нее маршрутом Шора, по которому тот возвращался из комиссариата домой, а также фотография парка, где инспектор гулял со своей собакой Зуси.

В двадцать один час неизвестный на большой скорости сшиб Соломона Шора, который шел домой по темной маленькой улице после прогулки с собакой.

В двадцать один час тридцать семь минут Шор был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клинику.

В двадцать два часа семь минут в клинику прибыл комиссар Матэн.

В двадцать два часа тридцать минут в клинику приехали представители прессы.

В двадцать два часа тридцать девять минут журналисты атаковали Матэна вопросами в узком больничном коридоре...

...Спланированный накануне Дэйвом Роллом с к а н д а л начался; неуправляемость процесса была кажущейся; возможные ходы противников заранее просчитаны на компьютерах, эндшпиль предрешен.

54

Ретроспектива IX (семь дней тому назад)

Джеймс Боу позвонил директору ЦРУ домой поздно, в одиннадцать.

— Слушай, дело стоит того, чтобы мы выпили с тобой по стакану молока. Как ты отнесешься к этому?

— Без молока не уснешь?

— Боюсь, что нет...

— Приезжай... Только возьми такси, ладно? И останови на углу, не доезжая до дома.

— Даже так?

— Всегда так, Джеймс...

Он встретил Боу на пороге, провел его в библиотеку; на втором этаже слышалась громкая музыка и молодые голоса; директор пояснил:

— Вечеринка у детей, пусть уж лучше сходят с ума дома, чем в дискотеках, такая грязь, такое падение нравов, марихуана...

— Внеси предложение взять дискотеки под контроль,— усмехнулся Джеймс,— только где ты станешь тогда черпать кадры осведомителей?

— Ты несносный циник, старина. Что стряслось?

— Дай молока, я действительно не могу без хорошего молока, а в отеле от меня шарахаются — молоко только по утрам, вечером изволь пиво пить...

— Снимай пиджак, сейчас принесу...

Только после того, как Боу жадно выпил целый пакет молока, сплошные сливки, он достал платок,

вытер лоб и нос, расстегнул воротник мокрой рубашки и сказал:

— Слушай, старина, возникает любопытная штука... Вокруг интересующих тебя людей, особенно вокруг майора Лопеса, ходят парни Дигона, Рокфеллера и Дэйва Ролла...

— Ты преувеличиваешь...

— Нет, это действительно так... И они замыкаются на Майкле Вэлше, есть у тебя такой?

— Черт его знает,— ответил директор, — очень может быть, что и есть, знаешь сколько их у меня... Только ради этого ты примчался ночью?

— Погоди, старина, погоди... Мы с тобою, по-моему, последний раз хитрили в Канзас-Сити, подсовывая друг другу содовую, чтобы не пить водку, которой нас там хотели накачать... Что случилось?

— Ты сошел с ума!— Директор даже закурил.— Как тебе не совестно? Я хитрю с врагами, и мне платят за это деньги, это мой бизнес, Джеймс, но я никогда не хитрю со своими, не говоря уже о друзьях...

Боу сунул в рот мятную сигарету, как и обычно, не стал прикуривать, снова полез за платком, скомкал его в руке, начал вытирать со лба и шеи быстрые, похожие на слезы, струи пота; потом тихо засмеялся.

— Хорошо, старина, ты так отменно ответил, ты же всегда был у нас самым ловким... Я все понял... Я понял все теперь...

— Что ты понял, Джеймс?

Он спросил это так, что Боу вдруг испугался; зачем я полез в это дело, подумал он, старая дружба, братья по колледжу, сентиментальная блевотина! Он ведь и от меня откажется так же легко, как от Вэлша, будто это трудно узнать, кто его первый заместитель! И поручит собирать данные на меня, и попросит кого-то третьего, со стороны написать сценарий обо мне, пока эти данные идут к нему из его резидентур...

— Я понял то, — медленно сказал Боу,— что зря полез в это дело, потому что похож на слона в лавке, где торгуют китайским фарфором... Вы ювелиры, а я в детстве объезжал коней...

— Именно поэтому я и попросил тебя войти в это дело, Джеймс,— прежним своим голосом, полным дружелюбия и простоты, заключил директор.— Мне надо,

чтобы ты объездил диких испанских жеребцов. Мои ювелиры этого не сделают, а что касается фамилий, которые тебе попались из числа наших финансовых спрутов, то выкинь их из головы, ими занимаются другие люди, а скорее всего это ловко состряпанная дезинформация, которую заглотнули мои мальчики, отдав за это изрядную сумму долларов из нашего годового бюджета... Если помнишь, я обещал тебе назвать акции, которые следует купить... Знаешь что, как самому близкому другу, посоветую тебе обратиться за информацией к Роберту Кару, это парень с хваткой, он даст точный ответ, повторяю, ты застрахован от неудачи, я отвечаю...

55

19.10.83 (22 часа 40 минут)

В маленьком отеле, где остановился Степанов, жильцов было мало; все столы в ресторанчике свободны; два испанца, приехавшие сюда на заработки (официантам тут хорошо платят, местные жители оставили себе только самую высококвалифицированную работу), стояли возле бара, тягуче, по-собачьи зевая.

— Давайте устроимся возле окна, Мари,— предложил Степанов.— Если пойдет дождь, здесь станет так уютно и горько, что сразу захочется писать...

— А мне писать хочется, когда жарища.

— Каждому свое,— вздохнул Степанов.— Надо же, такие прекрасные слова начертать на воротах концлагеря...

— «Работа делает свободным»— тоже великолепно звучит; но и это пришпилили туда же мои единокровцы.

— Я закажу Москву, поговорю с дочкой,— сказал Степанов,— и станем думать, как поступать дальше, у меня есть кое-какие новости...

— У меня тоже.

Степанов кивнул, поднялся, отошел к телефонному аппарату, установленному на маленьком столике возле бара, набрал международную, назвал московский номер, попросил б а р ы ш н ю постараться соединить его поскорее, обратился к испанским официантам на

своем варварском кастильском, поинтересовался, откуда они, те радостно затараторили, полагая, что встретили соплеменника, потом, когда Степанов объяснил, что он русский, бывал в Испании, любит их страну, защелкали языками, начали стремительно готовить салат, томатный сок и кофе.

Вернувшись, Степанов сел напротив Мари, спросил:

— Вы что такая грустная?

Та досадливо мотнула головой, рыжие волосы шуршаще упали на лоб.

— Я грустная потому, что мне звонить некуда...

— А папа?

Она вздохнула, повторив с невыразимой нежностью:

— Папа... У вас сколько детей?

— Двое.

— Счастливы в браке?

— Живем врозь уже много лет...

— А с детьми как?

— Мои главные друзья...

— Как же у них сложились отношения с вашей подругой?

— У меня нет постоянной подруги...

— Яичницу себе готовите сами?

— И очень вкусную...

— Скоро заведете постоянную подругу,— убежденно сказала Мари,— у вас больные глаза.

Он отрицательно покачал головой.

— Нет.

— Да... Вы себя не знаете...

— Только человек самого себя и знает, остальные лишь угадывают его...

— Помните слова: где был самим собою я?

— Нет.

— «Пер Гюнт».

— По-русски все звучит иначе, — заметил Степанов.— Мы избалованы хорошими переводами, не обязательно знать подлинник... Теперь знаю... Это вы к тому, что Сольвейг отвечает: в надежде, вере и в любви моей?

Мари кивнула.

— Истинное лицо человека хранит тот, кто любит его... Любовь детей и любовь женщины — понятия разные.

— К счастью, мои дети — девочки.

Лицо Мари стало каким-то опустошенным, обозначились ранние морщины под глазами, скулы сделались крутыми, а лицо тяжелым, словно после трудного перехода в горах.

— Я тоже дочь и, только когда сама почувствовала усталость, а потом полюбила прекрасного человека, но не могу быть с ним и, значит, ощущаю страх за него, только тогда поняла отца... Он тоже вроде вас много лет готовил себе яичницу, стал толстым, обрюзгшим, морщинистым и ничего не успевал делать, перестал спать без снотворного... А потом рядом с ним появилась женщина, и он снова обрел свое истинное лицо... Раньше, после того как он расстался с мамой, лица не было, маска была... А я и брат... Мы оказались...

Зазвонил телефон — длинно, без перерыва.

— Москва,— сказал Степанов и бросился к аппарату...

Мари посмотрела вслед ему с какой-то невыразимо горестной завистью, подозвала глазами испанца, попросила принести стакан «Розе», самого сухого, желательно итальянского; прислушиваясь к монотонным степановским «алло», выпила медленными глотками терпкое, чуть с горчинкой вино и подумала: «Сила настоящей женщины — в умении ждать; консерваторши, одна Тэтчер чего стоит, мы больше верны устоявшемуся, самим себе. Поэтому-то лишь мы и можем звать мужчину к согласию с самим собою... Папа в долгу перед теми своими годами, когда был молод, отдавая себя мне и брату... А долг приходится оплачивать... И Гала нужна папе не для счастья, просто в ней он реализовал самого себя истинного, того, которого не сумел выявить через маму... Бедная, бедная мамочка не смогла себя сломать... А мы? Ну вот, снова я становлюсь собственницей, снова во мне начинает темно клокотать слово «мой»... Я привыкла к тому, что отец был только моим, и никогда толком не задумывалась, как ему горько просыпаться темными осенними ночами в своей мансарде и варить себе кофе, и садиться к столу за машинку, а потом уходить в редакцию, оттуда в Сорбонну, потом возвращаться и жарить яичницу, включать телевизор, смотреть последние известия и снова садиться за машинку, а после брать снотворное, ложиться в мятую

постель, и, если я не приеду и не вызову прачечную, в грязную, он ведь так увлекается, когда работает, ему неважно, как спать и на чем... А я жила своей жизнью и очень жалела маму, так уж заведено, маму всегда жалеют, писала репортажи, влюблялась, ездила по миру и знала, что у меня есть м о й папа, когда же он позволил, чтобы о нем стала заботиться Гала, я разрешила себе жестокость... Маму я так не судила, я щадила ее...»

...Москву наконец дали; Мари слушала чужую речь; ей казалось, что русский чем-то очень похож на португальский, такая же резкость, перемежаемая странной, непривычной уху музыкальной мягкостью. А потом вспомнила рассказ Карела Чапека про чешского дирижера, который очутился в Лондоне и услышал ночью в порту незнакомую речь, и его слух, особый слух музыканта, уловил в словах невидимых ему собеседников приближение горя, как же этот бедный музыкант старался объяснить англичанам на плохом испанском — надо предпринять что-то, близится беда, но никто не мог его понять — и непоправимое случилось...

...Степанов вернулся к столу побледневший, с глубокой морщиной, прорезавшей лоб, но на губах обязательная улыбка («Крепкий человек,— подумала Мари,— умеет себя вести, то есть если надо, скрывать истинные чувства»); начал говорить про то, какая в Москве погода, были первые заморозки, выпал снег и пролежал полночи...

— У вас дома что-нибудь случилось?— спросила Мари.

— О нет! Что может случиться? Все хорошо,— ответил он, подумав, что надо бы сейчас же сесть в самолет и вернуться в Москву, потому что дочь сухо сообщила ему, что все-таки выходит замуж, хотя обещала повременить, а сейчас сказала: «Все, я решила...»

Она ведь такая, постоянно говорит: «Пока я сама не решу, меня не переубедить...» Но ведь переубеждает горе, счастье, наоборот, утверждает в правоте, он-то знает, что этот ее ранний брак может кончиться горем, зачем же, девочка, ты веришь только себе, своим прекрасным, но столь порою ошибочным чувствованиям?! Да, надо улетать; конечно, сюжет про Грацио и Дигона поразителен, но это здешние заботы, пусть они их сами и расхлебывают, а у него там есть Бэмби с лунными

глазами; она, как тетива, натянута, живет в своем мире, он дал ей право так жить, взял на себя все заботы по ее контактам (боже, какое неверное слово!) с миром; она, глупенькая, думает, что можно так жить всегда, но ведь не будет такого, не будет, маленькая моя...

Представил себе, как теперь она станет приезжать к нему раз в неделю, не чаще, и не одна, а с м у ж е м; это показалось до того ужасным, что даже сердце защемило, какой же ты эгоист, возразил он себе, отвечая невпопад Мари, сохраняя при этом улыбку, разрезая сосиску, намазывая ее горчицей («Да, очень вкусна, вы правы, в Германии еще вкуснее»), какой же ты черный эгоист, неужели ты хочешь держать девочку всю жизнь при себе, это невозможно, ей нужна собственная жизнь, и дай бог, чтобы она была счастлива с Игорем, мало ли что тебе он не нравится, обязан понравиться, потому что ты любишь ее, гордишься ею и веришь, значит, она выбрала достойного, разве я знаю, каков он на самом деле? Ну и что, если косноязычно говорит и любит командовать? Все в молодости любят командовать, пройдет; она ведь не могла выбрать дурня, она так умна, моя девочка, значит, так нужно, и нечего накручивать себя, нет ничего страшнее темной неприязни, которая к тому же не мотивирована толком, а если тебе кажется, перекрестись, как говаривали наши деды...

— Может быть,— сказала Мари,— мы перенесем разговор на завтра? Я вижу, у вас что-то случилось, ваше право не говорить мне, в чем дело... Хотя лучше бы, если, конечно, вы в силах, наметить то, что мы должны сделать завтра, и поговорить о том, что сделано сегодня.

Он кивнул на фужер.

— Пили вино?

— Да. Я уже заплатила.

— Да что ж вы такая занозистая?— рассердился Степанов.— Хотите еще?

— Давайте я вас угощу, а? Вы меня ужином, а я вас напою. Виски хотите?

Степанов подозвал испанца.

— Бутылку «Розе» даме, мне, пожалуйста, водку. Допель[1]. А еще лучше, три порции в одном стаканчике.— Он пояснил Мари: — Ваши двадцать граммов для нас что слону дробина, наша норма — сто с прицепом...

[1] Двойная порция, то есть сорок граммов.

— Что такое «прицеп»?

— «Прицеп» — это сто граммов плюс пятьдесят, именно такая доза входит в граненый стакан, пьется через зубы, а закусывается куском черного хлеба с солью и луковицей...

— Как вкусно сказали,— вздохнула Мари,— может, и мне за компанию попробовать?

Официант принес водку и вино, включил телевизор, устроился за столиком; шло футбольное обозрение, никакой тебе политики, все ясно от начала и до конца...

— Знаете, у нас был поэт,— сказал Степанов,— замечательный поэт... Я поселился за городом, неподалеку от его дачи, сбылась мечта идиота... Привез туда дочку,— он кивнул на телефон,— жену, думал, там, в лесу, все будет совершенно по-особому...

— А как стало?

— Я не об этом... Вы все время что-то свое гнете, я вам про поэта...

— Не сердитесь... Мне очень интересно услышать про вашего поэта... Я знаю его имя?

— Вряд ли... Вы же здесь запоминаете только те имена, которые вам выгодны, а не те, что нам дороги... Так вот, вышел я часов в пять утра, это был май, а он в Подмосковье поразителен, его только один Пастернак смог почувствовать; небо зыбкое, высокое; березы в безветрии, похожи на пятнадцатилетних девочек, такая же чистота в них, ожидание лета... И по маленькой дорожке мимо поваленного забора шел поэт; в руке красивая сучковатая палка — он был мастак находить красоту в лесу, шевелюра пего-седая и пронзительно-голубые глаза... «Привет соседу, поздравляю с переселением в деревню...» Я поблагодарил его, пригласил зайти вечерком на чарку, так у нас полагается, мы это называем «новоселье»...

— Что?

— Это у нас такой праздник... Новый дом, так, что ли, можно перевести, хотя лучше писать по-русски, как Хемингуэй писал испанские слова в своих книгах, русский и испанский труднопереводимы...

— А потом?

— Потом поэт улыбнулся, глаза его стали прозрачными, как морская вода в маленькой бухте ранним ут-

ром возле Мухалатки, есть у нас такое райское место в Крыму, и сказал, что не надо откладывать на после то, что можно сделать сейчас, сразу. Он спросил меня тогда: «В сусеках, может, бутылка припрятана?»

— Что такое «сусек»?

— Это кладовка, место для хранения, а может быть, погреб,— улыбнулся Степанов, произнося эти слова без того страшного английского акцента, с которым теперь наши радиодикторы, вещающие на Запад, произносят названия русских городов и даже имена людские.— Я ответил, что в сусеках у меня есть и бутылка, и сыр, и колбаса, но ведь еще рано, рассвет... Если вы написали хоть одну строчку, ответил поэт,— продолжал Степанов, чувствуя, как успокаивается, вспоминая прозрачноглазого львиноволосого человека,— то вы словно бы на взгорок поднялись, и вам открылась даль, а каждая даль неоглядна и помогает понять себя, так что не грех в этом случае выпить по стакашку, закусив корочкой черного хлеба и половиной головки лука, присыпав ее солью; чудо что за красота откроется. И мы вошли на цыпочках в дом, прокрались на кухню, заставленную ящиками, картонками с посудой, чайниками, достали из сусека бутылку «Столичной», нарезали черного хлеба, почистили луковицу, присыпали ее солью, выпили, и я впервые в жизни тогда понял, как это чудесно — сделать глоток водки ранним утром. Я, правда, в тот день не написал ни строчки, но дочь я привез за город, чтобы она жила в лесу и слышала, как поют птицы, не по телевизору...

Мари сказала:

— Вы так все это изобразили, так грустно, что мне выпить захотелось... Не «Розе», а чего-нибудь покрепче... С хлебом и луковицей.

— Угощаю.

— Слушайте, пожалуйста, не сердитесь, но я терпеть не могу, когда меня угощают мужчины... У нас же принято все калькулировать: если ты привел меня в ресторан, напоил и вкусно накормил, то я просто-напросто обязана лечь с тобой в постель, а этого ни вам не надо, ни мне... У меня поэтому идиосинкразия на угощения... Нет, правда, здесь все считают автоматически: удовольствие в доме любви стоит пятьдесят франков, а хороший ужин с вином пятьдесят семь,

шестьдесят; один к одному, никаких проблем; у меня такое ощущение, что мужчины, которые приводят в кабаки молодых подружек и деловито раскладывают на коленях салфетки, готовятся не к тому, чтобы вытереть рот после еды, а промокнуть любовный пот, честное слово...

— Когда дали Москву, вы рассказывали мне про то, как вы и брат...

— Хорошая же у вас память... Мне расхотелось говорить об этом... Весь мир живет одинаковыми проблемами, одним и тем же. Словом, дети, даже девочки, а может, именно девочки не прощают отцам их счастья, особенно если оно позднее. Чего в этом больше — обиды, непонимания, собственничества, то есть ревности, или эгоизма,— не знаю... Но это так... И не приведи вам бог с этим столкнуться, но вы столкнетесь еще, обязательно столкнетесь, господин Степанов.

— Вы когда пьете, хотите есть?

Она пожала плечами.

— Так ведь мы пьем после еды, это, говорят, только одни русские могут пить и до еды, и во время... Мы экономные, всему свое время...

— Верно,— согласился Степанов,— вы экономные, мы дурни дурнями, а проблемы у всех, считай, одни... Помирились с папой?

— Да как сказать... Он и не обижался на меня, он написал мне тогда: «Я жду, я всегда с тобой, не поддавайся черным магиям, старайся быть справедливой, не меряй людей своей меркой, каждый человек — это мир, астрономы не успевают понять планеты за целую жизнь, а ты выносишь приговор за неделю, справедливо ли это?» Но ведь это слова,— сказала Мари и снова закурила.— А слова — суть бессилие дела.

— Уйдем в дебри,— заметил Степанов.— В чем-то вы правы, действительно слово п о р о й есть бессилие дела, но ведь «вначале было слово»... Как ни крути, но в этой позиции спор с библией бессмыслен... Другое дело, каждый человек, то есть мир, замкнут в себе, хотя подобен ближнему, и то, что истинно для вас, не обязательно будет принято мною, как ни доказывайте вы свою правоту: мысль изреченная есть ложь.

— А как же быть тогда с другим постулатом?

— Каким?

— Истина в слове, ибо в нем сокрыта наша индивидуальность, а на свете нет ничего более подлинного, чем индивидуальность. Согласны?

— Если человек смог сказать свое слово и его слово у с л ы ш а н о,— улыбнулся Степанов, — это одно дело... Но ведь сколько слов не прозвучало... Сколько мыслей не высказано вслух, Мари... Мне вообще-то кажется, что приказное влияние безнравственно и бесплодно; действительно, выразить себя можно лишь мелодией, словом, картиной; каждый человек значителен в той степени, в какой в нем заложен дар художника...

— Нет,— Мари покачала головою,— не согласна. Если человек умеет читать Гарсиа Лорку, наслаждаться Эль Греко, думать над словами Розы Люксембург, если он наделен даром слышать в самом себе музыку Чайковского, тогда он соучастник творчества, потому что сохраняет прекрасное, не дает ему исчезнуть, значит, он тоже художник.

— Это вы к тому, что творчество обязательно двусторонне?— спросил Степанов.— Художник не только тот, кто обращается к читателю или слушателю, но и тот, который читает и слушает?

Мари кивнула.

— Я не спорю,— сказал Степано.— Сплошь и рядом, кстати говоря, читатель видит в книге куда больше, чем там написано. Но это исключение из правил.

— Так ведь всякое исключение лишь подтверждает правило...

— Наши с вами отношения — исключение из правил?— поинтересовался Степанов.— Или?

— Черт его знает... Вы мне нужны в моем деле... Я бы пошла в атаку с кем угодно, только б сделать то, что я обязана сделать... А теперь я присмотрелась к вам... И мне кажется, что давно вас знаю, а это у меня бывает, только если я встречаю хороших людей...

— Я последнее время стал бояться времени,— сказал Степанов.— Так страшно и постоянно стал его чувствовать... Мины рвутся рядом — столько друзей ушло, столько прекрасных людей покинули землю первыми... И мне порою делается трудно жить оттого, что я боюсь не успеть сделать то, что обязан; впору

наговаривать сюжеты ненаписанных рассказов, пусть следующее поколение литераторов реализует...

— У них будут свои.

— Нет,— Степанов покачал головой.— Как утверждают критики, в мировой литературе всего тридцать семь сюжетов. А меня, например, давно мучает сюжет, я хочу написать очень длинную повесть всего лишь об одном часе, но боюсь, что не смогу...

— Расскажите.

— Расскажу,— он приблизился к Мари, и она увидела, какие у него усталые, сосредоточенные глаза.— Представьте себе две линии. Один человек — неважно, мужчина или женщина, скорее даже женщина — на гребне успеха; я не знаю, в чем это проявляется — в искусстве ли, науке, музыке,— но моя героиня обязательно должна быть связана с творчеством... Только если человек решился раскрыть себя, он сможет узнать другого; узнав другого, он сделается с л ы ш н ы м многим, а это и есть гребень успеха... И вот эта женщина, да, непременно женщина, садится за руль машины и несется по ночной дороге к своему другу... Или подруге... Или к маме, я не знаю, к кому, но к очень дорогому ей человеку, чтобы рассказать о своем счастье. Вот... А вторая линия — это история старика, бездомного и одинокого, который пережил самого себя, он остался один в этом мире, и ему страшно жить здесь, он хочет уйти к тем, кто был с ним в лучшие его годы, но боится сделать это сам, нужно мужество, чтобы подвести черту, понимаете? И, отыскивая того, кто поможет ему, кто сделает это за него, он бросается под колеса машины, за рулем которой сидит женщина, совершившая открытие, которое должно принести человечеству счастье... Ну, не знаю, нашла вакцину против рака... Или придумала, как обезвредить в воздухе атомные ракеты, или написала прекрасные стихи... И она сбивает этого старика... Понимаете?

— Зачем писать гимн несправедливости?

— Вот видите.— Степанов пожал плечами.— Я еще не написал, а вы уже меня раскритиковали...

— Вольно обращаетесь со словом «критика». По-моему, критика, если это серьезно, обязательно исповедь, автобиография, признание... Я просто высказала свою точку зрения... Если б вы напечатали это, я бы написа-

ла что-нибудь против вас, исследуя себя, мне было бы так больно и горько это сделать, но я писала бы, ночи напролет писала...

— Значит, задел сюжет?

Помедлив, она ответила:

— Задел...

Степанов откинулся на спинку высокого деревянного стула.

— Или еще... Не сюжет даже, а название: «Усталость, усталость, ничего, кроме усталости»... Писатель все время хочет написать этот рассказ, а его друг, доктор, узнав о его желании, ставит диагноз: тяжелая форма диабета...

— Да ну вас!

— Ладно, Маша,— Степанов улыбнулся.— По-русски вас бы называли не Мари, а Маша... Теперь по поводу нашего с вами предприятия...

Мари посмотрела на экран телевизора, начали передавать последние известия; обозреватель комментировал речь Рональда Рейгана; и г р а л; чересчур старательно расставлял акценты, стараясь при этом сохранить чувство юмора, так принято на западе Европы: солидаризироваться с атлантическим колоссом, но при этом относиться к нему, как к шаловливому ребенку, — бе́з присмотра опытной няни может набедокурить...

— Я не верю ни единому слову Шора,— сказала Мари.— Решилась было поверить ему, но не могу, понимаете? Я слишком хорошо узнала полицейских, когда совсем еще девочкой ходила на демонстрации с Ульрикой Майнхоф, а потом, в Париже, с Кон-Бэндитом... Для них, для наших фликов, даже такие актеры, как Ален Делон и Алек Гиннес,— доверчивые агнцы, они переиграют их, как дважды два, расставят капканы, запугают, обхитрят...

Степанов закурил, поиграл картонной подставочкой, на которой был реклама здешнего пива, и спросил:

— Вам говорит что-нибудь фамилия Цорр?

— В первый раз слышу.

— Он представлял интересы концерна «Нестле» в германском Базеле во время войны...

— Что-то вроде слыхала, они сотрудничали с нацистами...

— Вам так кажется или вы знаете об этом?

— Отец приучил меня в таких случаях отвечать: «У меня нет под рукой аппарата, я должен проверить по картотекам...» Но мне думается, этот господин связан с нацистами... Был, понятное дело, связан.

Степанов повторил:

— «Был»... Связь с нацизмом не имеет права определяться лишь прошлым временем. Если такого рода связь была, она неразрубаема... Словом, если это так, то я верю Шору...

— Напрасно,— уверенно возразила Мари.— Он все время что-то путает...

Хорошенькая дикторша в очках возникла на фоне огромной фотографии Шора.

— Только что в клинику доставлен в бессознательном состоянии старший инспектор криминальной полиции Соломон Шор,— читала она.— Положение, как сказал прибывшим сюда журналистам доктор Робинс, критическое. Комиссар Матэн заявил, что дело, которое вел Шор — о самоубийстве банкира Грацио,— передано в департамент политической полиции, а покушение на Шора, если это было покушение, будет расследовать сам Матэн, лично, ибо, по словам комиссара, их связывала с Шором братская дружба.

...Лицо Мари сделалось таким жалким, словно вот-вот заплачет; она вскинулась со стула, бросила на стол деньги, крикнула испанцам, что приедет за сдачей, и побежала к двери; Степанов поспешил следом за нею.

56

«Дорогой Дмитрий!

Рад был твоей весточке, хотя теперь живу не в «Плазе», но мне переслали. Я построил себе двухэтажную квартиру с лифтом: как у Саскайнда и Трумэна Капоте, это у нас высший шик. К старости, если у человека не было ни юности, ни зрелости, ни среднего возраста, его тянет к суперкомфорту, даже к роскошеству. Я согласен с любимым тобой Монтенем, который утверждает, что философ Аркесилай нисколько не уронил себя в его глазах из-за того, что употреблял серебряную и золотую посуду; Монтеню даже импонировало, что Аркесилай пользо-

вался этими благами с достоинством и отличался щедростью. Не знаю, можно ли назвать щедростью то, что я устроил пьянку во время переезда в дом, но упился до того, что думал, утром меня отправят в крематорий, а не в мою родную «Нью-Йорк таймс».

По поводу Дигона и Гариваса. (Лыско мне неизвестен, я запросил о нем информацию, она весьма ограниченна. Специалист по экономике, кандидат наук, много писал о международных банковских корпорациях, что с ним произошло, здесь неизвестно.)

Наша газета не выдвигала версию о заинтересованности Барри Дигона в развитии ситуации в Гаривасе (я имею в виду возможную дестабилизацию режима Санчеса). Было бы славно, напиши ты мне, кто выступал с такого рода концепцией, я бы смог подсказать, откуда ветер, угадав влияние определенной банковской группы на тот орган прессы, который дал такого рода сведения.

Если ты хочешь мою точку зрения, изволь: как ты знаешь, десять лет назад Дэйвид Рокофеллер (у вас его отчего-то называют Рокфеллером) создал «трехстороннюю комиссию», над проектом которой работал мой друг, а твой враг Збигнев Бжезинский (чертовски ловок, даже вы этого у него не отнимете). Объединились мы, запад Европы и Японии. Большой бизнес и банки разрабатывали в этой комиссии рекомендации для политиков. Именно здесь была сформулирована концепция «невозможности включения лидера итальянских коммунистов Берлингуэра в правительство»; вскоре после этого погиб Альдо Моро, демохристианин, занимавший противоположную позицию. «Трехсторонняя комиссия» высказалась против включения во французский кабинет людей из компартии Марше. Однако Миттеран не поддался давлению; тогда началась атака на франк; ныне инфляция чудовищна, все, кто может, перекачивают деньги из Парижа к нам и в Швейцарию. Я допускаю, что «трехсторонняя комис-

сия» или ее филиал уже сформулировали концепцию по отношению к Гаривасу и политики обдумывают, как реализовать ее в жизни. Однако Барри Дигон не вошел в комиссию, он волк среди волков, но всегда был сам по себе, хотя я догадываюсь о его связях с Алленом Даллесом в первые послевоенные годы, когда Дигон активизировался в Западной Германии.

Не числится Дигон и в членах «Бильдербергского клуба», хотя это тоже весьма престижный форум бизнесменов, в который входили три шефа столь не любимого вами (но весьма многознающего, это вы тоже не отнимете) ЦРУ — Донован, Уолтер Бэдел Смит (после возвращения из Москвы, где он был нашим послом) и Аллен Даллес.

Вообще-то Дигон обычно старается быть в тени, но при том, как правило, оказывается в самых горячих местах. Поэтому, сдается мне, на него, легче, чем на кого другого, можно навесить черную кошку.

И сразу же задаю себе вопрос: кому это может быть выгодно?

Проглядев ряд материалов, я убедился, что позиции Рокфеллеров в Центральной Америке нарушены: их парни применили там слишком открытые болевые приемы; в век стремительного роста престижа третьего мира это плохо проходит. Кое-где м о ж е т образоваться вакуум, а природа, как известно, не терпит пустоты. Допускаю, что Дигон решил поиграть в Центральной Америке; если это и вправду так, его деятельность не могла не быть зафиксирована банковскими филиалами Рокфеллера. Понятно, те сделают все, чтобы не допустить старика в свою вотчину. Поэтому его фамилия стала появляться в таком контексте, который вызовет совершенно определенную реакцию в испаноговорящей Америке.

Тем не менее я стал смотреть наше досье, дабы постараться узнать, нет ли за этим случайным упоминанием Дигона чего-то более предметного, явного.

Пока не имею оснований связывать Грацио и Дигона в один узел.

Советовал бы тебе поглядеть возможность пересечения интересов Дигона, западных немцев и итальянцев в сфере кинобизнеса и производства бумаги, старик на склоне лет ударился в «идеологический бизнес».

Мне здесь назвали имя профессора Верньe (настоящее имя Пикс). Считают, что он сейчас наиболее авторитетный эксперт в том вопросе, который тебя интересует. Если хочешь, я позвоню ему и попрошу проконсультировать тебя.

Твое письмо было грустным. Я старше тебя на четыре года. Давай поживем, подеремся и подружим еще шесть лет, потом можно повторить Эрни Хема — ствол в рот, секунда ужаса и полнейшее спокойствие потом.

Обнимаю, твой Харрисон».

57

20.10.83 (10 часов 02минуты)

Дом Вольфа Цорра удалось найти с большим трудом; как всегда, в таких тихих районах пригорода улочки маленькие, крученые, затаенные.

Цорр назначил Степанову встречу легко, только несколько раз переспросил фамилию, попросил «проспеллинговать»[1] ее, поинтересовался, где тот работает, был немало удивлен, узнав, что не работает — в распространенном смысле — нигде, писатель; спросил, не эмигрант ли, выразил недоумение, поскольку был твердо убежден, что в России писатели обязаны ходить на службу, сообщая в партию о количестве написанных за день слов, дотошно объяснил, как лучше найти его дом, но это тщательное объяснение еще больше запутало, поскольку Степанов привык ориентироваться по главному направлению: налево или направо, вверх или вниз, подробности мешали ему, привык искать быстро с тех пор, когда был репортером, самая, пожалуй, счастливая пора жизни...

[1] Принятая на Западе манера произносить слова по буквам.

В Базеле моросил мелкий дождь; настроение из-за этого было хмурым, нервозным; к тому же Степанов опасался проскочить границу и оказаться в Федеративной Республике, граница здесь проходит по Рейну, самом центре города, паспортный контроль условен, но для него, понятно, безусловен, потом нахлебаешься...

Как всегда, он посетовал на то, что забыл в Москве зонтик; когда улетал, было солнечное бабье лето, человек живет настоящим, как-то не хочется представлять, что вот-вот зарядит непогодь, начнутся сырые холода, не оглянешься, и святки... смотришь, там и Новый год... снег идет, снег идет, убеленный пешеход, удивленные растения — только Пастернак смог так почувствовать эту трагическую пору перехода природы к спячке зимой, действительно, зима — это ночь года, и Александр Яшин великолепно написал про то, что все, кто болел, знают тяжесть ночных минут, утром не умирают, утром живут, живут, и Джон Стейнбек ощущал это же, когда закончил свой роман «Зима тревоги нашей»; боже, как мал наш шарик, сколь схожи чувствования людей и как же они при этом разобщены!

Пока Степанов искал дома Цорра, кожанка его промокла, сделалась волглой, еще простудишься на обратной дороге; впрочем, в поездах здесь тепло, да и свитер из ангоры, ничего. Светлая память Марку Соркину, спас от туберкулеза, а сам погиб совсем молодым еще...

Дверь открыл Цорр; он был в сером костюме, рубашка светло-голубая, туго накрахмалена; элегантная серая бабочка, мягкие мокасины; он не скрыл удивления, оглядев кряжистую фигуру Степанова в коричневой кожаной куртке, свитере, джинсах и тяжелых, на каучуке мокроступах.

— Господин Степанов?— уточняюще спросил он и, лишь выслушав утвердительный ответ, снял цепочку с двери.— Милости прошу, пожалуйста, проходите.

Порядок в доме был к л и н и ч е с к и й. Степанов уже привык к тому, что в квартирах и коттеджах немцев и швейцарцев обычно царствовал дух чистоты, нигде ни пылинки, каждая вазочка, цветок, не говоря уже о стуле, словно были прикреплены сверхсильным магнитом к своему месту; но у Цорра порядок какой-то совершенно неживой, м е т а л л и ч е с к и й.

— Кофе?— спросил Цорр.— Или хотите погреться? У меня есть русская водка «Смирнофф».

— Кофе выпью с удовольствием,— ответил Степанов.— А может быть, и водку.

— Вы предпочитаете кофе до разговора, господин Степанов, или же во время?

— Лучше до.

— Меня научили готовить по турецкому рецепту — помимо сахара чуть-чуть лимона и щепотку соли, совершенно изумительный вкус. Не опасаетесь столь резких контрастов?

— О нет,— ответил Степанов.— Я пил такой кофе на Кавказе, в Сухуми, очень вкусно.

— Я посещал Сухуми, прекрасный город, но нет ни одного ночного ресторана, негде потанцевать, совершенно не продумана сфера сексуального обслуживания туристов.

— Да,— усмехнулся Степанов,— с этим делом туго, бедные туристы... Но как-то устраиваются, иначе б не ездили...

Цорр заварил кофе в стеклянном кофейнике, очень жидкий, поинтересовался, не желает ли Степанов сахарина, выслушав отрицательный ответ — больные почки, принес тоненькую, прекрасного фарфора сахарницу, предложил ему сесть в кресло возле стереосистемы, легко забросил ногу на ногу и, сделав маленький глоток, спросил:

— Чем обязан вашему визиту?

— Господин Цорр, я слышал, что у вас есть материалы, связанные с преступлениями нацистов...

— От кого к вам пришла эта информация, господин Степанов?

— Мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос, господин Цорр... Придется лгать, а это всегда неприятно...

— Хорошо,— кивнул Цорр,— я тоже сторонник того, чтобы говорить правду... Сформулирую мой интерес иначе, если изволите, у ж е, вам тогда легче будет сказать правду... Эта информация пришла к вам не из банковских кругов? Еще более конкретно: не из тех, кто входит в орбиту Барри Дигона?

— Нет.

— Я удовлетворен, господин Степанов... Дело в том,

что его люди оклеветали меня, обвинив в связях с мерзавцем Эйхманом, будто я повинен в том, что эсэсовцы погубили брата Дигона Самуэля... Они лишили меня службы, они хотели, чтобы я исчез с лица земли, но, как видите, правда восторжествовала... Я никогда не был связан с нацистами, никогда, хоть и работал в рейхе, это правда, но там работал и Самуэль Дигон вполне открыто до тридцать восьмого года... Более того, я всегда был антинацистом и чем мог помогал несчастным... Именно потому, что я был противником жестокости, у меня сохранились кой-какие материалы по трагическому еврейскому вопросу... Простите, вы сами...

— Я русский...

— Очень хорошо... Так вот, только потому, что я был противником неразумной жестокости, я и согласился помочь в установлении контактов между немцами и американцами в сорок третьем году... Мною руководствовала не корысть, но сострадание...

— Контакты между кем и кем? Конкретно?

— Между князем Гогенлоэ и Алленом Даллесом.

— Но контакт состоялся в сорок четвертом году, господин Цорр.

— В сорок третьем.

— У вас есть какие-то документы об этом?

— Да.

— Можете познакомить меня с ними?

— В том случае, если вы обещаете сказать правду о моей роли во всем этом деле... Знаете, Геринг был большой свиньей, но во время суда в Нюрнберге он, я слышал, произнес неплохую фразу, что, мол, не боится потерять голову, но страшится потерять лицо... Самое страшное — незаслуженная обида, согласны?

— Вполне, господин Цорр, но каким образом я могу сказать правду о вашем участии в этом деле, если у меня нет документов и я обладаю лишь односторонней информацией? Правда всегда посредине, на стыке полярных точек зрения...

— Вот видите! Совершенно верно! Я не хочу обидеть вас, но вы должны согласиться, что в вашей пропаганде по поводу немцев тоже были преувеличения

— Не могу согласиться, господин Цорр. Не было преувеличений. Была правда.

— Ну, хорошо, а Геббельс говорил бог знает что про вас... Вы же верно сказали, правда на стыке полярных точек зрения.

— Геббельс — это не есть точка зрения, это патология и уголовщина. Когда я говорил с с т ы к е, я никак не имел в виду этот аспект вопроса: нацизм и правда — понятия взаимоисключающие.

— Но вы же не станете отрицать, господин Степанов, что во время Гитлера были построены прекрасные автострады, покончено с безработицей и...

— И введена карточная система, господин Цорр. А те, кто не хотел строить автострады, были отправлены в концлагеря, были запрещены книги Толстого, Манна, Брехта, Маяковского и упоминание имени Альберта Эйнштейна... На каждого немца заведена учетная карточка в гестапо... И никаких гарантий, все подчинено воле психически больного злодея...

— Я опасаюсь, как бы мое правдолюбие,— вздохнул Цорр,— не показалось вам пронацизмом, мне бы очень этого не хотелось...

Он встал, подошел к стеллажу, открыл особым плоским золоченым ключом массивную дверь вмонтированного в стену сейфа, достал несколько разноцветных папок, взял синюю, остальные положил обратно, вернулся к креслу и протянул Степанову несколько страниц.

— Я действительно содействовал появлению на свет этого документа. Прочтите и скажите, виновен ли я в том, что он существует? Впрочем, не я, так другой помог бы этому... Еще кофе? Пока будете читать, я приготовлю нам по чашечке, а?

— Да, благодарю вас...

— Можете сделать выписки,— сказал Цорр.

— Если позволите, я надиктую этот текст на мой диктофон.

— Пожалуйста.— Цорр легко с м а з а л взглядом маленький, величиной с записную книжку, аппаратик, который Степанов достал из внутреннего кармана кожанки.

Он просмотрел страницы и начал диктовать:

— Двоеточие, открыть кавычки. «В начале беседы «герр Бауэр» заявил «мистеру Робертсу», что прибыл сюда как сугубо частное лицо по настоянию его друга.

Он добавил, что не питает иллюзий относительно возможных результатов этих переговоров, поскольку не имеет специальных полномочий. Однако в качестве патриота своей страны он готов ответить на любой вопрос с тем, чтобы, если это потребуется, устранить излишние недоразумения и непонимание.

«Мистер Робертс» заметил, что он вполне согласен с этим и что для него особенно важно понять взгляды представителя молодого поколения национал-социалистов, неразвращенного пропагандистскими теориями.

В ходе беседы выяснилось, что «мистер Робертс», приятного вида человек, в возрасте примерно пятидесяти лет, удивительно хорошо осведомлен о проблемах Центральной Европы, и «герру Бауэру» все время приходилось быть начеку.

«Мистер Робертс» начал беседу, высказав мнение, что Германия совершила величайшую ошибку, доведя дело до войны. В процессе мирного развития все страны Восточной Европы быстро оказались бы в руках Германии, и ни Великобритания, ни Америка не намерены были — без достаточного повода — препятствовать этому силой оружия. Если бы в таких условиях Германия захватила те страны, ей было бы легко вести войну против России. Общественное мнение Великобритании и Америки в подобных обстоятельствах не мешало бы Германии одержать победу над Россией.

Далее «мистер Робертс» сказал, что Германия имеет больше оснований, чем Соединенные Штаты, сожалеть о том, что события развивались не таким именно путем, а иначе. Он не мог понять, почему национал-социалисты все время ломились в открытую дверь, в результате чего, а также из-за их жестокой позиции в еврейской проблеме они восстановили против себя мир.

Что же касается его личных чувств по данному вопросу, то он не любит евреев, ему не нравится, что они могут теперь украсить свою шестиконечную звезду еще одним мученическим венком. Однако непонятны и попытки истребить евреев или, например, поляков. По закону природы обрезанная ветка растет быстрее. Волна ненависти к немцам и симпатии к их жертвам поставили под сомнение достижение Германией ее цели.

Почему Германия не действовала более искусно в еврейском вопросе? Например, так, как англосаксон-

ские страны. В этих странах евреев просто не допускают на ключевые посты и на практике, хотя об этом ничего не говорят, с успехом вводятся выраженные в процентах предельные нормы допуска их в институты. Возможно, это фарисейский англосаксонский метод, но он позволил достичь практических результатов, не вызывая шума и не создавая причин для обвинений.

«Герр Бауэр» ответил на соображения «мистера Робертса» с помощью известных аргументов, стараясь не раздражать, мягко отверг все его доводы, хотя он, конечно, не в состоянии был убедить «мистера Робертса», но доказал ему, что эти проблемы, а также следующие из них выводы могут быть истолкованы иначе. Например, евреи сами вызвали суровые меры против себя, и эти меры были продиктованы не жестокостью немцев, а необходимостью защитить свои жизненные интересы.

«Герр Бауэр» заметил, что во время войны погибло меньше поляков, чем в свое время индейцев в Соединенных Штатах или ирландцев в результате применения англосаксонских методов.

Оба эти случая, однако, были проявлением откровенного империализма, в то время как Германия сталкивалась с необходимостью вести борьбу за жизненное пространство. Однако, поскольку Германия интересуется не англосаксонскими проблемами, а насущными для нее вопросами, было бы хорошо, если бы англосаксонские страны проявили такую же мудрую сдержанность и прекратили разжигать страсти своими эгоистическими идеями об усовершенствовании мира, а также предъявлять к другим большие требования, чем к самим себе.

Далее «герр Бауэр» коснулся критических замечаний «мистера Робертса» относительно довоенной политики Германии на востоке. Он отверг утверждение о том, что Германия по своей воле избрала курс, который проводила на юго-востоке. Указал также, что именно американцы по вполне понятным мотивам препятствовали всякому примирению между Германией и Великобританией. Даже Мюнхенское соглашение расценивали как вызов. Все успехи Германии достигнуты в борьбе с открытым или скрытым противодействием англосаксов. Для англосаксов Мюнхенское соглашение не было конечной целью. Они рассматривали его как временную

меру, необходимую для того, чтобы в один прекрасный день, выждав и вооружившись, оказаться в состоянии предпринять более эффективные меры против Германии.

Оккупация же Праги была вызвана враждебными настроениями чехов, поощряемых англосаксами. Германия несла ответственность за развитие этих районов и готова нести ее также впредь.

Адольф Гитлер решил действовать так после длительных попыток добиться мирного соглашения, но ему не верили, и ничего не было предпринято для сохранения надежд на мирное урегулирование.

Теперь англосаксы столкнулись с таким Гитлером, какого они и заслужили. Вполне понятно, продолжал «герр Бауэр», почему англосаксы его не любят. Однако в глазах немцев это скорее преимущество, чем недостаток.

«Мистер Робертс» не должен тешить себя надеждами относительно того, что в Германии найдутся могущественные и влиятельные группы, желающие вести переговоры с противником.

«Мистер Робертс» согласился с этим, отметив, что война будет продолжительной и что в Германии нет каких-либо разумно действующих групп, с которыми можно вести успешные сепаратные переговоры. В этом отношении Америка не питает никаких иллюзий. Однако в конечном счете Германия будет побеждена, поскольку, несмотря на действия ее подводных лодок, безопасность морских перевозок союзников обеспечивается, а возможности Америки в судостроении практически не ограничены. В скором времени немцы будут изгнаны из Туниса. В дипломатическом отношении Турция для них навсегда потеряна, а Болгария начинает колебаться.

Он не упомянул об Италии, поскольку, по его мнению, ныне эта страна не имеет серьезного значения.

Америка располагает достаточным запасом времени, денег, людских ресурсов для того, чтобы вести длительную войну. Допуская психологические просчеты, Германия лишь способствовала единству и согласию в рядах союзников.

Восстановив против себя социалистов, евреев, масонов и малые страны, она теперь досаждает христиан-

ской церкви. Германия как будто старается сделать все возможное, чтобы стать непопулярной.

Америка не намерена воевать каждые двенадцать лет и стремится к прочному и длительному урегулированию, в котором, учитывая горький опыт прошлого, она хочет играть решающую роль.

Можно будет сожалеть, если Германия не примет участия в урегулировании, поскольку эта страна играет, несомненно, более важную роль, чем какая-либо другая в Европе.

«Мистер Робертс» выразил надежду, что Германия все же по-прежнему останется стабилизирующим фактором, хотя в настоящий момент ему неясно, как этого добиться. Ненависть, которую она вызвала к себе,— обстоятельство, с которым приходится считаться. В данный момент общественность союзных стран не согласится ни на какой компромисс.

Он предполагает также, что англосаксы не примирятся с личностью Гитлера, подпись которого не внушает более ни малейшего доверия.

В ответ «герр Бауэр» заявил, что немецкий народ будет поддерживать Гитлера и его цели, независимо от того, какой исход предопределен судьбой. В Германии все знают, что борьба предстоит тяжелая и жестокая. Тем не менее имеются и основания для оптимизма. Европа находится в руках немцев, продвижение русских остановлено, англосаксы не в состоянии высадиться на континенте, их тыловые коммуникации под постоянной угрозой. Гений и твердость фюрера — великий козырь в руках Германии, отказываться от которого она не намерена.

Вообще немцы не такой народ, чтобы кричать «осанна» своему фюреру в дни триумфа и «на крест его», когда наступают тяжелые времена. Ни один порядочный немец не поступит подобным образом, независимо от того, принадлежит он к числу национал-социалистов или нет. Опасность большевизма также сплачивает немцев.

Конечно, допускались и ошибки, однако их было меньше, чем у противника. Ни в одной оккупированной стране немцы не действовали так неразумно, как англосаксы в Северной Африке.

«Мистер Робертс» вновь высказал согласие с тем,

что последнее слово еще не сказано. Он попросил «герра Бауэра» не думать, что он, Робертс, недооценивает силы противника. Пушки будут говорить до тех пор, пока не возникнет реальная перспектива окончания войны. Никто не может ничего предсказать. Не исключено, что наступит день, когда можно будет ускорить окончание битвы с помощью своевременно установленных контактов, которые должны способствовать устранению недоразумений и разногласий.

«Герр Бауэр», в принципе, не отвергал мнение, высказанное «мистером Робертсом», отметив, однако, что он не видит такой возможности в ближайшем будущем.

В завершение беседы «мистер Робертс» пригласил «герра Бауэра» на следующий день поужинать вместе с его шефом, «мистером Буллом». Подчеркнул, что «мистер Булл» — правая рука президента по вопросам, касающимся Европы,— рад встретиться с «мистером Бауэром», чтобы честно и откровенно обсудить существующие проблемы. Он дал слово джентльмена, что состоявшийся разговор останется в тайне».

Степанов спрятал диктофон, протянул документ Цорру.

— Интересно. «Герр Бауэр» — это штандартенфюрер СС князь фон Гогенлоэ?

— Именно. А «мистер Робертс» — человек Аллена Даллеса или сам Даллес, а он возглавлял фирму «Салливан и Кромуэл», представлявшую интересы концерна Барри Дигона в гитлеровском банке Шредера, будучи при этом резидентом американской разведки! И этот Барри Дигон смел шантажировать меня тем, что я содействовал одному из его людей в контакте с наивным идеалистом Гогенлоэ, который после покушения на фюрера был брошен в тюрьму вместе с женою... А в чем его вина?! В чем? Или, тем более, моя?! Но я умею постоять за себя, господин Степанов, у меня есть силы, чтобы взять реванш, я возьму его очень скоро, следите за газетами! Дигон не поднимется, это я вам говорю, я не кидаю слов на ветер, узел «Грацио-Гаривас» развяжу я, и это будет день моего торжества...

— Видимо, вы не пожелаете рассказать мне об этом узле?

— Пока еще рано. Остались дни, господин Степанов, считанные дни до того часа, когда я справлю триз-

ну по Дигону... Публично обвиню его в причастности к гибели Грацио, докажу документально, отчего Дигону так мешал Грацио в Гаривасе. Пусть себе болтают о его самоубийстве, я знаю правду, всю правду... А впрочем... Попробуйте встретиться с Бенджамином Уфером... Задайте ему только два вопроса: «Вы верите в самоубийство Грацио? А если нет, кого вы можете обвинить в его гибели?» Нет, иначе конкретизируйте предмет своего интереса: «Кому на пользу гибель Грацио?» И послушайте, что он вам ответит. Если в нем осталась хоть капля человеческого достоинства, он скажет вам, что гибель Грацио выгодна только одному человеку — Барри Дигону. Потому что старик тайно лезет в Гаривас, а там сильны позиции Грацио. Если Уфер вам не ответит, значит, и его, запугав, перекупили. Возвращайтесь ко мне тогда через недельку, и я открою то, что так или иначе станет достоянием гласности, но пусть он только посмеет не ответить вам!

— Господин Цорр, как вы понимаете, если я стану писать, то буду делать это в советской прессе... У нас не очень-то любят безымянные материалы... Вы даете мне право упомянуть ваше имя? Сослаться на вас?

Цорр на какое-то мгновение замер, тень растерянности мелькнула на его лице, потом сказал:

— Я должен посоветоваться с моим адвокатом, господин Степанов. Вы понимаете, как могут здесь отнестись к тому, что я сотрудничаю с красными... Впрочем... Хотя нет, я должен обсудить эту пропозицию... Без ссылки на меня — пожалуйста, я даю вам право, не может быть двух мнений...

— Скажите, а чем был вызван удар Дигона против вас?

— Как чем?!— Цорр недоуменно пожал плечами.— Знанием. Моим знанием. Тем, что я знал больше, чем другие.

— Когда об этом стало известно Дигону?

— Дигону, быть может, это неизвестно и по сей день, он вершина пирамиды, но тысячи людей служат ему, связаны с ним, живут его успехами и страшатся краха. Поэтому все, что исходит из его концерна, для меня определяется лишь одним именем — Дигон!

— Я понимаю... Но меня интересует дата... Когда Дигон понял, что вы знаете о нем нечто такое, что является его тайной?

— За две недели перед тем, как против меня начали кампанию в прессе. Я имел неосторожность сказать в обществе, что чистенькие, вроде мистера Дигона, стоят на словах за честный бизнес со всеми партнерами, но предпочитают заключать сделки с теми, кто ими же сотворен, с марионетками... И напомнил, как он подталкивал Америку к интервенции в Доминиканскую Республику после того, как скупил акции этой маленькой страны здесь, у нас, накануне катастрофы... Вы думаете, это не фиксируется теми, кто держит руку на пульсе мировой экономики? А уж экономика знает, как диктовать политикам нужные решения...

— Дигон действительно имел отношение к интервенции в Доминиканскую Республику?

— Самое непосредственное. Трухильо, доминиканский диктатор, давал взятки нужным людям в Вашингтоне, чтобы развязать себе руки... Он позволял двум американским финансовым империям делать все, что они хотят... А те потеряли над собою контроль, подвигнув этого безумца на то, чтобы организовать покушение на президента Венесуэлы Ромуло Бетанкура... Тот ведь рискнул сделать так, чтобы нефть принадлежала его стране, а не уходила к Рокфеллеру... Это был скандал... И Дигон постарался, чтобы Белый дом отринул Трухильо... Нало было менять статиста, и Дигон поставил на это и выиграл бы, не погибни Кеннеди... Линдон Джонсон — человек южной ориентации, и Дигон проиграл. У него слабые позиции на западе и на юге Штатов, но с тех пор он особенно устремлен в страны Центральной и Южной Америки, я докажу это. Доказал это,— уточнил Цорр,— как дважды два, и меня сломали... Нет, неверно, не меня, а мою карьеру в бизнесе... Этого у нас не прощают, мистер Степанов, только поэтому я не настаивал, чтоб вы ответили, кто назвал вам мое имя... Я должен отомстить, а моя месть — это правда о Дигоне, не хочу ничего иного...

В поезде Степанов устроился возле окна; пассажиров почти не было; все экономят время, ездят на машинах, бензин снова несколько подешевел, полный бак стоит столько, сколько зимние меховые сапоги, всего лишь; раньше, полтора года назад, цену так взвинтили, что можно было купить две пары сапог, чистое разоре-

ние, подумал Степанов, жаль, что наши пропагандисты не переводят цены в реалии, понятные читателям.

Он снова и снова вспоминал свой разговор с седым господином; видимо, тот говорил правду, он хорошо себя продал, ознакомив меня с переговорами Даллеса—Гогенлоэ, решил Степанов, заявил свою цену, а потом перешел к Дигону, словно бы зная, что Мари и меня интересует этот господин. Почему он так поступал?

Степанову приходилось встречаться и со старыми нацистами, и с теми, кто был с Даллесом; те говорили осторожно, на вопросы отвечали с оглядкой, тщательно взвешивая каждое слово.

«А этот?— спросил он себя.— Разве этот не взвешивал? И потом, он не назвал ни одного имени, ни одной цифры... Нет, неверно, он сказал про Бенджамина Уфера... Тот американец, который рассказывал об убийстве Нго Динь Дьема, взял с меня честное слово, что я не стану писать о деталях, не упомяну его имени в течение двадцати лет, и я дал ему слово, он рассказал мне все, что знал... Почему Цорр не потребовал того же? Потому что,— возразил себе Степанов,— тот человек был кадровым офицером ЦРУ, вышел на пенсию, а Цорр вроде бы не из разведки, вполне респектабельный бизнесмен... Бывший бизнесмен... Но разве это мешает ему работать на чью-либо разведку?.. Ладно, успокойся, не пугай себя попусту... Сначала нужно увидеть Уфера, а там видно будет... Любим мы ярлыки клеить, как что непонятно, так сразу пугаем себя чужой разведкой... Шору тоже я поначалу не верил, а именно он назвал мне имя этого господина... И взял слово, что буду молчать про это... Да, но Шор сказал и Мари о Цорре... Правильно, судя по тому, как его жестоко вывели из дела, Шор что-то чувствовал, поэтому и з а р я ж а л информацию по всем направлениям... А что он чувствовал? Не обмолвился ни словом про это... Хотел все высказать глазами, а это не путь... Когда наступает кризис, надо называть все своими именами, надо говорить во весь голос, без недомолвок, карты на стол, иначе поздно будет... Так и получилось... Если его спасут, куда еще ни шло, а коли унесет все с собой? Фу, как грубо ты сейчас сказал,— устыдился Степанов,— как нехорошо, старик, нельзя же так, дело есть дело, все верно, но ведь в клинике лежит человек... Без сознания... Худень-

кий, слабый, с тонкой шеей... Я очень ясно представляю, каким он был ребенком. Пора браться за материалы по Доминиканской Республике... Цорр не зря н а ж и м а л на эту тему, в прошлом есть очень много такого, что позволяет лучше понять возможности будущего... Мари надо попросить найти Бенджамина Уфера... Конечно, если бы к Цорру поехала она, могло бы быть больше пользы для дела. А почему она отказалась? Она не объясняет отказ или согласие, просто говорит «да» или «нет». И все. Как режет. И я ей верю. Но Мари не говорит всего, она знает больше. Что ж, это ее право. Я тоже знаю немало, но не выхожу ведь на перекресток, чтобы вещать во все горло. Ты пишешь,— возразил он себе,— это совершенно другое дело. Стараешься писать книги, и не тебе решать, что получается, ты брал то, что находил — предание, анекдот или сюжет вроде того, который сейчас раскручивается на твоих глазах,— и продолжал диалог прошлого с будущим... Только читатель вправе решить, вышел у тебя диалог или нет, он один ценитель и судия в последней инстанции. Нет,— подумал Степанов,— увы, не он один. Критик. Критика. Разница между тобою и критиком в том, что ты действуешь, создаешь нечто, а он созерцает... От критика зависит, окажется ли процесс созерцания длительным или кратковременным. Ты написал, то есть свершил, и ты закончил, а читать можно сотни раз, десятки лет... Главный вопрос в том, вышел ли ты на людей. Помогли тебе в этом критики? Сколько у нас мешали Конан Дойлю и Ремарку, а ведь, несмотря ни на что, они пробились к читателю... Снова ты про критиков,— подумал он,— хватит, сколько можно... Впрочем, у кого что болит, тот о том и говорит. Каким я написал человека, таким он и останется... Если останется,— поправил себя Степанов,— не заносись, нельзя... Если бы ты мог писать так, чтобы все твои герои стали о б р а з а м и, людьми, а не схемами, носителями идей и чувств, ты одолел бы смерть, бытие растворилось бы в творчестве... Стоп,— сказал он себе,— давай лучше думай над тем, что услыхал только что, и принимай решение, как поступить дальше... А еще постарайся понять, отчего ты так растерялся, выслушав Цорра... Только ли оттого, что он говорил — без подсказки и наводящих вопросов — о том, что так интересует тебя сейчас, или что-то иное в подоплеке этого ощущения?»

А резидент ЦРУ Джон Хоф, получив запись беседы Цорра со Степановым (Цорр передал ее Семиулле Гаджи через десять минут после ухода русского, тот ждал, подремывая в «ягуаре» в ста метрах от коттеджа), отправил шифротелеграмму Вэлшу; она была предельно краткой: «Операция прошла успешно. Класс работы Цорра высокий, предполагаю развертывание активности Кровс-Степанова».

58

21.10.83 (9 часов 45 минут)

Мари получила письмо без подписи: «Пусть ваши друзья ищут все, связанное с Доном Валлоне, проживающим в Палермо. Оттуда могут быть обнаружены следы к загадке Грацио».

Она не знала и не могла знать, что это письмо отправил отец, как только прочитал сообщение о том, что в Палермо, в подвале дома на виа Греми обнаружен труп громадного мужчины, идентифицированного полицией как Витторио Фабрини, служившего телохранителем Грацио в течение двух лет после убийства инженера Энрике Маттеи. На задержании Витторио настаивал Шор.

Мари нашла Степанова, как только тот вернулся от Цорра; они встретились в кафе.

Степанов прочитал письмо дважды, закурил, заметив:

— Видите ли, я в свое время прикасался к проблеме мафии... Вам в это дело влезать нет смысла... Тем более анонимный корреспондент рекомендует искать следы не вам, а вашим друзьям... Был бы рад им оказаться.

— У меня сегодня назначена встреча с Бенджамином Уфером... Как ни странно, он согласился поговорить со мной... Есть у нас здесь такой «сэр Все», не слыхали о нем?

— Нет, кто это?

— Очень славный старый американец, репортер Билл Уоррен, ему за семьдесят, он перебивается справочной работой, ведет досье на все и на всех... Плату берет недорогую, всего сто франков за трехстраничную

информацию. Я могу с ним условиться, съездите?

— Вы у него на Дигона информацию запрашивали?

— Он дает имена, связи, скандалы, отчеты о судебных процессах; вглубь он не рвется; чисто американская школа журналистики; они передают факт, и только; это вы, русские, и мы, немцы, норовим влезть в проблему и докопаться до правды, сплошные Будденброки и Карамазовы... Вглубь проникает мой папа, никто так не знает этот предмет, как он... Ну, согласны?

— Разумеется,— ответил Степанов, сразу же вспомнив свою московскую подругу; она очень смешно произносила это слово, раскатисто, словно пуская шар по асфальту.

«Нужны деньги,— понял он,— сто франков я найду, потом, здесь живет Карл, я его принимал в России, он оплатит часть моих издержек, сплошные клиринговые расчеты, а не поездка. Но разумнее всего пойти к здешнему издателю, в конце концов, он на мне неплохо заработал, сам говорил на французской ярмарке, готовит к изданию новую книгу, вааповского представителя я уломаю, он даст согласие на то, чтобы я здесь получил часть аванса, долларов пятьсот, какие-никакие, а деньги, перекручусь».

«Сэр Все» оказался высоким, статным мужчиной; возраст выдавало одно лишь — красил волосы в густо-красный цвет; корни были пепельно-седые; тем не менее он неотразим в свои семьдесят, подумал Степанов, но отчего такая боязнь седины?

Он вспомнил, как Роман Кармен рассказывал, что Константин Симонов после Победы говорил: я теперь не завидую тебе, старина, так, как завидовал во время Испании, за мной теперь тоже хорошая драка, но я окончательно успокоюсь лишь тогда, когда стану таким же седым, как ты... Боже мой, подумал Степанов, как страшно становится порой: нет Кармена и Симонова нет, ушел Левон Кочарян, и Юры Казакова тоже нет, не дописал своих лучших книг, а ведь как начинал, как звенела его строка... А Фима Копелян? А Вадик Бероев, милый наш «Майор Вихрь»?! Умер в день своего рождения, сорокалетним... А Михаил Иванович Жаров? Да разве можно перечислить, то есть увидеть, всех умерших?! Тогда жить будет немыслимо... Остановись,

мгновение? Черта с два... Тот же Кармен как-то сказал: знаешь, если написать два тома воспоминаний и каждому из тех, кого нет с нами, посвятить по маленькой главе, жить будет не так пакостно, ты отдал долг тем, с кем перешел поле... Не успел... Как это страшно — не успеть, ничего нет страшнее...

— Мари кое-что объяснила мне,— буркнул «сэр Все».— Вы голодны? Я, знаете ли, сейчас намерен обедать, если хотите, присоединяйтесь, почистите пяток картофелин, у меня есть тефлоновая сковородка, можно прекрасно жарить без масла, имеем в запасе три яйца, это уже деликатес, и плюс к тому луковица. Чай я заварю сам, хлеба в достатке,— он кивнул на длиннющий, чуть не в метр парижский батон, почти пустой внутри.

«Сэр Все» занимал маленькую квартиру из двух крохотных комнат и кухни с газовой колонкой и плитой, какие были у Степанова на его квартире по улице 1812 года, когда он жил там с Надей и маленькой Бэмби.

Спальня вся завалена газетами, бюллетенями Пресс-центра, журналами; кровать казалась в ней излишеством, застелена пледом, прожженным в двух местах сигаретами: «сэр Все» курил не переставая; он даже умудрился стряхнуть пепел в стеклянный чайник, где клокотал зеленый жасминовый навар.

В кабинете, однако, царил чисто американский порядок, на большом столе уложены разноцветные папки, на корешке кажой аккуратная белая пленочка и красной тушью обозначена тема; такие же папки лежали на подоконниках и под ними; сотни папок в точнейшем порядке.

Раньше у нас представляли американцев, вспомнил Степанов, как людей с другой стороны Луны; я помню, что мы мальчишками слушали небылицы о них, а на самом деле они такие же и такие же маленькие кухни с газовой колонкой, в которой обязательно подтекает кран, с таким же количеством полусожженных спичек в металлической коробке из-под конфет возле плиты, такая же клеенка на кухонном столике и разнокалиберные вилки, ножи, старые тарелки; впрочем, этот «сэр Все» никакой не американец, он просто одинокий мужчина вроде меня, подумал Степанов. Нас с ним разнит лишь то, что у него в кабинете отличные канцелярские

принадлежности, которые помогают экономить время: и разноцветные маркеры, чтобы подчеркивать нужные строки в газетных публикациях, и прекрасные ножницы, и удобный скотч, и наклейки для папок, на которых можно писать все что угодно, а потом легко их снимать, отрывая бумажку, и делать новую надпись, чтобы не портить папку; и фломастеры у него прекрасные, и чернила, которые не портят авторучку, и тюбик не сохнущего клея, ну, молодцы, ну, берегут время, не то что мы...

— Устроимся на кухне,— сказал «сэр Все»,— я предпочитаю там перекусывать... Берите табурет, специи на подоконнике... И к делу, у меня через час встреча... Мари сказала, что вас интересует мафия.

— Мафия — понятие безбрежное. Меня интересует Дон Валлоне.

— Их примерно сорок пять,— сразу же ответил «сэр Все»,— какой именно Дон Валлоне вас интересует? Я, знаете ли, исповедую теорию узких специальностей...

— Дон Валлоне из Палермо.

— Хм... Надо поглядеть, он как-то не отложился в памяти, я все больше работал с документами по американскому и голландскому синдикатам, связанным с Гонконгом.

— Тогда еще более конкретно,— помог Степанов.— Я бы хотел просить у вас сведения о пересечениях Дона Валлоне из Палермо с инженером Энрике Маттеи.

«Сэр Все» подобрал хрустящей коркой остатки картошки со сковородки, отправил ее в крепкозубый рот, сделал глоток чая.

— Уже, знаете ли, легче... Пошли работать...

Через полчаса «сэр Все» аккуратно подровнял на столе двенадцать вырезок из газет и журналов, достал из старого скрипучего шкафа портативную ксерокс-машинку, снял копии, подвинул Степанову.

— Вот, кое-что есть. Проглядите, потом задавайте вопросы, посмотрим дальше, фамилия, знаете ли, цепляет фамилию, факт наталкивает на новый аспект поиска, не жизнь, а сплошной кегельбан...

— Вы собираетесь уйти через полчаса?

— Да.

— Я должен вам сто франков?

— Мари уже перевела деньги.

Степанов закурил, просмотрел вырезки. Первая — о процессе над группой мафиози в Милане, связанных с порнобизнесом; имя Дона Валлоне называлось свидетелями дважды, но глухо, хотя прокурор утверждал, что именно он возглавляет этот бизнес в Италии, Испании и Дании. Вызванный в суд на допрос Дон Валлоне прибыл в сопровождении трех адвокатов: Ферручи из Палермо, Гуссони из Бонна и Джекоба Лиза из Нью-Йорка; Лиз примыкал к «Салливану и Кромвуэлу», конторе покойных братьев Даллесов, а ныне активно сотрудничал с финансово-промышленной группой Дигона.

Репортер, который просидел семь месяцев на этом процессе, с юмором писал, сколь осторожно было обвинение в постановке вопросов, сколь т а к т и ч н о вел себя судья; Дон Валлоне держался с достоинством, отвечал учтиво, исчерпывающе; лишь когда его спросили, какую роль сыграла фирма «Чезафильм», которую он контролировал, в трагедии с актрисой Франческой Сфорца, свидетель Валлоне обратился за консультацией к адвокатам, сидевшим рядом, и Джекоб Лиз отвел этот вопрос как неправомочный, ибо хозяин семи кинофирм и девяти заводов по производству пленки и видеокассет не может знать все о тех, кто вступал в договорные отношения со съемочной группой, финансировавшейся концерном Валлоне. Суд вправе и должен во имя выяснения всех аспектов этой трагедии, потрясшей мир, вызвать в качестве свидетеля режиссера и продюсера последней ленты, где снималась Франческа.

Во втором материале, опубликованном в «Экспресс», сообщалось, что режиссер фильма Руиджи, вызванный для допроса, не смог прибыть на судебное заседание, так как попал в автокатастрофу; однако продюсер ленты Чезаре ответил на все вопросы суда: «Да, трагедия с Франческой до сих пор в сердцах тех, кто знал эту замечательную актрису и великолепного человека; да, я видел ее в ночь накануне трагедии, когда она застрелилась, нет, мне казалось, что ее угнетенное состояние связано с тем, что пятьсот метров пленки, где она снималась в очень сложном эпизоде, оказались бракованными, а у нее было подписано два новых контракта, неустойка громадна, у нас по этому поводу велись сложные переговоры с ее адвокатом Марьяни; нет, я не знаю, от кого она была беременна, это до сих пор не-

известно; при этом, уважаемые судьи, вы должны иметь в виду, что Франческа вообще была крайне неуравновешенной, но мы все прощали ей за то, что она Франческа, этим все сказано».

Второй раз имя Дона Валлоне — так же вскользь — упоминалось в статье, опубликованной еженедельником «Авангард», где речь шла о совершенно новом бизнесе: с молоденькими привлекательными машинистками во Франции и Дании заключались договоры на два года выгодной секретарской работы в Африке и арабских эмиратах; по прибытии на место девушки исчезали; их просто-напросто продавали в закрытые бордели; когда одной несчастной удалось вырваться, всплыло имя Дона Валлоне, поскольку рекламу в газеты, которая приманивала девушек — высокие оклады содержания и прекрасные квартирные условия «на берегу океана, в удобных коттеджах»,— помещала контора, которую финансировали его люди.

— Имя этой несчастной вам известно?— Степанов кивнул на вырезку из «Авангарда».

— Нет,— ответил «сэр Все».

— Но в досье еженедельника оно может храниться?

«Сэр Все» перевернул вырезку, пожал плечами.

— Вряд ли... Как-никак пять лет... Досье не станет хранить эту безделицу так долго.

Степанов нахмурился, повторив:

— «Безделицу»...

В третьем материале приводилась речь Дона Валлоне, посвященная памяти Энрике Маттеи; он скорбно говорил об организаторской мощи «великого итальянского бизнесмена и патриота. Спекуляции иностранной прессы и нашей левой, постоянно всех и вся обличающей в связи с гибелью Маттеи,— лишь средство внести раскол в ряды тех, кто делает все, чтобы экономика республики развивалась динамично и плодотворно, как и подобает стране с великой историей. Не козни мифической мафии, но трагедия, которую никто не мог предвидеть, вырвала из наших рядов того, кто всегда останется в сердцах благодарных граждан».

Здесь же давался комментарий Джузеппе Негри, журналиста из Милана, который утверждал, что за семь дней до гибели Энрике Маттеи в беседе с двумя репортерами в Палермо прямо обвинил Дона Валлоне в том,

что тот саботирует экономическую реформу на Сицилии и представляет интересы не только итальянцев, но определнных магнатов из Соединенных Штатов.

— По Леопольдо Грацио вы смотрели?— спросил Степанов.

— Через час после сообщения о его гибели Мари приехала ко мне... Мы перерыли весь архив, ничего толкового нет...

— У вас кончилось время?— спросил Степанов.

— Да,— кивнул «сэр Все».— Куда вас подвезти?

— В центр, если вы едете в том направлении.

— В том,— «сэр Все» поднялся, надел пиджак, пропустил Степанова, легко захлопнул дверь и, как мальчишка, играючи, поскакал через две ступеньки вниз по крутой, словно корабельной, лестнице.

— Вы не запираете дверь на хороший замок?— поинтересовался Степанов.— У вас же дома бесценное богатство, опасно так оставлять.

— Квартира застрахована... Миллион швейцарских франков...

— Платите такую чудовищную страховку?— Степанов удивился.— Это же стоит громадных денег.

— Нет,— «сэр Все» улыбнулся.— За меня платят три газеты и клуб иностранных журналистов Пресс-центра.

Они сели в его старенький скрипучий «фольксваген», десятилетнего, по крайней мере, возраста, и отправились в центр.

— Когда вы начали заниматься этим делом?— поинтересовался Степанов.

«Сэр Все» пожал плечами.

— Я хорошо помню все про других, про себя слабо... Наверное, когда осознал, что моя журналистская деятельность — сущая мура, нет пера, могу говорить, но не умею писать, чувствую, а не знаю, как выразить... Лишь с возрастом начинаешь понимать всю упоительную значимость факта, умение найти пересечения причин и последствий... Да и потом я, как и каждый из нас, в долгу перед собственной совестью... Сколько же мы грешили попусту?! Сколько раз писали не то?! Не про тех! Бездумно и безответственно! Сколько раз поддавались настроению, минутной выгоде или просто безразличию?! Стало стыдно за себя, и я начал заниматься ф а к т о м... Здесь все как в математике. Никаких изначаль-

ных эмоций... Где вас высадить?

— Если не затруднит, возле издательства «Уорлд».

— Имеете с ними дело?

— Да.

— Престижная контора... Желаю успеха. Если что-нибудь наскребете, звоните, посмотрим еще раз в моих папках, чем не шутит черт.

— Когда бог спит.

— Что, простите?

— Это русская пословица: «Чем черт не шутит, когда бог спит».

— В нынешнем русском языке режим позволяет употреблять слово «бог»?— удивился «сэр Все».

Степанов улыбнулся.

— Выпишите наши журналы; мы, по-моему, выпускаем современную прозу на английском языке, не надо тратиться на переводчика.

— Кстати,— затормозив возле высокого, в стиле ампир здания, заметил «сэр Все»,— я не почувствовал в вас русского, вы на них не похожи...

— Скольких русских вы видели?

— Ни одного, но я ведь смотрю фильмы.

— В таком случае, вы не похожи на американца,— ответил Степанов.— Я резервирую право позвонить вам, если у меня получится то, что я задумал, можно?

— Разумеется,— ответил «сэр Все» раскатисто, и Степанов рассмеялся, словно сбрасывая постоянное ожидающее нетерпение, оттого, что снова вспомнил свою подругу с ее любимым, таким русским, бездумно-веселым «р-р-разумеется».

...Из вестибюля издательства Степанов позвонил в Пресс-центр, поинтересовался, нет ли каких новостей. Ему ответили, что особых новостей нет, но для него пришло письмо из Мадрида.

«Дорогой Степанов!

Ты наверняка удивишься моему ответу, ибо я помню, как ты издевался над моей нелюбовью писать подробные письма. Я бы и не написал при всем моем к тебе дружестве, если бы тут у нас не случилось любопытное происшествие: великолепный и очень смелый материал профессора Вернье из Парижа (ты наверняка

о нем слыхал, талантлив и компетентен) был снят из номера под нажимом сил, с которыми, увы, нельзя не считаться, потому что деньги на редакцию идут из банков, поди с ними не посчитайся!

На твой вопрос я не могу ответить определенно, да и никто пока не ответит, однако я с радостью дам тебе пищу для размышлений, попробуй поискать в том направлении, которое я определю.

Что я имею в виду?

Объясню: у меня в архиве есть графическая схема связей крупнейших фондов, которые финансируют как джентльменов из ЦРУ, так и ряд прелюбопытнейших общественных организаций. Документ этот секретный, но его заполучили в Лэнгли люди, которые очень любят свою страну и радеют о престиже Штатов, потому-то и начали необъявленную войну, против с п р у т а, переправив материалы ряду журналистов, которым они верят, в Токио, Мадрид, Стокгольм и Западный Берлин. Эти люди поставили условием публиковать их данные лишь в экстремальной ситуации. Я обратился к одному из них с вопросом, могу ли сейчас попробовать напечатать схему в одной из наших газет. Мне ответили согласием. Поэтому, никак не нарушая моего с ними дружеского уговора, я вправе распорядиться документом по моему усмотрению.

Итак, Степанов, смотри, что получается.

В Северной Америке существует, к примеру, «Конгресс за свободу культуры». Кто его поддерживает? Официально — «Хоблитцел фаундэйшн». С кем связан «Хоблитцел»? С фондом «Тауэр», с «Борден траст», с фондом «Монро». Каждая из этих трех организаций сотрудничает с ЦРУ, оказывая Лэнгли весомую денежную поддержку. Таким образом, связь «свободной культуры» с ЦРУ абсолютна. Или другое. Существует «Институт по международному исследованию проблемы труда». Этот «институт» активно поддерживает «фонд Каплана».

С кем связан, в свою очередь, Каплан? С благотворительными организациями «Готхам», «Борден траст», с фондами «Эндрю Хамильтон», «Эдзель», «Монро» и другими. Все эти фонды так же питают ЦРУ, получая взамен к а к у ю - т о помощь из Лэнгли. Какую? Понять это можно лишь в том случае, если выяснить, к т о стоит за организациями Хоблитцела, Каплана, Маршалла, Рабба, Бэйрда, Фридрика Брауна, Андерсена, ибо они главные посредники между организациями типа «Афро-американский институт», фирмой «Исследования политических операций», «Синодом священников русских церквей, находящихся вне России», «Институтом международного образования», «Американским обществом африканской культуры», «Институтом по изучению проблемы администрации», «Исследовательской организацией по изучению проблем Северной Африки», «Американскими друзьями Среднего Востока», «Афро-американским институтом». Это то, что стало известно североамериканским патриотам; узнать все они, естественно, не могут, но даже в том, что они открыли, угадывается любопытнейшая закономерность: из двенадцати организаций — я не упомянул «Национальную студенческую ассоциацию», ее финансируют «Фридрик Браун» и «Сидней Рабб», связанные через «фонды» с ЦРУ,— три п о в е р н у т ы к проблемам Африки, а одна — напрямую к Северной Африке; проводится огромная исследовательская работа в странах с португальским и испанским языком; изучается негритянская культура; таким образом, Африка сделалась опытным полем как для работ со «своими» неграми в Штатах, так и с негритянским населением Южной Америки. Проблемами собственно Африки более всего занимается «Исследовательский институт по вопросам Северной Африки», именно там разведка США закрепилась еще в сорок втором году, когда янки вытеснили и де Голля и Черчилля (во время вторжения), игра была сложной и архиперспек-

тивной, как сейчас становится ясно (говорят, профессор Вернье обладает исключительным материалом по этому вопросу, но пока что придерживает; если же он решится «отлить пулю», то реакция ЦРУ может быть непредсказуемой; ребята из Лэнгли долго помнят тех, кто причиняет им неудобства).

И что самое интересное: вроде бы, подчеркиваю, в р о д е б ы Дигон ни в одном из этих «фондов» не просматривается, в то время как лютую активность (но это мнение журналистов, фактов нет) развил концерн Дэйвида Ролла. Информация пришла ко мне только вчера и крайне заинтересовала, потому-то я и пишу тебе это письмо, проклиная все и вся, страх как не люблю сочинять подобные послания. Фу, устал, пот струится по моему изможденному лицу.

И еще: Дэйвид Ролл давно и упорно п р о л е з а е т и в Африку, и в Южную Америку, его туда не очень-то пускают Рокфеллеры и Морганы, но этот парень знает, чего он хочет, и умеет драться за место под солнцем. Не он ли п о д с т а в л я е т Дигона? Старик — фигура одиозная, вполне империалистическая, оттого антипатичная всем. Но почему именно Дигона? Отчего никто не нападает на Рокфеллеров, как это было во время американской интервенции в Гватемале? Вопрос интересен, но дать на него ответ тебе может другой, а никак не твой друг

Хуан Мануэль».

59

21.10.83 (11 часов 12 минут)

Шеф международного отдела издательства «Уорлд» Раймон-Пьер Жюри был молод и похож более на метрдотеля, чем на издательского деятеля, так он был вылощен, выверен, учтив и насторожен во время разговора.

— Да, и вторая книга прошла хорошо, месье Степанов, мы намерены издать ее массовым тиражом, в про-

стой обложке, малым форматом, но мне придется нанять нового переводчика, того, кто живет здесь, на Западе, и поэтому чувствует все новое, что пришло в язык за последние годы. Согласитесь, язык постоянно меняется, а ваш переводчик — завзятый традиционалист, слишком долго был в России, ему за семьдесят, по-моему, он уже давно не выходит на улицу, а живет телевизором, но разве на нашем телевидении язык? Мусор, условность и жеманство... Эта дополнительная работа, конечно, скажется на вашем гонораре, но мы дадим большой тираж, посоветуйтесь со своим адвокатом, я жду диалога...

— Спасибо, непременно,— ответил Степанов, мучительно готовясь к разговору. Его всегда прошибал пот, когда приходилось заводить речь о деньгах, он не умел торговаться, завышать цену, п о д а в а т ь себя, все это казалось ему отвратительным настолько, что, после того как договор был подписан, он менял мокрую рубашку, принимал душ и выпивал стакан водки — хоть както, но снять стресс.

Степанов был убежден, что торговля о цене творчества (как, впрочем, и любой другой работы) недостойна; его бесило, когда слесарь, починивший кран, на вопрос, сколько ему за этот труд полагается, блудливо отвечал: «Сколько дадите». Сначала Степанов ярился, объясняя, что надо знать и ценить свой труд, определенный качеством и временем, на него затраченным, но все было бесполезно. Эта постоянная привычка обязательно «п о р я д и т ь с я» — а шло это от слова «р я д», и так уж получалось, что за этим словом чудилось другое, страшное: «охотнорядцы», черная сотня, торжество пьяни, норовящей урвать просто так, без труда,— вызывала в нем отвращение, и однажды на очередной свой вопрос, выслушав приевшееся «сколько дадите», он протянул десять копеек. Какой же крик начался! Как позорили его, оскорбляли «буржуем», пока наконец не было сформулировано: «Ложи на бутылку».

Поэтому, когда его спрашивали, какой гонорар он бы хотел получить, Степанов всегда отвечал: «Самый высокий. В случае, если вас не устроит качество моей работы, я верну аванс».

Но сейчас в издательство к Раймону-Пьеру Жюри он пришел для того, чтобы любым путем получить хоть

самый мизерный гонорар, потому что обязан был арендовать машину и сегодня же отправиться по двум известным ему ныне адресам... Степанов знал, что в аэропорту, даже самом маленьком, или на вокзале он сразу же, за десять минут, предъявив паспорт и водительские права, уплатив сто долларов за неделю, получит автомобиль; на бензин, если каждая заправка стоит двадцать долларов, надо еще долларов двести; две ночи вполне можно переспать в машине; в крайнем случае снять место в мотеле, это долларов пятнадцать; двадцать на еду, сколько же это будет в здешних франках? Тысячи полторы, не меньше, подумал он, тем более еще осталось кое-что, перекручусь как-нибудь.

— У меня к вам предложение, месье Жюри... Я принимаю любые условия, связанные с переизданием моей книги, без консультации с адвокатом, тем более что у меня нет его... Зато у меня есть сюжет, связанный с обстоятельствами гибели Леопольдо Грацио...

— О, как интересно! У вас есть синопсис?

— Что это?

— Вы должны написать — страничек десять, не больше — краткое содержание будущей книги, проспект, чтобы мы смогли проследить развитие сюжета, почувствовать ритмику вещи, посоветоваться с нашим отделом, ведающим коммерцией, без них трудно принимать решение, ничего не попишешь, я прекрасно понимаю ваше отношение к торговцам, прекрасно понимаю, но тем не менее...

— Как долго придется ждать ответа?

— О, я постараюсь управиться за три-пять дней...

— Месье Жюри, к сожалению, в моем распоряжении лишь сегодняшний и завтрашний день, я должен арендовать машину и выехать для сбора материалов...

— Хорошо, я постараюсь все решить через день после того, как вы оставите мне проспект...

— Дома я не пишу проспектов в журналы и издательства,— обидевшись на что-то, сказал Степанов.— Мне нужно полторы тысячи франков, даже тысяча двести; вычтите эту сумму из будущего гонорара за переиздание, и все тут...

— Ах, вот какое предложение... Что ж, это легче, я посоветуюсь и буду ждать от вас звонка завтра в де-

сять пятнадцать, месье Степанов, очень рад вашему визиту, знайте, что это здание — ваш дом, где всегда искренне, от всего сердца ждут вас...

Вернувшись в отель, Степанов достал записную книжку, похожую на колоду старых бабушкиных карт, и начал листать ее, внимательно просматривая имена; книжку эту он вел еще с вьетнамской войны, даже во время похода по тропе Хо Ши Мина она была с ним; там у партизан он встретился с французским журналистом Луи Кразьеном, обменялись телефонами; потом часто встречались и в Москве, и в Париже; прилетев во Францию на этот раз, Степанов набрал номер; ответил незнакомый голос: месье Кразьен умер семь дней назад, нет, он умер мгновенно, поговорил с сыном, положил трубку на рычаг, закурил, хотел подняться и не смог встать; нет, это не Мадлен, он с ней расстался, это Франсуаза, нет, я его подруга, собираю архив Луи, чтобы передать сыну, жена по-прежнему в Алжире, она приедет позже, когда я уеду в Прованс, да, я там жила раньше, туда и возвращаюсь.

Всего несколько фраз, подумал Степанов, а за ними встает человеческая драма. Бедный Кразьен, рыжекудрый, близорукий, страшно боялся бомбежек, но все равно шел туда, где было опаснее, и вот тебе, поговорил с сыном, закурил, и разорвалось сердце, боже, как трагичен этот мир, под каждой крышей своя драма... Как это у Иосифа Уткина в «Рыжем Мотеле»? Кажется, так: и под каждой маленькой крышей, как она ни слаба, свое счастье, свои мыши, своя судьба.

Наткнулся на боннский номер телефона Руди Дучке; вождь «новых левых», встречались в «Республиканише клаб» в Западном Берлине в шестьдесят восьмом, вскорости после Вьтнама и Лаоса; маленький, в чем-то истеричный бунтарь, хотя внутренне парень, бесспорно, чистый, утонул в ванне; утонул ли? Слишком ко времени была его смерть, слишком ершист.

Макс Премер... Стоп... Это же газетчик из Гамбурга, по-моему из «Цайт», неужели и этот поговорил с братом или дедушкой, выпил и умер? Или принял душ, а наутро был найден захлебнувшимся?

Ну, хорошо, а почему бы мне не найти Мари и не сказать ей про эти мафиозные имена и о продюсере Чезаре, и о режиссере Руиджи, который попал в автоката-

строфу накануне дачи свидетельских показаний в суде? Потому, ответил себе Степанов, что за ней, как, впрочем, и за мною, смотрят те, кто убрал Лыско и Шора, вот почему я хочу сделать это дело сам, и мне это легче, я сейчас не на виду, спущусь в бар и позвоню оттуда Максу, он был славным парнем, в меру осторожным, но я же у него не денег прошу, только информацию: как зовут и где живет та несчастная, которую продали в закрытый бордель?..

А если она живет в Штатах или на Папуа, спросил себя Степанов, я ж не наскребу денег на билет, да и неизвестно, дадут ли визу, а если и дадут, то ждать придется не меньше трех недель, фу, черт, только б она жила в Европе, она ведь такая маленькая, эта нынешняя Европа, из-за того, что вся прорезана первоклассными автострадами, из Рима в Гамбург вполне доедешь за день, а отсюда тем более...

Через час он положил в карман бумажку с тремя строками: «Стенографистка Люси Лоран, сбежавшая из эмирата, проживает ныне в Марселе, по рю Канебьер, в доме 46. Софи Сфорца, сестра актрисы Франчески, ныне замужем за режиссером Руиджи, проживает в Асконе, виа Италия, вилла «Франческа».

60

21.10.83 (16 часов 09 минут)

— Но, господин Уфер, это просто-напросто невероятно!— Мари беспомощно всплеснула руками.— Вы работали с Грацио семь последних лет, вы отвечали за связь его концерна с биржами. Это ведь значится в справочнике «Кто есть кто»! Как же вы ничего о нем не знаете?! Вы боитесь говорить со мною? Но я готова дать вам слово! Я не напечатаю ничего из того, что вы мне расскажете, без вашей на то санкции!

— Тогда зачем вам со мною говорить, если вы не станете этого печатать?— Уфер пожал плечами и еще больше съежился в своем большом кожаном кресле, став похожим на маленького гномика.— Вы ставите вопросы, на которые трудно ответить, фройляйн Кровс. Вы спрашиваете, кому была нужна смерть Грацио...

Неужели вы не понимаете, что мой ответ на ваш вопрос означает появление таких врагов, которые меня вотрут в асфальт?

— Таким образом, вы ответили мне, что кому-то его смерть была угодна, господин Уфер... Если бы я не дала вам слова, этого было бы мне достаточно.

— И мне, фройляйн Кровс, тоже. Для того чтобы привлечь вас к суду за диффамацию. И посадить за решетку.

— Мне говорили, что вас связывала дружба с Грацио, господин Уфер... Неужели вы способны так легко предать память друга?

— Выбирайте выражения, фройляйн Кровс!— Уфер стукнул маленькой ладошкой по полированному столу; потный след от нее был похож на отпечаток руки первобытного человека.— Если вы считаете, что Леопольдо был действительно убит, извольте привести факты. Тогда, в случае если факты будут серьезными, я стану говорить с вами. Тогда стану,— словно бы кому-то другому повторил Уфер.— Однако до тех пор, пока вы представляете вторую древнейшую профессию, которая профитирует на чужом горе, я предпочту молчать.

— Значит, вы верите в самоубийство Грацио?

— Мы начинаем прежнюю песню. Я уже ответил вам на этот вопрос. Ничего нового добавить не могу.

— Хорошо, но вы можете хотя бы рассказать о последней встрече Грацио и Санчеса? Вы же были при их последней встрече, один вы.

— А почему вас интересуют их отношения? Вы из разведки?

— Именно потому, что я не из разведки и очень... хорошо знаю Санчеса, уже пять лет его знаю, меня интересует это... Не как журналистку даже, поверьте, просто как человека...

Уфер открыл ящик стола, достал длинную пачку сигарет «Мор», долго открывал ее, столь же долго прикуривал, потом резко спросил:

— Вас интересует это как человека или как женщину?

Мари ответила горестно:

— Как женщину, господин Уфер, вы верно почувствовали.

— Я ничего никогда не чувствую. Я знаю или не знаю. Я знал это и ждал, что вы мне ответите.

— Как вы могли знать? Донесли службы?

— Нет. Мне службы не доносят, я боюсь излишнего знания, оно обязывает к слишком многому, а взамен дает мало, но жизнь может поломать в два счета... Просто я видел ваши фотографии в доме Санчеса...

— Он вам говорил что-нибудь обо мне?

Уфер неожиданно улыбнулся, и эта быстрая улыбка изменила его лицо — оно, оказывается, могло быть живым, а глаза грустными и складочка между бровями резкой, в з л е т н о й.

— Нет, он ничего не говорил, хотя, мне кажется, хотел сказать что-то очень нежное...

— Почему вы так решили?

— Потому что я начинал брокером на бирже и должен был видеть глаза всех своих конкурентов, а их более трехсот, мне надо было в долю секунды понять, чего хотят они и что нужно той фирме, которой я служу. У него очень выразительные глаза, у этого полковника, ему бы не военным быть и не лидером правительства, а литератором или живописцем... Так вот, Санчес звонил мне позавчера... И сегодня тоже... Мой аппарат прослушивается, следовательно, особой тайны я вам не открываю... Он просил прилететь к нему в связи с тем, что творится на бирже... Вы же читаете бюллетени вашего Пресс-центра, знаете поэтому, что началась игра против Гариваса...

— Но кто?! Кто играет?!

— Кто? Кто играет?— повторил Уфер.— Скажите мне, фройляйн Кровс, кто играет против Санчеса?! Я уплачу вам хороший гонорар, потому что пойму, как надлежит в этой сумятице поступать мне. Я не знаю! Меня пока еще не перекупили... Я не лидер, не Грацио, не Санчес, не Рокфеллер... Я просто-напросто компетентный специалист и умею четко выполнять указания тех, с кем подписал контракт. Если бы вы мне сказали, что намерены — в серьезном, понятно, органе прессы — обвинить того-то и того-то в том-то и том-то, если бы начался скандал и я получил реальную возможность продумать свои ходы хотя бы на неделю вперед, я мог бы войти с вами во временный альянс, ибо это поможет мне предложить свои услуги серьезному клиенту, кото-

рый подобно Леопольдо сумеет гарантировать мне обеспечение... А с чем вы пришли ко мне? Я согласился на беседу лишь потому, что вы дочь Вернье, который знает все, но никому об этом своем знании не говорит. Я согласился на встречу оттого, что вас любит Санчес. И, наконец, поскольку вы были первой, кто выразил несогласие с официальной версией гибели Леопольдо. Я ждал от вас информации. Вы мне ее не дали, вы требовали информации от меня... Фройляйн Кровс, я биржевой дилер, я все делаю на основе взаимности, выверяя ценность полученного конъюнктурой сегодняшнего дня... Я живу по принципу: бог даст день, бог даст пищу. Не браните меня за цинизм, но я не хочу лгать вам...

— Господин Уфер,— устало сказала Мари,— вам были звонки с угрозами? На этот вопрос вы мне можете ответить?

— В моем мире нет наивных простаков, фройляйн Кровс. У нас не угрожают. У нас открыто говорят, что моя позиция, если она станет такой-то и такой-то, мешает некоей силе; если вы убеждены, говорят мне, что сила, которой вы служите, мощнее, можете сражаться, если же нет, посторонитесь. После того как ушел Леопольдо, за мной не оказалось силы. Я жду предложений.

И Мари заплакала... Лицо ее было обычным, прежним, только по щекам лились слезы, безутешные, воистину детские; я не должна, внушала он себе, я не смею ему говорить про то, что мне сказал Санчес о Дигоне, этот Уфер такой маленький и беспомощный, он предаст, если на него нажмут проклятые брокеры, он прячет страх за этой наигранной жесткостью, у него же меняется лицо, разве нет? А какой секрет я выдам, если скажу про Дигона? Кого я могу подвести? Санчеса? Нет, я ведь не сошлюсь на него, да и потом, я не скрывала этого, я уже говорила о Дигоне открыто... Но Степанов считает, что теперь все сложнее...

— Я думаю, за убийством Грацио стоят люди Дигона,— произнесла наконец Мари, увидев вдруг, каким измученным стало лицо Уфера.

— Факты?— повторил он.— А я, например, судя по колебаниям цен на акции, склонен обвинить еще одну корпорацию, но у меня нет фактов, понимаете? Я допускаю, что Дигон — главная фигура... Нет, неверно... Одна из главных фигур в этой трагедии... Но не один же он! А что-

бы узнать, кто именно, нужны факты. Показания тех, кто видел; мнение того, кто не боится сделать заявление для печати; расписки; счета в отелях, чеки из борделей. Ясно? Если у вас появятся факты, которые позволят считать трагедию с Леопольдо уголовным преступлением, тогда можно наступить ногой на кадык Дигона. А что у вас есть? Что, кроме ощущений? Любовь предполагает действенность, фройляйн Кровс. Действие обязано быть двояким: с одной стороны — жестким, с другой — податливым.

— Я не понимаю вас, господин Уфер.

— Понять меня несложно; вы, видимо, мало используете свое главное оружие — женственность. Вы идете напролом, вы растворили себя в профессии, это ваша ошибка...

— Уж не намерены ли вы открыть мне то, что знаете, если я приглашу вас к себе на чашку кофе сегодня вечером?

— Я бы с радостью принял ваше предложение, фройляйн Кровс, но боюсь опозориться — крайне закомплексован по поводу своих мужских достоинств... Нет, я имел в виду совершенно другое, вы поняли слишком прямолинейно... Вы атакуете меня вопросами, а надо просить... Понимаете? И не бойтесь почаще ронять слезы, это пока еще действует на мужчин.

— Мои слезы на вас не подействуют.

— Подействовали...

— И что же вы мне открыли?

— Я предложил вам союз... На тех условиях, которые только что перечислил...

— Но подскажите же, в каком направлении искать?!

— Во всех.

Уфер поднялся, маленький, весь какой-то скукоженный, обогнул свой стол, проводил Мари до двери, учтиво распахнул ее, выглянул в приемную, вымученно улыбнулся секретарше и попросил:

— Гого, пожалуйста, принесите из аптеки что-нибудь от головной боли.

Высокая холеная красивая женщина сразу же поднялась и молча вышла; именно тогда Уфер произнес одними губами, беззвучно и отрешенно:

— Дон Валлоне.

И, повернувшись, не кивнув даже Мари, вернулся к себе.

61

22.10.83 (10 часов 15 минут)

— Доброе утро, пожалуйста, месье Жюри.
— Кто его просит?
— Степанов.
— Одну минуту.
В трубке зазвучала музыка Гершвина.

Степанов посмотрел на часы — минута в минуту, он звонит точно. Хорошо бы через час, от силы два уехать. Слава богу, есть обратная виза во Францию, не надо бежать в универсам и делать четыре цветные фотографии, улыбаться консульским чиновникам, звонить советнику по культуре, искать тех, кто дружен с послом и может гарантировать, что цель его, степановской, поездки заключается вовсе не в том, чтобы взорвать Лувр или похитить военные секреты.

— Алло, вы слушаете, — пропел женский голос, они все певуньи, эти французские секретарши, — месье Жюри будет в двенадцать.

— Он ничего на просил мне передать? Я проспеллингую мою фамилию: «С», как Судан, «Т», как Триполи, «Е», как Европа, «П», как Париж, «А», как Алжир...

— Дальше я знаю,— ответила женщина,— месье Степанов. У вас очень трудное начало фамилии, концовка звучит значительно проще, нет, он ничего не просил вам передать, до свидания.

Самое страшное для Степанова (не было бы только чего пострашнее)— это ждать. Он радостно писал, но мучительно ждал того момента, когда прочитает редактор, придет корректура, появится журнал; отклики не очень-то волновали его, потому что он знал всю меру тенденциозности критики; самое важное, читают тебя или нет; остальное — от лукавого; сказка про голого короля была одной из самых его любимых; в конечном счете оценку работе выносит не критик, а время, проявляющее себя через читателя, то есть через память; сколько голых королей, творчество которых возносили до небес, ушли в беспамятное небытие, а те, кого кри-

гика не очень-то баловала, не залеживаются на полках библиотек или, того приятнее, выдаются лишь в читальном зале под паспорт.

«Еще час сорок пять минут ждать,— подумал Степанов,— будь прокляты эти час сорок пять минут, в моем возрасте время начинаешь ощущать так б л и з к о, так видишь его необратимую стремительность, что даже на секундную стрелку жутко смотреть: дергающиеся цифры кварцевых часов навсегда отбрасывают то мгновение, которое было только что, ан нет его, неповторимо и безвозвратно ушло. А если этот самый месье Жюри решил мне отказать?— спросил он вдруг себя.— Нет, он вполне мог это сделать вчера, проявил же такой явный интерес, да и потом, я отдал ему процент с нового издания, а это не полторы тысячи франков, а добрых пятьдесят.

Степанов верил ощущениям и очень боялся этого, потому что, считал он, такое может принести много бед людям; чем сильнее и выше человек, уповающий на чувство, тем это опаснее; правы были философы: лишь практика, лишь факт угодны человечеству, а никак не глубинные, не понятые покуда наукой чувства, которые порождают недоверие, ревность, слепое восхищение или злобную неприязнь.

Он старался не поддаваться тому, что порою шевелилось в нем, гнал это, ожидая момента, когда чувство обретет форму логического посыла, до конца ясного ему самому; всегда повторял себе историю о том, как некто, выходя из театра, оттолкнул человека, который шел прямиком, никому не уступая дороги. Человек странно усмехнулся, заметив: «Только не бейте меня по лицу, я слеп».

Степанов подолгу не соглашался со старыми друзьями, когда те говорили про какого-то нового его знакомца: «Он плохой человек, не верь ему». Степанов порой ошибался в людях, признавал правоту своих близких, но в глубине души был убежден, что поступил правильно: в каждом надо стараться увидеть добро, нельзя жить предвзято, лучше один раз убедиться самому, чем сто раз услышать от других.

Но сейчас он совершенно точно ощутил, что месье Жюри у себя, просто не желает брать трубку, может, не готов еще к деловой встрече, поправил себя Степанов,

хотя значительно проще так мне прямо и сказать, я ведь предупредил, что ограничен временем; они здесь такие пугливые; говорят, у нас всего боятся, черта с два, ничего у нас не боятся, а тут взвешивают любое слово и соизмеряют каждый шаг, когда дело касается общения с иностранцем о т т у д а.

Он снял трубку, набрал номер издательства, изменил голос, как-никак снимался в «Солярисе», его попросили сыграть роль американского профессора, работали без репетиции, с маху, и на своем американском сленге попросил к аппарату мистера Жюри: «С ним хочет беседовать вице-директор «Юниверсал паблишинг хауз».

И снова в трубке, на этот раз не Гершвин, а стилизованный Римский-Корсаков, «Полет шмеля» в джазовом исполнении, очень красиво, никакого глумления над классикой, просто в старые мехи влили новое вино; понятно, кого-то из наших традиционалистов это может шокировать, но их предков еще больше ведь шокировали Рахманинов и Скрябин, а теперь они же причислили их к лику святых, и правильно сделали, но через какое неприятие эти гении шли к славе!

— Алло,— голос месье Жюри был воркующим, вальяжным, исполненным, как и всегда, доброжелательства.

Степанов хотел было сказать ему по-русски: «Что ж ты от меня бегаешь, сука»,— но решил этого не делать, не плюй в колодец, пригодится воды напиться.

Осторожно положив трубку на рычаг, он снова начал листать свою телефонную книжку; никогда и нигде, а особенно на Западе, нельзя делать ставку лишь на одну возможность, здешний мир построен на множественности попыток, в чужой монастырь со своим уставом не лезь, пословицы не бывают неправильными, это катехизис человеческого разума, проверено опытом тысячелетий.

Дональд Эпштейн, Париж, кинопродюсер, друг Кармена, славный парень, воевал против Гитлера, был сбит над Германией, в концлагере подлежал расстрелу; спасло русское большевистское подполье; черт, отчего я не позвонил ему, неважно, что было мало времени, для хороших людей время должно быть найдено, а ты по-прежнему тратишь уйму минут на суету, обязательные (а именно поэтому совершенно необязательные) звонки, встречи, ланчи, ужины.

— Алло, пожалуйста, мистера Эпштейна.

— Мистер Апштайн не живет здесь более, он переехал на юг Франции.

— Пожалуйста, дайте мне его новый телефон.

— Но мистер Апштайн не оставил нам своего нового телефона, месье...

(«Апштайн», понятно. Я совсем забыл, что он просил именно так произносить его фамилию»,— вспомнил Степанов.)

Профессор Герберт Краузе. Стоп, этот может помочь, он часто приезжает в Москву, я могу там арендовать ему машину или отдать свою, а здесь он меня выручит.

Степанов набрал номер и услышал командный голос:

— Двадцать три двадцать шесть!

(Профессор писал во многие журналы и газеты, поэтому скрывался от пустых звонков, называл лишь номер своего телефона; те, кто нужен ему, знают эту хитрость.)

— Ноль семь ноль один,— ответил Степанов.

— Простите?

Степанов рассмеялся.

— Гутен морген, Карл Иванович!

— Но я не Карл Иванович,— удивился профессор,— я Герберт Васильевич.

«Нет, все-таки немец всегда немец,— подумал Степанов,— я ж ему объяснил про «Карла Ивановича», неужели память стала сдавать?»

— Я помню, что вы Герберт Васильевич, а вот вы забыли, как я рассказывал вам о персонаже из Толстого, добром старом гувернере, «гутен морген, Карл Иванович»...

— А, Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, мой дорогой! Откуда вы?! Я хотел было вам звонить, но большевики отключили автоматическую связь, разговора приходится ждать чуть ли не сутки!

— Ничего, повысим тариф на разговор и снова включим автомат,— легко пообещал Степанов.— Я сейчас неподалеку от вас, и у меня к вам необычная просьба.

— Да, пожалуйста, мой до-р-рогой (откуда такая «горловая устроенность», успел подумать Степанов, я

бы связки порвал при надобности так произносить букву «р»), в чем предмет вашей просьбы?

— Сначала вопрос: вы собираетесь в Москву?

— Если дадут визу, то обязательно! Я уже заказал через мое туристское бюро в Штутгарте номер в «Национале» на семнадцатое марта.

«А сейчас октябрь,— отметил Степанов,— ну и немцы, ну и организаторы своего времени, учиться у них и учиться!»

— Вам в Москве машина потребуется?

— Это было бы идеально.

— А мне очень нужна машина здесь... Дня на три-четыре... Давайте заключим соглашение: я вам дам свою машину в России, а вы мне нанимаете лайбу здесь.

— Простите?! Что я вам должен здесь нанять?— голос у профессора стал на какой-то момент испуганным.

— Лайба — это автомобиль... На жаргоне.

— Ах, вот как! И что это за жаргон?

— Молодежный, сказал бы я.

— Ага, хорошо, очень интересно... Конечно, я готов вам помочь... Оставьте мне свой телефон, я перезвоню в течение пятнадцати минут.

Он позвонил через двенадцать минут, сказал, что надо пойти на вокзал и в «ависе» взять малолитражный «ситроен», попросил прислать записочку, желательно на немецком, что машина была арендована в целях совместной работы над новой рукописью профессора.

— Это для налоговой службы,— пояснил он,— если я им представлю справку, что вы работаете вместе со мною, назовите себя моим редактором или консультантом, как вам будет угодно, то с меня эти деньги не станут взимать из налогов по гонорару и, таким образом, вы не будете чувствовать себя обязанным... Что у вас за тема поездки?

— Грацио.

— Простите?!

— Меня интересуют некоторые обстоятельства, связанные с гибелью Леопольдо Грацио.

— Ах, этот миллионер, эксплуататор и спекулянт?!— профессор рассмеялся.— Не задирайте нас слишком сильно, Дмитрий Юрьевич, мы тоже обидчивые.

— Сильно не стану, Герберт Васильевич, спасибо вам огромное. Что я должен взять с собой для «ависа»?

— А ничего. Права. Я продиктовал клерку номер своего счета, он уже проверил в банке, так что садитесь за руль и поезжайте.

Спустившись вниз, Степанов отдал портье ключ; тот суетливо протянул ему листок бумаги.

— У вас было постоянно занято, вам несколько раз звонила дама из аэропорта...

Степанов прочитал: «Я полетела на Сицилию по делу нашего общего друга. Вернусь, точнее, должна вернуться завтра днем. Мари».

«Мы с ней идем одним путем,— подумал Степанов, расплачиваясь за отель,— жаль, что она ко мне не заехала. А может, это и к лучшему».

Он заметил в углу холла молодого человека, который слишком уж сосредоточенно читал газету, но по тому, как его левая нога отбивала такт, было ясно, что новости его не очень-то волнуют, видимо, недавно работает в тайной полиции, только-только начал овладевать высоким искусством наружного наблюдения...

62

22.10.83 (14 часов 47 минут)

Машин на дороге было мало, пустых три ряда, скорость ограничена до ста тридцати километров, больше ни-ни, здешняя полиция беспощадна, двадцать франков, и никаких разговоров; таятся вроде наших, родимых, с радарчиком за крутым поворотом, никаких объяснений, деньги на бочку.

Степанов торопился одолеть большую часть пути до четырех часов, потом дорога станет забитой, к счастью, кончился туристский сезон, нет тысяч машин с прицепами, катерами, байдарками, клетками с пони, нет медлительных голландцев, неистовых водителей из Рима, жестких французов, которые ездят лихо, но не придерешься, строго по закону; требовательных немцев, утыкающихся мордой своего сверхмощного «мерседеса» в задницу твоей машиненки, поди не уступи дорогу — пронесется мимо на двухсоткилометровой скорости, и нет его...

Во время путешествий Степанов приладился работать и на автомагистралях: руль в управлении легок, вторая рука свободна, держи себе диктофончик и наговаривай сюжеты, заметки, заготовки глав к следующей книге.

Он знал, что до Цюриха автострада новая, прекрасная, можно работать всласть; потом дорога вольется в город, через каждые сто метров указатели, помогающие водителю не сбиться с пути, тем не менее не подиктуешь, хотя пешеход дисциплинирован, бабки не бегут под колеса, красный свет — закон, нарушение которого просто-напросто невозможно, ибо вызовет такое изумление прохожих, что человек готов сквозь землю провалиться (наверное, подумал Степанов, высшее уважение к закону достигается тогда, когда люди н е д о у м е в а ю т по поводу поступка, противного принятым в обществе правилам, а недоумение предполагает отторжение ч у ж а к а от общества).

Берн проезжать не пришлось, дорога легко огибает маленькую столицу живописной страны, а оттуда уже он погнал к Сен-Готарду, промахнул длиннющий тоннель и оказался в итальянской части страны; передачи по радио идут на итальянском, смонтированы иначе, чем в цюрихско-немецком регионе и лозанно-французском: музыка, постоянная музыка, прерываемая восторженными комментариями дикторов, будь то реклама стирального порошка, сообщение о военных столкновениях в Сальвадоре или информация о новом романе секс-бомбы Брижит Бардо.

Степанов снова включил диктофон, начал неторопливо наговаривать план предстоящей работы.

В Аскону он приехал затемно, сбился поначалу с дороги, махнул в Лугано, поразился тому, как этот город разнится от других швейцарских городов, словно бы кусочек Италии перенесли сюда; даже регулировщики на площадях картинны, словно оперные статисты или отставные политики, которых снедает тайная страсть — хоть чем-нибудь, но руководить.

Здесь было гораздо теплее, чем в Лозанне, не говоря уже о Цюрихе и Берне; пахло морем, хотя его не было, но мертво стыла бритвенная гладь озера; высилась Монте-Верита, гора правды, где в начале века оформился как течение европейский авангард; родоначаль-

никами его были русские художники; перемигивались огоньки на набережной; по-прежнему звучала музыка; в тратториях и пиццериях было полно народа, речь, однако, все больше немецкая, итальянской почти не слышно.

Степанов оставил машину неподалеку от набережной, спустился в пиццерию, заказал спагетти по-неаполитански, с подливкой из шампиньонов, с сыром и помидорами, положил на стойку бара монету и попросил разрешения позвонить; усатый хозяин в накрахмаленном фартуке подвинул телефон, поинтересовался, какое вино будет пить гость, Степанов ответил, что вина пить не будет, воду; попросил справочную книгу, легко нашел телефон Софи Сфорца-Руиджи, набрал номер, услышал певучий итальянский голос, представился и попросил о встрече.

— Но я плохо говорю по-английски,— ответила синьора Сфорца-Руиджи.— И потом, о чем вы хотите с нами беседовать?

— У меня есть предложение для вашего мужа...

— Сценарий?

— Да.

— Но он больше не работает, он болен...

— Тогда синьор Руиджи, возможно, посоветует, с кем мне стоит переговорить. Джульетта сказала, что он даст самую разумную рекомендацию.

— Но Джульетта не звонила нам...

— Хорошо, я попробую сейчас же еще раз связаться с нею.

Он познакомился с Джульеттой, маленькой очаровательной актрисой, в Мадриде на телевидении; они вдвоем вели передачу, подобную той, которая называется у нас «С добрым утром»; потом часто перезванивались; в голосе Софи Сфорца чувствовался страх; Степанов понял, без рекомендации его не примут, а ему необходимо увидеть этих людей, он просто-напросто не имеет права их не увидеть.

...Джульетта, к счастью, оказалась дома, в Риме, обещала перезвонить Сфорца сразу же.

...Через час Степанов остановил машину возле маленького особняка, стоявшего в горах, над озером; трещали цикады; он сначала даже не поверил своим ушам, все-таки октябрь; какая-то странная птица пела в лиа-

нах; господи, как похоже на Абхазию, подумал он, только здесь нет доброго Аляб**р**ика, веселого и шумного бармена из пансионата «Апсны».

Он позвонил в дверь; в прихожей вспыхнул свет; кто-то приник к глазку; холодно лязгнул замок; второй; на пороге стоял высокий, молодой мужчина в белом костюме.

— Проходите,— сказал он на великолепном английском,— мы ждем вас.

В большом холле было сумрачно, лишь одна настольная лампа; дверь на веранду открыта; там сидела женщина, как две капли воды похожая на покойную Франческу, только седая, хотя лицо юное. В ее длинных, очень тонких пальцах был зажат длинный мундштук, сигарета тоже длинная, ярко-желтого цвета; пальцы чуть дрожали, хотя она всячески пыталась эту дрожь скрыть.

— Садитесь, синьор Степанофф, мы готовы выслушать сюжет вашего сценария,— сказала она.— Мой муж пообещал Джульетте проконсультировать вас. Вы действительно из России?

— Да.

— И намерены туда вернуться?

— Бесспорно,— Степанов улыбнулся.

— Но ведь там сейчас невозможно жить, такой террор.

Степанов снова улыбнулся.

— Ничего, переживем, здесь тоже не без террора, но ведь вы не собираетесь уезжать...

— Хотите выпить?— спросил Руиджи.

— Нет, спасибо, если только стакан воды.

— С газом?

— Да какой угодно, только б холодная была...

Руиджи принес воды, присел рядом с женою, вздохнул с хрипом, прокашлялся.

— Давайте ваш сюжет, я весь внимание.

— Сколько времени вы мне отпускаете?

— Все зависит от того, как мне покажется история.

— Покажется,— убежденно сказал Степанов, чувствуя напряженность Софи и ее мужа.— Вам покажется... Речь идет о политическом преступлении... В некоем городе в президентском апартаменте[1] отеля был обнаружен труп миллионера...

[1] Так на Западе называют самые дорогие номера из трех — пяти комнат.

— Это вымысел или факт?— спросил Руиджи.

— А вам бы как хотелось?

— Мне бы хотелось вымысел,— ответил он.

— Ладно,— согласился Степанов,— тогда я не стану называть убитого Леопольдо Грацио, а назову его просто Леопольдо.

— Не сходится, слишком близко, и потом Грацио, как я знаю, не был убит, а покончил с собой в связи с угрозой банкротства.

— Тогда назовем покойного Джоном, перенесем действие в Штаты.

— Это хорошее предложение,— откликнулась Софи Сфорца; ее обязательная улыбка была вымученной, тонкие пальцы по-прежнему мелко подрагивали.

— Так вот, Джон, бизнесмен и политик, был найден мертвым в своем номере; служащие отеля, пока еще, впрочем, не под присягой, заявили, что никто из посторонних к нему не входил; на пистолете, найденном поутру полицией, не было отпечатков пальцев; началось следствие; однако все те, кто мог дать показания в связи с обстоятельствами, предшествовавшими гибели миллионера, занятого в сфере энергетического, отнюдь не военного бизнеса, устранены; все, кто пытается продолжать расследование на свой страх и риск, делают это, ощущая на своей спине глаза, холодные неподвижные глаза, которые принадлежат людям, нанятым тем, кто не может позволить обнаружиться правде. Но если все-таки правда всплывет, а для этого надо не так уж много, два свидетельских показания, тот спрут, который задумывает и проводит в жизнь злодеяния, может быть раздавлен. Как сюжет?

— По-моему, интересно,— сказал Руиджи.— Но это не для меня, синьор Степанофф, это для Дамиани, «Признание прокурора» и все такое прочее, тем более что я перестал работать в кинематографе, я теперь на пенсии.

— Хватает на то, чтобы жить?— усмехнулся Степанов, спросив глазами у женщины разрешения закурить.

— Да, вполне хватает, я был хорошо застрахован.

— И вы не рветесь вернуться в искусство?

— Это моя забота, а не ваша, синьор Степанофф.

— Вы, значит, убеждены, что борьба с Доном Валлоне невозможна?

Руиджи обернулся к жене, усмехнулся.

— Я же говорил тебе, дорогая... Все должно было кончиться именно этим именем.

Софи Сфорца смяла длинную сигарету в огромной ракушке, фиолетово-черной, не средиземноморской, скорее всего, из карибского региона.

— Синьор Степанофф,— сказала она своим певучим глубоким голосом,— мы готовы обсуждать с вами вашу идею, она действительно интересна, и, если бы Руиджи чувствовал в себе силы, я бы советовала ему поработать с вами, но вы упомянули имя Дона Валлоне... Я что-то слыхала о нем, но что именно, слабо помню... Вы не хотите рассказать о нем подробнее?

Степанов понял все: страх, они ничего не станут говорить; зря потраченное время; сначала их испугали, а потом купили; очень просто.

— Имена заменить?— спросил он усмешливо.— Или все-таки вашу сестру можно назвать ее подлинным именем — Франческа? А того, кто финансировал ее фильм, — Доном Валлоне?

— Можете не заменять имена на псевдонимы,— ответил Руиджи.— Но когда вы станете говорить о Франческе, не забывайте, что перед вами ее сестра.

Степанов почувствовал, как кровь прилила к лицу, он не считал нужным сдерживать себя.

— Которая, естественно, не может не желать того, чтобы виновные в гибели ее сестры были сурово наказаны... Понятно, и вы, ее коллега по искусству, жаждете этого же, вам не может быть безразлична трагедия художника, талантливой молодой женщины, столь загадочно в расцвете сил ушедшей из жизни...

— По какому праву вы так говорите?— сухо осведомился Руиджи.— Кто разрешил вам так говорить?

— К а к?— спросил Степанов.— Я обидел вас? Готов написать все, что я говорил. Слово, зафиксированное на бумаге, есть документ, и, если вы найдете то, что подходит под категорию оскорбления, привлеките меня к суду, я готов дать показания... даже после автокатастрофы... Если оклемаюсь, приеду, это я могу вам обещать... Конечно, если кокнут, тут уж не моя вина, замолчу...

Софи Сфорца побледнела, даже в ночи было заметно, как ее щеки сделались серыми, словно бы цементными; она легко поднялась, заставила себя улыбнуться.

— Это было так мило, что вы нашли время навестить нас, синьор Степанофф, по-моему, ваш сюжет может принести славу; если удастся написать его так, как вы задумали, мы с Руиджи будем молить бога, чтобы вам повезло.— Она обернулась к мужу:— Не так ли милый? Извините, но я должна вас оставить, меня мучают мигрени...

Степанов кивнул, пожелал доброй ночи, пошел к двери; замки были особые, словно тюремные, двери обиты железом, цепочка из нержавеющей стали.

Руиджи отпер замок, кашлянул, сыгранно пожал плечами.

— Мы, люди Запада, привыкли к делу с первого же слова, синьор Степанофф, мы не византийцы, а римляне, поэтому превыше всего ценим, когда человек сразу же берет быка за рога, а не прячет главное за декорацию, будь то мифический сценарий, роман или репортаж для коммунистической газеты.

— Если бы вы не поняли главного, синьор Руиджи,— ответил Степанов,— вряд ли ваша жена так внезапно занедужила бы. Да и потом, видимо, бестактно задавать вопрос: когда и кто смог вас испугать так, что вы простили гибель Франчески?.. Я готов продолжить наш разговор на улице, если вы опасаетесь вести его в доме, где могут быть вмонтированы чужие уши.

— Осторожнее рулите по нашим дорогам,— ответил Руиджи со странной усмешкой,— они очень узкие, а наши водители — лихачи. Желаю вам доброй ночи и счастливого творчества...

«Ну и что?— подумал Степанов.— Ну и пусть этот самый Дон Валлоне узнает про то, что я иду по следу. Это даже хорошо. Только надо успеть надиктовать и отправить домой информацию, которая уже собрана. Правда складывается из крупинок знания, поиск истины — преодоление ступенек, но не лестницы всей целиком, сразу, с наскока; такого не бывает, даже слово для этого специальное изобрели — волюнтаризм... Видимо, я начал не с того конца... Мне надо найти список тех, кто участвовал в съемках последнего фильма Руиджи, на котором погибла Франческа Сфорца... Порою осветитель скажет больше, чем режиссер, который после смерти Франчески поселился на роскошной вилле в са-

мом аристократическом районе Швейцарии... Пенсия... Какая пенсия у режиссера? Расскажите Хабибулину... Кто это мне сказал? Ах да, толстая барменша в Шереметьеве, господи, когда же это было?! Почему время дома так разнится от того ощущения минут, когда самолет приземляется на чужбине? С точки зрения логики это необъяснимо, но правда! Все действительное разумно, все разумное действительно, ай да Гегель! А вот как эту философскую концепцию в приложении к разности ощущения времени вычислить на ЭВМ? Да,— спохватился Степанов,— сейчас надо позвонить в Гамбург, черт с ними, что поздно, извинюсь перед Максом, но только он один может помочь.. Нужен список всех, кто видел Франческу в последние дни, во-первых, и еще очень нужно узнать, кто продал эту виллу Софи и Руиджи».

В одиннадцать двадцать он кончил разговор с Гамбургом, записал все адреса и телефоны в свою растрепанную книжку, посмотрел по справочнику, где находится итальянское консульство в Лугано, нашел телефон своего римского издателя. «Позвоню утром, попрошу послать телекс в здешнее консульство, трехдневную визу для туристов итальянцы дают сразу же, на месте, без запроса в их МИД». Вышел на набережную; террасы, где вечером стояли сотни столиков, вынесенные из баров и «ристоранте», были пусты, гасили свет, ежедневный праздник окончился; в пиццерии «Дон Карло» возле стойки толпились несколько мусорщиков; Степанов попросил налить двойное виски без воды и льда, выпил, ощутил запах дымка, самогонки бы шандарахнуть, которую Зубаниха в былые времена гнала на Плещеевом озере; осенние рассветы там тяжелые, выпь кричит тревожно, даль видна словно бы на сислеевской картине, как сквозь папиросную бумагу, туман слоится, зримый, близкий, цветом похожий на церковные благовония, клубящиеся в храмах, господи, как домой хочется, сил нет!

— Еще виски,— сказал Степанов и повторил прекрасное итальянское «прего» — «пожалуйста»; истинно требовательная вежливость; когда же мы начнем по телевидению давать уроки этики? Петр когда-то

начал это, а потом не до того было, да и Петра погубили, а сейчас самое время, ведь так собачимся, стыдоба сплошная; отсутствие внешней культуры отнюдь не всегда компенсирует культура внутренняя, право...

— Двойное?— спросил бармен, с интересом разглядывая Степанова.

— Только так.

— Синьор — американец?

— Русский.

Бармен присвистнул.

— О-ля-ля, вы первый русский, которого я вижу в жизни! Мой отец был у вас в плену, говорил, что в России живут очень хорошие люди, давали докуривать сигареты, не били и угощали своим хлебом черного цвета...

— Бывало,— согласился Степанов.— Здоровье вашего папы...

— Памяти папы,— поправил его бармен.— Он умер.

— У нас в России говорят: пусть земля ему будет пухом.

— Я не очень-то хорошо знаю английский... Что значит «пухом»?

— Ну, чтоб ему было мягко лежать...

— Спасибо, синьор, теперь я понял... Вы здесь по делу?

— Да.

— А кто вы по профессии?

— Литератор.

— Пишете статьи в газеты?

— Это тоже... Вы здесь давно?

— Семь лет... Швейцария — устойчивая страна, валюта стабильна, бизнес идет хорошо, особенно летом, масса туристов, пицца — именно их пища, дешева и голод утоляет...

— Ваша пиццерия, наверное, дорого стоила?

— Да, я вколотил в нее все свои сбережения... Раньше здесь был бар, дохленький бизнес, на кофе денег не сделаешь, люди хотят дешево перекусить, и чтоб с национальным колоритом...

— А почему прежний владелец продал бар?

— Старик... Немец... Он был одинокий нацист... Знаете, что есть «опель», называемый «Аскона»?

— Не знаю.

— Это благодарность городу за то, что во время войны Гитлер отправлял сюда на лечение своих раненых летчиков: никаких бомбежек, еды хватало, девки бесплатные... Нет, сейчас-то они знают рынок, я говорю о войне... А старик был одинокий, трудиться надо от темна до темна, официанты требуют большой оплаты с оборота, а мы работаем семьей.

— Кто оформил вам купчую? Адвокат?

— Это у него был адвокат, у синьора Лоренца, а я просто взял да и принес деньги. Когда есть наличные, адвокат не очень-то нужен.

— Где вы совершили купчую?

— В префектуре, двадцать минут времени, с этим у швейцарцев легко, только в Италии мучают бумажками и надувают на каждом шагу, такие уж мы люди...

Степанов усмехнулся:

— Это непатриотично — бранить свой народ...

— Почему? Наоборот. Непатриотично закрывать глаза на плохое, детям будет жить страшно, люди должны говорить о своих недостатках открыто...

...В девять часов утра Степанов был в префектуре.

В девять двадцать он получил новый адрес бывшего владельца виллы «Франческа» синьора Жовенти.

В десять сорок синьор Жовенти проводил Степанова до двери своей квартиры на виа Комунале, пожелав ему хорошего путешествия.

Свою виллу, которая раньше называлась «Натали», он продал адвокату римской кинопродукции «Чезафильм» синьору Ферручи.

Степанов сел в машину и полистал свои записи; все сходилось; именно адвокат Ферручи защищал Дона Валлоне, когда тот был вызван в суд по делу о Франческе Сфорца.

63

Цепь (иллюстрация N 5). 22.10.83

...О полете Мари Кровс на Сицилию, в Сиракузы, к Стефану Ричардсу, профессору истории Гарвардского университета, поселившемуся после выхода на пенсию в Италии, ЦРУ узнало через семь минут после того, как

она положила трубку телефона, договорившись с американцем о часе и месте встречи.

...Через час в филиале ЦРУ, обслуживающей шестой флот США в Средиземном море и базирующийся в Палермо и Катании «под крышей» страховой компании «Иншурэнс интернешнл», ушла шифровка, в которой службе предписывалось организовать запись разговора профессора Ричардса и Мари Кровс.

...Поэтому в маленьком зале пиццерии «Лас Вегас», где Ричардс назначил Мари свидание, в тот самый час, когда она приехала туда, уже находились три т е х н и к а ЦРУ с портативными аппаратами, которые записали весь их разговор.

...Расшифрованная запись беседы отправлена была в Лэнгли немедленно.

«К р о в с. Профессор, я благодарна за то, что вы столь любезно прервали работу над своей книгой и нашли для меня время.

Р и ч а р д с. Это грех — не откликнуться на просьбу такой очаровательной дамы. Выкладывайте, что там у вас, я постараюсь ответить на вопросы.

К р о в с. Вы занимались мафией...

Р и ч а р д с. Я занимаюсь ей, так точнее.

К р о в с. Простите... Вы занимаетесь мафией... А меня интересует все, связанное с делом Грацио, с гибелью его жены, с поиском Шора, который, правда, больше ничего уже не может искать, и с загадочным убийством Витторио, бывшего телохранителя Грацио...

Р и ч а р д с. Вы хотите писать об этом?

К р о в с. Да.

Р и ч а р д с. Сколько вам лет?

К р о в с. Двадцать девять.

Р и ч а р д с. Надоела жизнь?

К р о в с. Наоборот. Я очень ее люблю, поэтому и хочу выступить в печати.

Р и ч а р д с. Это патетика... Вас уничтожат, если вы сейчас тронете болевые точки с и н д и к а т а, мисс Кровс. После того, как произойдет нечто, а оно, видимо, должно произойти, публикуйте, но не раньше...

К р о в с. Вы же не боитесь публиковать свои статьи о синдикате?

Р и ч а р д с. Еще как боюсь, мисс Кровс... Еще как... Причем я пишу историю, а не сегодняшний день... Историку вообще опасно соваться в сегодняшний день, это как жернова, слепые и направленные, перемелют — муки не останется... Потом, я старый, я уже отжил, мой страх особого рода, я боюсь не за тело, а за то, что осталось нереализованным в башке, вот чего я боюсь. Что будете пить?

К р о в с. Пожалуйста, не сердитесь, но я всегда плачу за себя сама, я закажу воды.

Р и ч а р д с. А я выпью пива... Хорошо, мы с вами обсудили ситуацию. Теперь к делу... Вы слышали про Маттеи?

К р о в с. Конечно... И знаю про Дона Валлоне, и догадываюсь о его роли в гибели Маттеи, о тех нефтяных королях Далласа, которым он помогал...

Р и ч а р д с. Мисс Кровс, я американец, следовательно, я патриот своей страны. Я готов обсуждать тайны нефтяного бизнеса Далласа в связи с гибелью Энрике Маттеи, но лишь на основании документов... Я ими не располагаю. Поэтому я буду говорить только о фактах... Вы правы, у Дона Валлоне есть свой интерес в Америке, да, действительно, его бизнес в Штатах защищает адвокатская контора Уолл-стрита, но это не доказательство... Я упомянул имя Маттеи ассоциативно, мисс Кровс... Маттеи был личностью, как и Грацио... Синдикат не устраивают личности, способные принимать самостоятельные решения, без консультации с главой семьи, боссом всех боссов... Здесь, кстати, нельзя не учитывать и чисто итальянский аспект вопроса... Я допускаю мысль, что на первых порах мафия помогала Грацио... Но, состоявшись, став Доном Грацио, он понял, что все эти «боссы всех боссов» — лишь гири на его ногах... Этого ему не простили, но тем не менее не могли не считаться с ним... Вы правы, личность телохранителя Витторио любопытна, он, между нами говоря, был садовником Дона Валлоне, а его племянница, кстати, у нее другая фамилия, помогает кухарке Валлоне на его вилле в Ницце... Из Сицилии он перевез ее во Францию, здесь он только отдыхает, р а б о т а е т в Ницце Допускаю ли я убийство Грацио? Да,

вполне. Грацио поднялся против американского финансового капитала в Гаривасе, он повел себя безрассудно, видимо, отказался от компромисса. Чтобы понять, был ли он убит и кем, необходимо знать, что ему предлагали люди Дигона и Моргана во время последнего раунда переговоров. Без этой информации вы слепы, мисс Кровс... Да, я тоже склонен полагать, что Анжелика фон Варецки и смотритель ее виллы были устранены мафией, работа сделана топорно, слишком поспешно, значит, у с и н д и к а т а нет времени на тщательно спланированную комбинацию... Почему? В чем секрет? Не знаю... Хотите прокричать лишний раз про то, что мафия — синдикат убийц? Кого это удивит? Важно найти пружины действа, разыгранного ими в Торремолинос и здесь, в Палермо... Конечно, убирают свидетелей... Но зачем понадобилось покушение на Шора? Что это дает? Придет же другой инспектор, и он будет исследовать те самые данные, какими располагал Шор... Я не вижу здесь логики.

К р о в с. После устранения Шора дело Грацио передано не его коллегам, а секретной полиции, мистер Ричардс...

Р и ч а р д с. Ого! Почему я не знаю об этом?

К р о в с. Потому что я привезла эту информацию из Пресс-центра, она поступила туда за полчаса до моего вылета..

Р и ч а р д с. Это любопытный факт...

К р о в с. Вы можете назвать имя племянницы убитого Витторио?

Р и ч а р д с. Ее зовут Анна Гуираджи... Но она с вами не станет разговаривать... Или скажет то, что ей предпишут сказать... Клан Валлоне отличает жесточайшая дисциплина, все построено на примате у ж а с а перед казнью за слово, оброненное даже случайно... Ни одного звука без санкции старшего, ни одного слова с чужими, знать только то, что тебе положено... Нет, нет, вы взялись не с того конца... Я назову вам фамилию фрау Дорн... Она, мне кажется, не связана с синдикатом... Вы не пробовали встречаться с нею? Только у нее есть сведения о последних переговорах Грацио с американскими банковскими группами, которым он наступил в Гаривасе ногою на мозоль...

К р о в с. Неужели Грацио был сильнее Дигона? Моргана?

Р и ч а р д с. Он был моложе их... Смелее... Трезвее... Потом, не забывайте, Грацио — выразитель «западноевропейской тенденции» в бизнесе. Это новое качество здешней экономики, весьма тревожащее неких финансистов в Штатах, особенно после того, как подписан «проект века», так справедливо называют газопровод Тюмень — Западная Европа. Могу вам сказать, но не для публикации, что Грацио через третьи фирмы во многом содействовал реализации этого проекта, поставленного на грань срыва из-за жесткой политики администрации Белого дома... Видимо, Гаривас переполнил чашу терпения старцев с Уолл-стрита...

К р о в с. И возникли головорезы Валлоне?

Р и ч а р д с. Докажите, мисс Кровс. У меня нет фактов, я историк, а не журналист... Докажите...»

Через пять часов после того, как беседу изучили в Лэнгли, в сицилийский филиал ЦРУ была отправлена шифротелеграмма, где содержалось указание срочно подготовить «материалы» о последних переговорах Грацио—Дигона—Труссена в «необходимом для успешного продолжения операции «Коррида» ключе». Предлагалось также тщательно продумать, каким образом передать эти «материалы» Кровс или Степанову. Срок для выполнения этого задания был до смешного краток — двадцать четыре часа.

Шеф филиала ЦРУ при шестом флоте США ответил в Лэнгли, что не видит возможности выполнить задание руководства в столь сжатые сроки без ущерба для успеха п р е д п р и я т и я.

Ответа на его паническую телеграмму не последовало, поскольку Майкл Вэлш поручил провести комбинацию Джону Хофу как наиболее мобильному офицеру ЦРУ в Западной Европе с весьма сильной агентурой не только в Центральной Европе, но и в Сицилии.

64

23.10.83 (9 часов 31 минута)

Шор очнулся, будто кто-то зло толкнул его кулаком в плечо; голова кружилась, но мысль была ясной. Он открыл глаза и тут же зажмурился от страха, потому что

увидел склоненные над собою лица; глаза людей были насторожены; кожа казалась пергаментной, вся в морщинах, как у вампиров; халаты были до того закрахмаленными, жесткими, что Шору сразу же вспомнился день, когда его, мальчишку еще везли на каталке по коридору клиники после удаления миндалин. Горло рвало болью, и пятна его крови страшно расползались на таких же крахмальных жестких халатах сестер милосердия. Здесь сейчас были одни мужчины; что им от меня надо, пусть склоняются над своими жертвами в операционной, там нужны крепкие р у к и, а тут тебя окружают странные тикающие приборы, на которых постоянно подрагивают безжизненные бело-зеленые линии, повторяющие ритм работы твоего сердца и легких, тут должны быть женщины, ведь они сама нежность, ах, отчего я не женился, надо жить реальностью, а не тем, что создало юношеское воображение; счастье обязано быть простым, маленьким, теплым, близким, а ты искал прекрасную даму, как же всех нас обманывает литература! Кому я нужен сейчас, в этой клинике, кому? Этим чертовым врачам я интересен лишь как экспонат, со мною было что-то страшное, я даже боюсь вспоминать что, но и сейчас ощущаю теплый запах бензина и крик ужаса, когда автомобиль гнался за мною, а я убегал от него, петляя как заяц, по пустой улице, я помню номер, он врезался в мою память, я все время — и в бреду — помнил его, поэтому меня должны добить, не имеют права оставить теперь в живых, сказал себе Шор, потому что номер — это звено в цепи... Я должен притвориться мертвым... Но нельзя было притвориться мертвым, потому что работают аппараты, на которых бело-зеленые линии, они ведь не позволят соврать, они же не люди...

Он закрыл глаза, затаился, мечтая о том, чтобы врачи поскорее ушли, а потом испугался, что сразу же после того, как за ними мягко закроется дверь, сюда прошмыгнет кто-то безликий, достанет из кармана шприц, воткнет иглу ему в руку — и он умрет, они же обязаны доделать то, что не получилось; нет, я не имею права молчать, подумал Шор, этого ни в коем случае нельзя делать...

— Что со мною было? Я упал затылком?— прошептал он, удивленно вслушиваясь в звук своего осевшего, слабого голоса.— Какой сегодня день?

Один из врачей склонился над ним еще ниже; Шор увидел зубы — прокуренные, очень длинные; глаза были холодные, хотя человек силился изобразить улыбку; она показалась Шору гримасой ненависти.

—Все хорошо,— сказал врач.— Вы победили смерть... Теперь вы вне опасности...

— И смогу ходить?

— Да.

— Я очень боюсь одиночества,— сказал Шор.— Можно сделать так, чтобы здесь поселилась сиделка? Я оплачу... Это за мой счет...

— Рядом с вами постоянно сиделка,— врач снова растянул рот.

Неужели это улыбка, подумал Шор, а может, у него врожденный дефект лица, бывает, что после инфекции, перенесенной в детстве, не срабатывают мускулы, косоротие, так, кажется, называют это специалисты или не специалисты, один черт, у меня голова кружится, как бы снова не провалиться в темноту; ты не имеешь права терять сознание, тогда уж ты наверняка погиб, что делать, а? Боже всемилостивейший, спаси и сохрани, ведь я один, совсем один и никому нельзя верить, кругом враги, я обречен...

Врач обернулся к своим коллегам; он провел рядом с Шором три бессонные ночи, сотворил чудо, глаза его излучали счастье; никакого косоротия не было, лицо исполнено благородства, правда, усталое и отекшее, камни в почках.

— Слава богу,— шепнул врач,— теперь ему нужен покой, поздравляю вас, коллеги, вы сделали невозможное...

Врачи на цыпочках двинулись к выходу. Шор почувствовал удушье, оттого что не знал, как ему поступить. Можно закричать, чтобы сюда немедленно приехал Матэн, пусть, в конце концов, рядом с ним дежурит Папиньон, неужели они не понимают, что ему не позволят жить те, кто гнался за ним на темной улице, как за зайцем, только бы сшибить на всем ходу, раздавить, превратить в теплое месиво... Нет, сказал он себе, надо молчать, пусть они уйдут, я буду ждать, этот косоротый пришлет сестру, они так всегда поступают, ну, вспомни же, сколько раз ты сидел в больничном коридоре, когда тебе надо было допросить человека, и умо-

лял врачей позволить тебе войти в палату к тому, в ком ты был заинтересован, будь то жертва или преступник, Матэн наверняка уже сидит за стеной, и Папиньон рядом с ним, но ведь они уйдут, им скажут, что нужен покой, а у тебя нет никого, кого можно позвать, кто бы приготовил тебе кислый морс и поил из чашки, подложив руку под затылок, расколотый надвое тяжелой постоянной болью, ах, отчего мы начинаем думать об одиночестве, когда остаемся совсем одни, лицом к лицу со смертью?! Если бы я смог найти Эриха, все было бы иначе, нет ничего прекраснее дружбы братьев, особенно когда папа и мама живут поврозь, кто, как не брат, самый близкий тебе человек на земле, кто, как не он, будет сидеть рядышком день и ночь, и не сомкнет глаз, и подложит ладонь под затылок, а еще лучше под шею, как хорошо, когда родной человек держит тебя за шею и не дает пролиться каплям на грудь, это так неопрятно, когда еда пачкает белье, хочется сразу принять ванну, а как ты пойдешь туда, если руки и ноги не слушаются тебя, в гипсе, огромны и неподвижны... Ждать... Надо ждать и ни в коем случае не позволить себе уснуть, мне нельзя спать, я должен дождаться Матэна или Папиньона, они сделают все, чтоб спасти меня... Только б этот косоротый доктор не объявил журналистам, что я пришел в себя... Ах, зачем я с ним говорил?! Но ведь я сказал, что упал затылком! Кто этому поверит, настоящая хитрость должна быть бесхитростной, я же слишком трусливо лгал им, это поймет любой, а уж те, кому я мешал, тем более... Надо было молчать, чтобы они решили, будто у меня отшибло память и речь, почему я не подумал об этом, почему?!

65

23.10.83 (16 часов 50 минут)

Лишь с пятым человеком из «римского списка» Степанов смог поговорить, остальные молчали.

— Ах, да все это ерунда!— ассистент оператора Роберто досадливо поморщился.— Ее просто-напросто убили. Это я говорю вам и не скажу никому другому, понимаете?

— Боитесь мести?

— Что значит месть?! Просто-напросто прирежут! Месть предполагает объявление войны, открытость, перчатку! А наши этого не приемлют, наймут алкоголика или наркомана, деньги в зубы, стилет в руки, и все! Знаете, почему я решился сказать вам то, что знаю?

— Совесть мучает?

— Да будет вам! Сейчас не девятнадцатый век. Просто я воспитывался на «Броненосце "Потемкине"» и «Радуге», а моего отца расстреляли нацисты в Северной Италии. Вот какая штука, понимаете,— словно бы смутившись, продолжал Роберто.— И еще я очень любил Франческу... Нет, я понимал, что у меня нет шансов, а к Петрарке с его лирикой я отношусь снисходительно, в наш век брачные объявления печатают в газетах, указывают длину ног и объем груди для сведения будущего спутника жизни и отца твоих детей... Я любил Франческу и как гения, и как простую римскую девочку, она ж из низов, как и я, только я ничего не достиг, зато живу, а она поднялась, и поэтому ее больше нет. Словом, я скажу вам то, что знал, и то, что чувствую поныне... Думаю, самое важное вам мог бы сообщить ее адвокат Марьяни, если только его не перекупили, знаете, как у нас умеют перекупать? О, с потрохами! Вам известно, каким был сценарий того фильма, который крутил Руиджи?

— Нет.

— Можете ознакомиться с ним, он должен быть в библиотеке гильдии киноработников... Довольно любопытный фильм о женщине, которая сама делает свою жизнь: начала со стенографистки, прошла через постель своих боссов, получила от них какие-то деньги, поступила в университет на юридический факультет и выбрала тему для диссертации о защите в суде тех, кого называют проститутками... Вообще-то я считаю проститутками не тех, кто этим зарабатывает себе на жизнь... Наши матроны, которые имеют мужа, спят с другом мужа и при этом покупают себе мальчика,— вот истинные проститутки... По сценарию у героини Франчески начался роман с парнем тоже из низов, она доверилась ему, рассказала о себе все, но он не смог простить ее прошлых связей; она пускается во все тяжкие, знаете, эдакое очищение через полнейшее падение. Бывает у баб... Ну вот... Материал был интересный, по-на-

стоящему интересный, Чезаре рассказал о сюжете фильма газетчикам, рекламу надо делать загодя. Франческу любят... Любили, вы же знаете... Началась шумиха... И тогда возник Дон Валлоне... Он хозяин в кино, он содержит и наш «Чезафильм», не прямо, конечно, там черт ногу сломит в их связях и отношениях... Словом, Франческе предложили огромные деньги за то, чтобы она снялась в сцене, когда с нею спит боксер, сексуальный маньяк, но так, чтоб без фокусов, а в открытую, как в кино говорят, на сливочном масле... В серьезный фильм Дон Валлоне решил вставить порночасть, представляете, сколько людей повалит на такую картину! Не прыщавая шлюха показывает класс секса, не бездельница бабенка, а наша красавица Франческа... Он все верно рассчитал, этот Дон Валлоне... Вы его не видели?

— Нет.

— Вылитый пастор, такой уж скромный, такой воспитанный, такой тихоня... Его мало расстрелять, Степанов, его надо публично повесить, да, конечно, негуманно, я понимаю, только мир не вправе позволять жить таким тварям, как он... Шофер Чезаре мне рассказал, каким голосом Дон Валлоне назвал ту сумму, которую они могут получить, если те кадры с Франческой войдут в фильм.. Он сказал, что это даст, по крайней мере, тридцать миллионов зрителей... Ну, а теперь считайте сами, не знаю, в какой валюте, удобней... Первые месяцы, если только фильм стал боевиком, цена на билет равна десяти, а то и пятнадцати долларам... Тридцать миллионов умножить на десять долларов, ясно? Ну там процент за аренду кинотеатров, страховка, гонорары, ничего, на худой конец, сто миллионов долларов чистыми... Словом, Дон Валлоне предложил Франческе миллион за сцену в постели... У нас теперь это дело обычное, да и Ватикан стал проще смотреть на такое, а то ведь раньше нельзя было показать обнаженную женщину, все выстригали, блюли нравственность... А у Франчески был друг, вы, наверное, слыхали?

— Нет. Про него и про нее молчат все, с кем я встречался... Я опрашивал и здесь, в Риме, и в Швейцарии, но все словно дали подписку не разглашать тайну...

— А что?! Они дали такую подписку, уж поверьте мне, дали, поди не дай... Эти сволочи умеют брать подписки... Добром, угрозой, кушем... Купят дом — вот тебе в обмен и подписка...

— Кого вы имеет в виду?— спросил Степанов.— Руиджи?

— Конечно.

— Но он женат на ее сестре...

— Ее пристрастили к марихуане... Все сделает за одну затяжку... Хотя сейчас, наверно, перешла на героин... Она ж, как и Франческа, была девушка с окраины... Сестра стала зарабатывать, а Софи ничего не интересовало, лишь бы покейфовать, купить машину, переселиться в район особняков... Если б за душой у нее была страсть, увлечение, тогда одно дело, а она всего-навсего оказалась сестрой гения...

— Вы начали говорить о друге Франчески...

— Да, я сбиваюсь, когда вспоминаю тот ужасный день... Пальцы холодеют... Как у старика... И внутри все трясется... Ее другом был Фредди Тибс, журналист из Лондона... Он потом спился, не уверен, жив ли еще... Никто не знает о том, что произошло в тот вечер на съемке, только Руиджи знает, главный оператор Эусебио и я, потому что мы снимали эту сцену втроем, всех остальных из павильона удалили, такое было условие... Но они что-то ей дали в кофе, какое-то лекарство, нет, нет, не Руиджи, он ведь поначалу сам чуть не сошел с ума... Франческу пригласили на ужин перед съемкой... Чезаре и какой-то его приятель, кажется, адвокат...

— Ферручи?— уточнил Степанов.

— Не знаю. Я не знаю его имени,— раздраженно повторил Роберто.— Какое это имеет значение?

— Имеет. Очень большое. Вы его видели в лицо?

— Видел. Когда Чезаре и этот адвокат привезли Франческу на съемку... Понимаете, она не была пьяна, она очень серьезно относилась к профессии, но она была не в себе: глаза горят, как-то нервно смеется, движения резкие...

— Погодите... Вы сможете опознать того, второго, который был с Чезаре, если вам покажут его фотографию?

— Смогу. Но не стану. Да, я мразь, трус, все верно... Но я не пойду на драку, это бесполезно.

— Я пойду,— сказал Степанов.— Я старый и потом иностранец, терять мне нечего, вы хоть для меня-то опознайте, ладно?

— Ладно,— как-то сломавшись, тихо ответил Роберто и посмотрел на шумную римскую улицу, что вела к вокзалу; они сидели у окна в маленькой траттории и пили кофе одну чашку за другой; хозяин был турок, варил по стамбульскому рецепту, очень вкусно.

— Я начинаю догадываться, что случилось,— сказал Степанов.— Чезаре присутствовал при съемке?

— Он вошел, когда все началось... Тот тип, который должен был с ней лежать под простыней, был действительно сексуальный маньяк, а ее они напичкали каким-то зельем или еще чем, это я вам говорю точно, иначе объяснить нельзя... Руиджи закричал, мол, надо прервать работу, а Чезаре шепнул что-то оператору Эусебио, и тот продолжал крутить мотор, Руиджи снова крикнул «стоп», но Чезаре и ему сказал что-то... Нет, я знаю, что он им сказал, потому что мне он тоже шепнул: «Сынок, так надо, а тебе я кладу в карман двадцать пять тысяч долларов...» И положил их мне в карман... А я взял... Вот так-то... Назавтра Франческа потребовала, чтобы тот кусок сожгли, она приехала в павильон желтая, совершенно больная, с огромными синяками под глазами... На съемке-то она уснула, и не думаю, чтобы помнила то, что было, я ж говорю, они ее чем-то накачали, пообещали, что эпизод будет в рамках приличия, не хуже, чем в «Калигуле» или «Эммануэле», мы же просто-напросто сняли все от начала и до конца, а она выходила замуж за Фредди... Понятно? «Неуравновешенность, артистическая натура...» Вздор мерзавцев, которые знают правду... Они считали, что ее можно купить за миллион, но ошиблись в расчетах...

— Убили, опасаясь разоблачения, или она застрелилась?

— Застрелилась... Вообще-то они ее застрелили накануне, на съемках или еще раньше, когда Дон Валлоне подсчитывал, какой будет профит с этой сцены... Им же было плевать на нее, какое им дело до человека, если можно взять сто миллионов... Я ведь взял двадцать пять тысяч...

— Зачем же тогда они устроили катастрофу Руиджи, когда тот ехал на процесс?

— А потому что Руиджи стал словно сумасшедший после того, как она застрелилась... Он избил Чезаре, он бил его в кабинете, сломал ему нос... А тот даже не вызвал полицию; Руиджи связали наши осветители и пожарники... Его перекупили в госпитале... Два месяца он был при смерти, не мог говорить, думали, что навсегда уже парализован... Вот так, Степанов... А вы говорите, сюжет о том, как шлепнули миллионера... Да черт с ними, с этими миллионерами... Вот сюжет, но разве хватит у вас сердца снять его и написать?.. У меня нет...

— Пленка цела?— спросил Степанов.— С теми кадрами?

— Не знаю...

— Можете узнать?

— Зачем?

— Чтобы отомстить...

— Я же сказал, в это дело я не вхожу, я дерьмо, нет мне прощения...

— Так вас никто и не приглашает в это дело... Помочь-то самому себе, чтоб не так было грустно доживать, неужели не хотите?

— Вы очень страшно сказали: д о ж и в а т ь... Что ж, узнаю... А как можно отомстить, имея на руках ту пленку?

— Это мое дело, Роберто, вы же не хотите лезть в драку...

— Едем,— Роберто поднялся, положил на стол мятую купюру, сказал официанту, что сдачи не надо, и суетливо пошел к выходу.

Через час он передал Степанову ролик.

— Это все, что осталось... Там было пятьсот метров... Их нет... А здесь срезки... Но если вы когда-нибудь кому-нибудь скажете, что я вам их передал, мои дети проклянут вас...

— Сколько их?

— Трое. А последний родился через полгода после гибели Франчески, только поэтому я и предал ее, взял те иудины деньги...

66

24.10.83 (10 часов 44 минуты)

Люси Лоран к телефону не подзывали; Степанов не мог понять, кто снимал трубку — мать, тетушка или служанка, отвечали сухо и однозначно, в голосе было нескрываемое раздражение:

— Мадемуазель Лоран занята, оставьте свой номер, по какому вопросу, перезвоните завтра, сегодня я не смогу вас соединить.

Степанов боялся взглянуть на часы; проклятие секундной стрелки, подумал он; да еще Мари не подходит к телефону, все-таки женщины скроены из особого материала, никакого отношения к нашим ребрам они не имеют, право... Куда она уехала?! Какого черта ее понесло на Сицилию? Это ж мужское дело! Ей совершенно ни к чему было лезть в такое. Ты проецируешь ее на дочь, сказал себе Степанов, хотя они совсем разные; моя скрытнее, мягче, талантливее, думает иначе, шире, глубже, без той изначально заданной немецкости, что ли, но все равно в них очень много общего, одинаковая решимость и честность такая же, изнутри светятся.

Степанов поехал в марсельский порт, поставил машину возле ресторанчиков, где готовят сказочный буйабес[1], сел на пароходик, что отправлялся на остров Иф, к Монте-Кристо, хотя, спохватился он, при чем здесь Монте-Кристо? Я еду к Дюма. Бедные писатели, если им повезло создать образ, который стал Мегрэ, Шерлоком Холмсом или Монте-Кристо, они сами как личности исчезают, их не помнят, знают лишь их героя, у нас так было, к примеру, с фильмом «Большая жизнь». Актера Петра Алейникова, игравшего там, запомнили, да и то лишь люди моего поколения, как Ваню Курского, весельчака и балагура, и уж вовсе почти никто не знает, что написал сценарий к этой ленте Павел Нилин... Помнят его «Жестокость», «Испытательный срок», особенно те, кому запал в сердце Венька Малышев, но сколько их, таких памятливых?! Увы, помнят, как правило, то, что повторяют бесчисленное количество раз... А то, что как откровение входит в тебя, растворяется в

[1] Уха из морской рыбы, которую готовят на юге Франции.

тебе, и ты вбираешь в себя Веньку Малышева, или романтиков Паустовского, или булгаковского Воланда, и они делаются частью твоего «я», и ты не можешь их вычленить, редкостно, ибо талантливо и не нуждается в том, чтобы про то долдонили или повторяли... Вот ведь как устроена эта жизнь: порою помнишь ненужное, чужое, то, что на слуху, а то, без чего трудно жить, вбираешь в себя, забывая того, кто был прародителем этой, теперь уже твоей, части души...

На маленьком пароходике было всего пять человек; конец туристского сезона в Марселе подобен празднику рождества — на улицах пусто, грустно и одиноко; этот день принадлежит дому, семье, никаких гостей, только свои, заранее известно, кому какой достанется подарок, нет ощущения шумного застолья, оно бывает только у нас: нагрянул в гости, пусть у хозяина ничего нет в холодильнике, неважно, он пойдет к соседям, глядишь, на столе бутылочка подоспела, винегрет сообразит — картошка, лук, соленый огурец, чесночек и свекла, сейчас такое стали меньше готовить, все больше ударяют по кулинарии, а раньше, особенно в первые послевоенные годы, винегрет был главным угощением в любом доме.

«Черт, как хочется домой,— подумал Степанов, ощущая вкус винегрета.— Приехать к Сане, Аверину Семену или к Кирсанову, тот всегда делает винегрет, старый, добрый, наивно-хитрый доктор, скоро исполнится семьдесят, а впервые мы с ним поехали на охоту, когда ему не было сорока, а тебе самому только-только стукнуло четверть века... Остановись, мгновение, остановись, бога ради! А про винегрет ты не зря все время думаешь,— сказал он себе,— будь проклято это твое ассоциативное мышление. Ты берешь себе тайм-аут, как в баскетболе, когда устал и надо собраться перед решительным броском, который определит исход встречи... Ты ищешь путь к достижению своей цели, потому-то и вспоминаешь то, что дорого тебе, что дает возможность закрыть глаза, расслабиться, а потом резко встать и сделать бросок — для победы... Я ломлюсь в закрытые двери, в этом моя ошибка; я должен устроить так, чтобы тот человек, с которым мне надо поговорить, был заинтересован во встрече, как и я, если не больше... Ну, хорошо, а как этого добиться? Очень просто,— понял Сте-

панов,— здесь, на Западе, все делает паблисити, здесь можно написать гениальную книгу и умереть в безвестности, если ты плохой коммивояжер собственного таланта, не имеешь связей с прессой и лишен дерзостного качества саморекламы. Надо было послать тем, с кем я хотел говорить, фотокопию обложек моих книг, изданных здесь, оттиски критических статей и фоторепортажи обо мне... Конечно, стыдно, это у нас просто-напросто невозможно, хотя нет, возможно, увы, но отношение к такого рода коммивояжерству презрительное, прямо противоположное здешнему... И этой самой Люси Лоран я должен был отправить фотографии, но сейчас время упущено, значит, надо пойти в газету и попросить коллег, чтобы они представили ей меня, тогда будет легче говорить с ней, вот уж воистину задним умом крепок...»

На острове Иф было пусто; два вездесущих японца щелкали своими диковинными камерами все и всех; узкая дорога, что вела в тюрьму, на вершину горы, пахла прошедшим летом, камни еще хранили тепло солнца.

...Камеры в тюрьме были игрушечными, каземат полуразвалившийся; лучше б не приплывать сюда; Дюма придумал свой Иф пострашнее, совсем другой.

...Вернувшись в Марсель, Степанов сразу же отправился в редакцию, предварительно попросив своего парижского издателя (связался из автомата на набережной) позвонить здешним газетчикам.

...Через час он шел на встречу с мадемуазель Лоран; она попросила Степанова приехать на набережную; встретимся возле причала «Остров Иф», я буду в красном платье, очень худая, усмехнулась Люси, похожа на сушеную рыбу.

— Мне бы не очень-то хотелось говорить об этом,— Люси Лоран потянулась за сигаретами; курила «Голуаз», черные, самые крепкие, без фильтра.

— Я понимаю,— ответил Степанов.— Простите меня, бога ради... Но речь идет о том, чтобы не дать свершиться новому злу...

Она жестко усмехнулась:

— Все равно свершится.

— Может быть. Но если не попробовать помешать этому, станет стыдно смотреть на свое отражение в зеркале.

— Не смотритесь.

Степанов заставил себя улыбнуться:

— А как же бриться?

Женщина сухо поинтересовалась:

— Что вам от меня нужно?

— Мне важно узнать, кто стоял за тем варварским бизнесом, в который вовлекли вас. Конкретно вам знакомо имя Дона Валлоне?

— Нет.

— А его адвоката Ферручи?

— Нет.

— Вы давали показания полиции по поводу всего с вами случившегося?

— Считаете, что после таких показаний мне можно было бы продолжать жить в этом городе? Да и вообще во Франции?

— Но вы же дали интервью газетам...

— И прокляла себя за это.

— Вы допускаете мысль, что этот страшный бизнес может продолжаться?

— Он продолжается.

— И вы спокойно к этому относитесь?

Лицо женщины собралось в какую-то странную гримасу, потом она тихо засмеялась.

— Я отношусь к этому с радостью... Не я одна... Знаете, как приятно, если не только ты извозилась в дерьме и сломала себе жизнь...

— Я не верю вам,— сказал Степанов убежденно.— Я вам не верю.

— Вы не верите мне, потому что не испытывали того, что пришлось испытать мне... Когда твой рабочий день начинается в восемь утра, а кончается в три ночи, когда ты перестаешь быть человеком, а становишься подстилкой, когда четыре раза в году привозят доктора, и он делает тебе аборт, но, перед тем как положить в кресло, тоже считает своим долгом поспать с тобою на дармовщинку... Если бы я могла написать обо всем, что мне пришлось пережить, я бы отдала это Лелюшу или Годару, получился бы неплохой фильм, но я не могу об

этом писать, потому что у меня разорвется сердце... Оно и сейчас, когда я говорю с вами, болит, и рука холодеет...

— А вам не хотелось найти людей, которые поместили в газете объявление о «выгодной работе на берегу моря»?

— Этот человек сам нашел меня, месье Степанов, он меня нашел вскорости после того, как я вырвалась оттуда... Я живу в квартире, которую он мне купил, и я получаю от него ежемесячную дотацию, на которую безбедно существую.

— Вы можете назвать его имя?

— Могу.— Женщина снова закурила.— Вы сами его назвали только что. Да, это адвокат Ферручи, вы правы.

— Вас кто-нибудь предупредил, что я стану спрашивать об этих людях?

Женщина вскинула голову; в ее больших глазах, скрытых темными стеклами очков, метнулся страх.

— Почему вы так решили?

— Потому что литератор умеет чувствовать так же, как женщина... Я это почувствовал, мадемуазель Лоран...

— Зачем вам эта история? Какое дело вам до моей судьбы? Почему вы считаете возможным вообще говорить со мной обо всем этом?!

— Я вам отвечу... Вы вправе передать мои слова тем, кто звонил вам после того, как журналисты попросили найти для меня время... Вас же заставят передать содержание нашей беседы, разве нет? Вот я и даю вам картбланш, передайте им слово в слово то, что я сейчас скажу... Это фашизм, когда женщину продают в рабство... А фашизм надо уничтожать... Любым способом. Я подчеркиваю — любым... Те люди, которые продали вас, а потом купили вам квартиру на рю Канебьер, боятся только одного — силы. Высшим проявлением силы является знание, не так ли? Я много знаю о помощнике Дона Валлоне адвокате Ферручи, а буду знать еще больше... Они звенья цепи... Но они лишь исполнители злодейства, главное планируют те, кто выше и респектабельнее... И они, этот самый Дон Валлоне и Ферручи, назовут мне ряд имен, в которых я заинтересован, понимаете? А это поможет моим друзьям предотвратить новые трагедии. Во имя этого мои друзья и готовы на все.

— Не сердитесь.

— Стараюсь...

— Мне двадцать пять лет, месье Степанов,— женщина сняла очки, глаза у нее были пустые, выцветшие какие-то, в сети маленьких морщин.— А выгляжу на хорошие сорок. Не надо, не перебивайте, я знаю цену успокоительным комплиментам... Я не могу никого любить, потому что в моем сердце, в памяти, в глазах постоянно живет прошлое. С ним я умру... Никогда не смогу забыть... С содроганием думаю о том, что сентиментальные литераторы прошлого века окрестили словом «близость»... Теперь для меня высшим проявлением любви стало слово «отдельность»... Вы намерены предотвратить какую-то трагедию... Это ваше право... Но не употребляйте меня в качестве инструмента... Я этого не хочу... Можете встретиться с моей подругой, мы с нею работали в одном коттедже, ее зовут Жюли, и она жаждет мщения... Пожалуйста, я не против, если она станет давать вам информацию... Только меня больше не трогайте, ладно?

...Жюли была полной противоположностью мадемуазель Лоран, вся словно бы собранная перед ударом.

— Да, мы сбежали вместе с Люси, нам помог капитан, он был немцем, Герберт Шрауб, он чувствовал свою вину перед французами, его папа был в парижском гестапо, знаете, если уж немец честен, так он честен до конца... Я готова на все, только бы отомстить. Люси сломалась, постоянно пьет, по-моему, у нее в голове что-то сдвинулось... Я могу передать вам мои записки, если вы серьезно считаете, что у вас что-нибудь получится, только, правду говоря, сомневаюсь. Вы не знаете этих людей, они здесь всемогущи...

— Вы предпринимали что-нибудь, Жюли?

— Спросите лучше, чего я не предпринимала!

— Обращались в прессу?

— Конечно. И в суд, и в прокуратуру. У Ферручи все схвачено, всюду поставлены купленные им люди...

— Вы позволите открыто в прессе назвать ваше имя?

— Конечно! Как же иначе?! Мне ведь никто квартиры на рю Канебьер не покупал и ренты не платит...

Ферручи оказался высоким седоголовым человеком с большими чуть навыкате глазами; одет, как и полагается преуспевающему адвокату, несколько небрежно: в левой руке зажата дорогая «данхиловская» трубка.

— Я думал, вы позвоните завтра,— сказал он Степанову.— Рад знакомству... Мы с боссом успели прочитать вашу последнюю книгу, очень интересно, только советовал бы вам найти другого издателя в Швейцарии, ибо месье Жюри не так престижен, не умеет делать рекламу, сама скромность... Если хотите, я готов свести вас с одним из наших издателей...

— Но я не пишу порнолитературу, господин Ферручи.

— Мы издаем и поэзию, и альбомы живописи, и учебники по экономике, господин Степанов...

— Примите мои поздравления, такая многогранность.

— Я бы хотел задать вам ряд вопросов...

— Да, пожалуйста, к вашим услугам...

— Если общественность узнает подробности о работорговле женщинами — у меня есть показания Жюли, об убийстве Сфорца, есть пленка и об авиакатастрофе, устроенной для Энрике Маттеи, это может повредить тем, кто стоял за подобными операциями?

Ферручи всплеснул руками, глаза его стали круглыми, как у филина.

— Это же конец всему! Крах! Тюрьма и позор!

— Ну, а если люди, виновные в названных преступлениях, откроют мне правду о том, кто дал приказ убить Леопольдо Грацио? И о причинах, я имею в виду внешнеполитические причины, побудивших предпринять эту крайнюю меру...

Ферручи закурил, долго тушил спичку, задумчиво покачал головою.

— Полагаете, можно договориться миром?

— Попытка не пытка...

— Вы вносите официальное предложение?

— Допустим.

— Позволите посмотреть ваши материалы?

— Нет. Но, уж поверьте, они есть у меня, и это настоящие материалы, после них не отмоешься...

Ферручи вздохнул, поднялся, походил по своему кабинету, отделанному красным деревом, долго стоял воз-

ле маленького глобуса, раскручивая его длинным холеным безымянным пальцем, потом открыл сейф, достал тоненькую красную папку, подвинул ее Степанову.

— Полистайте... Это исповедь ассистента оператора Роберто, исповедь, так вас потрясшая. Вы, впрочем, его имени не назвали, как он и просил... Исповедь была написана им в этом вот кабинете, господин Степанов... Под диктовку... Под мою диктовку... Жюли, которая вам так понравилась, никогда не была, как вы изволили выразиться, в рабстве... Она шизофреничка, второй год состоит на учете в клинике доктора Мирье, мечтает пробиться в кино, мы ей поможем, она хорошо сыграла свою роль, я не ждал от нее этого... Впрочем, ваше право публиковать все, что хотите, это пойдет на пользу нашему бизнесу, потому что хороший скандал угоден крепкому предприятию, как-никак реклама. Я, вероятно, привлеку вас к ответственности за преднамеренную клевету, Роберто и Жюли это подтвердят под присягой, уплатите штраф, если наберете денег, в чем я весьма и весьма сомневаюсь... Мадемуазель Лоран заявит, что вы ее шантажировали и понуждали к сожительству... Я бы не советовал вам портить свою репутацию, господин Степанов... Мы просто выставим вас смешным, а этого литератору не пережить... Сочиняйте свои романы, кто вам мешает, но не лезьте в наши дела, мы тут сильнее...

67

24.10.83 (12 часов 43 минуты)

Комиссар Матэн склонился над Шором, погладил его ладонью по осунувшемуся лицу, заросшему кустистой седой щетиной, улыбнулся грустно и тихо сказал:

— Я не надеялся увидеть тебя живым...

— Я тоже не надеялся увидеть себя живым...

— Ты ничего не соображал, Соломон... Клиническая смерть... Тебя вытащили из небытия... Ты был обречен...

— Отчего ты не пришел вчера ко мне?

— Не пустили врачи.

— Я так тебя ждал...

— Они сказали, что тебе нельзя еще ни с кем общаться... Меня пустили всего на десять минут...

— Посиди подольше... А я посплю...

— Так ведь они сказали, что ты все время спишь...

— Нет,— Шор покачал перебинтованной головой.— Я все время жду.

— Кого ждешь?

— Смерти.

— Ты будешь жить, опасность миновала...

— Поэтому я и жду смерти... Меня должны были убить и не смогли. Значит, добьют... Ты нашел кого-нибудь?

Матэн покачал головою.

— Никаких следов... Может быть, ты помнишь номер машины?

Шор судорожно вздохнул.

— Дай мне воды.

Матэн взял со столика соусницу, подложил ладонь под шею Шора, напоил его, вытер подбородок салфеткой и спросил:

— Хочешь, я пришлю апельсинового сока? Он очень хорош при сухости во рту.

— Мне дают, спасибо. И лимонный тоже дают, только у меня от него еще больше сохнет язык... Посмотри, у меня очень большой язык?

— Не выдумывай, Соломон... Язык как язык...

— Черный?

— Розовый. Такие бывают у новорожденных...

— Дай затянуться...

— Тебе нельзя.

— Я знаю, что нельзя... Но мне очень хочется... Только одну затяжку... Погреть легкие.

— Соломон, я не сделаю этого... Я был бы тогда врагом тебе... А я твой друг... Подожди... Окрепнешь немного, и я принесу тебе пачку «Голуаз».

— Только без фильтра.

— Хорошо, без фильтра...

— Можешь посидеть рядом еще чуть-чуть? А я посплю...

— Спи. Я посижу.

Шор закрыл глаза и сразу же провалился в тревожный сон. Матэн смотрел на его лицо неотрывно; достал сигарету, сунул в рот, пожевал табак; мучительно хотелось курить; только бы Шор ничего не помнил, подумал комиссар; действительно, все это ужасно; из всех

тех, кто задает мне вопрос о том, как себя чувствует Шор и что он говорит, один наверняка связан с убийцами; действительно, Шора по жестоким законам начатой игры надо ликвидировать, если он хоть что-либо помнит... Только б ему отшибло память, бедняге. Джон Хоф так хотел, чтобы его отвели от расследования... Неужели он... Нет, этого не может быть... Человек его профессии обязан все знать, это верно, но чтобы санкционировать такое... Нет и еще раз нет... Но кто же тогда? Или я лгу себе? Ведь в самой глубине души я допускаю такую возможность... Когда на меня жмут сверху, я порой тоже закрываю глаза на то, что делают подчиненные, только бы выполнить приказ, это по правилам, мир устроен жестоко. Мерзко ощущать свою раздвоенность... Но иначе, вероятно, выжить нельзя, сомнет и раскрошит, все так устроено, чтобы сохранялись те, кто умеет плыть по течению, а не против него, нельзя нарушать равновесие, самое страшное — нарушить баланс, а Шор замахнулся на м н е н и е, которое близко к государственному, такое не прощают, конец предопределен, и ничего нельзя изменить, человек бессилен перед обстоятельствами, Кафка прав, все мы крошечные детали громадной машины, которой управляют помимо нас, по своим законам, не людским, а каким-то надмирным, жестоким, подчиненным одной лишь цели — сохранить статус-кво; любым путем, любой ценою сохранить существующее... Действительно, надо посадить сюда сестру... Пусть кто-нибудь постоянно следит за палатой... От греха... Через окно его не достанут, если и впрямь кто-то заинтересован в том, чтобы он отсюда не вышел, домов напротив нет, клиники стали строить умно, тяжелые больные видят лишь небо, оно едино, все мы там будем, впрочем, неизвестно, в каком отсеке, рай отличается от ада, хорошо бы хоть в чистилище попасть...

Матэн усмехнулся, вспомнив, как на конгрессе криминалистов в Алжире русский профессор из института права произнес забавный спич о том, как человек попал в рай и как там было прекрасно — и ангелы пели, и молочные реки текли в кисельных берегах, и неведомые птицы порхали вокруг тенистых деревьев, но в конце концов, по прошествии лет человеку стало скучно, и он обратился к апостолу Петру с просьбой разре-

шить ему туристский вояж в ад. Легко получил на это соизволение, и оказался в аду, встретил там друзей, п о г у д е л от души в ресторане, стриптиз, цыгане и все такое прочее, переспал с прекрасной девкой в номере отеля, вернулся — к указанному сроку — в рай, и стало ему там до того тоскливо, что он запросил у апостола право перебраться в ад навсегда, ему дали такое право после долгой беседы, отговаривали, рекомендуя еще и еще раз подумать, но человек был непреклонен и перешел в ад, но в этот раз не было ни кабачков Монпарнаса, ни цыган, ни отелей с потаскушками на Монмартре, была котельная, где на плите жарили грешников, а вокруг суетились деловые черти с рогами, и новообращенный жалостно закричал: «Господи, да что же это?! Ведь все было иначе в первый раз!» И апостол, явившийся ему в небесах, разъяснил: «В этом, милый, вся разница между туризмом и эмиграцией...»

Матэн откинулся на спинку стула, и в тот же миг Шор открыл глаза; они были полны ужаса.

— Что ты?— спросил Матэн.— Приснилось плохое?

— Нет, нет... Я сплю без сновидений... Ты очень торопишься?

— У меня есть еще несколько минут. Хочешь, я пришлю сюда Папиньона? Он, правда, сидит в бюро вместо тебя, работы невпроворот, но он предан тебе, как пес...

— Кто ведет дело Грацио?

— Ну его к черту, это дело, Соломон... У нас его забрали, и слава богу...

— Кто забрал?

— Тайная полиция.

— Почему?

— Не хочу интересоваться больше этим делом,— ответил Матэн.— Я посчитал для себя лучшим вообще забыть о нем. Ну их к черту. Итальянцы, они все мафиози, и не спорь, пожалуйста, это действительно так.

Шор почувствовал, как в глазах его появились слезы. Да, Матэн всегда был мне другом, он думает так же, как и я, он надеялся, что я все забыл, хотя над ним еще больше начальства, чем надо мной, и ему ужасно трудно. Матэн — человек простой, маленький человек, который боится этой жизни, так же, как я, и он дал мне совет, чтобы я все забыл, а он не имел права на это, я

очень хочу забыть, я сделаю все, что можно, лишь бы забыть тот номер, что был на машине, которая меня убивала, только смогу ли я забыть его? Наверное, смогу, я же смог забыть лицо Эриха, почему бы мне не забыть номер машины, которую вел сегодняшний фашист?

68

24.10.83 (23 часа 41 минута)

Когда Степанов, разбитый после восьмичасовой гонки из Марселя в Шенеф, принял душ, было около полуночи. Тем не менее он позвонил Мари; та попросила приехать, в голосе ее были отчаяние и усталость, Степанов отогнал машину в «авис», пришел к Мари, долго сидел с нею, ощущая какую-то пустоту внутри. Сказать всю правду ей он не мог, всегда надо оставлять человеку «три гроша надежды»; успокоил как мог, условился о встрече завтра в восемь утра, как говорится, утро вечера мудренее.

Он возвращался от Мари, еле волоча ноги, болела спина, затекли руки. На улицах было пусто, свет фонарей казался размытым оттого, что с гор спустился туман, шаги были гулкими, отлетая, они ударялись о стены домов, словно кто-то невидимый хлестал мокрым полотенцем по гальке, покрытой серебряным инеем.

Первый раз ты выезжал за границу лет двадцать семь тому назад, сказал себе Степанов, и тебя заботливо предупреждали, как опасно выходить на улицу, да еще одному, после десяти вечера, ну же и заботимся мы друг о друге! Словно все у нас полнейшие несмышленыши, право. Сейчас таких советов не дают, тоже, кстати, знамение времени. Правда, нечто подобное мне говорили, только не дома, а в Новом Орлеане года три назад в отеле, где я остановился. До сих пор отчетливо помню доброе лицо громадного негра в синей форме, с пистолетом на боку, охранника моей недорогой гостиницы, помню, как он предупредил, когда я вышел из номера в девять вечера: «Не глупите, опасно ходить по нашей улице, ограбят или убьют. Лучше вызовите такси, доезжайте до центра, тут всего километр, и прогуливайтесь себе на здоровье, там много полиции. А на-

ша улица опасная, здесь режут. Если благополучно вернетесь, обязательно заприте дверь номера на цепочку и никому, слышите, никому не открывайте, когда будут стучаться, пока не позвоните сюда, вниз, портье. Мы поднимемся, вы же запомнили мое лицо, посмотрите в глазок, поморгаем друг другу, только тогда снимете цепочку». А отчего ты вспомнил об этом, спросил себя Степанов. Оттого, что почувствовал сейчас нечто? Кто придумал эту совсем не научную, но зато понятную всем фразу: «Ощущаю кожей?» Ничего нельзя ощутить кожей, если ума нет и сердце каменное... Мама говорила про тех, кто не любит, что у них «мохнатое сердце». Господи, как же был гениален Толстой, никто не смог лучше и точнее сформулировать вселенскую истину о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а вот несчастливые... Снова ты что-нибудь напутал в цитате... Наверняка, напиши я такое, добрые редакторы найдут эту толстовскую фразу, внесут правку накануне сдачи рукописи в набор, а мы их ругаем за дотошность, как не стыдно... Прав же был Толстой: тавро несчастливой семьи, если только мать или отец не смогли найти силы подняться над собою, отпечатывается на детях и внуках... Где это я читал про то, как муж с женою расстались, а у них были две дочки. Муж сошелся с другой женщиной, он был геолог. И его бывшая жена предложила скрыть случившееся от детей, пока не подрастут: «Я скажу им, что ты работаешь на Камчатке, но ты будешь приезжать раз в год на двадцать четыре дня отпуска сюда, к нам, и мы будем жить в моей комнате, твоя кровать как стояла, так и стоит там. Пусть у девочек сохранится уверенность, что мы по-прежнему вместе. Я им все объясню позже, и они поймут тебя, и спасибо тебе за то, что не стал ничего от меня скрывать, а поступил так, как мы уговаривались, когда полюбили друг друга; любовь — это не ярмо, а счастье, нельзя удерживать человека, если любовь кончилась, это средневековье, я была бы самым несчастным человеком, если бы чувствовала в тебе постоянную больную ложь». И так они жили девять лет, пока дети не поступили в институт... Ложь во спасение? А ложь ли это вообще? Сказка — ложь, да в ней намек, добру молодцу урок, как это говорил Александр Сергеевич... Как же хорошо, что у нас перестали ворошить глубоко личное, связанное с име-

нем Пушкина... «Хочу все знать!» Страшноватая рубрика, кстати говоря, во-первых, всего знать нельзя, это хвастовство, а во-вторых, нужно ли знать все каждому? Исследователь — качество редкое, сплетник — распространенное. Прав был писатель, утверждая, что не всякая правда нужна человеку, есть такая, которая может сломать неподготовленного, слабого, лишенного широкого знания... Значит, ложь во спасение? Видимо, иногда именно так. Но ведь очень противно врать, не согласился с собой Степанов, даже в мелочи. Ну что ж, язык — штука необъятная, замени слово «ложь» на «компромисс», и все станет на свои места. Будь ты человеком компромисса, твои отношения с Надей не поломались бы еще пятнадцать лет назад... Она человек одного духовного строя, ты другого, ты п р о ж и л много жизней вместе со своими героями, их чувствованиями и мыслями, ты был распираем множественностью, а она всегда — выявлением своей самости; я высшая правда, ибо я честна, благородна, я люблю тебя и верна тебе... Но ведь и я, наверное, был не жулик, и я любил ее, я и поныне до горькой боли помню наши прекрасные первые месяцы, когда мы бродили по узеньким арбатским переулкам, смотрели на цветные абажуры с бахромой в маленьких окошках старых особнячков и по ним старались примыслить жизнь людей, населявших эти комнатушки... Черт, как это страшно — тенденциозность памяти, а?! Моя работа приучила меня к правде, к холодному логическому объективизму, а у нее, наверное, каждая новая обида в противоречии с памятью растворяла ее в себе... Да что ты все время валишь на нее?! Почему? Оборотись на себя! А разве я этим не занимаюсь постоянно, возразил себе Степанов. Я знаю, что во мне много плохого, наверное, больше, чем в ней, но я знаю и то, что никогда и никого на любил так, как любил ее, и изменил ей только из-за непереносимой обиды, а что может быть мучительнее бесконечных подозрений, когда человек начинает уже считать себя мерзавцем; не веришь, уйди. А почему не ушел ты, отчего не ушел в первый же год, когда эти беспричинные подозрения перестали быть эпизодами, а стали страшным, изнуряющим душу бытом и когда ты впервые понял, что она любила не тебя, а свою любовь к тебе? Кто поверит сейчас, что тебе было страшно за

нее, не приспособленную к жизни, своенравную, любимую, избалованную? Кто поверит, что ты «такое дерево», а она другое? Снова я про стихи Поженяна, никак не могу отойти от той поры нашей молодости, когда еще не настала разобщенность и все мы были вместе... Да, я дурацкое дерево, я поначалу думаю о том, как будет другому, а потом уже о себе, все люди, рожденные в октябре, такие, как считают здешние гороскопы... И Бэмби вот больше всего боится обидеть человека, который даже и не друг ей, но ведь такая доброта порой хуже воровства. «Надо было вам давно разойтись». Да, дочь говорила так много раз, но впервые она это сказала, став взрослой... А ведь память о счастье, которое было, столь сильна в людях и такая в ней сокрыта надежда,— особенно с возрастом, как это ни странно. А когда надежда исчезла до конца, осталось желание сохранить видимость для нее же, для маленькой тогда Бэмби... Хватит тебе, оборвал себя Степанов, надоело! Дочь выросла... Да, выросла, но она любит и Надежду, и меня, как любила, когда была маленькой, вспомни, когда разводились твои старики, а тебе было двадцать три года, разве ты был спокоен тогда? Вот все и закольцевалось фразой Толстого, подумал он, все начинается с великого, им и заканчивается.

Степанов заметил, как туман, что окружал его, засветился изнутри размытой желтизной, а потом он услыхал звук приближающегося автомобиля, затем рядом с ним скрежетнули тормоза, хлопнула дверца, шофер обежал огромный «мерседес» и отворил заднюю дверцу, из которой медленно вылез пожилой человек в легком черном пальто, седоволосый, без шляпы, в желтых лайковых перчатках.

— Господин Степанов, вчера вы меня искали, а сегодня я вынужден искать вас. Я Джузеппе Валлоне из Палермо, доброй вам ночи...

— Здравствуйте.— Степанов ощутил вдруг, как напряглись мышцы спины и гулко заухало в сердце.

И бежать некуда, подумал он, да и куда побежишь по этой пустынной улице ночью в незнакомом городе?

— Я задержу вас всего на несколько минут, господин Степанов,— продолжал между тем Дон Валлоне.— Мои помощники допустили ряд просчетов в работе, и мне сейчас приходится вносить коррективы на ходу... Прогуляемся?

— Пожалуйста,— ответил Степанов чужим голосом и сразу же откашлялся, понимая при этом, что Валлоне не обязательно знает его настоящий голос, мало ли отчего может сорваться голос; ну уж ладно, одернул он себя, не играй в героя, голос у тебя сел от страха, даже под коленками трясется.

— Видите ли, все, что говорил адвокат Ферручи, предостерегая вас от поспешных выводов и обращения к коллегам в здешнем Пресс-центре, соответствует истине. Он действительно отрепетировал спектакль, сыгранный для вас нашими статистами, довольно обстоятельно, не без таланта, позволю заметить... Но случилось непредвиденное... Этот самый ассистент оператора, который заряжал камеру на съемках Франчески... я запамятовал его имя...

— Роберто.

— Ну, это одно из его имен... Впрочем, да, именно так он должен был вам представиться... Так вот, Роберто повесился после встречи с вами... Нет, нет, вы здесь ни при чем... В этом вас никто не обвинит, хотя, конечно, есть возможность ошельмовать, все-таки мы здесь имеем определенный вес... Но дело не в том, господин Степанов... Есть основания считать, что он отправил свою исповедь в Голливуд и там, как ни странно, ему предложили за нее двадцать тысяч долларов... А он уже в морге... Что делать, получилась накладка... Вам-то он дал ерундовые срезки от тех злополучных пятисот метров пленки, но, когда брал их в хранилище нашей студии, ему удалось порыскать по полкам, он нашел нечто другое, значительно более доказательное...

— Зачем вы говорите мне обо всем этом?— снова откашлялся Степанов.

— Затем, что я назову имя человека, заинтересованного в устранении Леопольдо Грацио, а вы повремените начинать против меня бучу в прессе, если все-таки намерены ее учинить. Вернетесь в Россию, пожалуйста, а сейчас подождите...

— Так кому же выгодно было устранить Грацио?

— Ферручи полагает, что в этом был заинтересован мистер Дигон, потому что его «Континентл фуд» была бы разорена, сделай Грацио в Гаривасе то, что он намерен был сделать. Убыток, который причинили бы предприятию мистера Дигона, мы подсчитали: сто сорок миллионов долларов. Согласитесь, это деньги.

— Я могу сослаться на ваши показания?

— Господин Степанов, я отношусь к вам с уважением, как к серьезному противнику, не надо впадать в пропагандистскую трясучку. Если мы заключим джентльменское соглашение, я передам вам несколько страниц из секретной стенограммы совещания людей Дигона и Фрица Труссена с Леопольдо Грацио в Лондоне за пять дней до трагедии, разыгравшейся в номере покойного... У нас есть подходы к его личному секретарю фрау Дорн, только поэтому мы и стали обладателями документа, проливающего свет на все дело...

— Лыско вывели из-за этого?

— Видимо. Но, как вы понимаете, он не был ключевой фигурой. Убрали, чтобы не мешал схватке гигантов.

— Леопольдо Грацио убил Витторио?

— Возможно,— кивнул Дон Валлоне.— Иначе люди Дигона так не взволновались бы после заявления инспектора Шора. Итак, господин Степанов, я внес свое предложение, слово за вами...

Через десять минут после того, как Дон Валлоне церемонно раскланялся со Степановым, он был уже на вилле, принадлежавшей Хасану Ареджи, состоявшему на связи с контактом резидента ЦРУ Джона Хофа.

Дон Валлоне выпил грог, грея пальцы о горячий бокал, и только после этого сказал:

— Можете звонить вашему другу... Думаю, человек, интересующий его, поверил мне.

«Центральное разведывательное управление
Майклу Вэлшу
Совершенно секретно

Операция по дезинформации тех сил, которые вас интересуют, проведена успешно. Дон Валлоне ожидает, что наше обещание содействовать его контракту с «Ойл оф Даллас» будет реализовано не позднее чем в конце предстоящей недели.

Джон Хоф».

69

25.10.83 (9 часов 01 минута)

Пришли меньше половины журналистов из тех, кого обзвонила Мари.

Она сидела рядом со Степановым в баре Пресс-центра; лицо до того уставшее, с нездоровой желтизной, что Степанову было тяжко на нее смотреть.

Он понимал, что затея ее бесполезна; наивно думать, что здешние асы журналистики во всем поверят ей и ему, во всем с ними согласятся, напечатают в своих газетах и журналах то, что они намерены сейчас рассказать им.

За много лет, проведенных за рубежом, Степанов в какой-то мере изучил механику здешней газетно-журнальной политики.

Он не закрывал глаза на трудности, с которыми ему приходилось сталкиваться дома в журналах, издательствах, на киностудиях. Неверно было бы говорить, что перестраховка и некомпетентность редактуры не задевала его. Годы научили его выдержке, умению биться за свое, объяснять свою позицию и в конце концов печатать то, что он как гражданин считал нужным напечатать.

Здесь, на Западе, журналиста никто не ограничивал в резкости выражений, но сама с т р у к т у р а печати строилась по жесточайшему образу и подобию футбольной команды; хозяин издания подбирал и г р о к о в для себя и п о д себя; допускались самые полярные точки зрения по ф о р м е, однако же в узловых вопросах царствовало тотальное подчинение слову или даже невысказанному мнению т р е н е р а, то есть владельца предприятия.

Да, абсолютная свобода, но в тех р а м к а х, которые заранее определены боссом и добровольно приняты и г р о к а м и; всякое отклонение карается штрафом, а он в отличие от нашего, российского, окончателен и обжалованию не подлежит, потеря работы — самое страшное наказание.

Ситуация сейчас была такой, что поддержка — да еще со слов красного литератора и левой журналистки — кампании против тех, кто готовил с о б ы т и я в Га-

ривасе, была просто-напросто нереальна, поскольку Вашингтон явно определил свою позицию. Правительства и бизнес Западной Европы отдавали себе отчет в том, что портить отношения с североатлантическим партнером из-за страны, которая не входила в сферы их геополитического интереса, неперспективно и рискованно; нефть Саудовской Аравии и эмиратов надежно контролирует дядя Сэм, союзническая неверность легко карается стремительным ростом цен на бензин, а это крах, ибо практической философией Западной Европы стали скорости в небе и на автомагистралях, вне и без которых невозможен бизнес.

Тем не менее отказать Мари или объяснить, как пойдет дело на пресс-конференции, созванной ею, он считал невозможным, опять-таки проецируя на нее свое отношение к дочери, которую трудно убедить словом; новое поколение чтит свой собственный опыт, если только умные воспитатели не смогли заложить с раннего детства вдумчивое (отнюдь не слепое) отношение к родительскому авторитету.

— Мало людей,— шепнула Мари.— Будем начинать? Или отменим?

— Как знаете...

— Если б знала... Теперь только понимаю, что ничего не понимаю.

— Начинайте,— улыбнулся Степанов.— Нам терять нечего.

Мари поднялась и, судорожно вздохнув, оглядела собравшихся.

— Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли возможным принять мое приглашение... Каждый из нас все понимает друг про друга, поэтому я не буду в обиде, если вы не сможете напечатать то, о чем я и наш русский коллега Степанов хотим вам рассказать... Речь пойдет об убийстве Леопольдо Грацио, который решился на то, чтобы проводить свою политику по отношению к Гаривасу, о покушении на инспектора Шора, о личности доктора Цорра, который обвиняет Барри Дигона в империалистической активности, о мафии, ее палермской с е м ь е, возглавляемой Доном Валлоне, о его служащем, который некогда «охранял» Грацио, а ныне обнаружен убитым, о загадочной гибели Анжелики фон Варецки, о масонской ложе... Господин Степанов и я —

такие же журналисты, как и вы, поэтому мы не готовили текста своего заявления, но мы готовы ответить на все вопросы, и я хотела бы надеяться, что вы проинформируете мир о тревоге, которую мы испытываем, думая о судьбе несчастного Гариваса.

Мари села, сразу же потянулась за водой, губы ее были сухие, потрескавшиеся; Степанов заметил, что вокруг рта за эти дни залегли морщинки, которых раньше не было.

— Отделите злаки от плевел,— сказал корреспондент из Иоганнесбурга.— Не путайте масонов с делом Грацио... У меня создалось впечатление, что вы бабахнули этот материал, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание, это непрофессионально, мисс Кровс.

Мари смутилась, не нашлась что ответить, ей стало страшно, словно этот злой человек подслушал ее разговор с профессором Ричардсом (он не подслушивал, его просто п о п р о с и л и сказать это в самом начале пресс-конференции).

— А почему вы так тревожитесь за Гаривас?— начал атаку один из парагвайских журналистов, Мари не знала его, он приехал совсем недавно.

— Потому что,— ответилм Мари,— все происходящее там очень напоминает ситуацию, предшествовавшую убийству Альенде.

— Вы брали интервью у Санчеса,— продолжил свой вопрос тот же журналист.— Это мало кому удавалось, только вам да еще Жюлю Бреннеру из Парижа, который передал, что на днях его примет полковник. Во время интервью Санчес говорил вам что-либо такое, что просил бы не предавать гласности?

Степанов закурил и, медленно затушив спичку, заметил:

— Вы не отрекомендовались, коллега... Какую газету вы представляете?

— «Опиньон», Парагвай, с вашего позволения.

— Это новая газета?— осведомилсяя Степанов, сдерживая улыбку.— Или хорошо реанимированная старая?

— Нас сюда пригласили задавать вопросы,— ожесточился журналист.— И я задаю свои вопросы. Это по правилам. Когда я приглашу вас на мою пресс-конференцию, я стану отвечать вам, а сейчас я хотел бы услышать ответы фройляйн Кровс.

Мари как-то ищуще посмотрела на Степанова, в глазах у нее он заметил растерянность.

— Да,— сказала наконец Мари,— некоторые свои ответы полковник Санчес просил не публиковать.

— Какие?

— Он же просил меня не публиковать их... Следовательно, я не могу ответить на ваш вопрос.

— Вы знали полковника Санчеса в те годы, когда он учился в Бонне?

— Да,— ответила Мари.— Знала.

Фриц Узен поднял палец над головой.

— Фройляйн Кровс, почему вы не опубликуете то, что знаете?

— Те органы прессы, к которым я обращалась, отказались печатать мои материалы... Я приготовила копии, вот они,— Мари положила ладонь на папку,— каждый может взять их и, если сочтет нужным, использовать...

— Господин Степанов,— спросил журналист из Голландии,— вы получили задание от своих властей проводить расследование вместе с Мари Кровс?

Степанов пожал плечами.

— Здесь был искалечен мой коллега... И ваш, кстати, тоже... Лыско... Он лежит без сознания в госпитале в Москве... Его изуродовали потому, что он взял материалы фройляйн Кровс,— Степанов кивнул на папку, что лежала на столе.— Я считал своим долгом войти в этот поиск, речь идет о судьбе и жизни моего согражданина...

— Вы, так же как и фройляйн Кровс, убеждены,— спросил журналист из Туниса,— что убийство Грацио, покушения на Шора, на Лыско и Анжелику фон Варецки как-то связаны с тем, что происходит в Гаривасе?

— Полагаю, что да. Особенно если вы проанализируете ситуацию на бирже, а она загадочна.

— Расскажите обо всем подробно,— сказал Роберт Лоппенгайм из Нью-Йорка.— В абсолютной последовательности, с самого начала...

Десять человек из тех, кто был на пресс-конференции, отправили сообщения в свои газеты и журналы.

Главный редактор «Нахрихтен», получивший телекс из Шенеф от своего корреспондента, аккредитованного при Пресс-центре, созвонился с Фрицем Труссеном,

банкиром, который, как полагали, собирался вместе с Грацио финансировать энергопроект Санчеса: семнадцать процентов акций журнала принадлежало концерну Труссена с шестьдесят пятого года, его слово было определяющим, хотя он никогда не позволял себе ж а т ь, только совет, размышление вслух, не обидная, вполне дружеская подсказка.

...Они встретились в ресторане «Мовепик» за завтраком; разговор был, как всегда, доверительным; редактор не сразу попросил Труссена прокомментировать вопрос о Гаривасе; легко спросил о Санчесе, о возможной связи между гибелью Грацио и судьбой маленькой заокеанской республики и сделал это только перед кофе, когда все основные дела были обсуждены и новые анекдоты рассказаны.

— Хотите выступить со статьей?— поинтересовался Труссен.— Не преждевременно ли? Пока, во всяком случае... Когда слишком много черных дыр, возможна непредсказуемость... Это в равной степени приложимо и к астрономии, и к нашей земной суетной практике... Впрочем, не мне решать, вы журналист, вам и карты в руки...

Главный редактор «Ньюс» получил информацию Лоппенгайма, дважды прочитал ее и позвонил Барри Дигону; тот держал через третьих лиц двадцать один процент акций его журнала; выслушав редактора, Дигон посмеялся и ответил в обычной своей манере, с мягким стариковским юмором:

— Джордж, я не вправе вам советовать, печатайте, что хотите, пусть себе, но только мне не совсем понятно, зачем нам разрешать позорить американский бизнес? Зачем связывать какого-то мафиозо Валлоне с Уолл-стритом? Хватит, право! Надоело! Пусть об этом пишет русская пресса, а не наша... Разве я виноват в том, что адвокат, обслуживающий один из моих банков, подрядился защищать этого самого порнографического магната!

— Барри, я считал своим дружеским долгом позвонить вам.

— Спасибо, мой дорогой, повторяю, я переживу и это, но в данном случае мне просто-напросто обидно за моих коллег по Уолл-стриту.

(Майкл Вэлш, выслушав Дигона — тот был растерян, весь запас юмора истратил на то, чтобы верно провести разговор с главным редактором,— ответил, что немедленно займется этим вопросом; я сделаю все, добавил он, и погашу этот скандал в зародыше, не тревожьтесь, Барри.)

Директор «Уорлд интернешнл» бегло просмотрел материал, недоуменно пожал плечами:

— Мы уже подготовили анализ по узлу Гариваса, и я согласен с этим анализом, незачем путать читателей, они не любят, когда сшибаются две полярные точки зрения... И потом, отчего мы должны предоставлять свои страницы красным? Естественно, этот самый Степанов обязан говорить то, что ему предписано Кремлем... Нет, мы этого не станем печатать, копию отправьте в государственный департамент, пусть ознакомятся, а нашему корреспонденту в Шенеф передайте, что телекс стоит денег, больших денег, и платим за него мы, а не он...

И лишь газеты, которые негласно и тайно контролировала корпорация Ролла, получили осторожный с о в е т вынести на первую полосу шапку: «Барри Дигона обвиняют в заговоре». Впрочем, п о д р о б н о с т и было рекомендовано опустить, имя Степанова не упоминать вовсе, а Кровс ни в коем случае не называть левой, это «девальвирует сенсацию». Однако же в информации было вымарано все, имевшее отношение к Гаривасу, хотя упоминалась мафия, Дон Валлоне, гибель Франчески Сфорца, загадка покушения на Шора. О главном было сказано сквозь зубы, полунамеком.

Тому делу, которое прежде всего тревожило Мари Кровс, эта публикация помочь не могла, даже наоборот — скандалу был придан характер с в е т с к и й; очередная сенсация, которую к тому же надо еще документировать, хотя и Дигону придется раскошелиться на пару кусочков мыла, чтобы отмыться...

Слово, произнесенное Доном Валлоне, когда он звонил из Ниццы в Нью-Йорк,— короткое и странное слово «скандальте»,— обрело свое материальное выражение.

Степанов просмотрел все вечерние газеты; долго с карандашом изучал то, что было написано о Дигоне, заметив, что надо постараться выяснить, у кого контрольный пакет акций в этих органах американской прессы, и заключил:

— В этом, кстати, может быть зарыта собака...

Закурив, Мари устало махнула рукой.

— Я ни во что не верю более... Страшно жить... Очень даже страшно...

— Это не по-бойцовски,— укорил ее Степанов.— Сложно — да, согласен, но не страшно... Драться надо, Мари. Продолжать драться, но вы этого не сможете сделать без помощи отца, так мне сдается...

70

Цепь (иллюстрация N 6). 25.10.83

Директор ФБР позвонил Майклу Вэлшу домой в восемнадцать часов сорок минут, вскоре после того как тот кончил ужинать, извинился, что вынужден его потревожить, вспомнил, кстати, анекдот про старика, который записывает то, что надо было сделать утром, только перед тем, как надо было отойти ко сну, и лишь после этого предложил встретиться сегодня же, в любой час, хоть в полночь, по делу чрезвычайной важности. «Я бы рассказал по телефону и выслушал ваши соображения,— усмехнулся директор,— но, поскольку в небе летают не только спутники НСА[1], сверхточно записывающие телефонные разговоры, но и космические корабли конкурирующих организаций, я опасаюсь утечки секретной информации, не взыщите».

Когда Майкл Вэлш приехал к нему, директор открыл сейф и положил перед ним папку.

— Я хочу предварить наше последующее объяснение только одним замечанием, мистер Вэлш... Мы установили за вами наблюдение и выяснили все о вашей л и ч н о й работе по Гаривасу. Я имею в виду инициативы, тайно замышленные вместе с мистером Роллом, при том что Дигон был задействован в качестве фигуры прикрытия.

[1] Агентство национальной безопасности США.

Вэлш ощутил в солнечном сплетении гулкую пустоту, пальцы заледенели, он открыл папку, пролистал страницы, в глазах рябило, не мог зафиксировать в сознании строки, они ломались, змеились, делались черными, жуткими и безответными точками и тире; он смог лишь запомнить дважды упоминавшееся в рапорте название адвокатской фирмы «Лоренц энд Жабински»; ах, да, в случае провала предприятия и отставки Ролл обещал передать мне контрольный пакет именно этой фирмы, кажется, он называл четыре миллиона с центами, поразительная точность, но как же они умудрились записать все это, ведь мы были одни, совершенно одни, ах, да при чем все это теперь, когда наступил крах, конец, несмываемый позор...

Вэлш закурил, попробовал собраться, но никак не мог понять, какую линию поведения следовало избрать; в голове проносились обрывки каких-то фраз, слышался смех старшей дочери, плеск воды на водопадах, куда он каждую весну ездил с женою ловить форель, и пронзительный, зловещий крик чаек во Флориде, на самом берегу, где океан особенно величав и мощь его неподвластна разуму...

— Ваши предложения?— спросил наконец Вэлш, чувствуя, как трудно ему говорить, скулы свело, язык сделался сухим и тяжелым, вспомнил оцинкованный стол в парижском ресторанчике, где разделывали устриц, но сейчас ему виделись не устрицы, а вставал перед глазами огромный говяжий язык, такой же шершавый и холодный, как и его, и такой же неподвижный, беспомощный, легко поддающийся острому, отточенному ножу...

— Вы получали деньги от Ролла?— спросил директор ФБР.

— Должен был получить,— радуясь тому, что может облегчить себя признанием, ответил Вэлш.

— А от Дигона?

— Нет.

— Вступая в сговор с Роллом, вы понимали, что можете в своекорыстных целях подвести Соединенные Штаты к грани войны?

— Но мы постоянно находимся на грани войны,— как-то жалобно отозвался Вэлш.

— Я хочу, чтобы вы произнесли «да» или «нет», ми-

стер Вэлш... Вы отдавали себе отчет в том, что ваша операция могла привести Штаты на грань войны?

— Ну конечно же...

— Это все, что я хотел от вас услышать. Вы вправе принять решение по поводу того, как вам следует поступить. Не смею больше задерживать.

Не находя в себе сил подняться, Вэлш вяло осведомился:

— И вам давно все это было известно?

— С самого начала.

— С самого начала?! Почему же меня не вызвал к себе шеф?! Отчего он не спросил, зачем я так поступаю?

— Я думаю, он не станет отвечать на этот вопрос, мистер Вэлш, как и вы не стали бы отвечать на подобного рода вопрос своему сотруднику, заподозренному в нечестности.

— Но ведь должны быть какие-то нормы морали! Нельзя быть такими жестокими друг к другу! Операцию еще можно остановить! Есть время! Вы понимаете, все еще можно остановить! И вернуть в прежнее состояние! Я готов это сделать из вашего кабинета! Позвольте мне это! У нас в запасе несколько часов! Вечность!

— Мистер Вэлш, в вашем положении не следует думать о вечности. Я же сказал: у вас есть крайне ограниченное время для того, чтобы принять решение... Полагаю, в ваших интересах, точнее говоря, в интересах вашей репутации и, таким образом, репутации вашей семьи это стоит сделать сегодня ночью...

Через час после того, как стало известно, что Вэлш застрелился, ФБР дало указание задержать сообщение в прессу, а завтра утром сообщить версию «скоропостижной смерти по поводу острой сердечной недостаточности».

Через три часа директору ЦРУ поступило указание продолжить операцию «Коррида», начатую Вэлшем, но с внесением в нее тех корректив, которые были заранее оговорены.

Через семь часов биржевые дилеры, связанные с Робертом Каром, другом помощника президента, виднейшего специалиста по вопросам биржевых игр, получи-

ли соответствующие задания, как вести себя, чтобы нанести удар по Дигону и Роллу, гарантируя, таким образом, максимальный выигрыш концернам, близким к Роберту Кару и через него к помощнику президента, а также к тем, на кого он р а б о т а л.

71

Цепь (иллюстрация N 7). 25.10.83

Джону Хофу пришло сообщение от санитара из клиники, к у п л е н н о г о еще четыре дня назад, что инспектор попросил сиделку, дежурившую теперь у него постоянно, позвонить «сестре и сказать, чтобы принесла брату Соломону соленый сыр и домашний морс».

Никакой сестры у Шора не было, он дал сиделке телефон этой самой Мари Кровс, значит, не успокоился, готовит удар, сволочь.

Времени на то, чтобы выяснить, помнит он номер машины или ему все-таки отшибло память, уже не было. Счетчик включен, п р е д п р и я т и е должно осуществиться без помех, потом пусть пишут и говорят что угодно, важно претворить в жизнь задуманное. Куда ни крути, прежде всего дело; слово потом; любые слова, черт с ними, ветер, пустое; главное — реализация идеи, закрепление позиций, победа.

Ночью, когда сиделка вышла в туалет (ей сыпанули в чай слабительное), полицейского, который теперь постоянно дежурил в коридоре, вызвали к телефону (это сделал Папиньон). В те минуты, пока Шор был один, к нему в палату вошел человек в белом халате и сунул шприц в вену, не протерев кожу спиртом.

Шор даже не захрипел, просто дернулся, а потом стал тянуться, будто приходил в себя после долгого и сладкого сна; шея у него сделалась тонкой, как у цыпленка, и такой же хрупкой.

Через семь минут после того, как свидетель был убран, адвокату Дона Валлоне, верному и доброму Ферручи, позвонили по телефону и, не представившись, сказали:

— Спокойной ночи.

Он поднялся из-за стола; именно этого звонка он ждал до трех утра, достал из бара бутылку джина, плеснул в высокий стакан, неторопливо выжал лимон, стиснув его жесткими ладонями, долил тоника, медленно выпил и лишь после этого пошел в спальню; уснуть не мог, на сердце было тревожно.

«Ерунда,— сказал он себе,— подозрительность возникает тогда, когда находишься в экстремальной ситуации, но ведь дни бегут, через неделю-другую все кончится, можно будет уехать на Багамы и как следует отоспаться; нервы разгулялись; только б не дать разыграться эмоциям».

Тем не менее уснул он только под утро, приняв полтаблетки сильного снотворного.

72

25.10.83 (21 час 07 минут)

Посол принял Степанова сразу же, как только тот приехал к нему из аэропорта; было уже поздно, но Андреенко обычно кончал свой рабочий день что-то около полуночи.

Степанов ощущал постоянный изнуряющий озноб; видимо, все-таки, разыскивая Цорра, простудился; в машине, когда г н а л из Марселя в Шенеф, просквозило еще больше, температуру п е р е х о д и л, значит, снова всю зиму будет кашель и придется считать дни до начала весны; воистину зима тревоги нашей; только б пережить «своей поры последней отсроченный приход»; господи, как же Пастернак чувствовал слово, он последний, никто сейчас так не умеет.

Андреенко, видимо, заметил нездоровый румянец Степанова, пошел в соседнюю комнату, вернулся с аптечкой.

— Здесь прекрасный антибиотик, совершенно безвредный...

— Реклама утверждает?— усмехнулся Степанов.

— Я,— ответил Андреенко.— Испробовал на себе, запейте боржоми и заешьте аскорбинкой.

— Хорошо бы аспирина, Петр Васильевич.

— Пожалуйста, есть байеровский... Ну, что у вас?

— У меня то, что наш Лыско — великолепный, честный и смелый журналист, вышел на важнейшую тему, задел болевые точки, связанные с ситуацией в Гаривасе, за это его убрали, он мешал. А все, что писали о его отношениях с Мари Кровс, чистая клевета, я с ней общался все это время, Петр Васильевич, и нам открылись весьма серьезные обстоятельства и в связи с делом Грацио, и по поводу тревожной ситуации в Гаривасе...

— Я сегодня ужинал с послом Гариваса, он рассказал мне, что по его сведениям, однако не подтвержденным, группа Дигона на днях начинает открытую кампанию против республики...

— А я вчера встречался с одним из лидеров мафии. Как это ни странно, он тоже назвал мне имя Дигона...

— Почему?

— И я думаю: почему?

Посол рассмеялся.

— Одно из самых моих любимых слов — «почему». Когда со всех сторон разные силы подталкивают меня к одному решению, настойчиво исключая возможность исследования других вероятностей, я сразу же спрашиваю себя: почему?

— Дигон стал проявлять особую активность в Гаривасе после того, как там закрепился Грацио. А потом Грацио убили, и кто-то организовал, причем в тот же день, атаку на акции какао-бобов, а Гаривас — монополист этой культуры... Мои коллеги в Пресс-центре в один голос утверждают, что атаку начал Дигон. Такого рода игра бывает краткосрочной, как покер. Когда игра на бирже достигнет апогея, необходимо вмешательство политиков. А пик в этом регионе однозначен: либо переворот, либо интервенция — вне зависимости от того, кто стоит за биржевой спекуляцией. Словом, возможен переворот, но не исключена интервенция.

— Одно предшествует другому,— заметил Андреенко.— Вы ужинали?

— Нет. И не хочу.

— Бутерброд с чаем, и не спорьте, пожалуйста.— Он походил по кабинету.— Давайте-ка вспоминайте всех тех, с кем вы встречались, говорили, обсуждали, на кого ссылались ваши контрагенты, какие выдвигали до-

воды... Берите бумагу и чертите схему, иначе мне трудно будет понять вас. Пишете вы, как логик, а говорите, будто оккультист, право.

73

26.10.83 (9 часов 32 минуты)

Советский посол в Гаривасе встретился с полковником Санчесом.

— Да,— сказал Санчес, выслушав собеседника,— все сходится с нашей информацией. Да, ситуация сложная, и кто-то делает все, чтобы еще больше усложнить ее. Да, нас хотят загнать в угол... Сегодня майор Лопес выступит по национальному телевидению, он будет говорить от имени правительства, чтобы положить конец слухам о заговоре, путче, кризисе власти, экономическом крахе и так далее...

Посол спросил разрешения закурить; Санчес рассеянно достал из кармана куртки алюминиевый цилиндр с «Упманом», подвинул большую настольную зажигалку...

— Вы считаете такого рода слухи провокацией?— тихо спросил посол.

— А вы?— так же тихо отозвался Санчес.— У вас есть факты? Вас уполномочили сообщить мне об том? Я готов выслушать.

— Меня уполномочили довести до вашего сведения, гражданин премьер, что правительство Советского Союза готово рассмотреть в положительном смысле ваше обращение и, если вы посчитаете это целесообразным, начать немедленные переговоры с целью заключения договора о дружбе и взаимной помощи.

— Это повод северному соседу обвинить республику в том, что мы предоставим вам военные базы.

— Я передал то, что меня уполномочило передать мое правительство. Полагаю, однако, что такого рода договор мог бы оказать сдерживающее влияние... И не на одного только северного соседа, но и на некоторые союзные ему режимы...

Санчес хрустнул пальцами, поднялся, отошел к огромному, чуть не во всю стену окну, прижался лбом к толстому, зеркальному, с голубым отливом стеклу и

сказал с каким-то мучительным, как показалось послу, сомнением:

— Мне представляется, что в политике необходимо до конца, пока только можно, следовать выбранному курсу. Я жду сообщений из Европы, понимаете? Грацио, который должен был заключить с нами договор, мертв. Мои коллеги беседовали с его ближайшими сотрудниками... Те считают, что банковская корпорация Леопольдо после того, как закончится ревизия — вы же знаете, ищут, нет ли банкротства,— доведет до конца то, что он начал. Если же нет... Что ж, значит, настало время для принятия нового решения... Понятно, я сегодня же информирую моих коллег о великодушном предложении Москвы, прошу вас передать мою благодарность вашему правительству,— он усмехнулся,— я не обучен протоколу, с этого, видимо, и следовало начинать... Завтра в восемь утра я буду готов к ответу...

— Хорошо, гражданин премьер, я буду у вас в восемь... Хотелось бы... Словом, я работал в Чили... Не смею проводить параллели, это действительно вещь опасная, но бывают такие часы, когда не принятое вовремя решение оборачивается национальной катастрофой...

— Мы тщательно исследовали чилийскую трагедию, гражданин посол, но разница заключается в том, что у них в правительство входили социалисты и коммунисты. Это был открытый вызов северному соседу, а у нас нет ни тех, ни других... Белый дом не может не отдавать себе отчет в том, что удар по Гаривасу восстановит против Вашингтона всю Латинскую Америку. А ведь президент США окружен штабом серьезных советников. Вы думаете, у него будет много шансов на успех, вознамерься он санкционировать действия против н а ц и о н а л ь н о г о, а вовсе не социалистического движения Гариваса?

— В Доминиканской Республике это не остановило Джонсона.

— Так ведь он из-за этого и проиграл кампанию, гражданин посол! Он проиграл! Пришел Никсон! Нет, все-таки мои коллеги и я считаем нынешнюю кампанию актом психологического давления, нас хотят забаррикадировать не только от Кубы, от вас, но и ото всей Европы, в конце концов...

Когда посол Советского Союза ушел, Санчес позвонил в «Клаб де Пескадорес», сказал старику Бейлису, что приедет сегодня вечером. «Нет сил, вьехо, хочу отдохнуть за хорошей пирамидкой, ты не против?»— «Приезжай, Малыш, я обдеру тебя как липку, будешь знать, как обижать стариков... Ты позволишь мне позвать Пепе?» — «Какого Пепе?»— «Моего внучка, он же щиплет гитару и поет помаленьку...» — «Ах, да... Хорошо, позови, только я плохой ценитель, и пусть не надеется, что я приведу его за ручку в труппу, будет сдавать конкурсный экзамен на общих основаниях...»

Потом он налил себе немного «агуардьенте»[1], ощутил растекающуюся горькую сладость во рту, закрыл глаза, откинулся на спинку своего высокого стула, медленно снял трубку телефонного аппарата и набрал семнадцатизначный номер — Европа, Дворец прессы, Мари Кровс.

— Здравствуй, это я...

— Боже мой...

— Как ты, любовь моя?

— Ты читал, что я... Мне можно говорить?

— Не знаю... Говори... Наверное, нельзя, но ты говори, я очень хочу слышать тебя, говори...

— Милый, что с тобою? Что, любовь моя?! У тебя ужасный голос... Ты болен? Ответь мне!

— Я здоров, любимая... Расскажи мне про себя, только не торопись, ты всегда очень быстро говоришь, и я не успеваю насладиться твоим голосом... Расскажи, как у тебя дома, что ты читаешь, какого цвета абажур на лампе, что ты будешь делать вечером... Пожалуйста, говори не быстро, подробно, будто ты рядом, ну, рассказывай мне, я жду...

— Мигель, позволь, я прилечу... У меня есть деньги, я вылечу сегодня же...

— Сначала расскажи, девочка, про то, о чем я просил тебя рассказать.

— Ой, я не верю... Это ты? Назови мне свой телефон, я перезвоню, я не верю...

— Что нужно сделать, чтобы ты поверила?

— Не знаю... Назови свой номер...

— Хочешь, я спою́ тебе нашу песенку, когда мы ходили к боннскому вокзалу в маленький клуб смотреть

[1] Водка (*исп.*).

киноклассику и напевали из песенки Петера Александэра, «Шене кнайпе ам унзерен штрассе»[1], так?

— Не так, но так,— Мари заплакала.— А какой фильм мы смотрели с тобой последний раз?

— «Восемь с половиной».

— А что я тебе сказала в конце?

— Ты сказала, что была влюблена в Феллини и написала ему, что он гений, а он тебе не ответил, и ты на него очень обиделась...

— Ой, родной мой, я прилечу к тебе, мне так страшно за тебя, у меня на сердце тяжело, мне про тебя показывают плохие сны, здесь говорят, что надвигается ужас, самое плохое...

— Вот после ужаса ты и сможешь сюда прилететь... Мы тогда будем иметь право жить вместе; с милым рай и в шалаше, разве не так?

— Да, да, да, любимый мой! Да! Только я не буду тебя слушать, я сейчас еду к папе, мне нужно повидать его хотя бы на час, а потом вылечу к тебе... Почему ты молчишь? Ты не хочешь этого? Отвечай мне! Мигель!

— Я тебя очень люблю, девочка... Ты очень мне нужна... Я тобою горжусь, я никогда не думал, что есть такие женщины, я только рядом с тобой понял, что такое любовь, когда ты делала все, чтобы мне было спокойно, и никогда не думала про себя, ты всегда думала про меня, про то, как я замерз и нужно скорее растереть мне ноги, а то простужусь, я помню, как ты говорила, что я тропическое растение, и грела каждый мой палец, и играла с ними, с каждым, как с живым существом, и глаза у тебя были счастливые... Я целую тебя, Мари, я тебя люблю.

— Мигель!

Он медленно положил трубку, поднялся, вышел в приемную и сказал секретарю:

— Когда придет счет за разговор с Шенеф, передайте его мне, я оплачу, это был личный разговор, личный, а не деловой...

И пошел через анфиладу комнат к выходу; начальник охраны Карденас передвинул кольт со спины на живот и двинулся следом, хмурый и чем-то раздраженный.

[1] «Прекрасный бар на нашей улице» *(нем.)*.

74

26.10.83 (11 часов 33 минуты)

Все те сорок минут, что Мари летела в Париж на потрепанной «каравелле», она заставляла себя думать не о Мигеле, а о том, какой будет ее первая фраза, обращенная к отцу. «Па, не сердись на меня», «Па, прости меня, если можешь», «Па, помоги мне», «Здравствуй, па, это я».

Закурив, она сказала себе: «Нет, в каждой фразе слишком много «меня», «мне», «я». Так нельзя. Когда мне стало плохо, я решила вернуться, а когда ему было хорошо, я ушла, обидев его: «Либо я и брат, либо твоя Гала». Господи, как же я посмела сказать так? Какие у него были тогда глаза! Как у побитой доброй собаки, и он ничего не мог мне ответить, он так беспомощно защищал свое счастье, бедный мой, добрый старый па... Я посмела забыть, как он привез меня в Памплону, и водил по местам Домингина, Пикассо и Хемингуэя, и все время заглядывал мне в лицо, счастлива ли я, и просил посмотреть то туда, то сюда, а я его обрывала: «Я вижу». Я действительно видела все то, что он хотел мне показать, но неужели нельзя было восторгаться вслух, он ведь так щедро отдавал мне то, что знал, он боялся, как бы я не пропустила чего... Как он часто рассказывал, как отец Бенвенуто Челлини ударил гениального мальчика по затылку, только б тот навсегда запомнил пламя в камине, похожее и по форме, и по цвету на пляшущую саламандру... Как же мы скупы в любви к родителям, но понимать это начинаем только после того, как полюбим сами; неужели все определяет личный опыт? Боже, как это ужасно звучит — «личный опыт» рядом со словом «папа»...

...Стюард и стюардесса протолкнули мимо нее тележку, уставленную банками с пивом, маленькими бутылками вина, пузатыми — виски и шершаво-холодными — джинами; все свободно от пошлины; марокканцы покупали по пять бутылок и целые блоки сигарет, отчего они так любят «Данхилл», самый вонючий табак, разве что золотой обрез на фильтре, тянет к мишуре.

«Папа любит сигары,— вспомнила Мари,— надо купить ему сигар; он всегда так гордился моими подарка-

ми... А я сказала ему тогда: «Пришли все мои вырезки, я не хочу, чтобы они были в доме, где живет твоя Гала». Как только повернулся язык?!»

— Какие сигары считаются самыми хорошими?— спросила Мари стюарда.

— О, на ваш вопрос нельзя ответить однозначно, мадам... Смотря кому вы намерены сделать подарок. Если испанцу, то лучше всего «Гавана», если французу, я бы советовал голландский «Кондор», великолепный табак, на бразильской основе, ну, а немцу подарите «Упман», надежность фирмы, хорошая реклама...

— Подарок я намерена сделать немцу, именно поэтому дайте мне две коробки «Кондора».

— Да, мадам.

— А себе я возьму бутылочку «Розе».

— Да, мадам.

— Это все.

— В какой валюте вы намерены платить?

— В марках.

Стюард достал из кармана рубашки тоненький, величиною в спичеченый коробок компьютер, просчитал перевод марок на франки и посоветовал:

— Лучше бы вам платить во франках, мадам, курс не в вашу пользу, потеряете что-то около семидесяти пфеннигов...

— Я переживу эту потерю,— ответила Мари и сделала глоток розового вина; очень терпкое, пахнет горным ветром, полынью и лавандой.

«Я скажу не так,— думала она,— я просто позвоню и скажу, что мой друг в беде и только ты, па, можешь ему помочь, я знаю, что ты всегда любил и любишь меня, и я тебя тоже всегда любила и буду любить, как же мне не любить тебя, па! Я очень хочу, чтобы ты это знал, ну, я такая, что делать, но я всегда любила тебя, па... Если бы ты мог послушать, что я рассказывала про тебя Мигелю, как гордилась, когда ты выступал в газетах с обзорами... Это я во всем виновата... Я настроила против тебя Ганса, он еще мальчик и очень любит маму, как же это дико — ревность детей... А па меня не ревновал... Нет, ревновал, но прятал это в себе... Когда у меня был роман с Робертом, он хотел с ним подружиться, чтобы тот почувствовал, чем мы живем, чтобы стал частичкой нашего содружества. Он не любил его, не верил ему,

чувствовал в нем чужого, но, когда я сказала ему, что все равно буду с ним, перестал спорить и делал все, что мог, только б мне было хорошо, только б я была рядом, пусть даже с Робертом... Почему же я так невзлюбила Гала? Когда это случилось? Наверное, в тот вечер, когда мы собрались у папы в номере в горах, а у него началась аритмия и Гала сказала, что он не будет пить кофе, я так никогда не смела говорить ему, и меня это перевернуло, но ведь она была права, она боялась за него... Может быть, я тогда встала на дыбы, оттого что Клаус рассказал мне про Гала ужасное, мол, и с тем она спала, и с этим, и вообще ее салон красоты на самом деле бордель и она мечтает выйти замуж за арабского шейха и уехать к теплу, на виллу, что возле Персидского залива... А я поверила. Как же я могла так легко поверить в слова чужого человека и не поверить папе, когда он говорил, что женщина, как и мужчина, не ответственна за прошлое, это табу, тогда лучше сразу расстаться, прошлое принадлежит каждому в отдельности, только настоящее и будущее — двоим... И тем, кто их любит... Один папа может помочь Мигелю,— снова сказала она себе.— Папа всегда помогал мне и не корил этим, он просто приходил, гладил меня по голове, называл рысенком и помогал, принимая на себя все мои вины и глупости... Когда он расстался с мамой, я сказала, что не буду с ним никогда разговаривать, и он не звонил мне, а потом прислал письмо, боже, какое это было письмо! Сколько было в нем доброты, скорби, юмора... Да, я ревновала его, но ведь это шло от любви, разве нет? Я знала, как он дружил с Джо Дассеном, они проводили вдвоем так много времени, а потом, когда к Дассену пришла посмертная слава — так часто у нас бывает с певцами, умри, и все станут восхищаться тобой — выпустили его посмертную пластинку и кассеты, на которых был записан его последний вечер, и он рассказывал о своих друзьях, он помянул многих, но не сказал про папу, наверно, не захотел афишировать связь с консервативным журналистом: как же так, нынче в моде левые... Я после этого перестала слушать Дассена, так мне стало обидно за папу... А Гала я не могла простить того, что теперь мы с Гансом должны делить с нею папу и не будет наших вечерних застолий — па, Ганс и я, когда мы понимали друг друга с полуслова и

хохотали от души, вспоминая наши путешествия, и перемывали кости знакомым, и замирали, когда папа начинал рассказывать о том, над чем он работает... Но ведь папа пошел на то, чтобы мои друзья входили в наш круг, несмотря на то что Ганс был против, он тоже ревновал меня, как только может мальчишка ревновать сестру, а папа увещевал его и мирил с моими друзьями, потому что хотел мне счастья... А я даже не позволила себе приехать к нему и попробовать пожить вчетвером: он, я, Ганс и Гала; нет, сказала я, и все тут... Господи, как же это страшно, когда родители живут поврозь, мы, дети, все время чувствуем свою вину перед тем, кто несчастлив, и сердимся на того, кому улыбнулось счастье... Хемингуэй в своих «Островах в океане» отказался от того, чтобы писать взрослых детей, они были дороги ему, пока маленькие, а потом, наверное, они тоже не могли простить ему любви, жили собой, своими мамами, с которыми расстался Хемингуэй, своей ревностью и обидой... Разве можно обижаться на отца? Господи, Мигель,— подумала она, увидев лицо Санчеса, его раннюю седину и широко поставленные глаза, добрые, беззащитные, и ощутила запах его шеи,— у него был какой-то особенный запах, можно часами лежать, прижавшись, и слушать его дыхание, и гладить его плечи, они у него очень сильные, а пальцы тонкие, как у женщины, и он так же, как и папа, любит гладить меня по щеке, а по утрам чесать лопатки... Впервые папа начал чесать мне лопатки в горах, когда привез в маленький пансион, он был еще недостроен, кроме нас там жила всего одна семья, света не было, и туалет на улице, и звезды сияли, близкие, зеленые и огромные, а мне казалось, что вокруг нашего пансиона ходят рыси, и я ужасно боялась, а папа стоял рядом, посмеиваясь: «Ах ты, мой трусливый рысенок...» Он стал меня брать с собою, когда я была совсем маленькой. Я только теперь поняла, отчего он это делал, хотел выработать во мне выдержку и спокойствие, мама так поддается настроениям — утром добрая, а вечером сердится или плачет, — а он хотел, чтобы у меня был стержень постоянства, умей держать свои настроения в кулаке, не в безвоздушном ведь пространстве живешь... Он и в газету меня привел, чтобы я научилась жить среди людей, хранил все мои стихи, собирал

каждую страничку, словно нянька, а я норовила их жечь или рвать... Как он восторгался, когда Ганс написал свое первое: «Скверная погода, зонтик улетел!» Папа тогда говорил, что мальчик наделен даром, подобным тому, который отличает талантливых японских живописцев или поэтов средневековья: в горах прошел ливень, и ветки вишен сделались искристыми. Папа всегда повторяет эту строку средневекового японца, и глаза у него делаются удивленными, как у Мигеля, боже мой, как мужчины похожи на детей, особенно если на них смотрит женщина, которая любит... Нет, папа никогда не казался мне похожим на ребенка, только Мигель; наверное, поэтому я не смогла примириться с Гала, для меня папа всегда был самым сильным, самым мужественным, самым моим... Дети — ужасные собственники, они больше собственники, чем все Рокфеллеры и Круппы, неужели такое заложено от рождения, раз и навсегда, и ничто не сможет этого изменить? Бедная мамочка,— подумала вдруг Мари, вспомнив красивое лицо седой, высокой располневшей женщины,— ну, почему, почему ты не смогла сделать так, чтобы папа остался с тобой?! Почему не научилась сдерживать себя, прощать, почему обижалась по пустякам, зачем не видела, как ему трудно?! Не надо бы мамочке говорить мне плохо о папе... И он тоже напрасно позволял себе это... Хотя и Мигель рассказывал, как ему трудно с матерью, она совсем его не понимает, когда рядом, дергает, а стоит только уехать, кидается звонить друзьям: «Боже, как я волнуюсь за мальчика...» У него появились такие глубокие морщины в уголках рта и так отекают веки, у любимого моего... Только бы папа помог, он же знает все, только бы он успел ему помочь, папа...»

Выйдя из самолета, миновав паспортный контроль, открыв дверь телефона-автомата, Мари подумала, что отец снова спас ее: эти сорок минут полета она смогла отойти от постоянной тревоги за Мигеля; воспоминания спасительны, особенно тогда, когда чувствуешь надвижение чего-то жуткого, неподвластного тебе, неотвратимого.

Набрав номер, она услыхала голос Гала.

— Добрый день,— сказала Мари,— здравствуйте, Гала.

— Мари?!— голос женщины стал ликующим.— Вернье!— закричала она.— Скорее, это Мари! Здравствуй, Мари, где ты?!

— В Париже.

— Папа сидит в ванне и читает газеты! Скорее приезжай! Хочешь, я тебя встречу? Ты обедала? У меня есть сказочная рыба! Папа говорит, ты ее обожаешь! Он только что снова вспоминал о тебе...

Вернье вырвал трубку.

— Миленькая, чудо мое, здравствуй, рысенок, скорее приезжай, ну, пожалуйста... Или... Ты не...

— Я еду, па... Я счастлива, что увижу тебя...

Человек, следивший за Мари в самолете и здесь, в аэропорту, позволил ей выйти из сферы наблюдения, набрал номер и сказал:

— Она поехала к отцу. Телефон...

Его перебили:

— Мы знаем, спасибо.

Через двадцать минут, пока еще Мари не приехала на рю Вашингтон, два человека поднялись на этаж, где была квартира Вернье, и прикрепили над косяком его двери крохотную черную кнопку. Каждое слово, произнесенное теперь там, будет записано на пленку.

75

26.10.83 (18 часов 05 минут)

Пепе положил трубку и пошел в соседнюю комнату, там он поселил своих новых гитаристов Ромеро и Бонифасио; ребята были молчаливые, двух слов за день не скажут, сидят себе на стульях и щиплют струны; чувствуют друг друга поразительно, даже петь начинают одновременно, будто ощущают биотоки кожей; играют великолепно — словно бы водопад, каждая струя отдельно, а все равно вместе, слаженно, монолит.

— Собирайтесь, парни,— радостно сказал Пепе,— едем, Санчес будет слушать меня.

Ромеро и Бонифасио отложили гитары; мулаты были огромные, бицепсы словно вылеплены; Бонифасио сел к маленькому трюмо и начал причесываться; он де-

лал это тщательно, очень медленно, поглаживая вьющиеся волосы ладонью, как бы сдерживая их, так хозяин оглаживает свирепого пса; Бонифасио, казалось, никуда не собирался, сидел себе и причесывался; Ромеро потянулся с хрустом, взял с маленького ночного столика книгу, лениво пролистал страницы и так же лениво спросил:

— В чем поедем, Пепе? Я полагаю, нам следует быть в национальных костюмах, у вас любят, когда люди носят народную одежду, она многоцветна.

— У меня в машине нет кондиционера,— сказал Пепе.— Ты взмокнешь в пончо, Ромеро.

— Зато понравлюсь твоему премьеру... Станешь звездой, поедем в гастрольное турне, обязательно в Англию, там девки необхоженные, солнца нет, сплошные туманы, откуда ж взяться у мужиков силе... Любишь беленьких, Пепе?

— Я разных люблю,— засмеялся Пепе.— Собирайтесь скорей, надену кремовые брюки и едем...

Он вышел в свою комнату, которая была одновременно спальней, столовой и гостиной, сбросил синие джинсы, принял таблетку аспирина, потому что последние дни приходилось каждый день пить,— с гитаристами приехал Вентура, быстрый маленький человечек, занимавшийся аранжировкой; к тому же он импресарио, каждый день ездил по Гаривасу, беседовал с владельцами казино и ресторанов, прикидывал, где бы заключить хороший контракт на сезон; потом возвращался и сразу требовал бутылку испанского виски; другие не признавал, тараторил без умолку и так же, как Бонифасио, то и дело причесывался, только в зеркало не смотрелся и волосы не оглаживал.

Тем временем Бонифасио и Ромеро положили гитары в чехлы из твердой кожи, быстро проверили маленькие «шмайссеры» в потайных карманах футляра, переглянулись; Ромеро поднял правую руку, перевернул кисть книзу и выставил большой палец; Бонифасио молча кивнул, некое подобие улыбки тронуло его крупные синеватые губы, он подошел к телефону, набрал номер, справился «дома ли синьорина, а если нет, то когда будет», и обещал перезвонить через полчаса. (Пароль для ц е п и: «Начинаем работу, страхуйте».)

Они знали свое дело, знали его хорошо, принимали участие в двух операциях: одну провели на границе Сальвадора с Гватемалой, вторую в Федеративной Республике; на Кубу их не посылали, потому что они ушли оттуда кроваво, отстреливаясь; там им был вынесен приговор заочно; берегли для коронного дела в Центральной Америке; и время настало.

Отправляя террористов в Гаривас, Адольфо, их инструктор, сказал, что по возвращении в Майами им будет вручено по десять тысяч долларов; авиабилеты в Европу оплатит к о н т о р а; если же м а л ь ч и к и смогут осесть в Бонне, устроившись в ночной клуб (несколько адресов приготовлено, информация на хозяев предприятий вполне обнадеживающая, есть п о д х о д ы), их отыщет Вентура, который приедет туда с документами на имя Нельсона Бардесио; целесообразно найти квартиру, желательно у развилки дорог, деньги переведут сразу же после того, как будет одобрен избранный вариант.

Разбирая план предстоящей операции в Гаривасе, Адольфо еще раз просчитал по секундомеру каждую фазу передвижений из бильярдного зала — сразу же после а к т а — по дорожкам клуба к пирсу.

С «объектом» в бильярдном зале будет находиться только один человек, начальник охраны майор Карденас, повторил Адольфо, он также должен быть убран; старика следует сохранить, будьте предельно осторожны, не травмируйте Пепе, мы намерены работать с ним, когда привезете его сюда; катер, который ждет вас, бронирован, тут же падайте на палубу, возможен огонь «красных беретов» из машины охраны «объекта», голов не поднимать, бортики надежны, на отход в безопасную зону потребуется три минуты сорок девять секунд.

...Когда Пепе вернулся, Ромеро и Бонифасио переглянулись; парень был неузнаваем — в расклешенных светлых брюках, шелковой приталенной рубашке, он был необыкновенно красив.

— Едем,— сказал Пепе.— Время.

В машине Ромеро потер лицо жесткой, будто наждачной ладонью и повторил:

— Только не торопись с первым куплетом, Пепито... Песни революции не имеют права быть суетливыми...

— Я знаю,— ответил Пепе.— Но в них не очень-то покажешь свой голос.

— Покажешь, если постараешься,— усмехнулся Ромеро.— Ты, конечно, прав, революционные песни лучше петь хором, но в «Бодегита дель медио», что в Гаване, на Кавалерии, умеют это делать и сольно.

— Ты был на Кубе?— спросил Пепе.

Ромеро покачал головой.

— Рассказывали...

(Он работал в «Бодегита дель медио», самой популярной таверне старой Гаваны, вплоть до шестьдесят первого года; именно тогда его завербовали; перешел на нелегальное положение.)

— Парни,— спросил Пепе,— отчего вы никогда не улыбаетесь?

— Морщин боимся,— ответил Бонифасио,— лица стареют...

Пепе сокрушенно покачал головой.

— У, черт, как волнуюсь... Просто цепенею, когда волнуюсь, и горло першит.

— А ты расслабься,— посоветовал Бонифасио,— прикажи каждому своему мускулу отдыхать, внуши каждому бицепсу: «Миленький, ну пожалуйста, отдыхай, бери из воздуха кислород, гоняй его по крови, я сейчас должен петь перед премьером, от этого зависит мое будущее, если я ему понравлюсь, меня возьмут в театр и на телевидение, я стану ездить по миру, найду себе белую девку, буду зарабатывать большие баки, а не жить на шее деда, про меня будут писать в газетах, на тех страницах, где печатают снимки Бельмондо, Аль Пачино и Бэ Бэ, а потом какой-нибудь янки сочинит для меня шоу в Голливуде, и я заткну за пояс Белафонте». Вот как надо говорить со своим телом... Все, веди машину и не мешай нам с Ромеро расслабиться, мы ведь тоже хотим понравиться полковнику Санчесу...

76

26.10.83 (18 часов 05 минут)

Фрэнк По всегда отшучивался, когда его спрашивали о родстве с великим писателем.

— Я бы не преминул тогда печатать свои визитные

карточки «Фрэнк Эдгар По-младший...» Увы, мы даже не однофамильцы. Мой дед приехал в Штаты из Афин, его звали Попандопулос, и все янки смеялись над ним из-за этого, пока выговори, вот и сделался из грека Микиса Попандопулоса американцем Майклом По...

В Западную Европу Фрэнк По приехал два года назад после семи месяцев работы в американской разведке и пяти месяцев практики в Венесуэле под крышей ЮСИА[1].

Поскольку он получил свое образование в Гарварде (их семью поддерживал клан Онассиса), специализировался по новейшей истории, окончил семинар профессора Рэнкса, посвященный леворадикальным движениям, посещал лекции Герберта Маркузе, его после трехмесячной проверки службой контрразведки определили в подразделение, сориентированное на внедрение в среду левых и крайне левых групп; исподволь Фрэнка По готовили к передвижению в тот «сектор планирования», где формировали левацкие организации, подбирали людей для пополнения партизанских соединений, которые должны выступать с лозунгами «свержения империализма», объявлять террор «единственным средством борьбы с прогнившим миром капитала и советского гегемонизма» и поворачивать молодежь Западной Европы к б е з о р и е н т и р н о м у бунту; такого рода конструкция позволяла стратегам ЦРУ не только тайно поддерживать правых экстремистов, но и — это было самым главным — с т а в и т ь на верных им политиков «жесткой руки», которые могут обуздать «безответственных адептов терроризма, крайне правых радикалов и агентов мирового коммунизма».

Однако работа в этом подразделении — святая святых ЦРУ — была следующей фазой для Фрэнка По; сначала ему было поручено отладить контакты с левой профессурой и руководителями студенческих радикальных организаций в Западном Берлине, Париже и Риме.

Шеф отдела, Дик Лоббс, инструктируя его перед вылетом, говорил устало, потухшим голосом:

— Вы должны отдать себе отчет, Фрэнк, в том, что мы работаем под прицельным огнем старых матрацев из Капитолия, тем бы только покрасоваться перед телекамерами, порадеть о демократии и лишний раз обвинить

[1] Информационное агенство США.

нас, разведку, что мы вмешиваемся во внешнеполитические дела страны... Так что вы не застрахованы, как и все мы, от возможного удара в любой час, с любой стороны... Враг умеет работать, он держит в руках такие приводные ремни, какие не снились нам... Вы должны жить в Европе так, чтобы у вас были постоянно напряжены все мускулы, вы едете в л о г о в о, Фрэнк... И постарайтесь вытравить из себя эту нашу традиционную американскую мягкотелость... Жесткость, Фрэнк, только жесткость — сухая, корректная, настороженная; имейте в виду, вполне можно попасть под обаяние тех, с кем вам надлежит столкнуться... Но помните: ничего нет страшнее оборотней... Вы едете к оборотням, к безжалостным монстрам...

Однако заместитель Лоббса, веселый и открытый Нелсон Перифуа-младший, провожая Фрэнка на аэродром, иначе напутствовал его, задумчиво, с болью:

— Наш шеф — сам монстр, Фрэнк... Он чудовище, напуганное чудовище. А те, против кого вы едете работать,— некая лакмусовая бумажка, на которой проявляется настроение талантливейшей части европейской молодежи. Подумайте еще раз, отчего левая тенденция так сильна в Европе, да и не только там, а в дальнейшем, поверьте мне, станет еще более могучей? Потому что мы цепляемся за старые догмы, а прогресс отметает догмы. И никакие эти леваки не оборотни, а честные мятущиеся люди, которые не хотят закрывать глаза на правду... Ваша единственная задача заключается в том, чтобы не дать им объединиться с Москвой, это главное, Фрэнк, настройтесь именно на такой камертон, отметите зоологизм нашего несчастного шефа, он отжившее поколение, человек школы Гувера... Не представляли себе этого?

— Нет.— По рассмеялся, запрокинув свою красивую патлатую голову.

— И бога ради, не спорьте, не раздувайте ноздри, а смейтесь вместе с теми, кто о нас вытирает ноги... Я еще застал то время, когда мы держали пальцы на кнопках всего леворадикального движения на западе Европы, мы дирижировали процессом, а сейчас окусываемся, подвываем президенту, который, по-моему, стал психом во время Маккарти, когда слушали дела режиссеров и писателей Голливуда в комиссии по рас-

следованию антиамериканской деятельности. Он же тогда был боссом актерской гильдии Штатов, отстаивал чистоту искусства, топтал кремлевских агентов вроде Чаплина, Брехта и Артура Миллера...

Фрэнк покачал головой, вздохнув.

— На одном полюсе шеф, который требует беспощадности, на другом — вы, его полная противоположность... Я попал в сложный переплет, Нелсон.

— Это прекрасный переплет, Фрэнк, вам можно позавидовать, есть поле для маневра, будете метаться между разностью полюсов, это придает нужную скорость мысли... Где можно, поддержу я, когда понадобится, поплачетесь шефу, он любит, когда плачутся, они ж так слезливы, эти мумии, обожают исповеди... Только не признавайтесь ему, если трахнете какую-нибудь смазливую левачку. Эмансипация, феминизм и так далее, он вам этого не простит, он, по-моему, ни разу не изменил жене, потому что зоологически боится своей грымзы и рыдает во время воскресных проповедей, чертов пуританин... Так что смелость, Фрэнк, смелость, только смелость... А еще доброжелательность к тем, кого мы пока что называем противником... И риск... Никогда не бойтесь рисковать, победителя не судят... Чем больше друзей вы заимеете среди левых, тем больше вас станут ценить в Лэнгли, это уж поверьте... Самое главное — доказать свою компетентность... Потом придет пора диктовать свои условия тем, кто сменит нашего с вами старого дурня... А теперь скажите мне правду: вы понимаете, что наша страна в кризисе, переживает очень трудную пору?

Фрэнк По ответил не сразу, лицо его напряглось.

— Умный человек, видимо, отделался бы шуткой, а я еще молодой, поэтому я готов согласиться с вами — да, страна действительно переживает тяжкое время...

Шеф отдела Дик Лоббс прослушал запись разговора с Фрэнком По, сделанную Перифуа-младшим в машине, поднял глаза на своего заместителя и погрозил ему пальцем.

— Ну, ладно, пусть я «старый дурень», хорошо, но то, что моя Патрисия — грымза, этого я вам не прощу...

Он подвинул Перифуа чашку с терпким китайским чаем и, помолчав, заметил:

— Я думаю, этот самый По втянется, парень думающий... Пусть считает себя идеологом... Потом пройдет крещение на д е л е; если выдержит, будет толк, у него глаза умные, и еще я вижу в нем пристальность... Истинным разведчиком, которого можно двигать в верхние этажи Лэнгли, может быть тот, кто сумел отринуть друга во имя нашего дела... Надеюсь, после вашего напутствия он бесстрашно обзаведется друзьями среди тех, кто нас так интересует... Спасибо, Нелсон, я счастлив, что работаю с вами, старому дурню есть чему поучиться у молодого змея...

В Западной Европе По начал действовать под крышей репортера мало кому известной газеты «Стар»; она была куплена на корню ЦРУ, издавалась в Миннесоте, черт туда доедет, а право на аккредитацию дает в любом пресс-центре.

Фрэнк поселился в Париже, сняв маленькую мансарду на рю Лемуан, там, где жил молодой Хемингуэй; сортир был в холодном длинном коридоре, старинный; сидеть приходилось орлом, на корточках, а он не умел этого, поэтому все время болели икры; зимой снизу, из толчка, нещадно дуло, очень боялся подхватить радикулит, тем более это семейная болезнь, отец с ужасом ждал осени, его, беднягу, всегда с к р ю ч и в а л о в конце октября и отпускало в середине марта, когда с океана тянуло уже теплом.

Руководитель Фрэнка По в парижской резидентуре, оглядев его костюм, хмыкнул.

— И в этом наряде вы намерены пойти в американскую библиотеку Роберта? Вас вывезут на тачке. У вас из ушей прет американская традиционность, так не годится...

— Я экипировался здесь,— возразил Фрэнк,— в Париже, по их моде...

— А что такое здешняя мода? Знаете?

— Не очень. Буду признателен, если объясните.

— Когда текстильный босс затоваривается и стоит на грани краха, он отстегивает несколько десятков тысяч директору журнала мод, платит сотню тысяч продюсеру Бельмондо и импресарио группы АББА, чтобы те поручили костюмерам сшить для любимцев Европы расклешенные брюки и широченные юбки, стадо попрет за звездами, ах, ах, парижские законодатели, в

журнале мод появится новый фасон, и, таким образом, излишки затоваренного материала сбыты. А если, наоборот, плохо с баранами и нет шерсти, или бастуют ткачи, или неурожай хлопка, тогда этот же текстильный дядя з а р я ж а е т того же директора журнала мод, платит за рекламу на телевидении звездам журналистики, снова сует в лапу продюсерам Софи Лорен, Ланкастера и Алена Делона, те снимаются в узеньких брючках, обтягивающих платьицах — новая мода внедрена, а в подоплеке, Фрэнк, зелененькие старого деда, который пауком сидит в своем текстильном офисе и стрижет купоны с доверчивых обитателей планеты Земля... Поезжайте, милый, на Монмартр, в дешевые лавки, где торгуют арабы и евреи, чистый интернационал, у них и оденьтесь, тогда вас п р и м у т на набережной у Роберта, он же воевал в бригаде Линкольна, у него внучка Хемингуэя выступает с призывом устроить революцию, у них галстук — символ буржуазного разложения, а вы... Только не вздумайте отправиться на Блошиный рынок, там сейчас дерут втридорога, там теперь жены миллионеров одеваются... Мода, так ее и растак... И в посольство больше не приходите, здешние флики умеют ставить слежку... В случае чего я вас разыщу сам, а так окунайтесь в море приключений, центр обозначил вашу программу как вольную...

...Фрэнк По навсегда запомнил день, когда Роберт предложил ему — после того, как он аккуратно вернул книги, которые брал уже три месяца кряду,— остаться на в е ч е р, придут любопытные люди, если вас интересует философия времени, сказал он, будет занятно послушать, только не пишите в вашу газету, это не для последней полосы, а для души.

В маленькую комнатку Роберта набилось множество народа; Фрэнк узнал режиссера Рауваля из Барселоны, профессора Жовиса, тот вел курс основ социализма в Страсбурге; особенно много было молодых американцев, которые обучались в Сорбонне, и немцев, приехавших из Свободного университета в Западном Берлине.

Гости с к и н у л и с ь, Роберт попросил уборщицу Хосефу сходить в магазин, она принесла десять бутылок дешевого красного вина, сыр и четыре длиннющих батона; гости расселись на старенькой тахте, подоконни-

ках, на полу: выступал Фриц Тузенберг, магистр из Аахена; впрочем, это не было выступлением в обычном смысле слова, здесь собрались единомышленники, те, что н е с о г л а ш а л и с ь, рассчитывали найти свою правду в этом мире, теряющем самого себя в шальной, никому не нужной суете.

— Поскольку античность не знала археологии,— говорил Тузенберг,— так же, как и летоисчисления, а течение жизни измерялось лишь чередованием Олимпиад, то там не существовало ясного представления о д л и т е л ь н о с т и, то есть о надежности бытия. И поскольку не было раздумий о будущем, отсутствовала и такая категория, как память.

— А Цезарь?— раздраженно возразил профессор Жовис.— Как-никак он реформировал календарь, то есть зафиксировал фактор времени, истории, память...

Тузенберг покачал головой.

— Календарь Цезаря — свидетельство совершенно иного порядка, он ведь собирался основать династию, восстал против традиций республики и за это был умерщвлен... Рим, видимо, интуитивно страшился времени, не хотел думать о нем, тяготел к индийской культуре, к таинству нирваны, которая отрицает само понятие минут, дней, лет... В этом главное отличие античности от нашей, европейской культуры; там — отторжение часа, попытка жить вне времени; у нас же каждая минута наполнена значением, в этом смысл Европы.

— В таком случае,— заметил директор библиотеки Роберт,— ощущение времени более приложимо к Штатам; формула «время — деньги» обрела себя именно у нас.

— Эта формула мистифицирует «время»,— возразил Тузенберг.— Историю нельзя оценить, она вне понятия денег, товара и веса... В памяти поколений останутся ваши Джефферсон, Вашингтон и Линкольн с их постулатами американской демократии, но никак не прагматическая идентификация времени с деньгами... Часы на соборах европейских городов бьют каждые четверть часа, связывая прошлое с будущим. Механические часы были изобретены у нас в Европе, когда состоялось могучее государство саксонских императоров. Власти потребно следить за временем, в нем реализуется величие, в нем фиксируется бессмертие, то есть память челове-

ческая... На пути к демократизации Европы случилось и еще одно внешне незаметное событие: стиль барокко — легкость и раскованность — дал Европе карманные часы, первый символ пробуждения самосознания индивида... Именно тогда, в пору барокко, Европа и начала уважительно относиться к времени. Именно тогда мы впервые начали ощущать быстротечность нашей жизни, именно тогда родилась и с п о в е д ь как новое качество европейской литературы, тревожная необходимость очистить себя. А затем свершилось чудо и был создан первый в истории человечества музей, это ведь символично, ибо являет собой неосознанный возврат Европы к философии Древнего Египта, где в отличие от античности, сжигавшей память на кострах — если человек умер, он должен исчезнуть,— память мумифицировалась, мы можем и по сей день видеть лица фараонов. А ведь имена многих правителей Афин или Рима просто-напросто исчезли из памяти человечества... Таким образом, карманные часы и музеи начали означать рождение новой эпохи европейской истории, которую определяла философия з а б о т ы... Почему так? Отвечаю: если античность воздвигала памятники ф а л л о с у, то есть мгновению, которое не связано ни с прошлым, ни с будущим, одно лишь наслаждение, беспамятство, забвение окружающего, то европейская культура, понявшая смысл времени и строившая дворцы, где хранилась память былого, вызвала из небытия Рафаэля, чтобы тот создал человечеству Сикстинскую мадонну. Отныне мать, прижимающая к себе дитя, стала символом заботы о будущем рода человеческого. С этой поры Европа вернулась к истокам, к философии Древнего Египта с его устремлением в грядущее. Эта динамика развития мира была в свое время прервана Римом и Элладой, где не существовало плана даже на день вперед, где государство держалось насилием, ограблением соседних стран, заигрыванием с плебсом в дни побед и жесточайшим террором, когда держава балансировала на грани войны и мира... Тенденция ответственности присуща ныне в Европе в первую очередь социализму, который, как никакое другое учение, во главу угла ставит вопрос устойчивости экономических отношений между индивидами, странами и континентами...

...Спорили жарко, Фрэнк По невольно любовался отрешенными лицами людей, в них была какая-то особая доверчивость, заинтересованная убежденность. Он, правда, в глубине души напряженно ждал момента, когда какой-нибудь красный станет п о д к р а д ы в а т ь с я к спорщикам, подталкивая их к тому, во имя чего он, Фрэнк, начал свою работу здесь,— к заговору против Штатов, против идеи свободного мира; никто, однако, не вел себя так, просто каждый говорил о том, что волновало его.

«Нелсон Перифуа прав,— думал Фрэнк, возвращаясь к себе на мансарду ранним утром; пахло жареными каштанами и цветущими липами,— в библиотеке у Роберта собираются чистые люди, они остро ощущают зыбкость сегодняшнего мира, только поэтому и говорят о социализме как о панацее против катастрофы и лишь поэтому на первый план выдвигают свою Европу. С ними надо работать, они отнюдь не потеряны для будущего».

...Назавтра он позвонил Тузенбергу, пригласил его выпить кофе и предложил выступить с циклом статей в «Стар» — получил в резидентуре информацию, что парень нищенствует, живет впроголодь, снимает комнату в общежитии за сорок километров от Парижа.

Тузенберг с радостью согласился; через два дня принес пятнадцать страниц текста. Три дня они над ним работали; Фрэнк По осторожно п р а в и л; Тузенберг спорил; спор был дружеский; пришли к компромиссу; наиболее опасные места удалось переписать, купировать, снабдить комментариями; через полгода Фрэнк (после того уже, как обзавелся связями в мире европейских журналистов) протолкнул два его эссе в журналы Нидерландов и Швеции; снова ругались до хрипоты, и снова Фрэнк победил; потом он помог Тузенбергу организовать маленький еженедельник в Гейдельберге; так закрепился он в леворадикальном издании, редактором которого стал его друг, печатавший от поры до поры те материалы, которые просил его опубликовать Фрэнк По, за дружбу надо уметь платить; Тузенберг делал это, опять-таки споря, ярясь порою, но делал.

Потом через Тузенберга «левый американец», как говорили теперь о Фрэнке, смог продвинуть в крайне радикальный испанский журнал «Ла революсьон» Ан-

хеля Алегра из Мадрида; публикации его были до того хлесткими, обращенными как против английского «традиционного империализма», так и против Кремля, что вскорости открыли филиал журнала в Италии, издание стало рентабельным, прекрасно расходилось среди студенческой молодежи.

О Фрэнке заговорили в Лэнгли как о перспективном по-настоящему человеке. Тогда-то в европейскую резидентуру ЦРУ и пришло указание готовить его на проверку с л о м о м.

...Именно поэтому шеф парижской резидентуры ЦРУ, слушая в машине (он запарковал ее неподалеку от дома Вернье) разговор Вернье с дочерью, все больше и больше убеждался в том, что операцию, которую все-таки придется (а ему этого не хотелось) провести сегодня же, чтобы не дать уйти столь опасной информации, надо поручить не кому-нибудь, а именно Фрэнку По.

«Рискованно,— сказал он себе,— за эти два года парень привык считать себя идеологом, но если Лэнгли требует проверить его на с л о м, то лучшего момента для такого рода экзамена я вряд ли дождусь...»

И, продолжая слушать через микронаушник в б и в а ю щ и е слова Вернье, шепот Гала о том, что готов чай, чирканье спичек Мари, ее звонки в пансион, где она искала «месье Степанофф», шеф включил рацию, попросил срочно найти Джорджа (псевдоним Фрэнка По) и установить, где сейчас находится Племянник (кличка доверенного человека Дона Валлоне, с которым через сложную цепь была связана здешняя резидентура).

77

26.10.83 (18 часов 06 минут)

Ганс Либих и Иоганн Шевц затянули друг на друге пуленепробиваемые жилеты, проверили маленький миномет, установленный на балконе, положили на подставочки карабины с оптическими прицелами и пошли в кухню готовить обед.

Как только автомобиль выедет из президентского дворца, должен позвонить Саттори; он спросит, нельзя ли пригласить к аппарату Эусебио; это значит, через во-

семь минут «объект» будет здесь, на калье Магельянес, в зоне обстрела.

После того как террористы поразят «объект» в движущейся машине, им надлежит в течение полутора минут сбежать по лестнице во двор; там ожидает Здравко в автомобиле марки «фиат»; он вывозит их на авениду де Либертад, к дому 174; тормозит возле автомобиля «мерседес», номерной знак «ГАК-04.411»; ключ в зажигании; Либих и Шевц пересаживаются в эту машину и отправляются в мотель «Холидэй инн»; два номера для них забронировано; вечером Саттори отвозит их в порт, где стоит лайнер «Гамбург»; отправление в 23.50. Саттори вручает каждому по семь тысяч долларов; следующая встреча в Западном Берлине, в испанском ресторане на Курфюрстендам через сорок семь дней, в двадцать три часа по среднеевропейскому времени.

Такова л е г е н д а операции.

(На самом же деле Либих и Шевц должны быть расстреляны сразу, как только выбегут во двор; исполнителем утвержден Франсуа, квартира ему снята в доме напротив, практику проходил в Миннесоте, на базе ЦРУ «Фривинд 47».

Сам Франсуа скончается через пять минут после того, как выполнит задание; за завтраком он получит от Саттори бутылку «фанты», обработанную в подразделении ЦРУ, которое экспериментирует с ядами.)

— Поэт, хочешь мяса?— спросил Ганс.

— Нет,— Шевц покачал головой.— Я вообще стараюсь не есть мяса, ты же знаешь.

— Надо мышцам дать побольше калорий,— возразил Либих.— Бегать придется много, как цирковому артисту.

— Те не бегают,— отмахнулся Шевц.— У них совершенно другой вид тренировок. Для них самое главное — прыжки. Я в свое время написал поэму «Цирк», ее, конечно, зарубили, кругом на ключевых постах сидят левые, агенты КГБ и евреи, они чувствуют мой дух, они снабжены какими-то тайными устройствами, чтобы определять, в ком царит высокий дух нации, а кто готов продаться за гроши, только б угодить левым, всем этим интернациональным нелюдям. Ты кем был раньше?

— Я был и останусь Либихом... Красиво звучит — Л и б и х, да? Я люблю произносить мою фамилию вслух, она похожа на морской прибой...

— Честолюбие — не наша черта, Либих, это не присуще арийцам; наша сила в общности, в подчинении собственного «я» делу национального возрождения... Слушай, поджарь мне сыра, а? Любишь жареный сыр?

— Я люблю мясо, полусырое, с травками... Знаешь, где оно самое вкусное? У аргентинцев, там, говорят, какие-то особые луга, ветер с океана, солнце, трава поэтому очень сочная, мясо берет в себя ее силу, хранит ее...

— Подожди,— перебил Шевц, хрустнул суставами тонких пальцев с обгрызенными ногтями,— а что, если машина опоздает?

— Тогда плохо. Нас с тобою арестуют и будут пытать... О, это очень интересно... Тебе станут медленно всовывать тонкие стальные иголки под ногти и заглядывать в глаза, и ты будешь видеть себя — корчащегося, окровавленного, со спутанными потными волосами — в зрачках людей, которые обступят тебя... Это ведь так сладостно — видеть страдание подобного себе...

— Тебя пытали?

Либих покачал головой.

— Мне приходилось это делать, когда работал в Африке... Я не дамся,— он тронул воротник рубашки, где была вшита ампула с ядом.— Хрусь — и в дамки!

— Здесь не пытают,— странно усмехнувшись, сказал Шевц.— Либералы. Санчес — добрый патер, он увещевает...

— После того как мы его уберем, станут пытать.

— У меня есть стихи про ужас... Хочешь, прочитаю?

— Валяй, только сначала я переверну мясо...

«Он похож на мою мать,— подумал Шевц.— Старуха тоже могла греметь кастрюлями или, пыхтя, мыть полы, показывая, как ей тяжело, когда я сидел за столом и сочинял стихи. Точно, он такой же самовлюбленный, только о себе думает. Может, больной? Все психи живут собою, остальные для них ничто, фигуры, необходимые, чтобы слушать их тирады и молча соглашаться со всем. Бедный я, бедный, у всех матери как матери, жалеют, гордятся, а у меня...»

Не обращая внимания на то, как Либих переворачивал деревянной ложкой шипящее кровавое мясо на

большой сверкающей сковороде, Шевц начал читать приглушенно, подвывая, помогая себе рубящим жестом левой руки:

Большеглазый ужас прикрыт ресницами;
Овал лица удлинен, ладно кроен;
Трагично спокоен, надменно спокоен
Воин...
Ввожу в вас ужас тонкими спицами,
Зрачки расширены под ресницами,
Крики кружатся синими птицами,
Болен...
Ужас нужен силе,
Ужас подобен победе,
Ужас угоден крови,
Ею сдобрена почва рейха...
Взвейся,
Свастики резкость!
Да здравствует наша немецкость!
Затянем ремни потуже –
Грядет ужас!
Слабые, тише, ниже!
Сильные – туже ужас!
Время победы ближе!
Время расплаты рядом!
Всех нераспятых – к распятью,
Всех несогласных к стенке,
Слабость нам вчуже,
Ужас!

– Ничего, складно... Ты действительно веришь, что свастика – это хорошо? Гитлер был ведь псих ненормальный...

Шевц яростно вскинулся со стула; Либих шутя ударил его ребром длинной ладони по руке, тот быстро отскочил.

– Как ты смеешь, мерзавец?! Фюрер поднял нацию из пепла!

– Ну да, поднял... А в какое дерьмо он ее погрузил, хотел бы я знать! И не вздумай еще раз броситься на меня, прибью... Если ты идейный идиот, незачем брать деньги за работу, которую мы делаем. Тоже мне Гитлер... Ешь лучше... Что ж не звонит Саттори, а?

78

26.10.83 (18 часов 06 минут)

— Да, девочка,— повторил Вернье,— я договорился, и это будет завтра, в десять утра...

— Ты убежден, что все придут?— тихо спросила Мари.— Я очень боюсь, папочка, что они испугаются... У меня так было вчера... Испугались... Или их замолчали... Ругать-то американцев все ругают, шутить над Рейганом все горазды, а вот напечатают ли за своей подписью о твоей завтрашней пресс-конференции?.. Сомневаюсь, доверчивый мой, добрый папа, очень сомневаюсь...

— Ну, хорошо, давай еще раз вместе проиграем ситуацию,— сказал Вернье.— Поправляй, если тебе кажется, что я не прав...

...Резидент ЦРУ, сидевший в машине на рю Вашингтон, в трех кварталах от дома Вернье, жадно слушал этот разговор. Он недоуменно посмотрел на своего сотрудника Герберта, потому что возник какой-то странный всасывающий звук (Герберт наблюдал за Вернье последние семь дней, изучил профессора достаточно хорошо, пояснил резиденту: «Это он так пьет кофе, сосет, как телок, чего вы хотите, беспородный мужик из берлинского рабочего пригорода»).

Вернье долил себе кофе, бросил еще крупицу сахарина из плоской коробочки («Для тех, кто не хочет толстеть»,— реклама такая красивая, что, даже помирая, станешь глотать этот особый, медицински скалькулированный сахарин) и продолжал:

— Смотри, что происходит... Я, Вернье, консерватор, чем высоко горд и никогда ни от кого не считал нужным этого скрывать, пригласил на завтра с санкции ректора Сорбонны ведущих обозревателей, профессуру, телевидение, радио и своих студентов на лекцию «Опыт интервенции в Доминиканской Республике и сегодняшняя ситуация в Гаривасе»... Так?

— Так,— кивнула Мари.

— Согласись с тем, что надо было прожить пятьдесят шесть лет, и, видимо, неплохо прожить, чтобы мне отдали для этой пресс-конференции зал в Сорбонне,

причем бесплатно, хотя я мог бы поднатужиться и уплатить десяток тысяч франков за аренду помещения... Видимо, я действительно неплохо прожил эти мои годы, если на приглашение откликнулись сто сорок человек... Фу, какой хвастун,— рассмеялся он,— просто сплошное неприличие...

(«Отчего он так часто смеется?— спросил резидент.— Совершенно без причины». — «Вообще-то верно,— ответил Герберт,— но он очень счастлив оттого, что к нему приехала дочь, они были в ссоре последние месяцы». — «Из-за его бабы?» — «Да».— «Он что, очень переживал?» — «Очень. Я читал его письма сыну, прямо даже жалко стало жирного бедолагу».)

— Теперь дальше,— продолжал между тем Вернье.— Я объяснил всем, от кого зависит реакция прессы на мой реферат, что выступаю не как противник Штатов, а, наоборот, как человек,— он улыбнулся снова,— в отличие от своей дочери верящий в необходимость германо-американского содружества... Но при этом считаю, что мне, консерватору Вернье, будет трудно, прямо-таки даже невозможно убедить тех, кто читает мои обзоры, в необходимости такого рода альянса, если американцы влезут в Гаривас... Сколько сил нам, патриотам этого содружества, пришлось положить на то, чтобы как-то приглушить ужас Вьетнама! Как трудно нам сейчас объяснить позицию Штатов на Ближнем Востоке! Ладно, там хоть есть правые ультра, в мусульманском мире тоже не ангелы, потом существует память о гитлеровском геноциде против евреев, изворачиваемся, хотя сами-то знаем, какие интересы и, главное, чьи лежат в подоплеке Кэмп-Дэвида... Нефть, ее величество нефть; деньги вненациональны, хоть и печатаются во всех странах мира по-разному... А Сальвадор? А память о Чили? Поэтому моя завтрашняя пресс-конференция пройдет под лозунгом: «Я обвиняю!» Нет, нет, не генеральную концепцию Штатов, но тех в Белом доме, кто несерьезно относится к союзу с Западной Европой, кто неловкими внешнеполитическими пассами в Центральной Америке восстанавливает против себя молодежь здесь, у нас, да и у себя тоже. И это будет говорить не коммунист и не социал-демократ, а старый толстый консерватор Вернье, понимаешь мой ход?

— Папочка, но ты ведь сам только что рассказывал, как тебя заблокировали в мадридском журнале... Я ощущаю себя в кольце, и ты, приняв мою сторону, тоже окажешься в кольце, бедненький...

— Зачем ты все драматизируешь?! Не поддавайся бабству, гони прочь истерию, мы победим!

Мари снова закурила.

— Ну, а если в газетах появится всего пять строчек о пресс-конференции, а про твой реферат с ответами на вопросы вообще ни слова? Замолчат, не заметят... Тогда все окажется выстрелом из пушки по воробьям...

— Вот тогда, девочка, я пойду к коммунистам, пойду послезавтра, как только прочитаю утренние газеты, и отдам им все мои документы... Увы, к словам перебежчиков относятся, хотя бы на первых порах, с обостренным интересом... Прочитают, поверь мне, прочитают, я сделаю достоянием гласности то, что смог понять сам.

— А если будет поздно, папа?— очень тихо спросила Мари.— Знаешь, у меня внутри все дрожит, я какая-то запеленатая, боюсь включать радио... Мигель звонил перед тем, как я сюда вылетела... Я бы, наверное, не полетела, если бы он не позвонил... У него был такой чужой голос, совершенно ужасный, тусклый, какой-то обреченный...

— Ах, Мари, ну, пожалуйста, успокойся! Поверь, русские наверняка засекут движение американского флота к Гаривасу и не преминут немедленно поставить об этом вопрос в ООН... Белый дом сегодня утром отверг все обвинения по поводу готовящейся интервенции, они назвали это очередным раундом кремлевской игры против свободного мира... Так категорично американцы не стали бы говорить, они ловкие политики, они всегда оставляют поле для маневра... И потом главное, девочка... Меня тоже не устраивает то, как выпирает имя Дигона во всем этом деле... Там, видимо, идет драка под пледом, там делят пирог, и это в пользу Санчеса... Когда есть две противоборствующие силы, очень взрывоопасно, понимаешь? Санчес и Дигон лицом к лицу — страшно, но ведь в игру втянут не один Дигон, я это могу доказать и докажу завтра с цифрами на руках... Если, упаси бог, что-то и случится в Гаривасе, моя пресс-конференция станет обвинительным приговором Вашингтону, третьего не дано; либо все произой-

дет так, как предполагаю я, и тогда мою правоту подтвердит биржа, то есть судьба тех фирм, которые вознесутся, спекулируя на бобах гаривасского какао, и тех, которые прогорят, а за этим стоят люди, связанные с политикой, либо не произойдет ничего, Белый дом остановит Уолл-стрит, осадит дедушек, порекомендует им повременить, ясно тебе? Но если что-то и грянет, тогда им после того, как я обнародую результаты моих изысканий на бирже, не отмыться...

— А какое дело до всего этого Мигелю?— спросила Мари.— И мне?

— Ты не слушаешь меня, девочка... Или не хочешь понять... Завтра в десять утра я расскажу общественности, кто и почему стоит за нагнетанием ситуации в Гаривасе. Проанализирую персоналии, связи, п у н к т и р ы большой политики... Я привлеку слушателей к исследованию определенных симптомов на биржах в связи с Гаривасом... Я назову имена не только Дигона, о нем отчего-то слишком много говорят, организованно, заметил бы я, но и Моргана, и Кун Леба, и Дэйвида Ролла, о которых молчат, но чьи люди проявляют любопытную, хоть и «теневую» активность на биржах, и про п а с с ы живчиков Роберта Кара, этого «барометра Белого дома», я расскажу тоже... Если бы суды проходили до того, как совершено преступление, мы оказались бы в золотом веке цивилизации, хороший мой человечек... Я произнесу приговор по поводу преступления, которое еще не совершено, но может свершиться. Неужели это не остановит тех, кто хочет плюнуть в лицо своей родине?

(«Что она ответила?»— спросил резидент, напряженно вслушиваясь в тишину. Герберт пожал плечами: «Наверное, отрицательно покачала головой».)

— Ладно,— сказал Вернье,— едем на рю Муффтар, там договорим... Гала, где у тебя машина?

79

26.10.83 (18 часов 26 минут)

Фрэнк По был в некоторого рода недоумении, расставшись с шефом резидентуры; встретились они в его машине на рю Вашингтон; тот был нервозен; совер-

шенно на него не похоже; раньше казалось, что этот человек вообще лишен каких-либо эмоций, один расчет и холодное спокойствие в любой ситуации.

Беседа продолжалась несколько минут.

— На связь идите с соблюдением всех норм конспирации, Фрэнк; трижды проверьтесь, поменяйте, по крайней мере, два такси, транспортные не жалейте, все будет оплачено, мотайте по всему городу, особенно если почувствуете, что флики сидят у вас на хвосте; в баре «Гренобль» есть хороший выход во двор, окажетесь на рю Гротт, прямо напротив входа в метро, если за вами пойдут, наверняка увидите; в том случае, если убедитесь, что все в порядке, доезжайте до Порт Дофин, позвоните по телефону 542.62.69, представьтесь как Якуб Назри, старайтесь говорить с акцентом, вам предложат встречу в баре «Жорж Санк»; это значит, что вас будут ждать в «Пти серкль» за столиком возле лестницы на второй этаж через полчаса после того часа, который назовут для свидания в «Жорж Санк»... Вас встретит мужчина лет семидесяти в сером костюме и сине-белой рубашке; на столе будут лежать три гвоздики, белая, красная и розовая; скажете ему, что приехали из Стамбула, привезли привет и письмо от Казема... Вот, возьмите эти фотографии, покажите ему и назовите два адреса, здешний, на рю Вашингтон, и критский ресторан на рю Муффтар.

Шеф достал из кармана две фотографии, протянул Фрэнку; тот, глянув мельком, спросил:

— Вернье и Мари Кровс?

— Вы их знаете?

— Ее знаю хорошо, его тоже, только он не входит в сферу моего интереса, консерватор.

— А вы как к ней относитесь?

— Славная девка с хорошим пером,— ответил Фрэнк.

— Ну-ну.

— Не так разве?

— Я вам этого не сказал.

— Нет, действительно, ее ждет большое будущее, она добрый человек и отлично работает.

— Хорошо, пусть себе работает... Скажете вашему контакту, что у него есть время встретиться с ними до ночи, потом будет поздно. Он станет выдвигать условия. Соглашайтесь на все, не вздумайте выходить на связь со мною. Повторяю, принимайте все его условия.

— Я не очень-то умею делать дело, когда не понимаю его, босс.

— Потом поймете... Это в ваших интересах, Фрэнк, валяйте, топайте, у меня полно работы, счастливо, соберитесь, дело очень опасное, ясно?

«Вот никогда бы не подумал, что ему семьдесят»,— удивился Фрэнк По, разглядывая седого, очень высокого поджарого мужчину, который вальяжно сидел за столиком, ласково посматривая на три гвоздики.

Подошедшему официанту седой сказал:

— Пожалуйста, поставьте цветы в вазу, иначе они завянут без воды.

— Эти с толстыми ножками, месье,— возразил официант,— такие могут долго стоять и без воды, но, если вам хочется, я принесу вазу. Какого цвета?

— Белого, если можно.

— Да, месье.

— Благодарю вас.

— О месье, это моя работа...

«Мне бы так выглядеть в семьдесят,— подумал Фрэнк.— Крепкое поколение, они и в восемьдесят вполне пристойны... Пили молоко без радиации и ели натуральное мясо, а не химических бройлеров[1]... Мы-то вообще не доживем до их лет, век стрессов...»

Он умел чувствовать время, это, видимо, передалось от отца: перед тем как перейти на завод по гарантийному ремонту часов фирмы «Омега», По-старший имел маленькую мастерскую, в доме постоянно отсчитывали минуты старинные будильники, огромные напольные красавцы с вестминстерским боем, маленькие домики с кукушками, меривщие годы жизни беззаботно, словно в венской оперетте, гигантские керамические блюдца с испанскими рисунками, вместо стрелок нож и вилка, каких только часов не было! Даже в школе на уроках он постоянно слышал разноголосое т и к а н ь е, мог определять время с точностью до минуты, поэтому никогда не носил с собой ни «Омегу», подаренную отцом, ни «Ориент», выданный в Лэнгли (брал лишь по служебной надобности, потому что «Ориент» был особым, его можно было оборудовать и под передатчик, и как микрофон для записи бесед с интересовавшими его людьми).

[1] Курица, выращенная на птицефабрике.

Фрэнк всегда помнил, как отец, внушая ему преклонение перед временем, то и дело возвращался к Онассису. «Пойми, он стал великим только потому, что с детских лет понял цену минуте».

(Семьи соседствовали в Смирне; деды дружили, Онассис обычно находил и помогал тем, кто из одного с ним к о р н я).

Отец Фрэнка рассказывал, как тринадцатилетним мальчиком Аристотель Онассис начал работать в табачной фирме своего отца, крупнейшего коммерсанта Смирны; в пятнадцать лет он бегал по горящему городу во время греко-турецкой резни, делая все, что в его силах, лишь бы спасти отца, брошенного турками в тюрьму, от расстрела; научился давать взятки тюремным стражникам, завязывать отношения с нужными людьми, по ночам учить английский язык и утром ублажать американского вице-консула, который давал пропуска для свободного прохода по городу и в порт; менять на борту сигареты на виски, снабжать этим виски тюремное начальство, тех, от кого зависело, вписать имя отца в список на расстрел или оставить до следующего дня; плакать, смешить, доказывать, стращать, сулить, умолять турецких бизнесменов, чтобы те замолвили слово за арестованного греческого фабриканта, он не знал, что такое нормальный сон, двигался двадцать часов в сутки и в конце концов спас отца, вывез в Грецию, а там старик обвинил его в том, что он утаил большую часть его денег, и семнадцатилетний мальчик навсегда покинул родной дом, уплыл в Аргентину, работал день и ночь телефонистом в компании ИТТ, скопил денег и начал торговать турецкими сигаретами...

Как-то раз Фрэнк, улыбнувшись, заметил:

— Папа, а почему ты обходишь вопрос о любовных делах Онассиса?..

— Аристотель любил и Грету Гарбо, и великую певицу Марию Каллас, и Жаклин, и прекрасную балерину из труппы Анны Павловой, но позволил себе все это только после того, как стал могучим человеком, а он стал таким, когда ему исполнилось тридцать...

Фрэнк рассмеялся.

— Папа, ты плохой воспитатель... Нельзя лгать ученикам... Ведь Онассис впервые согрешил с дочерью

служанки в доме его отца, когда ему только-только стукнуло одиннадцать...

— И ты веришь россказням газетных болтунов?— вздохнул отец.— Господи, как неблагодарен этот мир и злобен...

— Папочка, мне об этом говорил сам Аристотель... Он даже сказал о том, как его отец заметил: «Спи только с теми, сынок, связь с которыми не принесет ущерба твоей карьере...»

— Не кощунствуй!— возмутился старший По.— Он не мог тебе сказать этого! Ты еще мал, не дорос до того, чтобы Аристотель пустился с тобою в такие откровения!

— Мне двадцать пять, папа, в этом возрасте Онассис уже ворочал делами.

— А ты для меня и в пятьдесят останешься ребенком!

— Не быть мне тогда Онассисом.

— Не быть,— согласился отец.— Таких, как он, бог дарит Греции раз в столетие...

«Этот семидесятилетний,— думал Фрэнк, чувствуя, что подходить еще рано, секунд сорок в запасе, а то и сорок пять,— чем-то он похож на Онассиса, только тот был коротышкой, а седой красавец высок, как Ланкастер... В конечном счете,— услышал он свой голос и отметил, что в голосе была тревога,— Онассис тоже имел дело с такого рода типами, мафия, ясное дело, но, черт побери, не нам же заниматься черновой работой; я не намерен никого ни к чему принуждать, я имею дело с идеей, с прекрасной идеей нашей свободы, ей я служу, если кто-то мне мешает, его надо уметь заставить отойти с дороги, и все... Шеф не сказал мне, кто этот человек, тоже конспиратор, будто у меня две извилины... Но ты сейчас захотел выпить,— понял он себя,— отчего тебя захотелось выпить? И не просто так, как это принято, взял скотч[1] со льдом и тяни его весь вечер, подливая соды, а по-настоящему, тягучим, длинным глотком...»

— Добрый вечер, у вас свободно?— спросил Фрэнк, подойдя к седому.

[1] Шотландское виски.

— Вообще-то я жду гостя...

— Вот как... А я только что приехал из Стамбула...

— Так присядьте... Выпейте чашку кофе...

— И привез привет от Казема...

— Я так и понял, что это вы... Меня зовут Пьер Ниссо...

— А меня Якуб Назри.

— Очень приятно,— ответил Ниссо и обратился к Фрэнку на великолепном турецком.

Фрэнк покачал головой.

— Я родился на Кипре, жил в греческой общине.

Ниссо заговорил по-гречески; словарный запас его был не очень велик, но произношение отменное.

Фрэнк ответил ему на смирненском диалекте; отец не разговаривал с ним дома по-английски; ему подавали только греческую еду, вино тоже.

Ниссо удовлетворенно кивнул, закурил тонкую черную сигарету, спросил:

— Что будете пить?

— Виски.

— Со льдом?

— Нет, чистое.

— О'кэй. А я возьму пастис, чем-то напоминает греческую водку, не находите?

— Нахожу.

— Помоем руки?

— Непременно.

Они спустились в полуподвал, там возле будки телефона-автомата были уборные; они вошли в тесную комнатку, Ниссо запер дверь, пустил воду и сказал:

— Ну, что у вас, давайте.

Фрэнк молча протянул ему фотографии.

Ниссо глянул на них мельком, с м а з а л, что называется, вернул Фрэнку.

— Я знаю этих людей, и в нашей картотеке есть фотографии лучшие, чем ваши, слишком контрастны, сделаны на черно-белой пленке. Где они?

— На рю Вашингтон до восьми. Потом будут на рю Муффтар, в критском ресторане...

— Хорошо... Теперь о деле... Я имею в виду наше дело, мистер Назри... Мои друзья заинтересованы в приобретении пяти миль пляжа вдоль по берегу Параны в Парагвае...

— Вас интересует финансирование?

— Нет. Эти земли принадлежат «Юнион пасифик»... Они в запустении. Надо, чтобы ваши друзья подействовали на боссов этого концерна. За ценой мы не постоим.

— Считайте, что вы приобрели эту землю.

— О'кэй. Мои друзья будут удовлетворены таким ответом.

Ниссо достал из внутреннего кармана пиджака портмоне, плоское, ч е р е п а х о в о е, легко, жестом провинциального фокусника открыл его, достал листок тонкой бумаги.

— Прочитайте и подпишите,— сказал он.

Фрэнк пробежал текст: «Мои друзья, а по их поручению я, гарантируют, что земля по реке Парана в Парагвае, находящаяся ныне во владении фирмы «Юнион пасифик», будет продана в течение ноября—декабря сего, 1983, года тому, кто предъявит эту бумагу».

— У меня нет ручки.

— У меня есть,— и Ниссо протянул Фрэнку «паркер».

Фрэнк подписал так, чтобы не коснуться бумаги пальцами.

Ниссо покачал головой.

— И оттисните два пальца подле вашей подписи, Назри. Бумага соответствующим образом обработана, доказательство должно быть абсолютным.

Фрэнк вспомнил слова шефа о том, что надо выполнять любые условия того, кто с ним встретится, подумал, что это мелко, надо иметь дело с теми, кто верит слову, а не требует отпечатка пальца; как преступники, ей-богу, ничего себе агентура!

Ниссо помыл руки, брызнул чуть-чуть воды на лацкан, всего две капли, но так, чтобы они были заметны, стряхнул несколько капель на левую брючину, вышел из туалета, снял трубку телефона и, закрыв собою диск так, чтобы Фрэнк не мог видеть цифр, набрал номер.

— Алло, это я. Видимо, задержусь к началу оперы, поезжайте без меня, ясно?

80

26.10.83 (19 часов 33 минуты)

— Да, месье Назри, я понял.

Человек положил трубку телефонного аппарата, сделанного под старину — медь и поддельный янтарь,— рывком поднялся и пошел в темную спальню, прокуренную так, что воздух был горько-кислым.

На огромной кровати лежал маленький длинноволосый парень, лицо его было до того веснушчатым, что казалось, на дворе апрель, а не октябрь.

— Пойдем, Серж,— сказал человек,— пойдем, я сделаю тебе массаж, отличный массаж, пойдем...

Серж медленно поднялся, когда он сел на кровати, стало видно, какое у него оплывшее лицо, как тяжелы мешки под глазами; пепельные кудри, чрезмерно подвитые, густые, зловеще подчеркивали несоответствие с ясными большими кукольными глазами и детскими веснушками.

Он еще медленнее встал с кровати, с л е п о пошел к зеркальной стенке, толкнул ее ладонью, часть стены отворилась — это была дверь в громадную, в черном кафеле ванную.

Серж сбросил шорты, обрушился на массажный стол, лающе зевнул, заметив:

— Очень болит шея.

— А там самые страшные отложения солей,— сказал человек, выдавил крем на ладони, растер их и стал массировать спину Сержа.— Сейчас ты почувствуешь силу, кровь прильет к коже, будет острый, игольчатый жар, который разойдется по мышцам, они поначалу замрут, особенно вот эти, продольные мускулы спины, а потом начнут медленно сжиматься, как перед броском, самым главным броском твоей жизни, когда все изменится, и ты получишь то, о чем другие мечтают всю жизнь, но так и не получают, а тебе осталось ждать часы, всего несколько часов, и мышцам можно будет расслабиться, и ты сядешь в темное купе экспресса на Марсель, маленькое купе-люкс для одного счастливчика, и вытянешься, запрокинув руки за голову, и уснешь, а я буду ехать рядом... Ну-ка, перевер-

нись... Дай мне твою левую руку... Правая сильней, но левая главная, разожми ладонь, нет, еще, еще... Расслабься, совсем расслабься, вот так, ну, молодец, вот какая у тебя длинная линия жизни, смотри, рассекает ладонь, какая она глубокая и резкая, она определяет все твое естество. А вот эти бугры, ты чувствуешь, какие крепкие, это бугры Венеры, это твоя жизненная сила, женщины млеют с тобою, они подобны собачонкам, которые идут за хозяином, ты их повелитель, ох, как им с тобой хорошо, ни с кем так не будет у них, кроме как с тобой, Серж... А теперь опусти руки, я разогрел их, они крепко будут держать рукоять пистолета, большую и тяжелую, обернутую черной изолентой, рукоять будет влита в твою ладонь, ты же хорошо бьешь навскидку, ты разишь без промаха, твой тренер был мерзавцем и гадом, когда отдал тебя судьям, он мог им не сказать про укол, он обязан был молчать, а он продал тебя, пусть теперь пеняет на себя, его просили добром, я унижался перед ним, а мы не прощаем унижения, разве б ты простил унижение, Серж? Вот видишь, молчишь, согласен, значит, со мной... Ну-ка, расслабь икры, я должен хорошо их промять, каждую клеточку, чтоб удобней было взбросить послушное тебе тело в седло «ицуки» и дать газ, и пронестись мимо двух баб и жирного старого мужика, и сделать три выстрела, три т в о и х выстрела, а за углом, как и тогда, в Палермо, будет стоять машина, и за рулем, как и там, буду сидеть я, а утром мы будем уже в Марселе, сразу же уйдем на яхте в море, а через три дня станем охотиться в Сицилии, я же знаю, как ты бьешь перепелов, и Сюзанна поджарит их нам на вертеле, и масло будет капать в огонь костра, и мы будем с тобой пить кислое красное шипучее вино и купаться в бассейне, и тогда я позволю Сюзанне делать тебе массаж. Я буду спать дни напролет в шезлонге и делать тебе укол вечером, перед закатом; а сейчас, после того, как я тебя разогрею и дам тебе маленькую порцию самого лучшего героина и ты до конца взбодришься, ты захочешь подняться, в тебе будет легкость, веселая легкость, ну-ка, давай поднимайся, я иду кипятить шприц, вставай, Серж, вставай, д е л о...

81

26.10.83 (19 часов 33 минуты)

Директор ЦРУ сидел возле телефона, который связывал его с посольством в Гаривасе, остальные перевел на секретаря.

Огромные часы, вмонтированные в стену его кабинета, соответствовавшие часовым поясам Европы, Азии, Африки, были сейчас зашторены; т и к а л и только одни, те, на которых секундная стрелка «лонжина» показывала время в Центральной Америке.

Звонок, которого директор с таким напряжением ждал, прозвучал с опозданием на три минуты.

— Добрый день, Поль, у нас тут чертовски жарко, стоял под душем,— резидент в Гаривасе произнес условную фразу, которая означала, что заключительный этап операции начался, и начался успешно.

(Согласно коррективам, которые директор внес в «Корриду» после самоубийства Вэлша, вся тяжесть заключительной фазы операции переносилась с т е х н и к и, то есть с устранения Санчеса, это вопрос решенный, на п е р с п е к т и в у; от успешного развития этой фазы «варианта» зависело многое, если не все.)

...В кабинете министра энергетики и планирования Энрике Прадо (за десять минут до звонка резидента ЦРУ своему шефу) появился шофер с запиской от жены: «Срочно приезжай, мама при смерти».

Прадо поднял трубку, набрал номер телефона, дома никто не отвечал, он бросился вниз, крикнув секретарям, что перезвонит позже, сказал шоферу, чтобы тот включил сирену, и только потом зябко спросил, что произошло. Тот ответил, что дома ужас, начал было рассказывать подробности, но руль повело, он затормозил, выскочил из машины, выругался — спустило переднее левое колесо.

Прадо вышел на середину улицы; из-за поворота появился малолитражный автобус; Прадо поднял руку; водитель притормозил.

— У меня дома несчастье, пожалуйста, гражданин, отвезите на улицу Куэнка,— сказал Прадо, ощущая мелкий озноб, который чем дальше, тем больше бил его.

— Садись,— буркнул водитель.

Один из пассажиров открыл дверь, Прадо впрыгнул в салон и сразу же ощутил руки людей, которые намертво втиснули его в мягкое, шершавой ткани сиденье.

— Гражданин министр,— сказал тот, что горбился в самом конце салона,— ваша мама здорова, у нас есть пятнадцать минут для беседы, мы не террористы, ваша жизнь вне опасности, пожалуйста, ведите себя разумно, сейчас мы приедем и свяжем вас с семьей...

— Вы гнусные провокаторы,— тихо сказал Прадо, чувствуя, как сердце колотится где-то возле селезенки, словно бы сорвалось вниз.— Вы, видимо, не отдаете себе отчета в том, что меня сразу же начнут искать... И найдут... Пусть вы убьете меня, но и вам не уйти от пули... Санчес поднимет силы безопасности, Лопес бросит «красные береты», вопрос часа или двух, мой шофер видел вашу машину, он скажет...

— Шофера уже везут на север, в сельву, он будет молчать, мы подвигали его к вам семь месяцев,— усмехнулся тот, кто сидел сзади, в огромных темных очках, щуплый с едва заметным акцентом, видимо, янки, хотя волосы жгуче-черные, и усы подстрижены чисто по-испански — кончики опущены вниз, к подбородку.— Что касается Санчеса, то он будет убит через несколько минут.

— Так что же вы медлите со мной, грязные свиньи?!

— Не надо меня оскорблять, гражданин Прадо,— говорил этот, с усиками, остальные молчали, упершись дулами пистолетов прямо в спину Прадо, не люди, а манекены.— Не надо. Это все эмоции, а вы логик.

Машина на большой скорости въехала в ворота особняка на окраине; Прадо заметил в зеркальце над головой водителя, как четыре человека сразу же закрыли ворота; они вооружены, в форме «красных беретов», явное дело, камуфляж, да и вообще все похоже на какой-то дурной спектакль или тяжелый сон, когда силишься открыть глаза и не можешь, хочешь закрыть, но нет сил, а потом вскидываешься с кровати и бежишь в ванную — сунешь руки под струю холодной воды и смоешь кошмар. Все уйдет в небытие, только бы проснуться...

Шофер резко притормозил возле длинной стеклянной асиенды; манекены подтолкнули Прадо пистолетами; он вылез, его ввели в просторный холл; возле огромного, во всю стену окна, выходившего на океан, в низком кресле сидел необъятно толстый, громаднорослый, потный Джеймс Боу в легком голубом костюме «для тропиков» и грязных, американского образца (сразу отличишь) ботинках. Он тяжело поднялся с кресла, показал на телефон.

— Звоните домой, мистер Прадо.

Прадо набрал номер, по-прежнему не в силах сдержать дрожь в руках; голос жены был, как всегда мягок и спокоен.

— Ты присылала ко мне Хорхе? — спросил Прадо.

— Нет, родной, я не видела его с тех пор, как ты уехал в министерство. На рынок ездила автобусом. Что-нибудь случилось?

— Как мама?

— Позвать ее? Она в саду...

— Да, позови, пожалуйста...

Боу посмотрел на часы, тяжелый золотой «ролекс», вторая после «Патека Филиппа» фирма по престижности; думай о пустяках, сказал себе Прадо, пусть успокоится сердце, и пройдет дрожь в руках, иначе будешь выглядеть трусом в глазах этих бандитов с золотыми часами.

— Я слушаю, Энрике,— услыхал он голос матери, и сразу же тело обмякло, почувствовав, как ему подставили стул, он рухнул на глянцевую кожу зебры.

— Как ты себя чувствуешь, мамочка?

— Прекрасно, милый... У тебя странный голос... Что с тобою?

— Нет, нет, со мною все хорошо.

— Эсперанса готовит на обед худиас[1], твои любимые... И будет кусок хорошего мяса, ты, надеюсь, приедешь вовремя?

— Непременно,— ответил Прадо.— Я обязательно приеду, мамочка, до свиданья, родная...

— Что с тобой, Энрике? У тебя плохой голос...

— Нет, нет, я немного устал, это пройдет, ты же знаешь, у меня так бывает...

[1] Похлебка из фасоли или бобов с луком *(исп.жаргон — Ю.С.)*.

Он положил трубку, посмотрел на потного толстяка в мятом костюме и огромных черных ботинках, медленно поднялся.

— Делайте ваше дело, только позвольте мне помолиться перед тем, как все кончится.

— Все только начинается, мистер Прадо,— сказал Джеймс Боу.— Позвольте представиться: я защищаю интересы тех, кто стремится к тому, чтобы Гаривас стал стабильным, динамически развивающимся государством, сориентированным на постоянно дружественные отношения с Соединенными Штатами...

— И поэтому,— Прадо кивнул на усатого,— убивают Санчеса?

— Именно так,— вздохнул Боу.— Но делают это не из жажды крови, а для того лишь, чтобы в кресло премьер-министра сел компетентный человек, технократ, способный жить не лозунгом или отвлеченной идеей, но холодным расчетом, который прежде всего угоден несчастному, полуголодному, неграмотному народу... Таким человеком мы считаем вас, мистер Прадо...

— Что?! Как вы смеете обращаться ко мне с этим предложением?! Кончайте ваше дело! Пусть эти дубины стреляют в меня! Я не боюсь смерти! Я боюсь позора!

— Все боятся позора, мистер Прадо,— по-прежнему спокойно, отдуваясь, без всякого выражения согласился Боу,— особенно испанцы, люди, свихнувшиеся на кодексе чести, истинные кабальеро... У нас остались считанные минуты, мистер Прадо, нужно договориться, потом мы передадим вам текст речи для выступления по телевидению, надо прочитать его несколько раз, чтобы выступать без бумажки...

— Я сказал,— повторил Прадо,— кончайте! Я не боюсь смерти! Я не из породы продажных шлюх!

Он сказал это по-английски; Прадо учился в Далласе, по акценту понял, что толстяк оттуда, южанин, трое вышли, толстяк отошел к окну, взял с подоконника тонкий, тисненой кожи дипломат, открыл его, достал папочку, начал неторопливо листать бумаги, рассеянно закурил, поманил Прадо, кивнул на толстый, черного дуба подоконник, тот сел, толстяк опустился рядом, ткнул пальцем в страницы.

— Тут материалы, которые мы собирали на вас последние два месяца, мистер Прадо... Вы сказали, что боитесь позора... Я верю. Вас никто не собирается убивать, потому что вы не угрожаете нам, в вас нет честолюбивых амбиций вождя нации, вы действительно технократ, а не идеолог... Если вы откажетесь от нашего предложения, мы позволим вам уехать домой, жена готовит вам худиас, мама, кстати, забыла сказать, что прекрасный суп касуэла уже стоит в духовке, вы любите касуэлу, обычно по субботам вы ходили в кабак «Лос пачолес» в Далласе к Дону Хоакину именно для того, чтобы откушать касуэлу, до того как... Словом, вы вернетесь домой, у нас есть выбор, мистер Прадо, у нас есть три кандидата на пост премьера, и они дали уже согласие, они ждут в соседней комнате... И если кто-то из них решит по прошествии недель или месяцев привлечь вас к суду, это их дело, мы не станем мешать...

— Меня не за что привлекать к суду, я ни в чем не виноват...

— Мистер Прадо, каждый человек на этой грешной земле в чем-то виноват... Каждый... Без исключения... Меня, например, можно посадить на электрический стул, если поднять по дням всю мою жизнь, хотя я не брал взяток, не грабил банки, не насиловал девок, не бандитствовал на дорогах и не убивал министров... Но я жил и действовал, мистер Прадо, а жизнь — это преступление, я уже не говорю о жизни, полной активных п о с т у п к о в... Вы, например, перестали ходить к Дону Хоакину после того, как его дочь Хосефина сделала от вас аборт, но доктор оказался малокомпетентным, и женщина стала инвалидом — бесплодие, нарушение циклов и прочие бабские неприятности... Вы думаете, Дон Хоакин забыл об этом? Он помнит,— толстяк снова ткнул указательным пальцем в сколотые страницы, что лежали у него на коленях.— Он с радостью даст хоть завтра свои показания против того, кто совратил его дочь... Вы говорите, что страшитесь позора... Я верю вам...— Боу пролистал несколько страниц, демонстративно слюнявя толстый, словно обрубленный указательный палец.— Вот, смотрите, мистер Прадо, это показание главного механика гаривасской электростанции... Вы же работали там

директором, когда вернулись с дипломом инженера из Штатов, не так ли? Помните Хаиме Оярсабаля? Вами двигали благие порывы, вам хотелось дать рабочим премию к рождеству, но денег не было, и вы пошли на то, чтобы вместе с Оярсабалем остановить два агрегата, дав ложные показания, что случилась авария и необходимо поставить рабочих на ночную смену, дабы не оставить город без света... А внеурочная ночная смена оплачивается в два раза выше, и за это рабочим полагается премия... Но и вам в том числе... А вы от нее не отказались... Я понимаю, мистер Прадо, вами двигали благие порывы, вы не могли отказаться, иначе бы подвели других, беззаконие порождает жульничество, но ведь это не довод в судебном заседании, это эмоции, а трибунал их не исследует, да и суд присяжных вряд ли стал бы копаться в этом... Незаконные деньги, и все тут! Или вот...— он снова пролистал страницы.— Смотрите... Когда три месяца назад вы отправились в Милан для переговоров с Грацио, правительство выделило вам средства... По статьям... На телефонные переговоры, отель, транспортные средства, на представительские — надо же было устраивать коктейли и приемы... Ваш секретарь Габриэль Пратт дал вам расчет, на коктейли не хватало... И вы своей рукой, без согласования с правительством санкционировали мелкое жульничество: попросили одного из помощников мистера Грацио, мистера де Бланко, взять на себя оплату отеля, но оставить счета вам и на эти деньги устроили прием... Я понимаю, что вы не положили себе в карман эти несчастные три тысячи долларов, я-то понимаю, что вы решились на это во имя д е л а, во имя того, чтобы прошел энергопроект Санчеса, но трибунал будет рассматривать документы и свидетельские показания, понимаете? Вот, мистер де Бланко показал,— ткнул Боу в страницу,— что он выписал чек за проживание вашей делегации в отеле... А это копии отчета, в котором вы подписали подлинность трат за отель из средств, отпущенных кабинетом... Ну, разве это не позор? Читать дальше?

— Фу, какая мерзкая грязь...

— Разве это грязь? Я не читаю вам других документов, мистер Прадо... Человек беспамятен, он отторгает в прошлое то, что ему неугодно или стыдно хра-

нить в сердце... Я ж не привожу записи ваших бесед в кровати с женой... Каждый возбуждается по-своему, у всех у нас рыльце в пушку, но ведь не пойман — не вор, а если и этот ваш шепот сделать достоянием гласности? Дать прослушать трибуналу — а уж он-то прокрутит это по национальному радио, вот, мол, кто нами правил, — каково будет вашей маме? Детям? Той же жене...

— Дайте пистолет,— крикнул Прадо.— Я сам сделаю то, что надлежит мне сделать в такой ситуации...

— Вы не сделаете этого,— убежденно сказал Джеймс Боу.— Во-первых, если вы произнесли слово «ситуация», значит, в вас по-прежнему живет логик, а не министр Санчеса... Во-вторых, когда ваш друг по колледжу Ромуло Батекур публично ударил вас по лицу за то, что вы отбили у него Магдалену, вы ведь не ответили ему...

Боу отошел к стене, где висела картина — сине-черная абстракция, стремительные, рвущиеся линии, чем-то похоже на ночную грозу в тропиках над океаном,— нажал своим нездорово толстым пальцем на раму, поманил Прадо, тот поднялся с подоконника и, ощущая ненависть к себе, приблизился к толстяку.

— Смотрите,— Боу кивнул на маленький глазок, открывшийся в холсте.— Там ваши знакомые, смотрите же...

И Прадо посмотрел.

В холле, почти таком же, как этот, где он только что перестал быть прежним Прадо, а сделался пустым, не ощущающим самого себя, разбитым, с дрожью в ватных ногах существом, сидели помощник Санчеса по связям с прессой капитан Гутиерес, министр продовольствия Эухенио и заместитель министра финансов Адольфо; они о чем-то быстро говорили, и, хотя лица их были бледны, они улыбались порою, жестикулировали, как живые люди; ни в одном из них не было видно слома, следов пыток, борьбы...

Прадо не смог сдержать слез, силы покинули его, и он тяжело обрушился на пол, выложенный сине-белыми изразцами, какими обычно украшают маленькие дворики в Андалузии, особенно в Севилье, по дороге к морю, к Малаге...

82

26.10.83 (19 часов 33 минуты)

— Я попробую положить девятый от борта налево в угол,— сказал Санчес.— Как ты относишься к этому, вьехо?

— Отрицательно... Я почему-то думаю, что ты не положишь этот шар, Малыш. Знаешь, я однажды играл с русским поэтом Маякосски в Мехико, он приехал туда в двадцать пятом... Не помню точно, может, в двадцать седьмом году... Он революционер, но играл очень хорошо и однажды засадил вот такой же шар... Только очень долго мелил кий перед каждым ударом... Знаешь, он так смешно выцеливал шар... Выставлял нижнюю челюсть, она у него была тяжелая, сильная, не то что у тебя... И еще очень коротко стриженный. Ну, ладно, бей, я помолчу...

Санчес промазал, сделал подставку; одиннадцатый стал на удар.

— Ну что, Малыш, конец тебе?— вздохнул Рамирес.— Такого игроки не прощают... Могу пощадить, если велишь взять Пепе солистом...

— Я, наверное, не успею его послушать сегодня, вьехо,— ответил Санчес.— Давай обставляй меня, и я поеду... Много дел...

— Он сейчас должен быть здесь...

— Тогда не торопись меня облапошивать,— вздохнул Санчес.— Проигрывать — даже тебе — обидно.

Старик собрался перед ударом, рука перестала трястись, глаз сделался беличьим, чистая бусинка; к л я ц; шар лег, словно в масло.

— Видишь, как надо бить,— сказал Рамирес.— Учись, пока я живой. Хочешь, чтобы я включил я щ и к? Утром дикторы объявили, что будет выступать твой министр Лопес...

— Я могу тебе сказать, о чем он будет говорить на телевидении,— Санчес пожал плечами.

— Он действительно против тебя, как говорят люди?

— Какие люди так говорят? Где? В этом вашем клубе?

— И не только. В кафе на Пласа де Хинос тоже говорят так... А там собираются шоферы и грузчики, они не вхожи сюда...

— Ну, а ты как думаешь?

— Сначала я положу седьмой в середину одним касанием, очень красиво, отведу свой для удара по десятому, а потом отвечу тебе, седой Малыш...

Он положил шар, отвел свой на новый удар и полез за сигарой.

— Хочешь?— спросил он Санчеса.— У меня еще три штуки, очень хороший табак, я полощу им рот, укрепляю десны... Я думаю, Малыш, сейчас начался такой бардак, что разобраться ни в чем нельзя, но ведь если много говорят, значит, есть что-то...

— Когда есть, вьехо, как правило, никто никому ничего не говорит...

— Это у янки или немцев, они другие, северные, у них кровь тише течет, а мы южные, у нас что на сердце, то на языке... Я когда-то играл с людьми, которые воевали против Франко... Они говорили, что им было известно в окопах о том, какие дела творятся в Мадриде... Там же были анархисты, коммунисты, республиканцы, поумовцы[1]. Все дрались за свое, и еще за неделю до того, как менялось правительство, люди знали имена новых министров...

— А в Чили ничего не знали, вьехо...

— Это точно,— согласился старик,— там Пиночет стоял на трибуне рядом с Альенде, там все было тихо, только богатые бабы ходили с кастрюлями по улицам... У нас тоже пойдут, говядина снова подскочила в цене...

— Кто у нас ест ее? — Санчес пожал плечами.— Ты? Так ты игрок. А грузчик?

— Тот, который умеет воровать, ест... Малыш, я тебя люблю, ты очень добрый, разве допустимо быть добрым правителем, так не бывает, может, тебе пришло время стукнуть кулаком по столу, а?

— Это теперь не страшно, все стали смелые, вьехо, мы же отменили беззаконие, теперь никто ничего не боится, понимаешь? И это прекрасно, потому что счастье могут построить только люди, которые не знают страха.

— Будет бардак, Малыш, наши люди любят строгость.

— После того как они прожили эти восемь месяцев без страха, одной строгостью ничего не добьешься, вье-

[1] Троцкистские группы.

хо... Всего можно добиться только так, чтобы человек шел на работу с радостью и убеждением: «Я получу столько денег, что смогу не только купить бутылку себе и чулки жене, но и сэкономить маленько, и еще отложить на отпуск или на то, чтобы начать свое дело, или на то, чтобы отправить ребенка учиться в колледж в Европу, пока у нас мало своих...»

— Ты донкихот, Малыш, не сердись, но люди уважают только одно — силу... Ты всегда был таким сильным, а сейчас словно женщина...

Санчес рассерженно поставил кий.

— Ну, чего ты хочешь?! Чего вы все хотите?! Чтобы я ввел комендантский час?! Запретил газеты?! Хватал на улицах за шутку в мой адрес и бросал в тюрьму? Вам что, надо жить согнувшись?! Только тогда вы будете спокойны — над вами есть власть?!

В зал вошел начальник охраны Карденас.

— Мигель, там «красные береты» задержали трех музыкантов, они говорят, ты их ждешь...

— Я их жду,— ответил Санчес.— Позвони во дворец, мы через пятнадцать минут выезжаем, пусть вызывают Педро с его отчетами... Как прошло выступление Лопеса? Ты посмотрел в гостиной?

— Выступление перенесли на полчаса, я звонил в канцелярию Лопеса.

Санчес удивился.

— Отчего?

— Полетела аппаратура на радиостанции, заканчивают ремонт, дурни нерасторопные... Сейчас я приведу музыкантов...

— Это мой внук Пепе,— пояснил Рамирес майору Карденасу,— он задержит Мигеля на пятнадцать минут, послушай, как он поет.

Карденас пожал плечами, вышел; старик приблизился к Санчесу, положил свою узловатую дрожащую руку на его плечо.

— Не сердись, Малыш, просто я думаю, что ты еще не научился этому делу — управлять другими — и вряд ли научишься, такая это паскудная работа... Выпьешь кампари?

— Нет, не хочу. Выпью холодной минеральной воды. Или лимонного сока... Что-то у меня тяжело на сердце, вьехо... Жмет, жмет... Будто его в руку взяли и пробуют на вес...

— У меня так было, когда Пепе читал вслух книжку одного бородатого янки про то, как наш старик ловил в море а г у х у[1] и как ее поедали, ходер[2], жадные акулы... Перед ударом всегда следует маленько поговорить, тогда в тебе начинается тоска по делу... Слово — это леность, Малыш, только удар — дело, даже по такому дерьмовому шару, как тройка, но ведь без него не наберешь пирамиду...

Он красиво положил шар, такой же, как и другие, только с цифрой три; черт возьми, подумал Санчес, какая, казалось бы, разница между этим шаром и тем, тринадцатым, что теперь стоит у Рамиреса на ударе в середину, ан нет, совершенно иное качество, значение, вес... Стоит соскоблить с тринадцатого единицу, а к этой тройке пририсовать единицу, и значение изменится, не сотвори себе кумира, воистину так...

— Сейчас я заберу тринадцатого,— сказал Рамирес.— Ты заметил, Малыш, что все шары на столе одинаковые от создания своего, а любим мы их по-разному?

Санчес рассмеялся.

— Я только что думал именно об этом, вьехо, прямо слово в слово, как ты сказал.

— У меня это часто было с моей мухер[3]... Это бывает, если веришь; мы умеем верить и тогда начинаем думать про одно и то же... А ты читал книгу про этого старика в море?

— Да,— ответил Санчес.— Того янки, что написал книгу, збали Хемингуэй.

В это время Карденас привел Пепе с гитаристами.

— Здравствуйте, гражданин премьер,— сказал Пепе.

— Добрый день,— повторили Ромеро и Бонифасио в один голос.

Санчес улыбнулся.

— Музыканты, а говорите словно солдаты, приветствующие командира... Давайте ребята, я к вашим услугам. У меня есть десять минут, не больше...

Гитарист Ромеро глянул на свои большие часы, в них был вмонтирован передатчик; когда они шли по парку «Клаб де Пескадорес», он первым делом посмотрел, стоит ли у пирса белый катер с включенным движ-

[1] Меч-рыба *(исп.)*.

[2] Ругательство *(исп.)*.

[3] Женщина, жена *(исп.)*.

ком; стоял именно там, где должен был, тютелька в тютельку на том месте, которое обозначено на картах, когда репетировали операцию; и капитан был тот, которого им описывали: с рыжей бородой, в белом костюме, с золотым браслетом на левой руке; с катера поступит команда, часы п и с к н у т; это значит, надо доставать «шмайссеры» и кончать полковника, иха де пута[1], красный, наемник Кремля...

Гитаристы молча, неторопливо и сосредоточенно достали свои громадные старые, а потому особенно красивые гитары из огромных, тяжелой кожи чехлов и одновременно — в долю секунды одновременно — прикоснулись к струнам; звук родился густой, осязаемый, дрожащий.

Это была проба; Ромеро взглянул на Пепе, кивнул ему, тот начал; Бонифасио подхватил: «Песня революции...»

...Катер был уже в миле от пирса, капитан, Густаво Карерас, посмотрел на карту — до нейтральных вод оставалось совсем немного; впереди, в семи милях, стоял американский сторожевик, через две минуты можно давать команду на действие; пусть потом ищут катер; наверное, можно снять трагикомедию о том, как эти мулаты будут метаться по пирсу...

— Гитаристы мне очень нравятся,— сказал Санчес.— Спой что-нибудь, Пепе... Только отчего ты стоишь, словно проглотил аршин? Ты же поешь, это такое счастье, если человек умеет петь... Может быть, тебе лучше ходить по комнате? Статика связывает... Ты слышал такое имя — Станиславский?

— Нет.

Ромеро тронул струны, звук поплыл по комнате. Он боялся, что с секунды на секунду з а п и щ а т часы; сигнал; услышит тот бугай, что возле двери; это плохо, когда две ц е л и в разных направлениях; конечно, все срепетировано, Бонифасио станет бить в охранника, но все-таки однонаправленность действия всегда надежнее.

Бонифасио сразу же понял Ромеро; тоже тронул струны; мелодия была стремительной.

[1] Распространенное ругательство *(исп.)*.

— Станиславский был великим режиссером,— продолжил Санчес.— Тебе надо почитать книги про театр, Пепе... А то будет трудно проходить конкурс... Так вот, Станиславский учил своих артистов: если тебе трудно понять роль, ищи приспособление... Помнишь Каренина, мужа Анны?

— Не помню,— ответил Пепе,— совсем не помню, сеньор премьер...

— Толстой написал, что у Каренина были оттопыренные уши... Артист мучился, они очень дотошные, если только настоящие... Он не ощущал себя Карениным и поэтому каменно двигался, невнятно говорил... И Станиславский порекомендовал артисту вставить спички за уши, тот вставил, уши оттопырились, и он сразу почувствовал себя в своей тарелке, поверил себе... Может, и тебе стоит хорошенько подумать о костюме? Ты слишком модный, зауженный, трудно двигаться...

— Можно, я спою еще одну песню?— попросил Пепе.— О любви у меня лучше получается...

Санчес пожал плечами.

— Ну, пожалуйста, если про любовь тебе легче...

И в это время часы у Ромеро пискнули.

Бонифасио незаметно рванул струну, она лопнула; он сокрушенно покачал головой, сказал, что придется поменять басовую, без нее нельзя, отложил гитару, потянулся к футляру, открыл потайной карман; через мгновение Карденас валялся на полу, изрешеченный пулями; старик Рамирес бросился к Санчесу неожиданно для его лет быстро, словно перед ударом на бильярде, когда у него переставали трястись руки, он обнял Санчеса и закричал:

— Нет, нет, нет! Пепе! Пепе, что ты делаешь?!

Бонифасио тихо сказал Ромеро:

— Оторви деда.

Санчес остро ощутил горький сигарный дым, который шел от вьехо, особый, стариковский, беззащитный запах, мелкую дрожь, сотрясавшую все тело, гулкие, частые удары сердца, когда Ромеро по-кошачьи перепрыгнул через угол стола, схватил старика за костистое плечо и хотел оттащить в сторону, но руки у того напряглись, он зашелся в крике.

— Уйди, вьехо,— шепнул Санчес, ощущая, как медленно, безжизненно холодеют пальцы рук и ног,— уйди, не надо тебе...

83

26.10.83 (19 часов 33 минуты)

В критском ресторанчике Папаса на рю Муффтар было пусто; во время туристского сезона не протолкнешься, все хотят побывать на улице, которую упоминает Хемингуэй в самой своей грустной, пронзительной и безысходной, как ушедшая молодость, книге про тот праздник, который всегда с тобой.

Мари, Вернье и Гала устроились поближе к очагу, в самой глубине зала; Папас пришел с меню, огромными, как межправительственные договоры, и такими же краснокожаными.

— Если позволишь, Мари, я закажу то, что тебе наверняка очень понравится,— сказала Гала.— Ты разрешишь?

— Конечно,— Мари вымученно улыбнулась.— Спасибо.

— Пожалуйста, Папас, сделайте ваш особый критский салат с мидиями,— попросила Гала.— Только сначала принесите какой-нибудь плед, наша девочка замерзла... Тебе ведь холодно, Мари, да?

— Нет, нет, Папас, не беспокойтесь, мне тепло.

— Ей холодно,— повторила Гала,— я вижу.

— Она попросит сама, если ей станет холодно,— раздраженно заметил Вернье.

— Но тогда будет поздно! Ее просквозит, она такая бледненькая.

Вернье улыбнулся дочери.

— Я ее учу не навязывать добро... Ничего нельзя навязывать, а особенно добро, это не прощается... Пора от слов переходить к делу и бить по щекам вместо уговоров — на юге Франции и в Италии на этом держатся семьи.

— Сейчас я подвинусь, чтобы тебе было сподручнее ударить,— засмеялась Гала,— только сначала закажу самую вкусную еду для Мари...

— Все-таки я принесу плед,— сказал Папас,— я чувствую, как дует, такие промозглые дни, просто невероятно, октябрь обещали теплым, а тут дождь, словно декабрь на дворе. Я подложу большой пень в очаг, станет тепло...

— Что ты хочешь заказать?— спросил Вернье.— Мари не любит рыбу.

— Но здесь особая рыба, Мари, может, ты попробуешь маленький кусочек?

Мари покачала головою.

— Нет, спасибо... Никто так вкусно не готовит рыбу, как моя мама, но я и у нее отказываюсь... Не знаю почему...

— Хорошо, тогда пусть Папас приготовит мясо в виноградных листьях, да, Вернье?

— Действительно вкусно, Мари,— подтвердил Вернье.— Советую попробовать...

— А помнишь, как ты впервые угостил Ганса кукурузой?— Лицо Мари на какое-то мгновение смягчилось, разошлись морщинки вокруг рта, глаза сделались добрыми, мягкими.

— Конечно, помню... Ганси тогда был толстый, побежал к старой турчанке, которая продавала горячую вареную кукурузу, и шмякнулся, потому что не заметил ступеньку, сорвал кожу на коленях и зашелся плачем, а был же взрослый мальчик, двенадцать лет...

— От обиды,— объяснила Мари.— Нацелился на кукурузу, про которую ты ему так много рассказывал, побежал, и вместо лакомства содранные колени... Знаешь, как обидно, когда видишь радость, вот она, только протяни руки, а переторопишься, шлеп, и коленки в кровь!

— А помнишь, — сказал Вернье,— как мы поехали в Испанию, и ты сердилась на меня, и все время завешивала свое окно в машине шалью, чтобы не загореть, ты очень боялась загореть, была мода тогда на бледность...

— Ну, па, не надо,— лицо у Мари стало до того грустным, что у Вернье защемило сердце.

— А еще мы с тобой ужасно рассорились, когда ты не хотела, чтобы я купил тебе туфельки марки «колледж»,— вздохнул он,— тебе очень хотелось носить высокие каблуки, а мне это не нравилось, оттого что ты была маленькая, вернее, мне казалось, что ты маленькая...

— Вздорная. Ты просто нас очень баловал...

Гала закурила.

— Но ведь это замечательно, если отец имеет возможность баловать детей... Нас тоже баловали, пока была жива мама... Мы каждый год ездили в деревню, там

было много фруктов, и такие дешевые, что мы с братьями объедались ими, а потом мама умерла, и больше ни разу мы не выезжали из города...

Мари положила свою мягкую, нежную ладонь на холодные руки Гала; на какое-то мгновение глаза Мари вспыхнули, она посмотрела на отца и шепнула:

— Папочка мой...

Вернулся Папас, укрыл Мари легким пледом, склонился, готовый выслушать заказ; он никогда не записывал, желание клиента — закон, а закон надо помнить.

— Что будем пить?— поинтересовался он.

— Мари, тут прекрасное розовое вино. Папас, пожалуйста, принесите бутылку, папа рассказывал, как ты маленькая выпила розовое шампанское и стала танцевать на столе...

— И разбила фужер,— добавила Мари,— даже сейчас помню этот звук, фужер-то был хрустальный...

— Ну и досталось тебе от...— Вернье оборвал себя, потому что досталось ей от Элизабет, а он не считал возможным говорить о ней плохо, то равновесие, о котором он мечтал все эти месяцы, достигнуто, самое страшное — нарушить его, ничего нельзя нарушать в этом ломком мире, все и так обречено, хрупко, ненадежно...

— А помнишь,— оживилась Мари,— как Ганс изображал охоту на кабана, когда мы вчетвером ездили на теплые озера, мама болела радикулитом?

— Помню... Маленький толстощекий озорник, а вместо ружья палочка... Он обожал пугать себя, ты замечала?

— Так это же очень интересно,— рассмеялась Мари.— Я тоже любила себя пугать. А вы любили, Гала?

— Нет. Я любила мечтать и очень этого боялась, потому что, когда возвращалась из грез в нашу обыденность, становилось до того ужасно, что жить не хотелось...

— А Гансу было так хорошо в папиной обыденности, что он себя пугал... Вам не скучно слушать наши воспоминания, Гала?

Та улыбнулась.

— Я все знаю... Папа часто рассказывает про вас, про каждый ваш день... Особенно когда рассматривает ваши фотографии... Он вспоминал, как ты маленькая

отдыхала на море и очень шалила, не слушалась, тогда мама сказала, что отведет тебя в горы и там оставит, ты заплакала: «А я камушки соберу и буду кидать, и по ним к тебе вернусь...»

— А папа рассказывал вам, как он ударил меня?

— Да что ты?! Нет.

— О, папа умеет быть очень жестким,— сказала Мари,— вы, наверное, еще не имели возможности в этом убедиться... У меня была няня, маленькая толстая шведка, которая любила меня, да, папа?

— Очень,— подтвердил Вернье.— Такая славная девушка...

— Вот, а дети всегда знают, кто их любит, а ведь если любят, то все прощают, и я раз ударила няню по лицу не со зла, а так, играючи в «барыню-служанку», и папа снял ремень и стеганул меня, я испытала такой ужас, какого никогда больше не испытывала... Но это был нужный урок, да, па?

— Если ты так считаешь,— Вернье достал из кармана коробочку с сосудорасширяющим лекарством, положил таблетку под язык.

— Что?— спросила Мари.— Тебе плохо?

— У него постоянно скачет давление,— сказала Гала,— особенно когда он волнуется...

— А тут еще я со своими делами...

— Он очень волновался, когда тебя не было, Мари. Он жил тем, что ты к нему приедешь... Как это замечательно, что ты приехала...

— А завтра после лекции папу начнут поносить, отберут кафедру и перестанут печатать...

— Уже перестали,— заметил Вернье,— но это пустяки, никуда они не денутся... Главное, что мы с тобою точно придумали, как поступить завтра, это будет красивый удар...

— Помнишь,— Мари немножко повеселела,— как мы привезли бабушку в Дюнкерк и сказали ей, что это Бискайский залив, и наша слепенькая общительная бабуля стала расспрашивать всех на пляже, что это за новый Дюнкерк появился здесь?

— Помню. Все помню, будь я трижды неладен.

— И я,— кивнула головой Мари.

— А я чаще хочу забыть, что было,— сказала Гала.— Мари, пожалуйста, поправь плед, я же чувствую, как сквозит...

Мари закуталась; Вернье хмыкнул.

— Девочка стала похожа на шотландского стрелка.

— Знаешь, о чем я думала последние семь часов, па?

— Нет.

— Я думала про то, какое же это треклятое слово «собственность». Бедный Томмазо Кампанелла, как он мечтал о «городе солнца»... А такое невозможно... Увы... Разве бы стала я так метаться, не чувствуя, что мой Мигель под ударом? Не стала бы... М о й, и все тут...

— Но ведь ты прощаешь ему любовь к Гаривасу?

— Разные понятия.

— Почему? Просто ты его еще очень уважаешь... Ты ведь никому не позволишь сказать про него дурное слово? Конечно, не позволишь... Ты ведь никому не разрешишь обсуждать его слова, дела, поступки, ты убеждена, что он поступает верно, любит тех, кого надо, окружает себя теми, в ком уверен... Ладно, не сердись, не буду, прости... Просто я здорово старею, а поэтому делаюсь чересчур обидчивым...

Папас принес вино, налил Вернье, тот попробовал.

— Сказочно.

Только после этого обязательного ритуала Папас наполнил бокалы дамам и спросил:

— Поставить нашу критскую музыку? Или хочется тишины?

— О, пожалуйста, поставьте вашу музыку.— ответила Мари.

— Я с вами потанцую,— пообещал Папас,— я всегда танцую с моими постоянными клиентами, да, Гала?

— Он ее отобьет,— пожаловался Вернье дочери,— они постоянно переглядываются у меня за спиной.

— Не отобьет,— заверила Мари.— Только глупая женщина может уйти от такого красивого, умного и доброго, как ты...

— Поняла, подруга?— Вернье гордо взглянул на Гала.— Папас, еще пару бутылок, я сегодня хочу от души пить.

— И всю ночь потом глотать лекарства,— упрекнула Гала.

— Вы лишены слова, мадемуазель,— сказал Вернье.— Шат ап[1]!

[1] Замолчи (*англ.*).

— Мари, хочешь устриц?— спохватилась Гала.— Здесь напротив допоздна их продают, совсем забыла! Я сейчас!

— Не надо, Гала!— но та уже шла к выходу, натягивая на ходу пальто.

— Я сейчас,— и выбежала.

— Не слишком ли ты много говоришь со мной одной? Про понятное нам, про нас с Гансом? Гала может быть обидно.

— Я все эти месяцы только про вас и говорил с ней, с кем же еще?

— А с собой?

— С собой я не говорил. С самим собою я плакал, человечек...

— Если все хорошо кончится, давай поедем все вместе в Гаривас, а?

— Приглашаешь?

— Конечно. Купим тур и поедем на две недели... Он будет счастлив...

— Ты любишь его, Мари? Или ты любишь свою любовь к нему?

— А разве это не одно и то же?

Вернье покачал головою.

— Нет, маленькая, это совсем не одно и то же.

— Я говорила об этом с одним русским...

— Его зовут Степанов?

Мари рассмеялась.

— О, какой ты хитренький, папочка! Откуда знаешь?

— Он был у меня...

— И рассказывал... Вы чем-то очень похожи...

— Ну, еще бы... Консерватор Вернье и коммунист Степанов...

— Вы похожи тем, как любите своих детей...

— Давай выпьем за Ганса?

— Давай. Только подождем Гала.

— Бесполезно. Она полчаса будет выбирать тебе самые вкусные устрицы и десять минут торговаться, чтобы купить их за полцены... Давай выпьем за то, чтобы Ганси скорее приехал сюда и мы посидели бы здесь, у Папаса, попировали и вы наконец обжили бы ваши комнаты...

Вернье достал ключ от квартиры, протянул Мари.

— Я заказал тебе этот ключ из особой бронзы, ты же любишь, когда все красиво...

— Бедная мамочка...

— Мне тоже ее очень жаль, но что я мог сделать, Мари?

— Вы такие разные... Почему ты женился на ней?

— Потому что я очень ее любил, я никого так не любил, как ее...

— Давай выпьем за нее?

— Давай.

— Пусть бы у нее получилось так, как ей хочется...

— Дай-то бог...

— Мы с Гансом всегда мечтали, чтобы вы хоть как-то соблюдали видимость семьи, это ведь так важно для детей, особенно маленьких...

— Я готов был, Мари...

— Знаю... Но ты действительно любил маму?

— А ты полагаешь, что я женился на ней, чтобы переселиться из моего подвала в ее прекрасный дом над Рейном?

Мари ничего не ответила, чокнулась с отцом и медленно выпила.

Гала вернулась с коробочкой устриц.

— Такие жирные, просто прелесть! Самые лучшие устрицы — октябрьские! Пожалуйста, Мари, это все тебе! Боже, какого я сейчас видела страшного человека! Весь в черном, сидит на своем мотоцикле, а глаза белые, как вата... Он посмотрел на меня и крикнул: «Пиф-паф, птичка!» У меня даже мурашки побежали по коже...

— Накурился, идиот,— сказал Вернье,— сколько же таких несчастных!

Папас принес лимон, ножичек, чтобы вскрывать устрицы, и включил музыку. Зазвучал знакомый голос: бритоголовый актер Савалас запел грустную песню, его греческий был ужасен, все-таки он теперь работает в Голливуде, думает по-английски, а если думаешь на другом языке, теряешь п р а в д у родной речи.

— Мари так вкусно ест,— Вернье видел, как дочь смаковала устрицу,— что мне тоже захотелось.

— Я куплю еще!— Гала поднялась со стула.

— Сядь,— остановил ее Вернье.— Открой мне пару раковин, и я чокнусь с Мари... Помнишь, маленькая, как я накормил вас с Гансом бульоном из мидий на Капри?

— Я все помню, папочка, и поэтому мне ужасно хочется выпить с тобой еще один бокал...

84

26.10.83 (18 часов 34 минуты)

Мишель Бреннер завороженно внимала Гиго; она теперь не могла провести без него ни дня; сразу же рвала с теми, кто говорил ей о Гиго плохо; она окончательно растворилась в его властной силе.

— Мы живем в эпоху тирании рассудка,— медленно потягивая виски, вещал Гиго.— Это есть проявление старчества нашей культуры. Мы живем в пору конца этой цивилизации, грядет новая. Ты не можешь не ощущать, как повсюду проявляется скрытая борьба против научности; ее первым апологетом был великий скептик Ницше. Посмотри, чем живет физика наших дней. Поражает скромность ее задач, ограниченность вопросов, которые она перед собой ставит. Каждая культура существует тем, что верует в свое бессмертие. История не знает дня, когда началась гибель Эллады, но ведь Эллада погибла. Принцип сохранения энергии, который был абсолютом в дни моей школьной молодости, отринут, поскольку мы утверждаем ныне, что энергия есть бесконечное в бесконечном пространстве. Ньютон утверждал необходимость постоянной массы. Ныне этот постулат отринут. Мы знаем движение нашей планеты относительно Солнца, но нам неведомо абсолютное движение Солнечной системы в пространстве. Время движения света утеряло свойство абсолютной величины. Рано или поздно будет упразднено постоянство физических величин, в определение которых входит время...

Гиго поднялся, начал раздеваться; Мишель нравилось смотреть, как он лениво, небрежно бросает на спинку стула рубашку, брюки, трусы; ее всегда раздражал м а л е н ь к и й аккуратизм Бреннера, его страсть к порядку; в нем не было полета, он никогда не мог видеть и чувствовать мир так, как его понимает Гиго, тревожно и широко. А еще снисходительно, как же это достойно в мужчине, снисходительность и спокойствие, как хочется пройти сквозь этот невиди-

мый барьер, прижаться к нему, к этому огромному, податливому, но властному человеку, чувствовать свою нужность ему, растворяться в этом ощущении, испытывать блаженное спокойствие, тишину...

Бедный Бреннер, мне его жаль все-таки, подумала Мишель, как же м а л а его жизнь, ограниченны интересы, суетны поступки, как мне было горько и унизительно подлаживаться под него все те годы, что мы провели вместе, но я должна быть благодарна судьбе и за это, потому что после пустых и неинтересных лет пришел Гиго...

Она теперь снимала эту квартирку неподалеку от дома; денег, что оставил ей Бреннер, вполне хватало на оплату аренды; с Гиго встречалась ежедневно; готовила ему обед, забивала холодильник бутылками, он любил виски со льдом, без воды; могла бесконечно слушать его; он говорил о том, что ему предстояло сделать в жизни; говорил увлеченно; Бреннер всегда молчал, уткнувшись в книги, и писал по ночам свои репортажи, бедный, бедный, ведь этот мир суетен, он на грани краха, культура кончилась, ушла Эллада, и нам не миновать этой судьбы.

— Обними меня,— шепнула Мишель,— обними меня крепко, родной...

— Погоди,— ответил Гиго,— я хочу послушать последние известия.

Он включил ящик; диктор рассказывал о том, что в Гаривасе начались с о б ы т и я, какие именно, пока неизвестно, прервана связь.

— Снова суетятся люди,— усмехнулся Гиго,— они никак не могут без суеты...

Мишель поцеловала его в шею.

— Я хочу подарить тебе лаванду.

Он спросил:

— Что, вонючий?

— Обожаю тебя,— сказала Мишель,— обожаю, любовь моя, всякого обожаю, вонючего, пьяного, злого, только будь рядом...

Диктор прочитал сообщения о погоде.

— Ну, выключай,— шепнула Мишель,— иди ко мне, они обещали дождь, но ведь нам с тобою тепло, да?

— Будет жарко,— усмехнулся он.

85

26.10.83 (19 часов 34 минуты)

Ромеро ударил старика Рамиреса по шее; тот рухнул, в это же мгновение Бонифасио прошил Санчеса очередью, схватил Пепе за плечо; тот был как истукан, не мог двинуться; Ромеро подтолкнул его дулом «шмайссера».

— Скорее, парень! Скорей!

Вся операция прошла, как и было запланировано, за двадцать семь секунд.

Через пятьдесят восемь секунд Ромеро, Бонифасио и Пепе, ничего еще до конца не понявший, каменный, повторявший одно и то же слово «зачем? зачем? зачем?!», были на пирсе; катер казался крохотной точкой на вороненом, с голубыми закраинами листе океана.

Через девяносто восемь секунд все трое были изрешечены пулями, выпущенными из короткоствольных автоматов, зажатых в потных ладонях «красных беретов».

Через двенадцать минут Ганс Либих и Иоганн Шевц взорвали машину министра обороны майора Лопеса, который ехал на телевидение объявлять о гибели героя национальной революции полковника Санчеса и о том, что он принимает на себя все бремя власти в стране.

(Этой акцией директора ЦРУ банковской группе Барри Дигона был нанесен материальный ущерб в сумме 156 миллионов долларов — со смертью Лопеса тайный договор, заключенный с ним, оказался простой бумагой.)

Через двадцать семь минут были расстреляны начальник генерального штаба, директор Национального банка и министр общественной безопасности.

Через двадцать девять минут был убит адъютант Санчеса по связям с ВМФ капитан Родригес.

(Этой акцией директора ЦРУ банковской группе Дэйва Ролла был нанесен материальный ущерб в сумме 217 миллионов долларов; со смертью Родригеса тайный договор на продажу бобов какао, заключенный с ним представителями Ролла в обстановке полнейшей секретности, ничего больше не значил.)

Через тридцать одну минуту по телевидению выступил новый премьер-министр Гариваса, дипломированный инженер Энрике Прадо:

— Кровавое злодеяние, совершенное левыми экстремистами, не останется безнаказанным... Те, кто поднял руку на незабвенного героя национальной революции полковника Санчеса, понесут заслуженную кару... Один из них, майор Лопес, уже поплатился за измену... Я призываю народ к спокойствию... В случае каких-либо эксцессов будет введено военное положение со всеми вытекающими последствиями... Завоевания нашего движения мы намерены защищать железной рукой, без малейших колебаний... Я обращаюсь к офицерам и солдатам центральных казарм с требованием прекратить сопротивление... В случае, если они откажутся выполнить приказание правительства, мы перейдем к действиям, за последствия которых будут отвечать те, кто поддерживает бунт и анархию...

Через пятьдесят две минуты группа левоэкстремистской молодежи блокировала помещение американского посольства; раздались выстрелы (ее руководитель Серхио был на связи с агентом ЦРУ Хорхе Висто по кличке Чико; практику проходил в Португалии и Западном Берлине, был введен в редакцию левоэкстремистских газет, писал эссе о необходимости «мировой революции», обвинял Кремль в «предательстве интересов пролетариата», утверждал, что американский империализм — «бумажный тигр», и настаивал на том, что лишь террор — единственный путь к победе).

Через семьдесят две минуты Энрике Прадо обратился к Белому дому с предложением немедленно эвакуировать технический персонал посольства, обеспечив ему надежную охрану.

Через девяносто девять минут корабли ВМС США с контингентом морской пехоты на борту двинулись к берегам Гариваса.

(Эта акция администрации дала материальную прибыль группе Роберта Кара в сумме 293 миллиона долларов.)

86

26.10.83 (21 час 49 минут)

Жюль Бреннер безуспешно пытался позвонить в Париж; связь была нарушена, «фантомы» нанесли уже три удара по Гаривасу; бомбили те казармы в центре города, где войска сохраняли верность Санчесу, отказываясь верить в то, что полковника нет в живых.

Потом бросили десант; «красные береты» окружили казармы, на улицы вышли танки, стреляли в упор, после того как казармы были взяты штурмом, подразделение «особого назначения» начало прочесывать гостиницы; американских подданых уводили вниз, в холл, проверив документы Бреннера, извинились за вторжение: «Тут скрываются наши противники, не обижайтесь»; когда солдаты вышли, к нему заглянул маленький худощавый человек в штатском, с усиками, подстриженными на испанский манер, попросил показать рукописи, быстро просмотрел их, покачал головою, сгреб со стола, поинтересовался:

— Где это вы наслушались таких небылиц о заговоре янки? Намерены публиковать?

— А вы кто, чтобы задавать мне вопросы?— спросил Бреннер, ощущая какое-то веселое безразличие ко всему происходившему.

Человек ничего не ответил, сунул рукописи в портфель и вышел.

Через двадцать минут Бреннер был обнаружен в ванной комнате с простреленной головой; за мгновение перед смертью, поняв, что его сейчас убьют, он увидел прекрасное лицо Мишель и успел подумать: «Бедная моя девочка, как же ты станешь жить без меня?! Прости меня, любовь, все, что я делал, было сделано во имя тебя...»

87

26.10.83 (23 часа 17 минут)

Фрэнк По вернулся к себе на рю Лемуан поздно; его крепко шатало; поднимаясь по крутой деревянной лестнице, он мурлыкал песню итальянских коммунистов «Аванти, пополо».

В маленькой квартире было холодно, по грязным стеклам катились струйки дождя; за стеной кричала Исабель; ее любовник, араб из Туниса, доводил женщину до бешенства чуть ли не каждую ночь; именно в это время только-только начинался последний выпуск последних известий по телевидению; Фрэнк снял плащ, повесил его на вешалку, включил электрическую печь, потом взял со стола автоматический пульт управления я щ и к о м, включил первую программу, открыл холодильник, достал бутылку белого вина, выпил из горлышка, вынул тройку яиц и кукурузное масло, включил плиту.

«Черт,— подумал он,— как всегда, в кастрюле перегоревшее масло... Надо заводить постоянную бабу, самое противное в холостячестве — мытье посуды, а жарить на черном, перегорелом масле, как это делает Анатоль, выше моих сил, изжога замучает».

Он включил маленькую газовую колонку, горячая вода будет через пять минут; оторвал кусок батона, намазал чесночным маслом, разорвал пакетик, отрезал кусок кровяной немецкой колбасы, допил из бутылки, обсыпая свитер крошками, закусил и решил открыть еще одну бутылку, но в это время диктор произнес первую фразу о том, что час назад при выходе из критского ресторана на рю Муффтар были убиты журналисты Мари Кровс и профессор Вернье, а также некая мадемуазель Гала Оф, личность которой идентифицируется.

На экране возникла фотография: крупно — разметавшиеся по мокрому асфальту соломенные волосы Мари, залитое кровью лицо, рядом — Вернье, сидящий возле стены, голова снесена почти наполовину, а чуть в стороне — женщина в синем плаще, видимо, мадемуазель Гала.

Фрэнк По опустился на стул, ощутив, как сердце остановилось в горле, мешая дыханию; это же ты, Фрэнк По, подготовил эту передачу, сказал он себе и почувствовал, как щеки его стали огненными, словно бы кто ударил наотмашь; это сделал ты, идеолог и борец за свободу человечества, которому угрожают наивные дети, склонные искать спасения в коммунистической утопии...

До ужаса явственно он почувствовал теплую и сухую ладонь Мари на своей руке, ему показалось, что он да-

же ощутил, какая глубокая и долгая линия жизни была у этой необыкновенной девушки, называвшей его народ так ласково — американкашки... Но ведь ее убили мафиози, услышал себя Фрэнк По, и голос его шел откуда-то издалека, будто сквозь войлок, слова едва различимы, будто кто-то душит их ладонью, теплой, мягкой, с долгой и глубокой линией жизни... Молчи, тварь, сказал он себе, какие мафиози?! При чем здесь мафиози?! Ты сам сказал мафиози, кого надо убрать на рю Муффтар, и ты отдавал себе отчет в том, что ты делаешь, потому и напился, и пришел сюда и решил приготовить себе яичницу, чтобы зажрать ею еще одну бутылку, а потом спуститься вниз и надрызгаться до чертиков, изблеваться на улице, только чтобы забыть... Но ведь я лишь передал седому то, что мне всучил резидент... Ах, ну да, ты же помнишь Нюрнберг, помнишь эсэсовцев Олендорфа и Эйхмана, они ведь тоже всего-навсего передавали, они не входили в камеры и не пускали газ в бани, набитые детьми... Погоди, сказал он себе, это истерика, погоди... Выпей... Открой бутылку и выпей. Все равно ты уже не сможешь опьянеть. Что? При чем здесь погода на завтра?! О чем они говорят, эти сучьи дикторы?!

Он замолотил кулаками в стену Исабель, заорал:

— Хватит! Хватит, я говорю!

За стеной настала тишина, он услышал шаги, потом отворилась дверь на лестницу и тунисец хрипло спросил:

— Вам плохо?

— Мне хорошо! Сука!— крикнул Фрэнк.— Мне очень хорошо! Иди отсюда! Пошел вон к своей сучке! Пшел вон, не то я убью тебя!

Он дышал тяжело, и лицо его полыхало все ярче, казалось, что вся кровь прилила к голове, ну-ка, возьми себя в руки, сказал себе Фрэнк, ну-ка не будь бабой. А кем же мне быть? Сотрудником Центрального разведывательного управления, которое защищает родину от врагов? Он зажмурился, снова увидел прямо перед собой безжизненно соломенные волосы Мари и ее вывернутую руку; отчего мертвые лежат в таких неестественных позах, как же ей было больно, бедненькой, когда...

Фрэнк По сунул голову под кран; вода уже нагрелась, будь она неладна, можно мыть сковородку... Он пошел в маленькую ванну, сунул голову под ледяную воду; лицо, однако, не остывало, оно полыхало по-

прежнему, и Фрэнк вдруг закричал от ужаса, потому что заплакал, а раньше он никогда не плакал, он во всем брал пример с Аристотеля Онассиса, тот ведь был таким сильным, он ведь своего отца вытащил из тюрьмы, когда еще был ребенком, он.

Фрэнк опустился на корточки, его тяжело, с желчью вырвало; голова закружилась, виски сжало тупой болью. Он заставил себя подняться, войти в комнату, начал кидать в чемодан вещи из маленького старого шкафа, потом отпихнул чемодан ногою, надел мокрый дождевик и выбежал из квартиры; дверь захлопнул, запирать не стал, ключ от квартиры бросил в пролет; спустившись вниз, стал зажигать спички, чтобы найти его, нашел, зажал в кулаке, выйдя из подъезда, швырнул ключ в тот переулок, что вел к «Инвалидам», а потом зашел в ресторан к Кастропосу, тот уже подсчитывал выручку, хотя в зале еще были гости.

— Эй, брат мой,— сказал Фрэнк По на греческом,— скажи мне, что такое сука?

— А я и не знал, что ты умеешь говорить на нашем языке,— удивился хозяин ресторанчика.

— Ты и не должен был знать этого... Ты ответь мне, что такое сука? Или побоишься?

— Чего мне бояться, парень? Сука — это кошка или собака женского рода... Или шлюха, которая наградила тебя гонореей. Или друг, который спит с твоей бабой...

— Налей мне стакан виски,— сказал Фрэнк По.— До краев.

Тот плеснул ему на дно, Фрэнк повторил:

— До краев.

— Ты и так под банкой, парень.

— Я что говорю?!

— А деньги у тебя есть?

— Соплеменникам дают без денег, тем более что я намерен ответить тебе, что такое сука...

Он выпил виски до капли; пил трудно, ощущая тошноту, испытывая желание облевать эту дубовую стойку, но, видимо, начался спазм кишечника, потому что заболело внизу живота.

— Сука — это я, Фрэнк По, понял меня? Запомни это, что я тебе сейчас сказал: Фрэнк По — грязная самовлюбленная потаскуха, идеолог, добрый парень, борец за свободу человечества, вот что такое сука...

Он достал из кармана стофранковую бумажку, потом вытащил вторую, положил на стойку и вышел на пустынную, покрытую пузырчатыми лужами рю Муффтар, пошел вниз, к Сене, там есть маленький пансион, они меня не найдут, хотя, наверное, станут искать уже сегодня, но важно, чтобы не нашли до утра, потому что я позвоню этому старому засранцу «сэру Все», который собирает факты в Пресс-центре, и расскажу ему про себя, ведь я борюсь против зла, не так ли, значит, обязан бороться до конца, ведь у соломенной девочки такая теплая ладонь и она ничего не хотела, только бы найти свою правду, а мы именно это желаем дать человечеству, именно то, чтобы каждый бесстрашно искал свою правду и не боялся говорить об этом вслух...

Он остановился и крикнул:

— Вслух! Это говорю я, Фрэнк По, сука!

Пусть они не напечатают меня, они ж все такие смелые в баре прессы и так затихают в кабинете редактора, но я все равно расскажу им и про «Пти серкль», и про то, как я сидел в машине резидента на рю Вашингтон, и про грека в сером с гвоздиками, это неважно, что никто не напечатает, важно сказать вслух, иначе надо повеситься прямо сейчас, здесь же, на ремне, он ведь у меня из такой хорошей кожи, испанской, с рисунком, вытисненным в Памплоне, ох и мразь же ты, Фрэнк По, ты ведь все знал, все, но ты был трезв и не мог себе представить, как мертвые соломенные волосы разметались по мокрому грязному асфальту...

88

27.10.83 (9 часов 17 минут)

Степанов бросил газеты в урну; в парке Монсо было солнечно; няни прогуливали детей, как правило, мулатки, очень кокетливые; они весело переговаривались, смех был гортанный, беззаботный; няни замирали и принимались усиленно ухаживать за детьми, если показывалась мадам, мать ребенка; резкий слом поведения служанок — когда они были наедине и при хозяйке — показался Степанову до того горестным, что он полез за сигаретами, хотя только что перед этим кончил курить.

Сердце жало, видимо, погода будет меняться.

«А может, оттого,— подумал он,— что я лишний раз ощутил свою малость и ужас человеческой разобщенности... Симонов написал прекрасные строки про Вьетнам: чужого горя не бывает. Но ведь бывает, увы, бывает... Словно бы и не случилось горе в несчастном Гаривасе, горе, приближение которого мы ждали и ничего не смогли сделать, чтобы предотвратить его... Люди смеются, как ни в чем не бывало, выгуливают пуделей, торопятся к любимым, думают о том, как провести уик-энд, а седой парень по имени Мигель Санчес лежит сейчас под национальным стягом в гробу, и его оплакивают те, которые его убили, и все это знают, но молчат... Вынуждены молчать... Это одно и то же,— возразил он себе.— Толстого тоже вынуждали, а он говорил: не могу молчать. Ну и что? Так это же вершина человечества... Цунами!»

Степанов вспомнил название рассказа, который он так и не написал, хотя мечтал об этом последние десять лет: «Усталость, усталость, ничего, кроме усталости...»

Что ж, сказал он себе, сейчас самое время сесть в номере, запереться и написать... Я делал все, что мог, и Мари тоже, и Лыско, и Вернье... Если не хватает сил подняться, то хоть желание похвально... Нет, подумал он, я облегчаю себе жизнь, мы все норовим сделать так, чтобы легче было смотреть на свое отражение в зеркале, мы все адвокаты самих себя, прекрасные адвокаты.

К Степанову подошел малыш лет шести, в толстой ручонке он сжимал трубу, звук ее был пронзителен.

— Коман са ва?[1]— сказал он.

— Са ва[2],— ответил Степанов.

Мальчик спросил что-то еще, но Степанов не понял его.

— Я не говорю по-французски.

— Все люди говорят по-французски,— сказал мальчик.— Разве можно не говорить по-французски?

Степанов ответил:

— Можно.

Потом он поднялся и пошел в отель, мечтая только об одном — сесть за скрипучий столик и писать, а завтра забронировать билет и вернуться домой.

Ялта — Париж — Цюрих, 1983.

[1] Как поживаешь? (*франц.*).
[2] Ничего (*франц.*).

В ранее вышедших томах собрания сочинений Юлиана Семеновича Семенова опубликованы следующие произведения:

Том 1	**Бриллианты для диктатуры пролетариата.**
	Пароль не нужен.
	Нежность.
Том 2	**Альтернатива.**
	Третья карта.
Том 3	**Майор «Вихрь».**
	Семнадцать мгновений весны.
Том 4	**Приказано выжить.**
	Отчаяние.
Том 5	**Петровка, 38.**
	Огарева, 6.
	Противостояние.
Том 6	**Повести и рассказы.**
Том 7	**Версии.**
Том 8	**Пересечения.**
	Тайна Кутузовского проспекта.
	Ненаписанные романы.
Том 9	**ТАСС уполномочен заявить.**
Том 10	**Межконтинентальный узел.**
	Дипломатический агент.
Том 11	**Экспансия I.**
Том 12	**Экспансия II.**
Том 13	**Экспансия III.**
Том 14	**Испанский вариант.**
	Бомба для председателя.
Том 15	**Пресс-центр.**

Семенов Ю.
Собрание сочинений: т. 15. Роман – М.;
ООО «Фирма ЭГСИ», 1996г. – 432 стр.

«Пресс-центр» – остросюжетный политический роман о подготовке и осуществлении военного переворота в одной из латиноамериканских стран. В центре событий оказывается русский писатель и журналист Дмитрий Степанов.

ББК 84.3Р7
С 30

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФИРМА ЭГСИ»

Уважаемые читатели!

Наше издательство, обладающее эксклюзивными правами на продолжение издания собрания сочинений **Юлиана Семенова**, сообщает, что в следующих томах будет опубликовано:

том 16 **1. Аукцион. 2. Лицом к лицу.**

том 17 **При исполнении служебных обязанностей.**

Далее планируется опубликовать:

Отчёты по командировкам;

Горсинс

и некоторые другие произведения.

Для оптовых покупателей
телефон/факс: (095) 452-8816 и (095) 913-8744

В Москве реализация книг нашего издательства осуществляется в следующих магазинах:

- магазин №2 Южного Агентства Печати,

Б. Факельный пер., 3, метро «Таганская», телефон ***911-2107***

- ООО **«Восход»**

Ярцевская ул., 34, метро «Молодежная», телефон ***149-1125***

- ТОО **«Тотем»**

Минская ул., 14, метро «Филевский парк», телефон ***144-5567***

- ТОО **«Аскольд»**

Физкультурный пр., 11/25, кор. 6, метро «Багратионовская», телефон ***148-9480***

В других городах России реализация книг нашего издательства осуществляется:

г. **Казань** - телефон (8432)-55-22-64, 55-00-91
г. **Набережные Челны** - телефон (8552)-58-53-53
г. **Новосибирск** - телефон (3832)-11-19-08
г. **Оренбург** - телефон (3532)-44-88-52
г. **Тольятти** - телефон (8469)-39-05-28
г. **Туапсе** - телефон (86167)-2-31-12
г. **Ярославль** - телефон (0852)-30-43-29

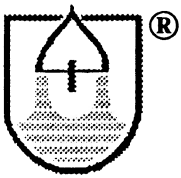
Иногородним покупателям книги высылаются наложенным платежом.

Читателям, получавшим ранее наши книги по почте от других организаций и желающим получать их в дальнейшем (напрямую от издательства, без посредников), а также читателям, желающим получать книги по почте, но не приславшим нам ранее заказы, необходимо сделать предварительный заказ. Мы также высылаем ранее вышедшие тома из собрания сочинений Ю.С. Семенова и другие книги. Желающим получить полный каталог рассылаемых нами книг необходимо выслать в наш адрес конверт с Вашим адресом. Заказы на книги и каталог просим высылать по адресу:

121353, г. Москва, п/о 353, Издательство "ЭГСИ"

С уважением к таланту и личности автора

Коммерческий банк



Русич

г. Москва тел. 452-88-16

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

Собрание сочинений. Том пятнадцатый

Редактор Д.О. Грошев
Художники М.Н. Шестопал, В.С. Помочилин, В.М. Беляков
Технический редактор Г.В. Жигалова
Корректор Г.Н. Грошева
Ответственный за выпуск Е. А. Новиков

ЛР № 064288 от 14.11.95 г.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 19.06.96. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага газетная. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. печ. листов 22,68. Усл. кр. отт. 23,31. Уч.-изд. листов 22,41. Тираж 20 000. Заказ 7315.
117454, г. Москва, пр-т Вернадского, 62«а» ООО «Фирма ЭГСИ».
Отпечатано с готовых диапозитивов на Книжной фабрике № 1 Комитета РФ по печати
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В
...ажни
...едоум
2. Бы
..., дел
...ское С
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к
...ну и его банде создать камеры
...нки, Катыни, а его ученикам - п
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ернуть "журнальный вариант"!

...откуда курсив?

...Ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
...S. v. Henrici

...дивенчества:
...в квартиру, накор...
...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-
...ния пропагандистской ше-
... Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...б"ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это
...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...
...нивающей") стра-